7 1972

Иностранная литература

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия» Москва

7 ИЮЛЬ 1972

СОДЕРЖАНИЕ

МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА — Когда хочется плакать, не плачу *(Роман. Перевод М. Былинкиной. Послесловие Юрия Дашкевича)* 3

Надежда и память *(Стихи югославских поэтов — Стевана Раичковича и Лойзе Кракара. Перевод Александра Кушнера, Юрия Левитанского, Бориса Слуцкого. Вступление Владимира Огнева)* 119

ЕЖИ БРОШКЕВИЧ — Долго и счастливо *(Роман. Продолжение. Перевод Михаила Игнатова)* 131

ДЖОН УЭЙН — Зимой в горах *(Роман. Окончание. Перевод Т. Кудрявцевой и Т. Озерской)* 194

Критика

В. ВОЛЖАНИН — Китайская литература: что же дальше? 216

Э. КАРХУ — Тревоги и заботы «разочарованных» (Заметки о финской литературе шестидесятых годов) 225

Публицистика

Боль и гнев Ольстера *(Перевод И. Гуровой. Вступление Ю. Яснева)* 233

Изобразительное искусство за рубежом

В. ТУРЧИН — Мастер натюрморта (Итальянский художник Джорджо Моранди) 255

Культура и современность

Заметки на полях

К. Чугунов — «Неужели вы не можете писать о чем-нибудь другом?» В. Гусев — Поэзия и «массовость» 257

Наши гости

По долгу совести (Гость из Израиля — Рут Левин. *Запись Н. Соколовской)* 263

Среди книг

Издано в СССР

Л. Новиченко — Динамика жизни и слово писателя. Арсений Тарковский — Аполлон польской поэзии. Г. Анджапаридзе — Жизнь напоказ 266

Издано за рубежом

Александр Романенко — Бессмертный путь бригады. Н. Никулин — Любимый поэт вьетнамского Юга 272

Из месяца в месяц 276

На обложке: картина народного художника Болгарии ВЛ. ДИМИТРОВА-МАЙСТОРЫ «Девушки из села Шишковци».

На цветной вкладке: картины итальянского художника ДЖОРДЖО МОРАНДИ.

МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА

Когда хочется плакать, не плачу

РОМАН

Перевод с испанского М. БЫЛИНКИНОЙ

МОЕМУ СЫНУ МИГЕЛЮ ЭНРИКЕ ОТЕРО

Христианский пролог, прерываемый мерзкими откровениями римского императора

Четыре воина — Севэр, Севериан, Карпофор и Викторин — бороздят улочки рынка, твердо зная, что их скоро прикончат. Четыре султана, украшающих шлемы, горделиво плывут сквозь дым коптилен и выкрики уличных торговцев — бери эти синие ленты для щиколоток своего любимого эфеба, налетай на финики, что слаще молока матери Венеры, лей холодный овсяный напиток в пересохшую глотку, ешь круглые сочные медовые лепешки, запеленутые в виноградные листья, хватай Диан, разевающих рты от скуки на кирпично-красных камеях. Дробный грохот четырех пар сандалий заставляет робко тявкать собак Рима и от страха мочиться кошек Рима, а одна старая римлянка — типичный продукт своей развратной эпохи — целит наметанным глазом на четыре роскошные прорехи, поочередно мелькающие на уровне ее лотка. Четыре брата — Севэр, Севериан, Карпофор, Викторин — шагают прямо вперед, не глядя на многоцветье весеннего хаоса, не смакуя густого аромата яблонь и не сплевывая от тяжелого запаха помоев; они идут в горькой уверенности, что не спать им этой ночью ни в своей постели, ни в клетушке продажной потаскухи. Они — христиане, и навсегда заворожены званием мучеников, которое им вбила в голову их мать,— даже кинжал самого ангела святой любви не заставит их отказаться от нимба и зачисления в святцы.

Севэр, Севериан, Карпофор, Викторин — солдаты императорской гвардии, свирепые в бою, как дикие кабаны; несгибаемые в страданиях, как колонны Большого цирка; дисциплинированные в маневрах, как ручьи в акведуках, в общем — солдаты. Они — хри-

Печатается с сокращениями.

стиане, из той самой секты, что бредит Павлом и Оригеном[1]. Но христианство уже перестало быть в Риме зрелищем кровопролития, обжорства диких зверей и публичной поножовщины; общественное мнение перевоплотило его в авторитетную религию, почти господствующую. Сенатор Корнелий Савин, внук одноименного трибуна, внесший свой вклад в низвержение Калигулы патриотическим ударом меча в брюхо деспота, уже очистил свои апартаменты от напружившихся дискоболов, отдыхающих Марсов, грудастых Венер, похотливых сатиров, дремлющих гермафродитов и других греко-романских безделушек, чтобы создать в церкви культ Иисуса Христа. Дорофей, мажордом в замке Диоклетиана, вчерашний заядлый эпикуреец, отныне опохмеляется не суслом из Сабин и Фалерна, а крепким святым словом Евангелия. Маврикий, лихой командир Фиванского легиона, перед сражением поспешно чертит пальцами на лбу мистические знаки. Укоренение ad aeternum[2] новой религии наглядно доказало полный разгром трехсот субъектов, колебавшихся в своих убеждениях, и изгнание тридцати двух тысяч пятисот шестнадцати богов, которые мирно сосуществовали в Риме, а теперь валяются вверх тормашками, вытесненные единым богом. Тучи неумолимо готовы разрешиться этической, философской и материальной катастрофой язычества, когда вдруг император Диоклетиан[3], властелин недюжинного ума и добрейшей души, поддается подлым уговорам своего соратника и зятя Галерия[4] и повелевает...

I. От злости в своем саркофаге перевернешься, слыша такое,— рычит Диоклетиан.

II. Галерий-то был всего-навсего грязный дакийский пастух. Я заставил его шестьдесят дней кряду париться в моих банях, пока он отмыл вонь козлиную. Когда он прополоскался, я женил его на своей дочке, Валерии, а женатого сделал цезарем, то есть своим наследником, и уже цезарем отправил его убивать сарматов, языгов, бастарнов. Это ему было больше по вкусу, чем возиться в постели с Валерией, ученой птицей, которая обо всем затевала бесконечные споры, даже о том, как лучше возлежать на ложе у стола с яствами.

III. Ненависть Галерия к христианам объяснялась вовсе не расовыми или религиозными чудачествами, не злобным сердцем и темными инстинктами, а вполне понятным желанием делать все назло своей августейшей супруге,— не всякий стерпел бы тебя, дочь моя, Валерия, чмокавшая распятия и шатавшаяся по катакомбам со своей мамашей, иначе говоря,— с моей супругой Приской, жуткой уродиной с чисто этрусским носом и чисто этрусским упрямством.

IV. На мой величественный государственный акт, специальный указ, коим я велел изображать себя по образу и подобию Юпитера, упомянутая Приска ответила тем, что решила присвоить добрую, хотя и весьма обременительную для старухи, славу Юноны, с олимпийским упорством коверкая мою жизнь и царствование. Я этими бабами сыт по самую диадему.

---

[1] Проповедники христианства в начале нашей эры. *(Здесь и далее примечания переводчика.)*

[2] Навеки *(лат.)*.

[3] Римский император Валерий Аврелий Гай Диоклетиан (284—305 гг. н. э.), подвергавший жестоким гонениям христиан.

[4] Гай Валерий Максимиан Галерий — пастух из Дакии. Поступив на военную службу, достиг высших чинов, после смерти Диоклетиана стал императором, был последним преследователем христиан.

V. Галерий же, ко всему прочему, был сыном ведьмы или жрицы с Дакийских гор, точно не помню. С материнским молоком он насосался тамошнего колдовства, еще в колыбели напичкался россказнями о том, что христиане — всего зла корень, чем они в сущности и являются.

VI. В общем, во всех случаях feminam quaerite или cherchez la femme [1], как лепечут на своем обезьяньем наречии дикие галлы, оскверняя этим языком чистый источник Вергилия.

VII. Галерий не обладал, однако, железной логикой, чтобы когонибудь в чем-нибудь убедить, не говоря уже обо мне, о Диоклетиане,— в моем присутствии он стоял по струнке, как Приап у постели гетеры, подавленный моим превосходством во всех областях, даже в военном деле, которое ты, вояка Галерий, знал как свои пять пальцев. Ты никогда не забудешь те сентябрьские календы, когда мне самому надо было встать во главе войска, чтобы помешать Нерсею, царю персидскому, вытащить свой ятаган и оскопить тебя, наподобие евнуха, как эти самые азиаты сделали с бедным Валерианом.

VIII. Лживая легенда, которая пытается взвалить на плечи моего зятя Галерия ответственность за мои расправы с христианами, была просто-напросто выдумана молодым поэтом Лактанцием, ханжой и праведником до мозга костей, лукавым святошей, без устали твердящим ora pro nobis [2] и прочие заклинания. Лактанций желал примирить свои религиозные убеждения с этикой семейных уз, которые его со мной связывали (он был не африканцем, как говорят, а моим сыном от одной досточтимой римской патрицианки, блудницы, прямо скажем, первостепенной, по имени Петрония Вакуна, жены Корнелия Ма́ксима; теперь я уже не причиню ни малейшей неприятности никому из них троих, вещая об этом публично семнадцать веков спустя). Лактанций в своей сыновней клеветнической писанине стал трубить на весь свет, что я был добродушным старичком и что, мол, только наглость Галерия и его упорство одолели меня, Диоклетиана, заставили повернуть вспять и внезапно, со всей силой, обрушиться на христиан, обирать их церкви, конфисковать их имущество, жечь манускрипты, вынуждать их приносить жертвы нашим богам, от чего им было особенно тошно.

IX. Если меня не поймали в свои сети ни сократовы пройдохи, ни платоновы болтуны, если пришлось утереться краснобаю Полибию, мудриле Корнелию Лабию, хитрому греку Гиероклу [3] со всеми его остроумными зверствами; если плевать я хотел на мутные аристотелевы силлогизмы, на славословие стоиков, на всю ученость, какая выливалась на мою деревенскую далматскую башку, чтобы убедить меня изничтожить и выжечь эту христианскую язву, как был выжжен Карфаген — и даже чище,— откуда же было набраться ума паршивому Галерию, моему болвану Галерию, чтобы накачать меня злостью, распалить мою ярость и подбить меня на такие жесточайшие кровопускания?

X. Ни Галерий, ни софисты, ни пифии, ни авторы, ни потроха черных петухов, ни сейсмические прогнозы богов не значили ничего. Я делал только то, чего мой юпитерский... ум хотел. На этот величественный столп я тогда и оперся, потому что твердая опора была

[1] Виновата женщина (букв. «ищите женщину» — *лат. и франц.*).
[2] Моли бога о нас *(лат.)*.
[3] Судья из Никомедии, преследовавший христиан во времена Диоклетиана.

срочно нужна для спасения империи, которая досталась мне подгнившей, порочной, воняющей тленом и засиженной мухами.

Севэр, Севериан, Карпофор, Викторин удалились от растленного дворцового мрамора, неблагозвучных труб и рыночного чада и шествуют теперь через поля, вверх по Аппиевой дороге. За их спиной осталось шмелиное жужжанье вековых распрей между иудеями и арабами у Капенских ворот. Четыре бравых воина идут строевым шагом, но не к Рейну, не к Дунаю, не к Евфрату. Они не бранят мальчишку, который пасет коз и плетется им навстречу ни жив ни мертв, ибо они его уже раз пять-шесть жестоко драли за то, что он пасет себе и пасет своих коз в разгульных предместьях Рима, потряхивая золотистыми локонами и моргая светлыми антилопьими глазами. Они не смотрят ни налево, ни направо, шагают прямо через заросли и овраги. Их не отвлекает ни внезапное вспархивание голубей, ни бесцельное пикирование ласточек. Они прекрасно знают дорогу: там, за оливковыми рощами Мандрака Германика, там, за дубовым леском Помпония Афродисия, за ручьем с серой водой, в пятидесяти шагах от шероховатой толстозадой скалы находится лаз в катакомбы. С трудом протискивают они щиты, мечи, сандалии, локти и головы с крестами на шее в узкую щель, годную, может быть, только для ремесленников и пастухов в коротких туниках, этих плебеев, которые босиком и с голыми руками шныряют по дорогам.

Четыре брата, пыхтя и отдуваясь, пролезают внутрь, ящерицами ползут вниз по скользкому, влажному откосу и шлепаются в уже изрядно утоптанное глиняное месиво. Севериан, стоя на четвереньках, нащупывает лампу, прилепившуюся в том месте, где ей и полагается быть, зажигает ее по всем правилам зажигания лампы в начале четвертого века нашей эры (подите узнайте, как это делалось!), и они начинают свое благословенное блуждание по лабиринту мрачных галерей. Со стен на них глазеют ниши покойников, погребенных давно или совсем недавно: до того разит падалью, что хоть нос зажимай. Инстинкт бывалых ходоков скоро выводит братьев из потемок к мерцанию факелов, к монотонному гудению молящихся, к наклонной нише в скале,— там кого-то хоронят.

Этот покойник, наверное, христианин первого сорта. Стоит только поглядеть на котурны (сандалии с толстенной подошвой) знатных римлян и на барочные прически римлянок, которые его оплакивают, окуривают свечами и бубнят отходную. Викторин не сводит глаз — нет, не с покойного, а с его племянницы, Филомены. Ее имя он узнает часом позже. Волосы у нее распущены по плечам; светлое чело обвито двойной лентой, унизанной сапфирами; холмики грудей приподняты и стянуты пурпурным шнуром на самых розовых вершинках (так надо думать) под складками сто́лы [1]. Ее окружает хор женщин, подобных ей христианок, ее услужливых рабынь в этом неравноправном мире. Одна из них заботится о завитках ее волос, другая подкрашивает ей ресницы, третья печется о белизне ее зубов, четвертая бреет ей под мышками, пятая обмывает груди молоком гнедой кобылы, шестая натирает благовониями спину, седьмая массирует живот ароматическими маслами, восьмая смазывает чресла жасминовой эссенцией, девятая холит ножки, как двух голубков (ох, Викторин, держись!), десятая читает ей по утрам эпиграммы Марциала, чтобы ее лицо озарялось улыбкой, а растридесятая

[1] Длинное просторное платье римских женщин.

бубнит по вечерам что-нибудь из «Фиваиды»[1] Стация, чтобы она поскорее уснула.

Марцелин, верховный понтифик, или, точнее, папа римский, спешит закруглить церемонию: requiem aeternum, чего надо этим четырем воякам здесь, в эту пору? Dona eis Domine, сейчас к тому же столько разных слухов ходит по Риму, Domine exaudi vocem meam, а вчера ночью мне приснилось, будто страшнейший нумидийский лев сожрал меня целиком, et lux perpetua luceat eis [2], еще и проклятый геморрой не дает покоя, amen, аминь.

— Что случилось, сыны мои? — хлопчато-белая бородка подрагивает: Марцелин — благодушный и набожный мудрец, но трусливый мозгляк.

Севэр, старший из четырех братьев, подает зычный голос. Вошел в силу эдикт Диоклетиана. Более сорока христиан подвергнуты пыткам сегодня утром. Почти все — хвала господу богу — достойно стерпели муки и приведенные в действие угрозы. Они отказались принести жертвы на алтарь языческих богов и умерли, громогласно заявив о своей верности Иисусу Христу, умерли, озаренные радостью оттого, что возносятся на небеса.

— Подлинный апофеоз, отец, вдохновляющий праздник духа.

— А все ли попали в рай? Все без исключения?

Севэр мрачно качает головой. Троим или четверым из пятидесяти не хватило мужества, они раскололись, как стекло под ударами; признали ложных богов, чтобы спасти свою шкуру. А один-единственный — разрази его гром! — сказал то, чего не следовало.

— Что же он сказал? — Бородка папы римского дрожит, как заячий хвост.

— Подвешенный за ноги под сводами портика, обезумевший от прикосновений пылающей головни к голой заднице, ученик Спион Подлеций отрекся от своей веры, сам сатана заговорил его устами. Он назвал огромное число имен. У мерзавца отличная память, он выдал наши храмы, предложил показать путь в катакомбы. Они должны вот-вот быть здесь, а нас четверых он не выдал только потому, что мы присутствовали там в качестве прославленных воинов, но он нас предаст на следующем публичном отречении, будьте уверены.

Викторин не стремится скрыть своих чувств к прекрасной римлянке, оплакивающей отца. Прекрасная римлянка на минуту перестает оплакивать отца, чтобы спросить себя, кто этот видный воин, который здесь, в святом склепе, не раздумывая, умрет от любви к ней. Стрелы Купидона, сына Венеры и Вулкана (а может быть, Марса), стрелы Купидона не стесняются проникать даже в самые глубокие тайники новой веры.

— Диоклетиан, о, смертоубийца Диоклетиан! — простонал боязливо и мелодраматично Марцелин.— Мало ему разорвать Римскую империю на четыре части, расчленив самым зверским образом могучую родину Цезаря и Августа, мало ему этого абсурдного четвертования, которое...

XI. Милостивый Юпитер,— рычит Диоклетиан.— Этот старый иудей, безродный и подрезанный, еще осмеливается болтать о величии и целостности Римской империи, чтобы опорочить мою систему четверовластия, тетрархическую систему правления, которая — к

[1] Мифологическая поэма о войне Полиниция и Эфокла в древнем Египте.

[2] Вечный покой... Воздай им, господи... Боже, услышь глас мой... И да воссияет им свет твой присносущий *(лат.)*.

черту скромность! — является гениальнейшим политическим изобретением всех времен и народов от Ликурга до наших дней!

XII. Я родился не для императорского трона,— по крайней мере, судя по всем данным,— а для того, чтобы разводить овощи, холостить свиней или пасть солдатом на поле боя. Отец мой — не консул, дед — не сенатор, мать — не беспутная тварь, а при таких обстоятельствах не легко сделать карьеру. Зачала меня мать-крестьянка от бывшего раба сенатора Анулино, вольноотпущенного отца моего, который в детстве нырял за устричными ракушками среди скал Солоны.

XIII. Однако уже в ранней юности были некоторые предзнаменования, говорившие о том, что спасение Рима должно стать делом моих рук: мраморный Марс всякий раз взмахивал щитом, когда я проходил мимо него, а однажды ночью мне явился сам Юпитер в виде разъяренного быка при свете молний. Подчинившись этим знамениям, я стал солдатом, хотя и не любил воевать; я заставил себя философски мыслить, хотя моей естественной склонностью было изрыгать незамысловатые словечки в публичном доме; я усвоил замашки дипломата и царедворца, хотя мне было больше по душе затыкать рот жирным матронам и публично обзывать вонючими подонками самых благородных патрициев; меня сделали начальником преторианской гвардии, хотя мне всегда претила должность полицейского; и, наконец, я воткнул меч по самую рукоятку в префекта преторианцев Менду, хотя я никогда не мог переносить одного вида раненой перепелки,— вся душа моя переворачивалась.

XIV. И когда по трудной лестнице убийств я добрался до императорского трона, что же мне досталось от великой Римской империи Октавиана и Марка Аврелия? Огромные владения, подточенные всеми земными пороками, осаждаемые варварами всех пород и мастей, изнутри минированные внуками и правнуками варваров, которые ворвались в римское общество верхом на троянских конях местных блудливых матрон. Я увидел государство, обираемое и разоряемое спекулянтами, республику рогоносцев и разгильдяев, где уже никто не рвался сесть на трон, потому что сесть на трон означало подвергнуть себя не менее смертельному риску, чем хватить сразу целую амфору с настоем из цикуты.

XV. Такова была обстановка в государстве, и я, приняв бразды правления, твердо решил сделать два дела: восстановить расхлябанную империю и умереть в собственной постели с императорскими сандалиями на ногах — последнее было куда труднее совершить, чем первое, учитывая предыдущие события. Послушать только похоронный барабанный бой последних пятидесяти лет:

отличного властителя и примерного сына, Александра Севэра, прикончили его же солдаты; заодно убрали и его замечательную матушку Маммею, которая быстро заработала себе саван;

трон перешел к Гордиану I, но Гордиан I сам себя порешил, узнав, что дюжий Максимин (рост — метр девяносто) ухлопал его сына, Гордиана II;

что касается Максимина, а равным образом и Максима, которого этот верзила назначил цезарем,— из них обоих войско сделало недурное жаркое;

подошла очередь царствовать Бальбину,— но и его быстро прикокнули преторианцы;

наступил затем черед Гордиана III сесть на трон. Его вместе с опе-

куном и регентом Мисистеем спровадил на тот свет Филипп Араб;

немного погодя гвардейцы Деция прикончили упомянутого Филиппа Араба во время торжества в память сражения при Вероне, а сынку его, Филиппу Арабчику, набили полон рот римскими муравьями,— лет двенадцать было бедняжке, не больше;

Децию в свою очередь изменили его же генералы и выдали готам, а эти варвары тут же выпустили из него кишки;

Галла, следующего, пристукнули его солдаты, и после того, как он был consumatum [1], они перешли на сторону Эмилиана;

эти же самые душегубы по прошествии нескольких месяцев угрохали Эмилиана по совету Валериана;

страдалец и человек передовых взглядов Валериан попал в руки персу Сасаниду Шапуру. Азиаты его пытали, преспокойно кастрировали, довели своими фокусами до безумия, заточили в клетку, как зверя, и напоследок разорвали на куски, живодеры!

Галлиена, ретивого поэта и сына Валериана, отправили к праотцам заговорщики, которых подстрекал к расправе генерал по имени Аврелий;

Клавдий II, который пришел вслед за тем, пришиб Аврелия — и правильно сделал; чума или отрава — точь-в-точь чума — свела в могилу Клавдия II;

далее объявился некий Квинтилиан, выдавший себя за брата умершего, но вскоре он покончил с собой, а историческая правда та, что кто-то выпустил кишки из этого Квинтилиана через семнадцать дней после того, как он обрядился в императорский пурпур;

нежданно-негаданно вырвался вперед Аврелиан, железная рука, единственный в этой рау roll [2] достойный звания императора, что не помешало вышибить из него дух вольноотпущеннику Мнестею, над которым затем быстро отпели отходную de profundis, по заказу генерала Макапура;

позвали тогда Тацита, почтенного старца семидесяти пяти лет, впалая грудь которого отнюдь не томилась жаждой власти. Его короновали против воли, а вскоре перерезали и ему глотку;

поскольку же Флориан, брат и наследник Тацита, думал, что можно править без поддержки войска и согласия сената, то не прошло и трех месяцев, как этому наивному простаку свернули шею;

на сцену вылез Проб, человек неглупый и осторожный; ему удалось продержаться в седле шесть лет. Тут он решил, что настало время заставить солдат поработать в сельском хозяйстве, и они во мгновение ока смастерили ему отличный дубовый ящик;

год спустя неизвестно куда исчез Кар. Одни говорят: его ударила молния; другие говорят: ударил тесть;

остался Нумериан, сын Кара, но префект Арий Апр быстренько пустил его в расход;

в этот момент я и рванул на просцениум и, чтоб не отставать от других, снес голову Арию,— впрочем, купил для него заранее нишу. В ту же пору Кариний, законный претендент на корону, был стерт с лица земли одним трибуном, у которого упомянутый Кариний увел супругу.

Империя ли это, достойная уважения, или сборник трагедий Эсхила?

XVI. Положить конец цареубийственной истории можно было лишь с помощью эвклидовой теории о пропорциях и соразмерностях.

[1] Порешен *(лат.)*.

[2] Платежной ведомости *(англ.)*.

А в это вязкое болото греческой культуры мне осторожно помогал погружаться ученый коринфский раб Атей Флак, который пичкал меня по утрам в кровати сухими фруктами (завтрак, господа!) и своими наставлениями. Простой арифметический подсчет показал, что, если вместо одного императора будут одновременно существовать четыре, то шансы оказаться без головы сведутся к 25% для каждого. Если же никто из четырех правителей не будет находиться в Риме, когда столичным жителям — этому самому коварному народцу — взбредет на ум прикончить своих властелинов и выкинуть их трупы в Тибр, то римляне вдруг увидят, что для этого им надо затевать изнурительные походы в предалекие области и тащить с собой четыре обоза с яствами для поминок. Таким образом, двадцать пять процентов снижаются до успокоительно-твердых пяти, а если Максимилиана послать в Милан, Констанция Хлора — в Германию, Галерия загнать в будущую Югославию, а мне самому податься в Никомедию, что в Малой Азии, подальше от этих прирожденных преступников, по определению Ломброзо,— то процент опасности сводится почти к минимуму.

XVII. Далее. Обычная причина гибели римских императоров коренилась в следующем: победоносным генералам от успеха моча бросалась в голову, и они разделывались со своими суверенами, чтобы самим влезть на трон. Но так как победоносные генералы были нужны, чтобы держать в узде франков, бриттов, германцев, аламанов, бургундов, иберов, лузитан, языгов, карпов, сарматов, готов, остготов, самнитов, сарацинов, сирийцев, армян, персов и других соседей, которые так и жаждали отхватить у нас свои земли, завоеванные нами в честном бою, то у меня родилась мысль выбрать трех генералов, трех самых настырных генералов в империи (во-первых, моего лучшего и самого послушного друга; во-вторых, того, которого я сделал своим зятем, и, в-третьих, того, которого я сделал зятем своего лучшего и самого послушного друга) и возвести их в ранг таких же императоров, каким был я, отвалив им столько пурпурного бархата, сколько болталось на моих плечах, хотя все это — сплошная фикция.

XVIII. Вот каково на деле это четверовластие, тетрархия — стол с одной ножкой на полу и тремя в воздухе, абсолютизм без деспота, централизм без пупа, окружность без центра, а если отбросить формальную сторону,— некое подобие государственной реформы, чтобы, если и не воскресить Рим — потому как легче схватить луну с неба,— то по меньшей мере мумифицировать его труп. Так делали египтяне с милыми их сердцу покойниками, чтобы не видеть, как родня гниет на глазах.

Севэр, Севериан, Карпофор и Викторин занимают самый дальний стол в таверне вольноотпущенника Кассия Кая, отставного гладиатора, карфагенца по происхождению, о чем свидетельствуют его темная кожа и курчавая шевелюра. Кассий Кай, после того как он со знанием дела вспорол животы и уложил на песок изрядное количество своих противников — и со щитами, и с сетями,— обзавелся этим злачным местечком с винами и закусками. И никто не упрекнет его, что он таким способом извлекает доходы из своей популярности, приобретенной за счет великого риска и стольких легких чужих смертей. Владелец таверны, этот циклоп из смолы и куска черного дерева, собственноручно обслуживает клиентов, таская кувшины с вином и огромные блюда с дымящимися барашками, опуская монеты в объемистый замшевый кошель, что висит у него на поясе.

Севэр, Севериан, Карпофор и Викторин согласно кивнули головами, да, они будут слушать песню неаполитанского трубадура, который бродит от стола к столу,— неизбежное бедствие любой римской таверны. И солист под аккомпанемент визгливого рожка, трескучего систра [1] и жалобной свирели завел нудную слезную песнь, в которой молил даму своего сердца сменить гнев на милость и вернуться в Сорренто. Тут все четыре брата, проникшись средиземноморской романтикой, заказывают себе на ужин осьминога в уксусе и по кувшину густого кипрского вина. Несмотря на все свое мужество бойцов и твердость своей христианской веры, они с вполне объяснимой скорбью ждут страшного мистического испытания, которого не избежать. Слава мученика, конечно, невыразимо прекрасна, не успеешь глазом моргнуть — и ты уже в раю, они это знают, но им кажется несколько преждевременным удостоиться такой блаженной милости, не достигнув еще и тридцати лет. Особенно Викторину, который влюбился менее четырех часов тому назад: Филомена, ароматом наполняющая все воспоминания; неаполитанская мелодия, медом разливающаяся по всему нутру.

Иногда они говорят о какой-то ерунде или делают вид, что говорят; делают вид, что пьют; делают вид, что слушают стенания свирели и не чувствуют подозрительно затхлого запаха кальмаров — обязательного блюда всех ресторанов Рима. И все потому, что они не в состоянии оторвать глаз от мраморных ступеней, которые ведут на улицу, спиралью поднимаясь вверх, обвивая статую покровителя сих мест — Вакха. Кабачный бог держит в левой руке виноградную кисть, а пальцами правой (указательным, средним и безымянным) строит какую-то, видимо, очень неприличную комбинацию.

Появление сбиров [2] вызывает страшный переполох среди посетителей, сидящих за другими столами, где нет ни одного римлянина,— все ассимилированные варвары: бесстрастные британцы, пришедшие, конечно, со своими собачками; галлы, с вожделением пялящие глаза на осьминожьи щупальца; германцы, то и дело встающие со своих мест, чтобы поближе посмотреть на статую Вакха и осторожно его пощупать; иберы, горланящие во все горло о своих домашних дрязгах после второго кувшина вина; сирийцы, в плащах, режущиеся в карты, цедя сквозь зубы ругательства и бросая друг на друга страшные взгляды. Каждый думает, что преторианская полиция пришла за ним; все цепенеют и затем облегченно вздыхают, видя, что сбиры направляются к единственным четырем римлянам, присутствующим в таверне, да вдобавок еще военным, в шлемах.

— Сдать оружие! Вы арестованы! — кричит начальник преторианцев.

— Да будет на то воля божья! — говорит Севэр.

— В руки его отдаю свою душу! — говорит Севериан.

— Да откроются нам врата рая! — говорит Карпофор.

— Катитесь вы к... чертовой матери! — говорит Викторин.

После этих, достаточно красноречивых слов преторианские гвардейцы — числом двенадцать — набрасываются на Викторина, и начинается тут заваруха, не дай тебе господи. По кривой летят через весь погребок столы, скамьи, блюда и чаши — вино красными кляксами заляпывает стены; жены галлов пищат, как крысы на случке; иберы, сами не зная зачем, кидаются в общую свалку; сирийцы используют удобный момент, чтобы улизнуть, не заплатив по счету. Кассий Кай, взирая на погром в своем заведении, забыв о своей мощ-

[1] Музыкальный инструмент, род трещотки.

[2] Полицейских сыщиков.

ной мускулатуре и репутации непобедимого гладиатора, даже думать боится о защите своих гостей и только блеет, как ягненок, заблудившийся в чертополохе:

— Pax vobis, pax vobis [1]...

Преторианские гвардейцы уводят всех, не только четверых братьев, за которыми пришли, но также и иберов, вмешавшихся в чужую драку, и длинноштанных германцев, и деликатных галлов, и даже бесстрастных, всеми уважаемых бриттов. Преторианцы — а за ними их вопящие пленники — поднимаются по лестнице и вливаются в улицу, кишащую балагурами-возницами, назойливыми туристами и липнущими ко всем проститутками. Издали слышны крики из переполненного Большого цирка, рев публики, которая присутствует, как всегда, на играх атлетов из Рима и Милана; на сей раз, как всегда, побеждают миланцы: три — ноль. О, Рим, вечный и неизменный!

Кассий Кай мечется в своей таверне, как грешная душа в чистилище. Осталась только жирная германка, упавшая в обморок во время баталии. Экс-гладиатор перешагивает через поваленные скамьи, опрокинутые столы, битую посуду, статую Вакха без своей виноградной кисти и неприлично торчащих пальцев. И этот гигант, который ни разу глазом не моргнул перед мечом или трезубцем своих противников, рыдает, икая и пуская слюни, оплакивая свою сломанную корявую мебель, пролитое разбавленное вино и разбитые бочки с тухлыми каракатицами.

— Во всем виноват только Диоклетиан,— бормочет владелец таверны, всхлипывая. Он позволяет себе корить императора только в безобидной компании бездыханной германки: валькирия продолжает лежать без сознания или в осознанной надежде, что ее кто-нибудь изнасилует под горячую руку.— Этот себялюбивый тиран,— хнычет Кай,— думает лишь о великолепии своих нарядов, о постройке роскошных бань и забывает, презирает трудовой люд, торговцев, а ведь мы — живая кровь империи. Ненасытное чудовище, грабитель чужого имущества, ему бы только облагать нас налогами и собирать подати...

XIX. Никогда к тому и не стремился,— изрекает Диоклетиан,— чтобы мои экономические доктрины вызывали восхищение у лавочников или у апостолов свободы торговли,— ох, эти крокодилы! — или у жрецов черного рынка — ох, эти скорпионы! — потому как ограничить алчность этих пиратов и должны мои доктрины.

XX. Спекулянты назначали дикие цены на продукты, какие вздумается,— пиявки бородатые! Я издал строжайший указ, которым обязал их брать за товары ровно столько, сколько они стоят.

XXI. Я покончил с денежной неразберихой, ввел в оборот золото.

XXII. Оптовые скупщики накапливали товары, не пускали их в продажу, а потом сбывали на сторону. Я загнал плутов в тюрьмы, разорил упрямцев, казнил тех, кого не согнул в бараний рог.

XXIII. Продукцию производили без всякого плана и согласования; свободное предпринимательство, tótum revolútum [2] в национальной экономике. Я заставил частных промышленников планировать производство, принудил государство создавать доходные мануфактуры.

---

[1] Мир вам, мир вам *(лат.)*

[2] Полный сумбур *(лат.)*.

XXIV. Управленческий аппарат состоял из персонала малочисленного, безнадзорного и не всегда честного. Я создал эффективную бюрократическую машину, дал работу тысячам граждан, уменьшил ответственность каждого путем взаимной слежки.

XXV. Прогресс в стране тормозился политическими смутами. Я стал взимать подати с патрициев, пробил план общественных работ в невиданном масштабе, построил школы и бани в каждом городе, дабы промыть мозги и тела своих подданных.

XXVI. И хотя в самом деле мои доктрины провалились, как проваливались и всегда будут проваливаться экономические теории при столкновении со сволочной действительностью, все-таки из всего вышесказанного следует, что ваш покорный слуга,— я, значит,— был провозвестником и выдумщиком таких сущих безделиц, как золотой стандарт, контроль над ценами, планирование экономики, налоговая система, управленческое дело, национализация промышленности и...

XXVII. ... и британский лейборизм, Меркурий его дери.

Севэр, Севериан, Карпофор, Викторин, уже без шлемов, копий и щитов, но еще сверкая нагрудным металлическим панцирем, стоят перед трибуналом, где председательствует плюгавый большелобый судья — тип сократический и ревматический. Сегодня в нем больше проявляется второе, чем первое, ибо ноябрь ползет мокрый и холодный с Палатинского холма[1] и гадючьим жалом впивается в его вспухшие суставы. От афинского мудреца у него в какой-то степени сохраняется лишь сознание собственного невежества да ироническая ухмылка прирезанного бычка.

— Вас обвиняют в христианстве,— говорит судья с неудовольствием.

— Кто нас обвиняет? — говорит Севэр.

— Вас обвиняет свидетель Спион Подлеций, христианин, как и вы, до вчерашнего дня. Между шестью и семью пополудни он вернулся в лоно религии своих предков, наших предков, внемля громкому зову отца и царя всех богов, который сбирает тучи и пребывает в эфире. Сам Юпитер громогласно выкликнул его имя и призвал его к себе из угла карцера.

— Мы тебе не верим,— говорит Севэр.

— Спиона Подлеция подвесили под сводами портика,— говорит Карпофор.

— Ему жгли спину факелом,— говорит Севериан.

— У него уже окоченела задница,— говорит Викторин.

Взметнулись тоги судей и вздрогнула от страха сотня любопытных — вольноотпущенных, безработных, родственников арестованных, всех, кто здесь присутствовал. Плебейскими комментариями лениво обмениваются продавцы вареных сосисок, обернутых лепешками, начиненных восточными специями и потому называющихся canes calidi (с латинского — hot dogs[2], о невежда-читатель). Главный судья наводит тишину ударами деревянной палицы, карающей десницы судейской власти.

— Вы христиане или не христиане? — на этот раз человек, облаченный в тогу, не растекается мыслью по небу.

— Мы веруем во всемогущего бога-отца,— говорит Севэр.

[1] Один из семи холмов древнего Рима.

[2] «Горячие собаки» *(англ.)* — так в США называют сосиски.

— И в его сына, нашего господа бога,— говорит Севериан

— И в святого духа,— говорит Карпофор.

— И на... чхать нам на Афину Палладу, Минерву,[1] и всех остальных жильцов Олимпа,— говорит Викторин.

Председатель трибунала обращает взор к статуе Минервы, которая возвышается за его спиной. Сейчас испепеляющая молния должна поразить всех — и обвиняемых, и обвинителей, и публику. Однако Минерва никак не реагирует на кощунственную ругань, сонно прикрыв глаза и неподвижно стоя со своей покровительственно поднятой правой рукой, в своем небрежно напяленном шлеме.

— Значит,— говорит судья,— вы заявляете, что изменили отчизне, вере и семье, что стали пропагандистами чужой религии и надругались над своей воинской честью?

— Мы заявляем,— отвечает Севэр,— что мы самые преданные сыны отчизны, но — христиане; самые любящие чада своих семей, но — христиане; самые ревностные блюстители нашей воинской чести, но — христиане.

— И мы не пропагандисты чужой религии, а верные слуги единого бога — не иностранного, а всеобщего,— выпаливает Карпофор.

Судья, утратив сократов сарказм, выражающий его интеллигентность, перестает ухмыляться. Ему остаются лишь аристотелевы силлогизмы римского оратора-стоика.

— Рим и его бог — неделимое единство, ergo[2], вы не можете изменять богам, не изменяя Риму. Августейший Диоклетиан есть орудие Юпитера, посланец Юпитера на земле, ergo, вы не можете отрекаться от Юпитера, не отрекаясь от Диоклетиана. И если вы изменяете Риму, если отрекаетесь от императора, как можете вы настаивать на том, что вы честные солдаты императора, не сознаваться в том, что вы вероломные предатели, недостойные своего воинского звания?

— Мы не настаиваем на этом,— Севэр повернулся спиной к великолепным силлогизмам судьи, к его деревянному жезлу и к мраморной Минерве, чтобы держать речь перед собравшимся людом.— Мы показали свою честность на поле брани. Без дерзкого бесстрашия центурионов, трибунов, солдат и генералов, всех воинов-христиан, едва ли удалось бы Риму спасти свою шкуру и разогнать наседающих варваров. Себастиан, Пакомий, Виктор, Георгий, Маврикий, Экзуперий, Кандид, Марцелл, которых Диоклетиан снял, арестовал или казнил как заядлых христиан,— разве они не были героями Рима? Вы допускаете вопиющую несправедливость, когда обвиняете нас в предательстве. В таком случае предатель — сам Диоклетиан, который, будучи ослепленным своей ненавистью к христианству, преследует и уничтожает тех, кто...

XXVIII. Минуточку, минуточку. Я преследую христиан не потому, что их ненавижу, а потому, что их боюсь (я сказал — боюсь). Я вижу в них единственную силу (я сказал — силу), способную подточить, разрушить и, самое опасное, вообще смести нашу систему. Христиане теперь — это не кучка оборванных проповедников, не подонки, о которых упоминал Цельсий[3], а налаженная упорная машина. Они сектантски сплочены, как иудеи; философичны, как греки; упорны, как

---

[1] Афина Паллада — богиня войны, победы, а также мудрости и знаний у древних греков — отождествлялась в Риме с богиней Минервой.

[2] Следовательно *(лат.)*.

[3] Римский философ (II в. н. э.) — ярый гонитель первых христиан.

арабы; мечтательны, как индусы; терпеливы, как китайцы; влиятельны, как римляне. И добродетельны, подлецы,—только этого нам не хватало. Когда они долдонят: не убивай, не ври, не воруй, не блуди, не обжирайся, не ленись, не отбивай чужих жен — они ведь бьют прямо по нашему римскому обществу, тыча ему в глаза его главные пороки, которые ведут Рим к загниванию и погибели.

XXIX. Я почуял опасность раньше всех, когда услыхал, что христиане стали изгонять из своих рядов аскетов-догматиков и краснобаев-утопистов, распаляющих истеричность, на которой далеко не уедешь. С догматиками и утопистами не побеждает никакая доктрина.

XXX. Сначала я предложил им конкордат, переговоры, потому как я не Нерон и руки у меня не чешутся зря крошить людей. Я избрал в качестве базы для соглашения монотеистическую формулу Аврелиана. Я предложил выкинуть всю gang[1] никчемных греческих богов, насаждающих блуд и геноцид. Они уже ни к черту не годятся для теогонии[2] и выродились в персонажей комического театра.

XXXI. Я попытался объединить империю и слить все секты, введя культ единого избранного бога — Солнца или Юпитера, но наткнулся на неподатливую волю христиан: они с великим удовольствием воспринимают идею о едином боге, но только если это будет их бог. Говорю вам, они — орешек твердый.

XXXII. Они назначили по своему епископу в каждую мою префектуру, обосновались в каждой конторе моего имперского административного аппарата, стали внедрять свой катехизис в моих войсках, на заре крестить солдат да исповедовать центурионов.

XXXIII. Когда до меня дошло, что Себастиан, трибун первой преторианской когорты, слушал нравоучения своего понтифика, или, поихнему, епископа,— вопреки запретам своего императора; что Маврикий, командир Беотийского легиона, отказывался приносить жертвы богам, не подчинялся распоряжениям своего высшего военного начальства; когда я увидел храбрейших воинов, тигров в бою, уложивших по сотне варваров каждый, когда я увидел, как они слушают дурацкий катехизис, который им приказывает: люби врага, подставь ему другую щеку,— я понял, что моя затея восстановить былую мощь империи в пяти шагах от гибели, потому что войско без дисциплины — не войско, войско без ярости — тоже не войско, а если Рим потеряет свои войска, arrivederci, Roma[3]!

XXXIV. Я преследую христиан без большой веры в победу — это правда,— потому что я родился, ни во что не веря; и без всякой надежды на успех, потому что я рос, ни на что не надеясь: надежда — это первое, что теряешь в жизни. Я прекрасно знаю, что идеи, включая религиозные, хотя бы самые зачаточные, не зальешь кровью и не испугаешь смертью. Я знаю и больше. Знаю, что Рим уже сыграл свою историческую роль, создал и распространил свой язык и законы, латынь и право, sermo atque jus, которые только и оправдывают его существование, ибо ничего более интересного он не может предложить человечеству, за исключением своих руин, когда останутся одни руины. И я знаю также, что эти христиане, стойкие и фанатичные, самоуглубленные и дерзновенные, мрачные и неприхотливые, обязательно выполнят свою миссию могильщиков.

[1] Шайку, банду *(англ.)*.
[2] Религиозные сказания о происхождении богов.
[3] Прощай, Рим *(итал.)*.

XXXV. Но римский император, если он действительно император, не имеет привычки сдаваться без боя. Когда придет другой властелин, более гибкий или более прагматичный, чем я, лишенный всяких принципов, которые мешали бы ему заключить союз с христианами под их диктовку, он — даже побежденный,— объявит себя победителем, но разглядит на тучах небесных знак креста, чтобы спасти себя, а заодно и смердящие останки Рима. Но он не будет зваться Диоклетианом, друзья мои.

XXXVI. Тот, кого вы видите перед собой, так не сделает, а сначала изрядно измотает христиан огнем и мечом — иначе нельзя, и только потом отречется, как обещал, от трона, скинет публично пурпурную мантию и императорские регалии, укроется в каменном восьмиугольном доме, сооруженном среди прибрежных скал Адриатики; посвятит себя выращиванию капусты и салата, которые будут служить украшением его садов и стола, и в конце концов навечно завалится спать на своем высоком каменном одре.

XXXVII. И если, по счастью, родится второй Тацит[1] — в чем я сильно сомневаюсь,— он напишет просто и ясно: «Диоклетиан был последним римским императором, достойным этого титула». Ну, и хватит с меня, туда вашу...

Севэр, Севериан, Карпофор, Викторин пересекают зал пыток с высоко поднятой головой. Они решительно держат шаг, ничем не выдавая, что в горле застрял твердый ком и чуть увлажнилось в паху. Чтобы вернуть Эскулапа в лоно страданий, его храм приспособили для мученичества. Воды Тибра лижут фундамент храма, запах трав и полевых цветов накатывает волнами на верхние ступени лестницы, аромат соснового бора смягчает суровость колонн. Эскулап, сын Аполлона, Эскулап, посвятивший свои чудесные способности тяжелому делу спасения людей от боли и смерти, стоит здесь, благословляя боль и смерть, стоны и предсмертный хрип. Его сердце восстает против такой бесчеловечности, но разве может выразить свое негодование он, заточенный в мрамор, со своей змеей в мраморе, с волей в мраморе, с жезлом в мраморе?

Севэр, Севериан, Карпофор, Викторин идут вдоль утыканной крюками стены, железные когти которой запачканы христианской кровью; они проходят мимо кобыл для пыток, где дробятся христианские кости. В воздухе еще разлита гарь, отдающая трупным духом, еще не развеян легким ночным ветерком чад от спаленных кишок, не заглушен смрад свежим дыханием сосен, разбавлен, но не заглушен ароматом благовоний.

Севэр, Севериан, Карпофор, Викторин входят в галерею храма и там их привязывают — спинами наружу — к четырем коринфским колоннам, высящимся во мраке. Они раздеты догола, как Прометей на скале. Руки подняты вверх, запястья скручены, рты жарко дышат в белый равнодушный камень, поясницы перехлестнуты дубленными ремнями, ноги стянуты грубой веревкой. Шесть сбиров префекта осматривают длинные бичи с тяжелыми свинчатками на концах. Среди сбиров есть одноглазый. Его глаз струит паучью жестокость, прикидывает расстояние — как ловчее содрать кожу со смертников; его рука неспешно, с вожделением подбрасывает свинчатку на ладони, со знанием дела проверяет стальную упругость бича.

[1] Публий Корнелий Тацит — римский историк эпохи империи (ок. 55 — 120 гг. н. э.).

— Мы даем вам последнюю возможность...— говорит начальник палачей, такой же мерзавец, как всякий истязатель.

Но слова вдруг застревают у него в горле. Волна голосов поднимается вверх по тополевой аллее, ведущей к храму; людской гул несется вверх по широким ступеням, превращается в сплошной рев и разливается дикой какофонией под сводами храма. Диоклетиан собственной персоной, Jovius Diocletianus[1], воплощение Юпитера, главный из четырех цезарей, пожаловал сюда из Никомедии, сошел со своего вавилонского трона, чтобы присутствовать при последнем допросе воинов-преторианцев,— а если говорить по правде, чтобы спасти жизнь in articulo mortis[2] этим четырем негодяям из его непобедимого войска.

— Numen imperatoris[3].

Когда он шествует по земле, его подданные римляне, гражданские и военные, женщины и дети падают ниц в неописуемом экстазе, целуют взасос складки его мантии. Диоклетиан — долговязый и широкоплечий мужчина с бычьей шеей: борода лопатой, вьется на челюстях; длинные усы свисают вниз, как у азиатских философов; глаза прищурены, но сверлят буравами; лоб разлинован морщинами, большие уши торчат, как ручки на круглом кувшине (так выглядит он на монетах и медальонах своей эпохи). В обществе ведет себя прилично, в речах — воздержан (так описывает его Шатобриан в одном из своих нудных романов). Его одежды слепят шелком и драгоценными камнями, будто молнии сверкают в помощь четырем пленникам. Гибрид олимпийского божества и восточного идола. Вокруг его чела блестит мистическая диадема, эмблема вечности, негаснущее светлое сияние, облако солнечной пыли, dominus imperii romani[4]. Рубины усеивают его шевелюру, сапфиры обвивают его шею, бирюза унизывает его пальцы. Широчайшая парчовая мантия, мигающая зеркальными глазками бриллиантов, ниспадает радужными волнами и складками до самых его персидских туфель. Массивный золотой пояс, инкрустированный жемчугами и топазами, замыкается пряжкой на уровне пупа. Не римский император, а витрина с Виа Кондотти[5] шествует во главе центурионов.

Диоклетиан вступает в полумрак галереи, мановением руки отсылает палачей, останавливается перед четырьмя колоннами смерти и доверительно говорит только для четырех привязанных парней. Лишь легкое пошевеливание волос, кольцом обрамляющих его рот, выдает монолог властелина.

— Я пришел не для того, чтобы вести с вами метафизические диспуты, сыны мои, а для того, чтобы освободить вас от беспощадных богинь судьбы Пáрок, которые уже держат вас в своих когтях. Ведь вы в общем-то — четыре отважных римских солдата, которые могли бы наполнить мое сердце гордостью, если бы пролили свою кровь в сражении за родину, но душа моя разорвется на части, если кровь ваша потечет под бичами моих палачей. Я не прошу вас публично и чистосердечно отречься от вашей религии, не заставляю вас принести оленя в жертву Марсу, вместо того, чтобы петь псалмы Моисея; даже не требую от вас унизительного обожания, которое приличествует моему небесному сану. Я попросту предлагаю вам вернуть себе полную свободу, не губить свои молодые жизни и для этого вознести маленькую молитву Эскулапу, всего-навсего пустопорожнюю хвалу, которая позволила бы мне оправдать перед остальными тремя цезарями мой

[1] Диоклетиан носил имя-титул Иовий, доказывая свое происхождение от Юпитера.
[2] В смертный час *(лат.)*.
[3] Именем императора *(лат.)*.
[4] Властитель Римской империи *(лат.)*.
[5] Одна из центральных аристократических улиц современного Рима.

дерзкий акт милосердия. Эскулап, как вы знаете, был такой же гуманный бог, как и ваш; он заставлял бегать паралитиков и воскрешал мертвых, как и ваш; был казнен, как и ваш, за то, что творил на земле чудеса без разрешения Юпитера, иначе говоря, всемогущего богаотца. Скажите только громким голосом: «Веруем в Эскулапа», а про себя думайте что хотите, хоть «веруем в Иисуса Христа», и черт с ней, со смертью,— получайте свободу. Кстати, если вас это интересует, знайте, что Марцелин, епископ или ваш папа римский, при первом же ударе плетью запел «Ave Caesar...»[1] и другие молитвы, принес своих барашков в жертву Плутону, отдал все свои святые книги,— дерьмо. А вы только скажите...

— Nunca[2],— прерывает его громовой голос Севэра. Стоящая на расстоянии публика (военные, придворные, сбиры, нищие) обалдело глядит на него.

— Jamais [3],— говорит Севериан.

— Never [4],— говорит Карпофор.

— Хрен тебе в глотку, император,— говорит Викторин, прекрасно сознавая, что злосчастная фраза будет фигурировать в качестве его последних слов в книге святых мучеников.

Диоклетиан поднимает на них свои меланхолично сверлящие глаза, цедит сквозь зубы: «Идиоты, круглые идиоты», поворачивается к ним спиной в театрально-драматическом вираже, медленно сходит вниз по ступеням, придавленный роскошью своего убранства, погруженный в непоправимую тишину.

Главный палач доволен. Еще больше рад одноглазый, который не зря промаслил многочисленные ремешки бича; он было испугался, что великодушие императора испортит ему вечер. Команда взорвалась, как струя фонтана среди клумб перед заходом солнца:

— Начинай!

Благословенный святой Рамон, рожденный при кесаревом сечении,— молится донья Консуэло,— *рожденный не в нардах Марии, как наш спаситель, а от мертвой матери, хотя смерть так же бела, как нарды; блаженный святой Рамон, рожденный при кесаревом сечении, вышедший на берег жизни не из теплого чрева кита, как Иона, а из потухшего костра, из остывшего мотылька, что дал тебе жизнь; мученик ты наш святой Рамон, страдавший из-за матери, которую не знал, из-за рабов, которых ты освободил от цепей и неволи; из-за раскаленного гвоздя, которым тебе проткнули губы, чтобы губы твои не славили Иисуса Христа; из-за висячего замка, которым тебе замкнули рот, чтобы рот твой не стонал при пытках; из-за ключа от этого замка, болтавшегося языком колокольным на бедрах, и даже ниже, у предводителя-иноверца из-за твоего ангела смерти, который разрешил тебе вернуться в Рим только вслед за твоими четырьмя могильщиками; чудотворный святой Рамон, рожденный при кесаревом сечении, помоги благополучно родиться этому ребенку, о появлении на свет которого возвещают крики роженицы, как эхо трубы Иерихонской.*

Да помогут травы святого Антония, великого отшельника Фиванского, которые он жевал в пустыне, да помогут они этой матери избавиться от горячки и судорог; да осушит, как слезы, платок Вероники

---

[1] «Ave Caesar, morituri te salutant» («Здравствуй, Цезарь, идущие умирать тебя приветствуют») — возглас гладиаторов, проходивших мимо императора перед боем на арене.

[2] Никогда *(исп.)*.

[3] Никогда *(франц.)*.

[4] Никогда *(англ.)*.

всякую льющуюся кровь; да освятит чудодейственный Белый крест...— тут донья Консуэло трижды осенила воздух крестным знамением,— *...трепещущий канал жизни; да изгонит сверкающий меч святого архангела Михаила всех микробов...*

Милосердный святой Рамон, рожденный при кесаревом сечении, самый милосердный из всех святых, ибо ты охраняешь чада человеческие, когда их еще и глазом не разглядишь, когда мечутся они как утлые лодчонки в океане; ты, лелеющий, как всходы господни, первые признаки будущего создания; ты, следящий за появлением первого пушка, и за первым «тук-тук» сердечка, и за тем, как размыкаются веки над медовыми капельками; ты, бдящий ночами, чтобы порочный свет луны не сгубил первых лепестков творения; к тебе взываю...— тут донья Консуэло преклонила колени на цементном полу,— *чтобы твои всемогущие персты направляли мои грубые руки, чтобы ты озарил своей благословенной улыбкой первый след нового человека, чтобы с твоей помощью на землю сошел ребенок, здоровый телом и нежный душой, верующий в белую розу, которая освятила Спасителя, и в святое древо, под которым Спаситель наш умер. Аминь.*

Никто не считает ударов, их перевалило уже за двести, да и не в цифре дело; никто их не считает, потому что приговор трибунала был туманным и безжалостным: «пока не отрекутся от своей веры», «пока не принесут жертву богам». А палачи глубоко убеждены (достаточно взглянуть им в глаза), что Севэр, Севериан, Карпофор, Викторин умрут, прикусив язык, превратившись в кровавый студень под сенью своего евангелия. Холуй Спион Подлеций, навечно ставший шпикомспециалистом по розыскам христиан, по унизительным допросам христиан, шныряет змеиной тенью у подножия колонн, чтобы, на случай надобности, ускорить наступление смертного часа. Но Спион Подлеций остерегается приблизить свою физиономию к Викторину на расстояние плевка, который Викторин для него давно приберег.

Плети-свинчатки рвут тело когтями, ранят кинжалами, дробят дубинами. Ягодицы и спины — это теперь гряды красных анемонов, сплетения кораллов, несохнущая кровавая роса, клочья кожи и сухожилий, сплошная рваная рана. Властный голос снова прерывает истязание и задает чисто формальный вопрос:

— Вы отрекаетесь от ваших иудейских выдумок и сказок? Возвращаетесь в лоно римских богов?

Севэр не отвечает, потому что он уже мертв. Севериан — тоже потому что он при последнем издыхании, и Карпофор — тоже, потому что он потерял дар речи; и Викторин — потому что он начал слышать, вдыхать и видеть зрелище, выходящее за пределы понимания его палачей. Музыка смерти — это дымка звуков, которая поднимается над величественным шумом реки, шевелит волосы между густыми вязами, ласкает босые ноги влажным мрамором и затихает спиралью птичьей песни вокруг сердца Викторина. Аромат смерти — это нескончаемый легкий дождь, частое дыхание небесных лилий, невесомые крылья архангелов и мерцанье вечерних звезд, которые начинают благоухать анисом и розмарином, погасая в глазах Викторина. Ангел смерти, его профиль — тот, незабываемый профиль Филомены из катакомб,— ангел смерти взлетает чуть выше любви и нирваны, чтобы облегчить поцелуями агонию Викторина.

Сэвер, Севериан, Карпофор и Викторин окончили свое бренное существование. Ночь, запуганная кровавыми миражами, прячется среди римских холмов, чтобы выплакаться мутными ручьями, стряхнуть светлячковые слезы. Собаки бродят привидениями, обнюхивают лун-

ный пепел, воют, чуя бандитов. На террасе императорского дворца внезапно гаснет светильник.

Святая Либрада, ты явилась на свет... — молится донья Консуэло, и Мама забывает о родовых схватках, слушая ее; донья Консуэло молится, скорчившись, почти растворившись в темном углу каморки,— *...ты явилась на свет в розовом соцветии твоих восьми сестер; девять козочек, бежавших из ночи, девять португалочек, рожденных, чтобы погибнуть в голубом сиянии мученичества...*

В эту самую минуту Мать едет в родильный дом в такси, которое сотрясает гудками улицу Сан Мартин. Ее муж, Хуан Рамиро Пэрдомо, забавно торжественный восседает рядом с ней. Мать чувствует, как боль начинается где-то у позвоночника, пауком сжимает поясницу и стальной иглой протыкает живот. Мне очень больно, Хуан Рамиро, говорит она. Потерпи немного, сейчас приедем, говорит он. Шофер чувствует себя лицом первостепенной важности, как оно, впрочем, и есть, а потому — надо ли, не надо — вовсю давит на клаксон.

И в эту же самую минуту Мэми звонит по телефону доктору Карвахалю. Я чувствую приближение родов, дорогой друг, говорит она. Приезжайте в клинику, отвечает он, и Мэми начинает прихорашиваться, заслонив зеркалом боль,— до поры до времени. Она подкрашивает брови и ресницы, кропит себя духами, выбирает халатики — на каждый день разный: ведь столько приятельниц придет ее навещать. Мэми никогда не теряет присутствия духа, и, кроме всего прочего, у нее есть крепкая опора в доме — ее мать донья Аделаида, верховный главнокомандующий, глас немалого жизненного опыта. Это она укладывает чемоданы, помогает Мэми спуститься вниз по лестнице. Инженер Архимиро Перальта Эредиа просто в восхищении. Какая расторопная у меня теща, говорит он.

Кальсия, твоя мать, звериная душа в черном бархатном наряде... — продолжает свои причитания донья Консуэло. Донья Консуэло знает, что соседки смотрят на роды Мамы как на религиозную церемонию и чувствует, что все они сидят в настороженном ожидании там, за стеной. Донья Консуэло взяла себе в помощницы только одну родственницу Мамы, пришедшую ее навестить, и отдает этой родственнице короткие приказания: принеси газеты, принеси жаровню, принеси сюда сальную свечу, а сама молится: — *Кальсия отвела дочек, повелев их умертвить, к повитухе Силе, простой женщине, такой же, как я, господи боже, к такой же христианке, как я, господи боже. Но как можно дать им яд, этим куколкам? Нет, любви и молока дали им, как ты, господи, учишь, и в сени ног твоих они вздохнули свободно и стали служками в монастыре, затерянном среди кипарисов, где пасутся одни олени...*

В это время Мать проходит через несколько металлических дверей, мимо ряда белых перегородок. Хуана Рамиро Пэрдомо не пускают дальше приемных покоев. Пациентка должна идти туда одна, говорят ему. Пациентка — это Мать, измученная схватками, которые то накатывают, то отступают. Матери задают несколько вопросов, заполняют карточку и затем просят раздеться. Мы отдадим одежду вашему мужу, говорят ей. Она получает короткий, по колено, халат, грубый выцветший халат; ее кладут на больничную каталку и прикрывают простыней.

И в это же время Мэми торжественно является в клинику — со своими двумя чемоданами, со своим супругом и со своей родительницей. Добрый день, Домитила, говорит Мэми. Акушерка Домитила встречает ее, услужливо склонившись; Домитила сопровождает ее в

отдельную палату, такую же, как все остальные палаты в этой клинике, одинаковые, как каюты на пароходе и кельи монахов. Мэми распластывается на кровати с помощью Домитилы. Только перед Домитилой отступает авторитет доньи Аделаиды: Домитила приняла столько родов, у нее такая интуиция! Она ловко раздевает Мэми и идет предупредить доктора Карвахаля: все может начаться скорее, чем это представляют себе донья Аделаида и Мэми.

Непорочная святая Либрада, ты уже считала себя христовой невестой... — Донья Консуэло распорядилась вскипятить воду в жестянке, приказала выгладить простыни, чтобы жаром припечь все микробы; приказала запереть двери и заткнуть щели в створках: донья Консуэло не желает впускать свет снаружи, не хочет свежего воздуха.— *...невестой, когда вдруг загремели дверные кольца, вошел Люций, твой отец, властелин-язычник,— глаза хитрые, звериные, душа змеиная,— и приказывает своим девяти дочерям осквернить чистоту причастия. Но они предпочитают умереть в пытках. И возносятся на небо твои восемь сестер-монашек; там встречают их ангелы гимнами, благоухающими, как фиалки...*

Теперь и Мать везут на больничной каталке в длинную палату. Там лежат шесть женщин на кроватях с зелеными матрацами — шесть лиц, сведенных судорогой страданий. Одна мулатка, молча, из последних сил, выдавливает из себя четвертого сына; пятеро других орут благим матом, особенно итальянка: Mamma mia, Dio mio, non ne posso piú, non ce la faccio piú!..[1]. Соседка, доставшаяся Матери, выражается более прозаично: Ох, зараза! Ох, и влипла же я! Ох...— и, бледная, стискивает пальцами спинку кровати.

Теперь уже и Мэми едет на хорошо смазанных колесах в зал для родов. Супруг, инженер Архимиро Перальта Эредиа, на прощанье вдохновляет ее элегантным поцелуем. Вполне достаточно одного раза, думает Мэми. Мужчинам не мешало бы самим попробовать, чтобы знать, каково это удовольствие, думает Мэми, одетая в прелестную розовую сорочку. Дева Мария, во имя мук, испытанных тобою при родах, не оставь меня в тяжелую минуту, говорит вслух Мэми, когда ее кресло пересекает порог операционной. Доктор Карвахаль ожидает ее в безупречно чистом халате и в белых резиновых перчатках.

А тебя, святая Либрада, самую красивую...— молится донья Консуэло... Она кладет Маму поперек кровати, впереди ставит табуретку, а под матрац подсовывает газеты. Мама согнула ноги, донья Консуэло продолжает молиться. Ждать и молиться — это дело всех настоящих повитух: — *...Тебя, сладкий цветочек, вместо того чтобы предать спасительной смерти, тебя пожелали отдать в жены королю сицилийскому, который с пьяным хохотом стал высмеивать твое целомудрие, и тогда ты, неприступная дева, упала на колени, прямо на булыжники, воздела к небу руки и стала молить: Иисус, муж мой, сделай так, чтобы на лице моем отросла борода, чтобы вокруг губ моих выросли усы, чтобы меж белых грудей моих вздыбились волосы, наподобие хвоста конского, чтобы ноги мои покрылись темной шерстью, как у землепашцев, чтобы король сицилийский от меня отказался, чтобы его свирепость не угрожала моей девственности...*

Что касается Матери, то она уже вскарабкалась на операционный стол; студент и медсестра помогли ей. Тело ее освещено обычной лампой без абажура, свисающей с потолка. Всякий раз, как начинаются схватки, Мать напряженно сжимает холодные поручни. Медсестра наскоро сделав помазок из ваты, смазывает живот ее какой-то жидкостью. Мать упирает ноги в железные педали, торчащие откуда-то

[1] Мамочка, боже мой, я больше не могу, никогда этого больше не сделаю *(итал.)*.

снизу. Порядок, говорит студент последнего курса, ощупав ее. Скоро начнется.

А что касается Мэми, то она лежит в такой же позе, как и Мать, но операционный кабинет попросторнее и белоснежные простыни потоньше. Действия доктора Карвахаля размеренны и непринужденны. У Мэми вдруг начало сводить ноги от неудобного положения. Домитила, будьте добры, разотрите мне их, говорит Мэми. У Мэми усиливаются боли. Силы мои иссякают, доктор, говорит Мэми. Показывается головка ребенка. Берите forceps[1]. Карвахаль, мне все равно, я больше не могу, кричит Мэми. Впервые Мэми утрачивает самообладание. Доктор Карвахаль улыбается, уверенный в себе и в законах природы; улыбается под марлевой повязкой, прикрывающей рот.

— *И когда господь услыхал твою мольбу...* — бормочет донья Консуэло и выходит из своего угла — наступает момент, когда надо выйти из угла. Тужься, не бойся, громко говорит донья Консуэло, уже различаются волосенки маленького негра, плечики сами поворачиваются в поисках выхода, и донье Консуэло остается только принять ребенка и причитать:—*...И случилось чудо, и на всем твоем теле выросла щетина, лилия превратилась в дикобраза, и король сицилийский галопом удрал из Опорто в Палермо. И твой отец повелел своим наемным убийцам пригвоздить тебя к дереву...*

Наступила минута, когда и студент пятого курса решительно шагнул к Матери. Тужьтесь, сеньора, тужьтесь, говорит бакалавр; сестра тоже говорит — тужьтесь. Мать тужится изо всех сил, бакалавр направляет головку ребенка; вот он уже держит новорожденного за ноги на вытянутой руке,— так фокусник в цирке держит за уши кролика,— зажимает пинцетом пуповину и берет ножницы у сестры. Парень, говорит сестра. Какое имя ему дадите? — спрашивает сестра Викторино, сегодня день святого Викторина, отвечает Мать с твердой решимостью.

Случилось так, что в эту же самую минуту доктор Карвахаль тоже поднял в воздух ребенка Мэми, тоже как кролика в цирке, после того как Мэми тоже изо всех сил поднатужилась. Доктор Карвахаль одним точным движением отсекает пуповину. Мальчик, говорит доктор Карвахаль и передает его Домитиле; имя ему даст позже донья Аделаида. Здоровый мальчуган, говорит акушерка. Пусть его оденут в голубое, моего милашечку, говорит Мэми, спокойная как никогда.

— *Тебя, святая Либрада...* — все еще молится донья Консуэло и обтирает спиртом тельце ребенка, хлопает его по попке, чтобы он вздохнул и заплакал, залепляет пластырем ранку на пупке, сыплет на него немного порошка, обваливает в ликоподии, закатывает в пеленку, словно свертывает цигарку из табачного листа, кладет в ящик из-под мыла марки «Лас Льявес». Он уже пищит, бродяга, говорит Мама.— *...тебя, святая Либрада, гибнущая роза на вершине столба, тебя, волосатая святая Либрада с чистым девичьим чревом, которое не ведало ни страсти, ни оплодотворения, тебя, спасительница женщин от их страданий, потому как ни одна из них не мучилась так от земных пыток, как ты, распятая на мученическом кресте, тебя слезно прошу я о помощи, чтобы сумела и смогла я сейчас охранить новорожденного от судорог и мать от лихорадки,— ведь смогла же святая Сила, повитуха, как и я, христианка, как и я, сохранить и тебя, и твоих восьмерых сестриц, аминь.*

Мать еще пребывает в полутрансе, еще лежит, прикрытая одеялом, на больничной каталке, а медсестра уже кладет Викторино на длинный стол, вместе с другими новорожденными, протирает его сла-

[1] Щипцы *(англ.)*.

бым раствором спирта и привязывает ему на запястье бирку с именем Матери, написанным чернилами; смазывает лекарством пупок, берет оттиски пальцев, обмеривает от затылка до пят, вводит раствор нитрата серебра в глаза, укутывает в белые пеленки и, наконец, укладывает в четырехугольную колыбель вместе с другим младенцем, который родился на четверть часа раньше,— это сын итальянки, завывающий так же театрально, как его родительница. Викторино, лежащий рядом, шевелит ручками и ведет себя очень сдержанно.

Мэми тоже хочет увидеть своего сына. Он блондин и весит три кило двести. Доктор Карвахаль проверяет ему глаза, осматривает пальцы на руках и ногах, глядит на попку и на гулик. Великолепный ребенок, говорит доктор Карвахаль и заставляет его сделать первый вздох. Акушерка Домитила занимается сложной медицинской обработкой его пупка. Мэми на колеснице-каталке триумфально въезжает в свою отдельную палату. Инженер Архимиро Перальта Эредиа не может прийти в себя от гордости, узнав, что родился мальчик, просто не может прийти в себя от гордости. Через полчаса будут поступать букеты цветов. Имя ему — Викторино, говорит донья Аделаида.

Сегодня 8 ноября 1948 года; конечно — воскресенье. Весь город с нетерпением ждет появления первых машин, участвующих в гонках Буэнос-Айрес — Каракас. Тысячи голов мельтешат на улицах пригорода. Заголовки газет. Комментарии.

КИТАЙСКИЕ КРАСНЫЕ ЗАНЯЛИ МАНЬЧЖУРИЮ

и находятся менее чем в 200 милях от столицы Чан Кай-ши, Нанкин тоже падет. На финансовых операциях отражаются неизбежные последствия этой войны. Североамериканские коммерсанты прикрывают свои магазины в Бейпине. Присуждены Нобелевские премии за 1948 год: премию по литературе получил поэт Т. С. Эллиот, да ему уже и пора было войти в историю, хотя History may be servitude, History may be freedom [1]; а по медицине — швейцарский ученый Пауль Мюллер, изобретатель ДДТ: Ирод-Смерть москитам, Аттила-Убивец комаров, в общем, деятель, достойно представляющий свою мирную страну.

ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

предоставит вашингтонский Экспортно-Импортный банк венесуэльскому правительству

ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ ПРОСПЕКТА БОЛИВАРА,

— какой удивительно великодушный народ! Все три этапа гонку вел Оскар Гальвес, по прозвищу Ястребок. Его победа — дело решенное, ему остается только триумфально финишировать в Каракасе; от своего ближайшего соперника он оторвался на огромную дистанцию. Профессиональные политики не перестают ломать голову над неожиданной победой Гарри Трумэна, обогнавшего Томаса Дьюи на президентских выборах у гринго. Вся пресса делала ставку на Дьюи, все опросы мистера Гэллопа предсказывали Дьюи километровое преимущество, однако

ПОБЕДИЛ ТРУМЭН,

а собственно, почему победил Трумэн? Одного французского инженера задержали на площади Боливара в женском платье, он даже не забыл надеть дамское трико и бюстгальтер. На вопрос полиции ответил: «Одно и то же надоедает. Всю жизнь таскать брюки! Скука смертная, не правда ли?» Ходят грязные слухи

[1] История может быть рабством, история может быть свободой *(англ.)*.

О ВОЕННОМ ЗАГОВОРЕ ПРОТИВ ПРЕЗИДЕНТА ГАЛЬЕГОСА [1],
о том, что скомпрометированный министр обороны, полностью скомпрометированный генеральный штаб, военный атташе посольства Соединенных Штатов (полковник Адамс) устроили дружественный прием в своих апартаментах офицерам-заговорщикам (мистеру Дэнджеру, Перналете, Мухиките — колоритным бандитам, ждущим своего бытописателя). Сообщается о прибытии американского писателя Уолдо Фрэнка, который приезжает написать книгу о венесуэльском народе в свете идей Боливара. Хватит ли у него на это времени? Жеребец Академик, сын Синбада, взял на бегах в Буэнос-Айресе традиционный приз имени Карлоса Пеллегрини; жокей — Иринео Легисамо, ура Легисамо! Многих поклонников ты теряешь, Гардель [2].

МАРШАЛ ТИМОШЕНКО ПРОИЗНЕС ВЧЕРА РЕЧЬ,
посвященную годовщине русской революции; он сказал: «Силы мира никогда не позволят развязать новую войну». А в США у целого стада быков породы герефорд (они находились под прикрытием высоких гор за многие мили от испытательного взрыва атомной бомбы более трех лет тому назад, точнее — в июле 1945) побелела шкура, а затем стали отваливаться клочья шерсти, как сухие листья. Их отвезли на необитаемые островки, у многих по хребту расползлись язвы; полагают, что их съедает рак. За течением болезни наблюдают с самолетов в подзорные трубы.

ПРИНЦЕССА ИЗАБЕЛЛА ОЖИДАЕТ НАСЛЕДНИКА,
который родится на этой неделе, самое позднее в субботу. Букингемский дворец расцвечен улыбками и хризантемами, разукрашенная голубым атласом колыбель любовно выставлена в детской комнате напоказ.

Толпа запрудила въезд в Каракас — более ста тысяч человек; сто тысяч человек отважно подставляют затылки под жаркие солнечные залпы, они взбесятся от радости, когда появится «форд» гонщика Ястребка — Гальвеса. Кстати говоря, мистер Дж. Парнелл Томас, сенатор-республиканец от Нью-Джерси, председатель комиссии по расследованию антиамериканской деятельности,— как его называют, Великий инквизитор,— обвиняется в попытках объегорить правительство Соединенных Штатов вместе со своей экс-секретаршей Эллен Кэмпбелл; они могут быть приговорены к 32 годам тюрьмы или 40.000 долларов штрафа — уму непостижимая государственная неблагодарность. Мистер Гэллоп, обалдевший, как квакер, которого накрыли у дверей борделя, мистер Гэллоп, ошеломленный полным крахом своих предвыборных вещаний, дал публике всласть над собой поиздеваться — и ныне публика стряхивает пыль с длиннобородых анекдотов: Наполеон (или, возможно, Дизраэли?) различал три вида лжи: обыденное вранье, клятвопреступление и статистические данные; корсиканец (или тот еврей?) пользовался ими всеми. Оскар Гальвес, Ястребок, причисленный к лику святых народным идолопоклонством, несется красным вихрем по Валенсии; Ястребок летит к финишу. Начинается ливень, свинцовые капли болельщикам нипочем. На улицах говорят о том, что

ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ НЕИЗБЕЖЕН,
хотя писатель и президент республики Ромуло Гальегос успокоительно объявляет прессе: «Венесуэла находится в процессе подъема и

[1] Ромуло Гальегос (1884—1969) — выдающийся венесуэльский писатель-демократ, был избран в 1947 году президентом республики; свергнут в 1948 году ставленниками империализма США.

[2] Карлос Гардель (1890—1935) — популярнейший исполнитель аргентинских танго, киноартист.

укрепления демократии». А Марио Брисеньо Ирагорри, тоже писатель, оценивает обстановку иначе: «Венесуэла — жертва борьбы между бензином и фуражом». В кинотеатрах показывают «Lassie, come home!» [1] с участием многообещающей девицы по имени Элизабет Тейлор, а также «The Senator was indiscret» [2] с киноветераном Уильямом Пауэллом, хотя несравненно более будоражит реклама картины «Девятый», но в кинотеатр «Аполлон» едва ли можно попасть — дети до 18 лет не допускаются, реклама гласит: «Мужчины ее преследуют. Они ее домогаются... Когда я иду по улице, они глазеют на меня так, будто я голая. Господи боже, что во мне такого? Почему мужчины кидаются на меня, как голодные звери? Потому что им не жалко живых! Они уважают только мертвых!»

ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ ПОЛУЧИЛ БОЛЬШИНСТВО ГОЛОСОВ

на выборах в верхнюю палату — девяносто девять мест; два министра вышли в отставку, правительство еле держится, генерал не представил конкретной программы. Известно только — это и понятно,— что она безусловно не прокоммунистическая. Своей победой он обязан неустойчивости французских гражданских правительств, которые низвергаются каждые две недели, merde alors [3], народец сыт этим по горло. Оскар Гальвес слышит, как начинает тарахтеть мотор его машины на последних участках пути; перебои слышались еще вблизи Буэнос-Айреса. И вот красный «форд» внезапно останавливается — подвели шатуны: тринадцать этапов гонщик продержался на первом месте, подвели проклятые шатуны, расплавились вкладки, а до финиша уже рукой подать. Мимо несутся машины, и снова машины; никто не затормозит, никто не выручит. Ястребку теперь на ... чхать на шатуны. Нежданный триумф Трумэна вызвал

НЕСЛЫХАННОЕ ПАДЕНИЕ КУРСА АКЦИЙ НА БИРЖЕ,

какое не было зарегистрировано с 1940 года. В это же время прогрессивные интеллектуалы оценивают избрание Трумэна как поражение военщины и расистов, forget Hiroshima, boys [4]! Северное сопрано Кирстен Флагстад спела партию в опере «Тристан и Изольда» в Муниципальном театре, и теперь афиши возвещают гастроли балета Алисии Алонсо,— кубинская балерина исполнит партию Жизели. Утверждают, что военные заговорщики представили список требований автору «Доньи Барбары» [5], букет политических вымогательств, военный ультиматум, а писатель отверг их, не читая,— он же президент, а не половая тряпка. Какой-то «бьюик» с номером штата Карабобо, ленивый прогулочный драндулет, помог Оскару Гальвесу в беде, взял его на буксир и потащил по извилистой дороге от Гуайяса, хотя

ЭТО — НЕЛЕГАЛЬНОЕ СОДЕЙСТВИЕ

будет засчитано судьями, к великому разочарованию толпы, уже провозгласившей Гальвеса победителем. Сотый раз громкоговорители трубят: машина приближается! И тысячи глаз впиваются вдаль — где же «форд» Ястребка?

ЧАН КАЙ-ШИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ОН ГОТОВ

продержаться еще десять лет. Вашингтон знает, что это брехня, война проиграна. Художник-самоучка из Найгуата, негритенок по имени Фелисиано Карвальо [6], объявляет об открытии своей первой выставки.

---

[1] «Лесси, иди домой!» *(англ.)* — популярный голливудский фильм с собакой в главной роли.

[2] «Сенатор был нескромен» *(англ.)*.

[3] Ну и пусть катятся *(франц.)*.

[4] Забудьте Хиросиму, ребята *(англ.)*.

[5] Имеется в виду известный роман Ромуло Гальегоса.

[6] Современный венесуэльский художник, сторонник возрождения традиций негритянского изобразительного искусства.

Это выглядит такой же сенсацией, как если бы это была выставка француза Таможенника Руссо[1], комментирует критикесса фифа Лискано; будет и музыка, посетители — глаза завязаны — в свое удовольствие получат право разбить два больших горшка, изготовленные и раскрашенные самим Фелисиано. Греческое правительство официально объявляет, что оно расстреляло всего лишь две тысячи человек в назидание партизанам, опровергает необоснованно раздутые цифры казненных, отметает провокационные преувеличения,—

ЧИСЛО РАССТРЕЛЯННЫХ НЕ ПРЕВЫШАЕТ ДВУХ ТЫСЯЧ,

настаивает правительство с убийственной скромностью. Деквалифицированный гонщик Оскар Гальвес занял первое место, но

ПРИЗ ГОНОК ПРИСУЖДЕН ДОМИНГО МАРИМОНУ,

тоже аргентинцу, звезде отнюдь не первой величины — насквозь, до коричневых ногтей прокуренному толстяку, забулдыге и пустозвону. Ему не терпится выпить пива. Поистине величайшее разочарование для двухсот тысяч человек, которые встали чуть свет в предвкушении чествования Ястребка.

ПАДЕНИЕ РОМУЛО ГАЛЬЕГОСА — ВОПРОС НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ,

а может быть и часов. Дети обсуждают это на переменках во время чехарды, военные чины полны решимости приструнить народ, если кто-нибудь этому воспротивится. Но никто не противится, политические партии грызутся между собой, никто ни о чем не думает, кроме собственной выгоды. Оскар Гальвес яростно протестует против мнения судей, лишивших его победы. Но, че[2], о чем тут толковать, если тебя тащили на буксире, изрекает толстый Маримон без капли злорадства. И тогда Ястребок расталкивает взволнованную до глубины души толпу, медленно идет к статуе генерала Сан-Мартина (в десяти метрах от финиша) и плачет горькими слезами у ног своего Освободителя[3].

Повторяю, сегодня 8 ноября 1948 года. Донья Консуэло врывается в кабачок-лавчонку португальца Жоана Франсишку ди Соузы, открытый, несмотря на воскресенье. Единственный клиент — Педро Коното, собственно говоря, не настоящий клиент, а вынужденный посетитель, охотящийся за какой-нибудь старой девой, которая купила бы у него попугайчика, а попросту сказать, бродяга, спасающийся от солнечного пекла. Донья Консуэло пришла купить сальную свечку, необходимую принадлежность при родах, которые она принимает домов через пять отсюда, и бутылку каньи, тростниковой водки,— без этого лекарства тоже не обойтись, малыш уже недалеко. Мама кричит каждые три минуты: Ай, меня разорвет! О, я сейчас лопну! Помоги мне, святой Петр! Донья Консуэло колесит между грудами мешков с рисом и ящиками с прохладительными напитками, пробираясь к португальцу; излагает свою просьбу, не удостаивая взглядом ни Педро Коното, ни его попугая. Затем решительно направляется в глубь подвальчика. Где-то вдали, на дочерна закопченной стене выделяется белый четырехугольник — календарь, который она и раньше часто листала. Донья Консуэло различает слово «ноябрь», написанное толстыми буквами, и огромную черную восьмерку, еще более ясную; и слово «воскресенье», подчеркнутое красным. А вот имена святых, точки

[1] Анри Руссо (1844—1910), по прозвищу Таможенник,— художник-самоучка, представитель примитивизма в искусстве.

[2] Обращение в разговорной речи аргентинцев.

[3] Почетный титул генерала Хосе де Сан-Мартина (1778—1850), национального героя Аргентины, возглавившего освободительную борьбу народов юга Латинской Америки в первые десятилетия XIX века.

крохотных имен-москитов очень трудно разобрать — ишь ведь незадача. Донья Консуэло перешагнула далеко за пятьдесят, но очков не носит; ей приходится почти уткнуться носом в лист календаря, чтобы с трудом разобрать:

Святые Севэр, Севериан, Карпофор и Викторин, четыре великих мученика.

— Севэр не подойдет, Севериан и Карпофор тоже не годятся,— говорит донья Консуэло и, произнося эти слова, выразительно отмахивается, будто торгуется с Жоаном Франсишку ди Соузой.— Если родится мальчик, в лепешку разобьюсь, а назовут его Викторино.

Сегодня Викторино исполняется восемнадцать лет

Викторино Перес

Сейчас ровно четыре часа утра. Викторино знает это с абсолютной точностью, хотя у него нет часов и он не может слышать приглушенного металлического звона колокола. Черная капель ночи стучала в такт его пульсу, словно его кровь наполняла колбу, из которой падали минуты; словно удары его сердца толкали маятник, качавшийся в тишине; словно его нервы червями скрутились в пружину, которая регулирует ход стрелок.

В этой тюрьме нет ни одного заключенного, ни одного подметалы, который не облегчил бы ему бегства, если бы состоялся его побег, ДЕРЗКИЙ ПОБЕГ ВИКТОРИНО ПЕРЕСА, ОПАСНОГО ВРАГА № 1 НАШЕГО ОБЩЕСТВА, так будет написано в газетах. Два педераста, которые спят в открытом патио (их не решились засунуть в камеру: одинаково опасно оставить их в компании субъектов того же пола и пола противоположного), затеют драку ровно в 4 часа 30 минут — у одного из них сохранились наручные часы, которые он сумел припрятать при обыске, просто чудо из чудес! Охранники побегут разнимать их, водворять тишину и утверждать свою власть — за это и платят им грязные деньги палачей. В этот же момент раздастся дикий крик четырех нимф, которые заперты в задней каталажке и которых приволокли в мужскую тюрьму из-за того, что они нарушали общественный порядок и одна из них всадила нож в живот официанту кабака «Вагон» (во время допроса из них не могли вытянуть ни единого слова; молчали, хоть умри; так и осталось тайной — которая из них пырнула ножом покойника). Охранник бросится, изрыгая проклятия, узнать в чем дело, обругать женщин, показать им что к чему. В это время Викторино должен уже покинуть свою камеру, прошмыгнуть по-кошачьи в камеру напротив — там содержатся в строгой изоляции шесть малолетних преступников после нападения на аптеку. Они уже должны будут взломать замок над дверью, чтобы впустить его, уже должны будут пробить брешь в потолке, затратив на это ночь адской работы. Поднимаясь, как по ступеням, по скрещенным рукам, потом по плечам шести малолетних, Викторино доберется до дыры в

потолке, через которую вольется рассвет. *Все остальное зависит от моей смекалки, от быстроты моих ног, от моей лихости, от закалки моих мускулов, от разудалого плана, который созрел без чьей-либо помощи в башке Викторино Переса, самого смелого и самого отчаянного парня города Каракаса, столицы республики и колыбели Освободителя*[1], *это значит у меня.*

В 4 часа 25 минут приглушенные стоны Викторино будят охранника, который, закутавшись в рыжий плащ, сонно клюет носом. Он поднимается со своего кожаного стула и приближается, волоча ноги, злой и раздраженный,— видите ли, не дают спать полиции.

— Тебе чего, вшивый негр?

Под его взглядом Викторино начинает корчиться, как женщина при родах, хватается обеими руками за живот и строит зверские гримасы. Помираю, хрипит он. Действительно, он кончается по всем правилам искусства: глаза стекленеют, на губах пузырится пена. Ему еще мало разыгрывать примитивную агонию,— резким, пронзительным визгом, визгом свиньи, которую переехал грузовик, Викторино пугает и вызывает любопытство охранника. (Недостаточно испугать охранника, необходимо, чтобы он открыл ключом замок, а ключ висит у него на поясе.) Припадок все усиливается, страшные конвульсии сотрясают руки и ноги пленника, его тело страшно бьется о кирпичный пол камеры. Охранник открывает замок ровно в 4 часа 30 минут.

— Бандитка, сукина дочка, я тебе зубы вышибу, стукачка, предательница! — орет Огненная Роза, педераст, уродливее которого не мог создать сам господь бог: кукурузно-рыжая бородка, морковно-красный нос.

— Попробуй тронь меня, я тебе глаза выцарапаю, зараза! — отвечает диким воплем Детка Исабель, другой такой же экземпляр, и взаправду припечатывает зеленым плевком лоб дружка.

Охранник колеблется секунды две, порывается снова запереть замок, но ему преграждает путь тело Викторино, содрогающееся в конвульсиях,— грудь в камере, а ноги снаружи, молотят пол, как взбесившиеся поршни. Охранник оставляет его помирать — не такое уж важное дело — и спешит, рассвирепевший, утихомиривать скандал двух горлопанов-извращенцев. Он бежит к ним со штуцером наперевес и тут же, не глядя, начинает лупить прикладом по разгоряченным головам обоих гладиаторов.

Теперь дело за другими. В темноте дальней камеры начинается катавасия среди проституток — громкоголосый квартет, в котором не разобрать ни слова, потому что все четыре выкрикивают в унисон нескончаемый перечень терминов, подобранных ими на своей кривой жизненной дорожке, названий — обычных и озорных — частей тела человеческого. Их крики, как гнилые лимоны, шмякаются о стены тюрьмы. Охранник в ярости потрясает кулаками:

— Замолчите, шлюхи, так вас растак...

И оставив на произвол судьбы склочных педерастов, устремляется на остервеневших баб, непрерывно издавая призывный свист. Ему на подмогу бегут еще четыре охранника — заткнуть арестанткам рты полотенцами и отдубасить шашками. Пять дюжих тюремщиков сообща обрушиваются на беззащитных магдалин.

Этот последний скорбный эпизод остается уже вне поля зрения Викторино.

После первого вопля Огненной Розы он прекращает свои при-

[1] В данном случае имеется в виду руководитель борьбы за освобождение Венесуэлы от испанского ига Симон Боливар (1783—1830), которого так же, как и Сан-Мартина, называют Освободителем.

творные конвульсии, четырьмя беличьими прыжками преодолевает коридор, который его отделяет от камеры малолетних, молнией проскальзывает в заранее проломленную дверь и с лету грохается на руки шестерых, которые ждут его, превратившись в неподвижную и настороженную цирковую группу.

Викторино, ни секунды не колеблясь, опирается ногой на стремя из сплетенных рук низкорослого воришки. Неведомая сила подбрасывает его на плечи двух самых высоких, в следующем прыжке он хватается правой рукой за выступ стропила, который пощадили острые пилки заключенных; раскачиваясь, как обезьяна, левой рукой цепляется за противоположный выступ этого же стропила; кулаки малолетних сообщников подтолкнули его пятки, и Викторино, точно тюк, подцепленный подъемным краном, вылетел вверх. Его голова, проскользнув сквозь дыру отштукатуренного потолка, вырывается в отверстие на гнилой, мокрой от дождя крыше. Его плечи проделывают тот же путь. Одним толчком рук он поднимает торс на черепичный скат крыши, гибким движением подтягивает нижнюю часть тела. Теперь он весь наверху. Кривизна дождевых труб облегчает ему мягкое скольжение к краю навеса, навес вдается в темноту безлюдного переулка. При прыжке на землю подвертывается нога. Больно или не больно — об этом судить позже. Он бежит, петляя, по переулку, чтобы не подставить спину под пулю — жокей, скачущий на воображаемом коне. Его зигзагообразный бег направлен к зарослям, которые окаймляют течение реки. Сзади грохает выстрел, а может быть, целый залп.

Придется подождать до вечера, чтобы узнать судьбу (он услышит это по радио) двух малолетних, которые хотели удрать вместе с ним, используя ту же самую лестницу из рук и плеч, тот же самый пролом крыши, окрашенный рассветом и росой. Первому удалось выбраться вслед за Викторино, второму не повезло. Под тяжестью второго обломилась каменная кладка, поврежденная палками и пилками, и он с шумом свалился на кирпичный пол камеры под ноги охранников, которые в эту минуту ворвались сюда, чертыхаясь. Что касается того, первого, которому удалось благополучно преодолеть тюремные препятствия, он бежал, задыхаясь, вслед за Викторино на расстоянии метров десяти. Однако прямо под ребро ему вонзился горячий свинец пули, и беглец остался лежать, зацепленный кровавым якорем за грудь (так его изобразит последняя страница вечерней газеты), на голых камнях переулка.

Во главе кортежа, чуть возвышаясь над землей, словно катился на восьми маленьких шариках сухой труп паука. Живой катафалк, а вместе с ним все похоронное шествие пробрались по узким проходам между маисовыми листьями, перелезли через кордильеры кирпичей, миновали осколки битого стекла, форсировали гнилые лужи, перешли вброд мутные ручейки. Не все участники шествия тащились налегке — самые здоровые несли маленькие листья, а кто поменьше — мертвых мух, зерна вареного риса.

Вдруг авангард замер перед темной стеной, которая выросла на их пути. Правая нога мальчишки, присутствие и запах человека повергли в отчаяние путников. Они осторожно опустили своего покойника на землю и беспорядочной толпой собрались вокруг него на срочное совещание. Трое или четверо замыкавших шествие устремились вперед, чтобы успеть внести свою лепту в переговоры. Наконец совет старейшин решил, что надо обойти препятствие, но продолжать

стремиться к намеченной цели, то есть дальше идти по намеченному пути к гостеприимной расщелине в земле, которая ведет в пещеру. Они свернули дюймов на пять к западу, прибегнув к обманному маневру. Мальчишка застыл в неподвижности, словно бы и не глядя на муравьев, которые видели только огромную черную стену. Однако, когда они предположили, что избежали опасности, когда процессия свернула чуть-чуть на север, нога опять скользнула вперед, вторично темная стена неожиданно закрыла путь каравану. Снова началась оживленная дискуссия около башмака, снова подбежали отставшие советники, снова упрямо решили изменить свой путь к цели, удалиться немного от этого живого утеса, обогнуть порожек, на котором сидел Викторино. Не вышло. Наступила печальная развязка — Гулливер окончил игру. Точный удар каблуком превратил в труху мертвого паука и расплющил торжественный живой катафалк. Муравьиное войско потеряло более шестидесяти воинов, оставшиеся в живых разбежались кто куда, между струйками грязной воды и окаменевшим собачьим калом, для беглецов «солнце стало мрачно, как власяница» (Апокалипсис).

— Ты здесь, Викторино?

Он не ответил: Мама и так прекрасно знала, что он здесь, нем и недвижим, убивает муравьев и слушает будоражащую песенку: Кармен Эухения напевает болеро и гладит рубашку в соседней комнате.

Мама окликнула его непроизвольно, может быть, чтобы пробуравить его одиночество тонким уколом своего голоса, одиночество, заглушенное шлепками по тесту из маиса, которое она месила. Сын слышал, как позвякивали о противень капелки ее пота, видел, как пошевеливается от ее дыхания занавеска из кретона, вдыхал аромат молотого кофе, всегда исходящий от ее волос.

Викторино терпеть не мог соседа, жившего напротив, вертлявую и странную сороконожку. Этот тип, наверно, вкрадывается в свою комнату по утрам на цыпочках, потому что никто и никогда не видел в коридоре, как он входит в свою комнату. Выходить — да, он выходил всегда в шуме полудня, всегда поспешно, словно боялся пропустить важное свидание, будто желал избежать всяких разговоров с жильцами, ведь у людей вошло в привычку о чем-нибудь просить, влезать с расспросами в чужую жизнь. К тому же этот мулат не хотел примириться с тем, что он мулат,— каждый свой черный вьющийся волосок он тщательно приглаживал вазелином. На лице его вздымались архипелаги прыщей, а на шее торчала бабочка или болталось яркое желтое кашне. Мама испытывала перед ним суеверный страх, избегала встречаться с ним наедине в длинном коридоре и время от времени почему-то говорила (Викторино интуитивно угадывал, о ком шла речь, хотя она никогда не упоминала его имени, которого наверняка и не знала):

— Он ничего не сделал мне плохого, даже слова не сказал, прости господи, но я его терпеть не могу.

А вот радость всего этого дома исходила из комнаты направо. Там жил мастер-каменщик Руперто Белисарио. Викторино называл его дон Руперто. Жил он вместе со своей женой, двумя дочерьми и попугаем. Болтали, что все, кроме попугая, спят в одной кровати, невзирая на явные отступления от людской морали, состоявшие в следующем:

а) Дон Руперто не был женат на своей жене;

б) две дочери дона Руперто были старше пятнадцати лет;

в) ни одна из них не являлась родной дочерью дона Руперто, а были они отпрысками предыдущих двух «мужей», тоже временных, с которыми жена дона Руперто изведала счастье в былые времена.

Все эти аморальности пересчитывал по пальцам отец Викторино, когда приходил домой вдребезги пьяный, что случалось каждые два дня. Отец забывал, плетя свои пьяные речи, что сам он тоже не женат на Маме, точно так же, как не женат любой из жильцов их многоквартирного дома, которые и слыхом не слыхали о свадьбах, конечно, за исключением толстухи хозяйки, обитавшей в комнате № 1, собиравшей плату за жилье и следившей, чтобы в коридоре вели себя прилично. Толстуха не упускала случая ткнуть в глаза остальным, что она «венчана по-церковному и по-гражданski», как будто эта случайная деталь что-либо значит в нашей стране.

Радость рождалась и исходила из комнаты каменщика Руперто Белисарио, и основным ее источником были не разумные существа, там обитавшие, а попугай, живой граммофон, всегда торчавший на проволоке для сушки белья (иногда он марал только что выстиранную простыню, и тогда на его зеленое оперение сыпались удары метлой). С ним Викторино заключил нерасторжимую дружбу. Он научил птицу говорить убийственно вежливое приветствие: Будь здоров, гад! Это приветствие всегда вызывало яростное неудовольствие, поскольку попугай обращался с ним к каждому, кто проходил мимо. Более пяти посетителей пригрозили воткнуть в дона Руперто нож, если пичуга будет и дальше характеризовать их подобным образом. Дочери дона Руперто только посмеивались в кулак, они знали, что это Викторино обучил птицу сквернословить, но никогда не выдавали его тем, кто был разгневан и оскорблен.

Викторино влюблен в Кармен Эухению, младшую из дочерей дона Руперто. Кармен Эухения знала себе цену, лет ей было не так уж мало, но никто не властвовал над ее сердцем. Викторино прибегал к самым ухищренным уловкам, какие только можно себе представить: ковырял тончайшие щелочки острием ножа в ее двери, кошкой взбирался на шаткую крышу, чтобы только увидеть у нее что-нибудь важное (он удовлетворился бы и одной грудью), когда она мылась в их единственном на весь дом душе, который был расположен там, в самом конце заднего патио, за общей кухней с посудной мойкой, тоже общей. Однако глазам Викторино так и не удалось насладиться ничем, кроме ее голых ног, волнующих ног цвета сладкой темной патоки, но они и так у всех на виду, и поэтому их обозрение не являлось ни привилегией, ни грехом.

А там приходил и Факундо Гутьеррес, отец Викторино Переса, распив не одну бутылочку спиртного. Об этом свидетельствовала его горделиво выпяченная грудь и клоунские поклоны налево и направо; вблизи же от него вообще несло, как от винной бочки. Мама и Викторино уже чуяли, что он без работы.

Достав работенку, он исчезал из трущоб, а позже рассказывал, что в какой-то глухомани водил грузовик. Но обычно он терял работу — такова, видно, участь всех пьяниц не духовного звания. Возвращался он голодный и нахальный, съедал лепешки, которые Мама выпекала на продажу, заграбастывал монеты, которые она копила в пустой жестянке из-под печенья «Квакер», и ложился спать с нею. *И еще беда в том, что он меня бьет; правда, Мама тоже меня бьет, но она по щекам, просто шлепает сильно, а потом, после потасовки, переживает вместе со мной. А вот Факундо Гутьеррес, так зовут моего отца, он преспокойно снимает ремень и только радуется, когда я ору, и ни Христос-чудотворец, ни Мандрейк-волшебник*[1] *меня сегодня не спасут, я удрал из школы, там мне тоже здорово попало, я просто терпеть не могу этих сопляков в матросских костюмчиках, которые*

[1] Персонаж комиксов.

сидят рядом со мной, а Мама обязательно расскажет об этом Факундо Гутьерресу, она не хочет говорить ему об этом, но все равно скажет, и не спасут меня ни Христос, ни Мандрейк.

Факундо Гутьеррес, дыша анисовым перегаром и не обращая внимания на мальчика, прошел мимо, одним рывком поднял кретоновую занавеску. До слуха Викторино донеслись приглушенные слова, которых он не расслышал, но смысл которых уловил. Что делает тут этот мальчишка, в эту пору, забившись в угол как нищий, вместо того чтобы быть в школе? — сказал он. Мама хранила молчание, затаив надежду, что его разгоряченный мозг свернет на другую дорогу, перескочит на другую тему, как часто бывало в таких случаях. Ты сама во всем виновата, привязала его к своим юбкам, как собаку, как раба, он у тебя на побегушках и, конечно, никогда не научится читать, говорил Гутьеррес. Тогда Мама призналась, что Викторино пропустил уроки, но что уже наказан: она дала ему подзатыльник, влепила четыре оплеухи и заставила сидеть в углу, пока не придет время вернуться в школу. Но Факундо Гутьерресу все эти подзатыльники, оплеухи и ссылка в угол показались слишком мизерным и жалким наказанием.

— Пойди сюда, Викторино!

Факундо Гутьеррес стоял и ждал его: злонамеренный и карающий робот, держа узловатый ремень с пряжкой в правой руке, широкий и замусоленный ремень, вырезанный из кожи какой-то волосатой твари — кабана или, может быть, самого дьявола о четырех лапах. Если пытаться бежать, ловко уклоняться от ударов, было бы еще хуже, он это знал. Самое разумное — втянуть голову в плечи, как делают боксеры, например Рамонсито Ариас, прикрыть обеими руками низ живота, чтобы уберечься от самого страшного удара, и подставить плечи, руки, ноги, зад — в общем, все второстепенное — ударам плети. Полезно также орать во всю мочь своих легких, поднимая визг до самых высоких нот,— это начинало тревожить соседей: Мальчишку убивают! И палач иногда умерял свой пыл. На этот раз Викторино предпочел держать фасон, перенести пытку без крика, чтобы не услышала Кармен Эухения и не узнала о его унижении — она ведь в соседней комнате, напевая болеро, гладила рубашку.

Факундо Гутьеррес — не какой-нибудь молчаливый истязатель, а красноречивый садист — обычно сопровождал порку злобными наставлениями, импровизированной бранью и туманными угрозами:

— Ах, ты, щенок паршивый! Да я тебя знаешь как искалечу?! Будешь у меня кровью блевать!

На этот раз отец всыпал сыну гораздо больше, чем всегда. Алкоголь распалил его, как укус осы. Бог смилостивился — вступилась Мама, стала молить, мол, хватит, но остервеневший Факундо Гутьеррес ее не слушал. Тогда Мама бросилась между ними, обозвала его иродом, стала хватать за руки, чтобы помешать избиению: ты его убьешь! И Викторино пустился во все лопатки из дому.

Он побежал выплакаться в дальний угол патио, где никто его не видел бы, не охал и не ахал над ним. Он втерся спиной в расщелину между двумя буграми у подножия корявой акации. Из мойки ручейками струилась мыльная жижа, вонючая вода, стекающая с грязных тряпок и жирных сковородок. Факундо Гутьеррес — его отец, этого не будешь отрицать, но отца он ненавидел всем своим сердцем, сердцем озлобленного негритенка. Никакое другое чувство не стучало так сильно под его ребрами — ни любовь к Маме, ни даже желание видеть нагишом Кармен Эухению — только его ненависть к Факундо Гутьерресу. В склон одного из бугорков врезался продырявленный кувшин и красовался там с горделивым изяществом эллинской ам-

форы — дыру в его цинковом дне Викторино прикрыл венчиком увядшей камелии. *Я все равно ненавидел бы его, всегда ненавидел, если бы он даже не бил меня.* С кучи жухлой землистой листвы рядом, в соседнем патио, соскочила белая курочка с червяком в клюве. Где только шляется растяпа-петух толстухи хозяйки, которая собирает плату за жилье? А Факундо Гутьеррес встал из-за стола, когда они обедали, и наотмашь ударил Маму в присутствии Викторино, да, в его присутствии. Потом перед его затуманенными глазами проплыла Кармен Эухения во всем своем очаровании. Она повихляла бедрами, дразня его, и, тихо усмехаясь, вошла в отхожее место. Он (разочарованный жизнью) вообразил себе дальнейшее, и эта картина излечила его влюбленность. *Факундо Гутьеррес вскочил из-за стола совсем как зверь. И он ударил Маму при мне, при мне, чтоб мне сдохнуть.*

Во дворе послышалось некое подобие карканья, и по земле засеменило что-то зеленое на кривых ножках. Попугай, увидя своего друга избитым и страдающим, спрыгнул с проволоки, чтобы выполнить миссию утешения. Он остановился вблизи лежавшего мальчика, фамильярно кивнул ему и прошепелявил те единственные слова, какие мог сказать: «Будь здоров, гад!».

Викторино забыл о дружбе, которая их связывала, забыл, что птица повиновалась его же многодневной выучке, забыл все доброе прошлое и в ярости швырнул в попугая камнем. Он попал в цель. До самой смерти витал перед ним этот маленький крылатый призрак самого несправедливого из всех его преступлений.

Викторино Перальта

Вот она, — кто будет это оспаривать? — божественная машина, колесница Нептуна, и вот он, — кто осмелится сомневаться в этом? — самый счастливый день в жизни Викторино, единственный день в его жизни, который заслуживает жалкого эпитета «счастливый». Викторино мягко тормозит метрах в пятидесяти от дома Рамунчо, в переулке без парадных подъездов, и опять рассматривает, слева направо, все детали на щитке управления, — так же вожделенно, как новобрачный обозревает невесту, освободив ее от вуалевого наряда и бюстгальтера. Кнопки, рычаги, переключатели, четкие стрелки приборов, металлические ободки, стеклянные кружки образуют на полированном дереве рисунок, не сравнимый даже с самым совершеннейшим произведением искусства. 1) *Измеритель температуры воды. 2) Амперметр. 3) Счетчик оборотов. 4) Регулятор силы света в фарах и подфарниках.*

Никто из членов семьи не верил всерьез, что его отец, инженер Архимиро Перальта Эредиа, проявит такую потрясающую слабость характера и купит Викторино этот шикарный «мазератти», который сын то клянчил у него, то требовал целых четырнадцать месяцев подряд. Никто не верил, хотя Викторино использовал в этой игре наиковарнейшие методы дипломатии, прибегая к всевозможным средствам обольщения, разным хитростям и своим привилегиям первородного сына, правам наследника-мужчины в семье, где, кроме

него, есть только три сестры, бесцветные и хилые девицы. 5) *Камера регулировки воздуха в карбюраторе или смеситель. 6) Показатель уровня горючего в баке. 7) Переключатель света фар. 8) Замок капота.*

Никто не мог разобраться в логике, а тем более во всех сложностях логических умозаключений инженера Архимиро Перальты Эредиа, побудивших его уступить нахальному домогательству Викторино, но во всяком случае загвоздка была не в стоимости «мазератти». Дело в том, что инженер не советуется ни с богом, ни с чертом, когда ему взбредает в голову швырнуть на воздух добрую частицу неисчерпаемого, приносящего огромные прибыли наследства, которое оставил своим сыновьям дон Архимиро Перальта Дахомей, латифундист из рода Перальта и капиталист из рода Дахомей, бывший владелец недоходных имений, ныне использованных под городское строительство (по триста боливаров за квадратный метр), хозяин загонов для скота, превратившихся в тесные ряды двадцатиэтажных зданий, а также собственник ежегодно растущих в цене акций анонимных компаний. Сам царь Мидас показался бы примитивным алхимиком рядом с дедушкой нашего Викторино. *9) Ключ для приведения в движение щеток на ветровом стекле. 10) Двойной спидометр. 11) Кнопка подъема радиоантенны. 12) Рычаг вентилятора, находящегося в ногах водителя.*

Отца Викторино, инженера Архимиро Перальту Эредиа, никогда не смущало поставить свою подпись еще на одном чеке,— его, вероятно, больше сдерживали замечания компаньонов по бриджу: «Ты совсем рехнулся, Архимиро,— только ненормальному может взбрести в голову шальная мысль покупать «мазератти» мальчишке, которому еще нет и восемнадцати, две трефонки». *13) Кнопка включения отопления (на кой черт отопление в нашей тропической жаре?). 14) Рычаг ручного тормоза. 15) Красный рычаг с набалдашником, который справа от меня,— рычаг переключения скоростей. 16) Часы, конечно, швейцарские. 17) Радиоприемник, немецкий, мощнейший; принимает какие-то дикие станции: Уолонгонг, Уолонганг, где находится эта хреновина? 18) Роскошный внутренний багажник, точь-в-точь шкатулка для бриллиантов.*

Решающую роль в победе Викторино сыграло бесценное вмешательство Мэми. Мэми, которая ранее соблюдала нейтралитет, неожиданно сказала во время традиционного чаепития с лимоном: «Почему бы тебе не порадовать Викторино и не купить ему «мазератти» ко дню его рождения, Архимиро?» *Светло-серый, серебристый — о таком я и мечтал; на нем можно выжать (220 показывают четкие цифры справа на спидометре, справа, в самом низу шкалы), можно выжать двести двадцать километров в час. Ну-ка, потягайтесь теперь со мной, подонки!*

Мэми была просто великолепна сегодня утром. Она вплыла в комнату Викторино в газовом облаке своего отороченного кружевом пеньюара, запечатлела на его лбу поцелуй, поздравив с днем рождения, и небрежно сказала: «Взгляни в окно, твой отец купил тебе подарок ко дню рождения». И хотя Викторино уже знал, о чем речь (Джонни, шофер-тринидадец, не удержался и выболтал секрет), он зарычал от счастья, когда увидел его, серебристое авто, такое, каким всегда представлял себе в мечтах, замершее под пальмами у парадного подъезда.

Конечно, только Рамунчо, тигриное сердце, закадычный друг Викторино, должен первым прокатиться рядом с ним в «мазератти», оседлать эту гордость итальянской автомобильной промышленности — красная трезубая корона на сером поле, единственный по-

добный экземпляр во всей Великой Колумбии[1]. Рамунчо, обалдев от восторга, разваливается на сиденье, обтянутом синей кожей, и, как жевательную резинку, перекатывает во рту какие-то дурацкие слова *(Ох, черт, мировая штуковина, мечта Джеймса Бонда, бюстгальтер Брижитт Бардо, плащ Супермена, незакупоренный космический корабль!)*, а потом начинает тыкаться носом в приборы на щитке, отбивая поклоны, как церковный служка. «Мазератти» движется по главным улицам с минимальной скоростью религиозного шествия, огибая углы с помпезной медлительностью фараонова слона, триумфально проплывает мимо общего восхищения очаровательных девушек. Хохот Викторино рушит торжественность церемониала. Рамунчо аккомпанирует ему невпопад своим визгливо-саксофонным ржанием.

— А морда-то какая была у старикашки!

Подвиг, который их веселит, был совершен вчера вечером,— одна из шуток во время веселой гулянки в честь минувших семнадцати лет Викторино, веселых проводов, закончившихся на рассвете. Викторино всегда вскипает, когда говорят о страхе (в колледже безуспешно пытались заставить его читать противную книжонку, в которой, как пояснила учительница, непобедимый Гектор предпочел пуститься в бегство, наподобие пугливого оленя, только ради того, чтобы не напороться на копье Ахилла), когда говорят о страхе как о простом упадке душевных сил, о проходящей и обратимой болезни. Когда инженер Архимиро Перальта Эредиа, его отец, начинает мнить себя после обеда Бертраном Расселом, он развивает перед непросвещенными домочадцами идею о том, что страх — это первоисточник всех религий (творец самого господа бога — не более, не менее), движущая сила истории и всех ее колес, стимулятор научного прогресса, вдохновитель и суть абстрактной живописи. Викторино же ни во сне ни наяву еще не падал в жуткую пропасть, называемую страхом, и не собирается падать, пока жив. Его, правда, часто томило любопытство поглядеть на страх, как глядят в микроскоп, увидеть поближе этот самый страх, застывающий в синеватой бледности лица, стекленеющий в глазах или стегающий ознобом чью-то волю.

Рамунчо подвез его на своем мотоцикле к уединенной темной улице, где тускло светил единственный подслеповатый фонарь. Какой-то старый лунатик ковылял прямо на них. Это не пьяный, подумал Рамунчо, наверно засиделся за картишками — слишком поздний час, чтобы возвращаться с работы. Как раз когда силуэт прохожего приобрел округлые формы под бельмом фонарного глазка (темнота помешала бы им полностью насладиться спектаклем), Викторино вырвался из тени и направил ему в грудь пистолет — мощный, девственно-чистый «кольт», который долго исходил злобой от скуки, лежа взаперти в письменном столе отца.

— Мы — бандиты, руки вверх!

Сквозь черный женский чулок с двумя прорезями для глаз, прикрывающий лицо, Викторино глядел, как скисает от страха этот мозгляк: начинает желейно трястись, хныкать неизвестно зачем, ни в одном закоулке своей души не находит силенок, чтобы поднять руки; от ужаса мочится в штаны.

— Руки вверх, старый хрыч, или получишь пулю в лоб! — сказал Рамунчо, наблюдавший сцену из темноты.

Дрожь старика отозвалась противным щекотанием в желудке Викторино, его чуть было не стошнило, ему бешено захотелось плюнуть трусу в физиономию, пнуть в зад, когда человек стал еще молить:

[1] Союз Венесуэлы, Новой Гранады (современной Колумбии) и Эквадора, существовавший в период 1819—1830 гг.

«Пожалуйста, сеньоры, не убивайте, у меня пятеро детей и двое внучат, не убивайте...». Нет, не стоит того страх, чтобы глядеть ему в глаза.

Добыча свелась к паршивому кошельку, темному от потных рук и нечистых карманов. В нем оказались две замусоленные бумажки по двадцать боливаров и небольшая потрепанная фотография унылого семейства в воскресных костюмах. Викторино с удовольствием сунул деньги Рамунчо, швырнул кошелек в гущу кустарников, а фотографию оставил себе — в качестве сувенира.

— Ну и рожу он состроил!

«Мазератти» величественно катит среди двойных рядов деревьев хаби, смех Рамунчо обрывается пронзительным саксофонным визгом. «Глупый бык, влюбленный в луну», поет радио.

Игра состояла в том, чтобы на долгие-долгие секунды уходить из мира сего. Викторино приходилось играть в одиночку — никто из соседних мальчишек, уже не говоря об этих малахольных ангелочках из монастырского колледжа, не осмеливался состязаться с ним. Никто не мог на столь длительное время хоронить себя в голубом прохладном склепе, подчинять свое дыхание строгому приказу дирижерской палочки, по-рыбьему нырять и плавать, позабыв о земле, бесстрашно открывать глаза навстречу остриям воды. Голова показывалась на поверхности внезапно — светлые пряди волос облепляли лоб, глаза, покрасневшие в упрямом единоборстве, часто моргали.

Джонни, шофер-тринидадец, околачивался у края бассейна не для того, чтобы оказать помощь утопающему — этой помощи и не хотели, и не приняли бы,— а для того чтобы передать наказ, прозвучавший с верхних ступеней лестницы:

— Викторино, сеньора говорит, что...

Он уже знал, что могла сказать Мэми. Что сегодня день ангела Глэдис (Викторино не верил, что может существовать святой ангел с таким дурацким английским именем, но все равно, надо быть на именинах сестры), что сегодня день ангела Глэдис и об этом нельзя забывать. После Глэдис родилась Бетти, а потом Маргарет. И Викторино, сына-первенца, если бы не решительное вмешательство бабушки (донья Аделаида дала формальный обет святому мученику, день которого по календарю совпал с днем рождения ее внука), тоже неизбежно окрестили бы каким-нибудь Ричардом, Рикки,— жуть подумать. Глэдис, Бетти, Маргарет, стрекозявки, посыпанные сахарной пудрой, сплошной тюль и голубые ленты, один день — румяные, другой — желтушные, они успевали за день проголосить все гаммы — и в миноре, и в мажоре,— не умолкая с раннего утра до той поры, пока их, наконец, не укладывали спать вместе с куклами и слезным ревом.

«Сегодня именины Глэдис, ты больше часа плаваешь в бассейне, простудишься, пора одеваться, уже скоро...» Тягучий вечер, скучный и глупый, предстояло вытерпеть Викторино. Слетится целый рой подружек Глэдис — туфли белые, оборки по заду муслиновые — вместе со своими черными кормилицами в безупречно чистых передниках, держащими их за руку, с черными няньками, вздыхающими по бравым пожарникам и шелковым чулкам. Обязательно явится Люси и будет кидать на него томные взгляды, эта худосочная телка, и посылать немые призывы из самых глубин своей нежности, пока ему не придется подойти и угостить ее мороженым, на что она ответит: «Большое спасибо, Викторино» противным голосом, в котором так и слышится «люблютебяявсятвоя». Смехотворный праздник, фальшиво-

приторный и гладкий, как итальянские оперы или кругленькие зверушки Уолта Диснея.

Придут также и взрослые, приятельницы Мэми, источая аромат французских духов и сомнительный запах пошлых романов. Приятельницы Мэми изъясняются на каком-то отрывистом жаргоне — этюды шифровок, шарад и намеков. И давно она пропала? — говорит одна; Умереть мне на этом месте, чтобы я знала,— говорит вторая; Как-то вечером,— говорит третья; Какая семья, какие предки,— говорит четвертая; И какое потомство,— говорит пятая; Со страха, да, только со страха,— говорит шестая; Hony soit qui mal y pense[1],— говорит седьмая, получившая воспитание в Лондоне; Как-то вечером я их приметила издали в супермаркете, я остановилась спросить, сколько стоит fois gras[2], цена виднелась на коробке, а она подошла и поздоровалась со мной, был понедельник, кажется, понедельник, да, понедельник, потому что Альфредо пришел со службы не в духе, самое скверное, что дождь лил как из ведра,— чирикала восьмая. В общем, полная октава в полифонии и пиццикато. Не хотите ли сухого мартини? — сказала Мэми.

Невозможно было весь вечер напролет выносить медоточивые взгляды Люси — у Викторино на лбу уже выросли сладкие сталактиты, а сам он чувствовал, что превращается в торт «Сент-Онорэ». В качестве первого проявления протеста Викторино помочился в огромную компотницу, в эту чашу из мексиканского серебра, в золоченых глубинах которой плавали ананасовые круглячки, апельсиновые дольки, клубника из Галипана (вкус компота, присоленного отправлениями его почек, заметно улучшился; девчонки попивали сок, причмокивая губами от удовольствия. Так ему все это виделось). Для второго акта возмущения послужили две живые жабы, которых он ловко подбросил в лаковые сумки Асуньон и Каридад, двух разряженных нянек-негритянок, которые смешно заголосят по-африкански, когда бородавчатые твари станут отвоевывать свободу. Но скоро ему все наскучило, и он стал уныло бродить по дому, сам не свой в этой красной бархатной курточке, которую на него напялила Мэми,— явно непристойный костюм для будущего астронавта.

Зажглись огни, Викторино укрылся в тени манговых и лимонных деревьев в патио. Контакт с природой навел его на поистине гениальную мысль. Как раз перед ним находилось окно в комнату с подарками, задрапированное волнистой гардиной. Одна рука, его рука, просунется в комнату и, будто с неба, сбрызнет бензином софу, которая рядом с гардиной раскинула свои подушки. Потом эта же самая рука, его рука, с апельсинового дерева, которое своими ветвями прислонилось к стене, швырнет зажженную спичку в проем окна. Огонь, как известно,— первоисточник всех изменений материи (по Гераклиту), и его пляшущие язычки побегут по шелку софы; огонь — символ святого духа, и его алчущие коготки схватят скатерть с подарками. А цветастая оберточная бумага послужит славным горючим.

Праздник Глэдис обратился в страницу Ветхого Завета. Карающий гнев Иеговы посеял панику, гурьба вспугнутых девочек-манекенчиков, визжа, бросилась в патио; за ними понеслись, сопя и топая, как носороги, их черные няньки. Расторопный Джонни вмиг организовал пожарную команду из прислуг, которые бежали с пустыми ведрами к бассейну и возвращались, расплескивая второпях воду и бормоча: «Ах, боже мой», к мятущимся языкам огня. Кто-то позвонил пожар-

[1] Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает *(франц.)* — девиз английского ордена Подвязки.

[2] Гусиная печенка *(франц.)*.

никам, и вскоре в ночи рассыпался их колокольный звон, совсем как в кино. Глэдис, Бетти и Маргарет, целые и невредимые, плакали навзрыд в гараже среди инструментов и покрышек.

Мэми завладела центром сцены — задыхающаяся, растерянная, роковая, бледная Медея, которая излила волнение в крике, наполнившем сына радостью и гордостью:

— Викторино! Где Викторино?

И когда она обнаружила его рядом с собой, мир и покой дивными голубками вновь вселились в душу Мэми, улыбка опять возвратила ей весенние краски, наполеоновские приказы зазвучали на поле действий, и через пять минут в доме восстановился полнейший порядок.

Викторино Пэрдомо

...И хотя команданте[1] Белармино Солис,— разумеется, его зовут не Белармино Солис,— руководитель нашей Боевой Тактической Единицы (БТЕ), думает, что мне еще рано бриться, конечно, он ошибается; вон какая у меня щетина, побреюсь и буду выглядеть не менее солидно, чем синещекие испанские священники. В молодости это лезвие бритвы было лезвием «жилетт», а теперь — просто зазубренный скребок, но другого у меня нету; из кисточки пучками вылезают волосы, зеркало же как прокаженный больной — одни щербины и язвы, собственного лица не разглядеть. Я ушел из дому в этот скверный, прямо скажем, дрянной пансион, чтобы...

Викторино стоит перед зеркалом. С трех часов ночи он вертелся в кровати и не мог уснуть, мысли оттоняли сон. Викторино еще раз на собственном опыте убеждается, что самое неприятное в жизни — не действие как таковое; самое неприятное — это скребущее душу ожидание, мысленное воспроизведение того, что еще не сделано, но должно быть сделано в ближайшие часы; воспроизведение — шаг за шагом — своих будущих поступков, которые надо точно представлять себе; все свои будущие мельчайшие движения, которые должны стать просто инстинктивными: ты вытаскиваешь револьвер в 4 часа 27 минут, ты входишь в эту дверь в 4 часа 27 минут, ты...

...Чтобы стать независимым от семейного гнета, от родительской опеки, от материнской любви, от домашних споров; из кисточки волосы лезут просто клочьями, но я все-таки заставлю поработать эту нейлоновую патриаршью бородку. Однако, если я сейчас не сосредоточусь на бритье, если не сосредоточусь, то обязательно порежусь и не обойтись тогда без йода и...

Самое главное — знать пути отступления, снова и снова повторял вчера команданте Белармино Солис, руководитель БТЕ. Каждый должен точно знать, куда ему идти, когда будет завершена боевая операция. Команданте заставил всех предварительно, шаг за шагом, отработать предстоящую операцию, крепко запомнить маршруты, по которым должны скрыться автомашины и люди,— маневры продолжались три

[1] Командир *(исп.)*.

промозглых утра подряд. А в полуденные часы, развернув план, который он сам начертил, Белармино опять намечал — запомните раз и навсегда! — невидимые пути своим указующим перстом: Вот отсюда ты побежишь, Вот здесь будет стоять машина с включенным мотором, Револьвер держи наготове, Курок взведи, но стреляй только в случае необходимости, Не забудь — только в случае необходимости.

...Йода и ваты, ох, черт, так и есть, порезался, и лезвие тупое, и думаю не о том, и руки тоже как деревянные; резанул прямо по подбородку, сначала это было узкой кривой царапиной, а вот теперь — красная мокрая черта, которую видно даже в этой зеркальной серости, неприятная кровавая нитка, ползущая вниз по...

Во время операции, продолжал теоретизировать Белармино, главное — трезво мыслить и четко действовать. Конечно, невозможно предсказать с абсолютной точностью развитие планируемых событий. Футбольный тренер тоже не может точно предвидеть, как практически закончится игра, которая продумывалась и разрабатывалась до мельчайших деталей. Как угадать непредвиденные финты, темп, маневренность другой команды? Как угадать, в данном случае, ответную реакцию других людей (нападающих), которые неизбежно вмешаются в наши боевые действия? Даже самая продуманная операция при ее выполнении, продолжал команданте Белармино, совпадает не более чем на 40 процентов с предварительным расчетом, остальные 60 процентов могут быть изменены теми людьми, которые вмешаются в дело непредвиденно, или какими-то пустяшными случайностями, которые могут помешать, а бывает, и облегчить развитие событий. Команданте Белармино — дока, боец, каких мало.

...По подбородку вниз к горлу; я прижимаю край полотенца к подбородку, царапина перестает на мгновение кровоточить, в следующую секунду опять появляется кровь, опять оставляет на подбородке красную дорожку, тогда я решаю не обращать на нее внимания, намыливаюсь для следующей бритвенной манипуляции, кисть размазывает кроваво-розовую пену — сливки, сбитые с клубникой...

Стрелять только в случае необходимости, настойчиво повторял команданте Белармино. Стрельба порождает новые проблемы, вынуждает совершать непредусмотренные поступки, насильно навязывает иные пути, звуки выстрелов привлекают любопытных, враг забывает, что рискует собственной шкурой; прежде всего надо внушить им страх, запугать, деморализовать: Не подходить или мы выпустим из вас кишки! (Это звучит более впечатляюще, нежели: Мы всадим в вас пулю!); Мы размозжим вам черепа! (Это более убедительно, чем: Мы вас прикончим!); Во что бы то ни стало надо избегать смертей и ранений, товарищи, но если развитие операции пойдет таким образом, что нам придется открыть стрельбу, чтобы успешно выполнить задание; если нам придется убивать, товарищи,— тот трус, кто этого не сделает, Белармино говорил, а взгляд его стал жестким от какого-то воспоминания.

...С клубникой сливки, я обдаю лицо холодной водой, теплой тут нет, и начинаю одеваться, хотя одеваться еще рановато — до прихода Валентина остается почти час; да, я сегодня слишком рано встал, но лучше раньше встать, чем вертеться на кровати, как семинарист, которого одолевают видения голых женщин; а на правом носке у меня дыра, и из нее высовывается большой палец. Мать бы мне сейчас ласково приказала, надев очки для чтения: ну-ка дай сюда...

Операция назначена ровно на 4 часа 27 минут дня. В это время банк будет готовиться к закрытию. Целых десять мучительных часов еще остается до того, что есть будущее, настоящее, гипотеза, действительность, спорт, смерть. Викторино предпочел бы, чтобы это был не

банк. Он вовсе не против того, что надо уничтожать мразь, которая называется частной собственностью, но он предпочел бы, чтобы это не был банк, чтобы налет даже внешне не смахивал на обычный грабеж, которым занимается всякое отребье; а может быть — просто мешают мелкобуржуазные предрассудки. И все-таки Викторино предпочел бы, чтобы это был не банк, даже если бы другая операция была еще более рискованной и опасной. Ему поручается кассир центральной кассы, толстый сеньор с бакенбардами. Все движения кассира до точности изучены во время многодневных маневров БТЕ, его захватят врасплох в последнюю минуту, когда он будет считать банкноты, раскладывать их в стопки, соответственно цвету и запаху, быстро шевеля руками, потому что подошло время закрытия банка. Викторино молнией кинется к решетке с револьвером в руке, нацелит ему дуло прямо в лоб и в двух дюймах от его ушей прокричит: «Руки вверх, не сопротивляться!» Толстяк тотчас побледнеет и задрожит, механически вскинет руки вверх, как марионетка. Викторино предпочел бы, чтобы это не был банк. Белармино за его спиной займется более опасным делом: он разоружит полицейского охранника, его голос отчеканит с приглушенной яростью: «Бросай револьвер или я прострелю тебе сердце, несчастный!», и тот бросит револьвер. А может быть, и не так. Может быть, как раз в то время, когда часы пробьют 4 часа 27 минут, полицейский радиопатруль как раз остановится напротив банка из-за какой-нибудь ерунды, которая ускользнет из поля зрения БТЕ... А в общем, каждый будет точно знать, что ему надо делать; каждое колесико отлично сработает, черный «шевроле», угнанный двое суток назад из гаража адвоката Москеры, будет стоять на положенном месте с измененным номером,— его приведет Валентин и поставит в двадцати метрах от банка, оттуда сам он будет виден за рулем, с ним вместе будет Карминья со своим полуавтоматом. Черт возьми, а ведь это было бы самоубийством — начинать операцию на виду у полицейского патруля. Викторино поищет глазами команданте Белармино, наверняка будет дан приказ отступать; вот Белармино уже пересекает улицу, пригнувшись, с тяжелым пулеметом в руках; шофер патрульной машины глядит на Викторино, о чем-то совещается с вооруженными полицейскими, которые сидят сзади; Белармино останавливается посреди улицы и начинается... Или нет, не так. Может быть, их кто-нибудь уже предал — один из членов БТЕ, никто никогда не узнает, кто это был,— и в стенах банка уже раскинуты грязные сети ловушки: Викторино быстро и уверенно войдет с револьвером наготове, так же быстро войдет Фредди через боковую дверь, но толстяка кассира не будет на месте, два пулемета застрочат в них со второго этажа, остальные дадут очередь с улицы; Белармино дернется на ходу и покатится прямо к ногам Викторино, обливаясь кровью. А может быть, и не так. В общем, возможна всякая развязка, любой исход связан со смертельным риском, мысль о котором порождает напряжение всех нервов, неприятные колики в желудке, позывы в кишечнике, желание быть уже схваченным, желание быть уже мертвым.

...Дай сюда, заштопаю; я одет в темную рубашку, как большинство наших, второй предмет моего шикарного костюма — рыже-коричневые брюки; револьвер мой — врагам на страх, я не раз потрошил его механизм, как студенты-медики потрошат трупы на столах в анатомичке, винтик за винтиком, косточка за косточкой; я стрелял из него по пустым консервным банкам на пустыре, близ Камури; он просто сросся с моей рукой. Слиться воедино со своим боевым оружием — первая заповедь бойца-активиста, говорит Белармино. Не будет ли у меня оттопыриваться карман, когда я выйду с ним на улицу? Валентин придет минут через десять...

На вчерашнем вечернем заседании обсудили последние детали, но вышла одна неувязка с товарищем Флорианом, студентом биологического факультета (Викторино знает его потому, что однажды вечером видел у него под мышкой книгу, которую не следовало бы открыто носить). Флориан слушал одним ухом то, что говорилось, и панически поглядывал на окно — может быть, он тоже предпочитал, чтобы это не был банк. Белармино сделал вид, что ничего не замечает, ковал свои инструкции как истый кузнец, а в конце сходки при прощании сказал: «Я решил, что товарищ Флориан не будет участвовать в завтрашней операции»,— так сказал Белармино, сухо, без лишних слов. Флориан испугался немного, смущенно потоптался у двери, но возможно, что в глубине души он был даже доволен, ничего не сказал в ответ. Вместо него пойдет Карминья. Команданте Белармино доверительно признался Викторино в тот единственный раз, когда они говорили наедине, что он не сторонник вовлечения женщин в вооруженные нападения. Женщины великолепны в разведке и подготовке активных действий, они способны выудить любые секретные данные у солдат или полицейских, они незаменимы, когда надо постучать в дверь и добиться того, чтобы открыли без шума, но подумай о таком непредвиденном случае, когда приходится пускать в ход физическую силу, которой у них ни на грош, ты только подумай,— так говорил ему конфиденциально Белармино.— Кроме того, их присутствие привлекает чрезмерное внимание — на следующий день выходят газеты с огромными заголовками о какой-нибудь таинственной рыжеволосой девице или о налетчице в черной блузе, но, приятель, кто будет спорить по этому вопросу с теми, кто готовит нашу политическую платформу? Тебя могут обвинить в дискриминации, или сентиментальности, или в мелкобуржуазных отклонениях, тебе напомнят о Розе Люксембург, и о Пасионарии, и о Селии со Сьерра-Маэстры[1] или даже о Коллонтай... А что касается самих девчонок из БТЕ, из молодежной организации, они готовы выцарапать тебе глаза, если ты вознамеришься помешать исполнению их героических мечтаний,— так закончил Белармино и схватился руками за голову. Пойдет Карминья, как дважды два четыре, в своем черном свитере и со своим сороказарядным полуавтоматом.

...Через десять минут. А вот и Валентин, пунктуальный, немногословный, непреклонный, в черном костюме, ни дать ни взять король Филипп II.

— Готов? — спрашивает он меня.

— О'кэй.

Это были какие-то сероватые пичужки плебейского вида, не имевшие названия; во всяком случае Викторино ничего не нашел об этих птицах в своем учебнике зоологии, написанном неким французским иезуитом, и даже Мать не знала, как они называются. Сначала Викторино прятался в темном зале, представляя себя Портосом, мушкетером-гигантом, бесстрашным воякой, не боящимся ни темноты, ни привидений, правда совсем немножко боящимся крыс, которые копошились в выгребной яме,— мохнатые подпольщики с челюстями-гильотинами. Потом Викторино высунул голову за калитку, которая выходит на улицу, и превратился в монаха-затворника, наблюдающего из-за решетки своей кельи, как на глазах гибнет мир. Он смотрел, как мимо

[1] Селия Санчес — активная участница кубинской революции, ныне входит в состав Революционного правительства Кубы.

плелись усатые, вдрызг пьяные солдаты-патрульные, как поливали друг друга словесными помоями кухарки, как возвращались из школы невежественные мальчишки с ослиными ушами на затылке. Когда надоело быть монахом, Викторино смастерил самую простую ловушку для птиц — картонная коробка и тоненькая палочка, подпирающая ее снизу, вот и все; однако щель между приподнятой коробкой и цементным полом была настоящей пастью крокодила. Маисовые зернышки тонкой строчкой прошивали землю, вели прямо в коробку, к самому основанию палочки. Другой конец шнура, привязанного к палочке, находился в руках Викторино, который сидел неподалеку с книгой на коленях, делая вид, что углубился в чтение.

Первым попался самый здоровый, самый нахальный — вождь нападающего племени. Покружившись, он спустился на землю и стал клевать зерно за зерном в быстром темпе маятника; прыгнул под коробку, не подозревая ни о каких кознях, и тут же, ошеломленный и разъяренный, оказался в руках Викторино, под градом слов Викторино:

— Видишь, что с тобой случилось, болван. И все потому, что ты болван. Слыхал ты когда-нибудь, что существуют человеческие существа, которые хотят попусту разбрасывать свой маис, чтобы кормить каких-то летунов? Маисовые зернышки надо собственным горбом зарабатывать, дружочек.

Викторино сел на стул, держа пленника в пригоршне, и продолжал свои наставления:

— Теперь ты находишься в заключении, как мой отец и разные глупые люди, которые считают, что у нас в стране есть свобода, а у них есть крылья, чтобы летать. К счастью, я не какой-нибудь диктатор, и, пожалуйста, не верь клевете. Я Черный Корсар, а Черный Корсар — это совсем другое.

Дойдя до этого места в своей речи, Викторино опустил птицу живой и невредимой на землю и хлопнул в ладоши, чтобы заставить ее взлететь. Пичуга один миг колебалась, боясь попасть в новую западню: дикий инстинкт не верил в людское великодушие. Не верила в него и Микаэла, кухарка, которая ворчала, тайком наблюдая сцену из-за жалюзи:

— Вот дурной мальчишка! Целых полчаса сидел, чтобы поймать птицу живьем, держал ее в руках, прочитал ей заупокойную, а потом взял да отпустил.

Тучами, не самыми черными, но мешавшими жить Викторино, были бронхит и вечная простуда, смена липких платков, вынужденные заходы в бухту соплей и мокроты, осипшая глотка, будто обложенная наждачной бумагой и усеянная рифами; неуемный кашель, бившийся в ребрах; слабость после озноба. Стоя на корме бригантины, подставляя всем ветрам таран своего лба, опираясь на эфес своей шпаги, воткнутой в качающуюся под ногами палубу, Викторино еще раз высморкался и направил подзорную трубу на горизонт, где черными точками мелькали чайки, которые, ясное дело, кружили над загадочными островами и их голыми обитателями, украшенными перьями. Сейчас разлетятся в стороны осколки коралловых атоллов и обломки деревьев — сейчас разгорится бой с пиратами-соперниками: с одноглазым и кровожадным по кличке Волк Вожак, а также с Желтым Камзолом, у которого деревянная нога. В объятиях моря бесновалась ночь, ночь цвета красной свеклы, а змеи, скользившие с багровой луны, бросались на страшные головы акул. Осипший голос Викторино прорывался сквозь грохот литавр, в которые били волны, и сквозь тухлые испарения, которые неслись с ближайшей помойки:

— Зарифлять паруса! Спускать якоря!

Пальцы правой руки Викторино Ди Рокканеры, Черного Корсара, когтями леопарда вонзились в рукоятку шпаги. В лице не дрогнул ни один мускул. От дыма пушечных выстрелов засвербило в легких или, может быть, это от кашля, от проклятого кашля, который сотрясает все ребра.

— Право на борт! — закричал с фок-мачты матрос, прилепившийся к самым звездам.

Фрегат Пьера Жильяка, страшнейшего из флибустьеров Мартиники, устремился против них на всех парусах, вот он уже у них по правому борту, уже сверкает выстрелами аркебузов, уже блещет сталью обнаженных беснующихся шпаг.

— На абордаж, мои храбрые львы, на абордаж!

В разгар баталии вошла мать. Викторино не слышал ни ее шагов, ни скрипа открывшейся двери. Мать вошла, нагруженная книгами и апельсинами.

— Ты опять сидишь здесь, в патио? Хочешь заработать воспаление легких?

Мать заставила его пройти с нею в темную комнату, положила на буфет фрукты и книги, за исключением одной, из которой она вынула письмо и сказала:

— Это от Хуана Рамиро.

Хуан Рамиро Пэрдомо, отец Викторино, сидел в тюрьме, в Сьюдад Боливар, на берегу реки Ориноко, и, наверное, совсем не думал о том, что Черный Корсар однажды придет и освободит его. Мать зажгла свет. Тогда она еще не надевала очков для чтения, она выглядела такой красивой, с этим письмом в руках — как ирис, серьезный и печальный. Она вытащила платочек из выреза блузки и, всхлипывая, уткнулась в его кружева.

— Это от Хуана Рамиро,— сказала она, оправдываясь. В патио вернулись серые пичужки в поисках корма и обмана и удивились, что там нет Черного Корсара. Черный Корсар плакал навзрыд, чтобы не отставать от своей Матери.

Викторино Перес

Вовсе это не деревья, вовсе это не река. Нет, это не деревья, они не достойны того, чтобы принадлежать величественному царству природы, эти кустарники со скрюченными ветками и мохнатыми листочками, эти железные прутья крапивы, о которые точат свои когти и острые зубы дикие коты и ведьмы. Разве могут принадлежать царству флоры эти камыши, забрызганные жирной блевотиной грузовиков, или эти рахитичные стволы с какой-то серой рванью вместо кроны, а тем более эти нахальные кактусы-опунции, которые так и норовят своими колючими лепешками ткнуться вам в лицо, будто зеленые летучие мыши. Викторино широкими скачками несется вниз по склону, поросшему чахоточной растительностью, раздвигает руками темноту, чтобы скорее удалиться от желтой громады тюрьмы, от криков и фонарей своих преследователей, от револьверов, которые снова

стали палить по змеиным шорохам в кустарниках. Он выбрался к берегу реки, которую трудно назвать рекой,— сточная заболоченная канава, густой поток, который во тьме разветвляется, опять сливается, упрямо катится вперед, неся в себе вонь тухлой рыбы и дохлых ослов, терпкий запах мочи и нестираных штанов, издевательский смрад, который поганит юг нашего города.

Он пробежал около двухсот метров вдоль так называемой реки, а может быть, более двухсот; жандармам уже не найти его, хотя вдруг вспыхнуло утро. Теперь он уже почти в самом низу глубокого оврага, прорезанного наискосок зарослями камыша и украшенного на той, крутой стороне большим жилым домом. Издалека до него доносятся крики, приглушенные расстоянием; лай собак, бьющихся мордами о недвижные решетки своих дворов. Еще два выстрела — стреляют уже напропалую, по зловонному призраку воды.

Во что бы то ни стало ему надо пересечь так называемую реку. На нем черные штаны и рубаха грустно-серого цвета, оживляемая широким лиловым поясом, на ногах коричневые, прошитые шнуром мокасины — все так, как было, когда его схватили, Бланкита, в твоих объятиях.

Он закатывает штаны до колен, но туфель не снимает, чтобы не порезаться об осколки бутылок, не напороться на злостные острия пустых консервных банок, на ржавые ножи, которые торчат под тошнотворной жижей. Не колеблясь, он идет вброд по так называемой реке. Его ноги по колена утопают в патоке, истекающей из клоак; течение вяло похлопывает всплесками по голым икрам беглеца — мерзкое ощущение, Бланкита.

На другом берегу Викторино не находит вообще никакой зелени, один голый склон. Карабкаясь вверх по откосу, он вдруг чувствует, как у него начинает ныть нога, которую он подвернул, когда прыгал с тюремной крыши. Внезапно его встречает в штыки колючая проволочная изгородь. Он оказался в самом конце заброшенного пустыря — голая земля: ни травы, ни людей, ни кур, ни собак. Единственный, всеми покинутый здешний обитатель — каркас старого автомобиля, красного красавца в молодости, изъязвленной железной рухляди ныне. Колеса без покрышек — смехотворные паралитики — стоят на четырех кирпичах. За скелетом автомашины поочередно вырисовываются: наглухо забитая дверь, над ней фонарик — просто лампочка, и затем водопроводная труба, крюком торчащая из стены. Викторино открывает кран и обливает водой свои загаженные туфли, моет, трет ноги, потому что к коже прилипла отвратная сальная пленка так называемой реки. Меж тем утро начинает разгораться. Легкое тарахтение повозки летит сквозь новый свет дня. Викторино расправляет плечи в солнечном луче улицы, нехотя отрывается от стены и идет, насвистывая доминиканский меренге[1], к углу улицы Пелаес.

Удаляясь от пустыря, Викторино тщательно обшаривает карманы брюк. В левом кармане он обнаруживает истертую пепельного цвета монетку, один боливар, которую всунули ему ловкие руки педераста по кличке Огненная Роза, подкравшегося к решетке камеры. В правом кармане он нащупывает нож, который ему преподнес колумбиец Камачито, во всеуслышание объявивший, что он рад познакомиться с ним, с Викторино. Газеты только и говорят о вашей милости, сказал Камачито, церемонный и благовоспитанный индеец-киче, не то что здешняя шпана. Камачито, узнав о плане побега, созревшем в голове Викторино, расстался со своим ножом, заставил Викторино запомнить адреса некоторых своих земляков. Они живут в районе Про Патриа,

[1] Танцевальная мелодия.

вашей милости они могут понадобиться, сказал Камачито. *А в заднем кармане я храню твой портрет, Бланкита, моя любовь, портрет, который ты сумела передать мне со своей запиской. Записку я порвал, старуха, в ней много лишней ерунды.*

Весь вопрос в том, чтобы найти тебя, Бланкита, потерянную твою улыбку среди двух миллионов сволочных рож. Викторино помнит наизусть бессвязный конец твоей писульки, полученной в тюрьме: «Я больше не могла выносить насмешки соседей, голубок, они смотрели на меня, будто я сожительница самого дьявола, я знала, что они думают: жена вора, жена бандита, жена врага общества № 1, будто бы мне важно, что обо мне думают эти свиньи, или то, что ты сделал, или то, что ты завтра сделаешь, для меня важен только ты и ничего больше, кроме тебя, как говорится в песне, я больше не могу выносить этих таких пристойных и таких бессердечных людей, я сегодня же отсюда уезжаю, голубок, уезжаю в гостиницу, которая находится в Сан-Хуане, тысяча поцелуев».

Из-за этих, из-за поцелуев он и порвал письмо. Представь себе, Бланкита, если бы жандармы при обыске нашли его и, случись беда, прочитали бы про это, про поцелуи, он обязательно пришиб хотя бы одного из них. Ты больше ничего не говоришь, кроме того, что переехала в гостиницу, находящуюся в Сан-Хуане, Бланкита, как будто Сан-Хуан какой-нибудь переулок, а не район тысяч домов, гаражей, гостиниц, пекарен, баров (закрытых от 5-ти до 6-ти), булочных, борделей, кино, биллиардных, магазинов, принадлежащих туркам, и вилл, принадлежащих богачам. В своей записке, Бланкита,— и как ты только могла подумать, что Викторино так быстро сдастся? — в своей записке ты пишешь, что газеты кричат о его задержании как о великом подвиге полиции,— мол, вооруженный бандит, очень опасный; держат его в одиночке, за семью решетками, охраняют день и ночь, и никому не удрать при таких условиях,— именно так ты думала, Бланкита. Да, но гостиница, говоришь, в Сан-Хуане? Она все равно отыщется, Бланкита.

Пока Викторино быстро шагает по пути к Сан-Хуану, улицы города заполняются грудами овощей и фруктов. Грузовики, пылающие помидорами и красной капустой, тяжело катят к рынку Кинта Креспо. Кабатчик-португалец — ранняя пташка — с вызывающим скрежетом поднимает металлические жалюзи своего заведения. Викторино останавливается выпить чашечку кофе, его пустой желудок просит передышки. Негр в рваных альпаргатах, подающий кофе, чешет в затылке, возвращая сдачу с истертого боливара. Две проститутки, тоже ранние птахи, остервенело бранятся в подъезде старого дома: материалистки, они ругаются не из-за человека, а из-за денег, готовы вцепиться друг другу в волосы.

Викторино наталкивается на рахитичного городского полицейского, на котором болтается не по росту большой голубой мундир. У Викторино так и чешутся руки отобрать у него револьвер. Немного дальше вдруг видится знакомая физиономия, лицо одного типа верхом на мотоцикле. Он, видно, ждет чего-то или кого-то, Викторино вспомнил: это парень из булочной. Столичные мотоциклисты сливаются в единую семью, которую объединяет общность риска и грохота, профессиональная ненависть к выхлопным газам автобусов и ворчливым проклятиям стариков. Викторино в свои юные годы был тоже мотоциклистом, из тех, которые дерзко вырывали сумки и пакеты у сеньор, не стесняясь остальных прохожих.

— Я на мели, кореш, подкинь деньжат.

Тип на мотоцикле глядит на него в растерянности, тип не знает ни его имени, ни занятий, никогда не слышал раньше звука его голоса,

а вот лицо, да, это лицо он видел раньше, не раз мелькавшее мимо, но ему вспоминается и другое лицо, виденное позже, уже не в движении, кто знает где, ему страшно сопоставить это лицо с портретом бандита, напечатанным три дня назад в газетах. Кроме того, он читал, тоже не зная где, что бандит пойман, да, он об этом читал, эта уверенность помогает ему отбросить всякую мысль об опасном сходстве, и рука у него не дрожит, когда он протягивает просителю пять боливаров.

— Обязательно отдам, как увижу, кореш,— искренне говорит Викторино.

И он продолжает свой путь, Бланкита, прямо к твоей лучшей подруге. Ее зовут Таня, но какой дурак поверит, что ей еще в колыбели дали это имя польской эмигрантки, Таня, которая работала с тобой, когда вы обе ловили клиентов в ночном кабаре «Рай». Викторино вытащил тебя из этого дерьма и нашел тебе жилье, Таня знает адрес норы, в которую ты забилась, это точно.

Таня действительно знает. Дверь полуоткрыта, сама она босиком, в нижней юбке. Кто там, бормочет она плаксиво, она, конечно, думала, что это полиция, у Тани должны быть свои счеты с полицией или с каким-либо бравым малым, который нежданно вернулся, или с булочником, она кое-что должна булочнику. Ее страх обращается в панику, когда она видит, что посетитель — не одна из этих второстепенных опасностей, а сам Викторино. Таня осведомлена обо всем, о нападении на магазин, о смерти (его нельзя было не убить) итальянца, о блестящей поимке преступника, и вот вдруг сам преступник глядит на нее испытующе. Таня тихонечко шепчет его певучее название, название отеля: «Лукания», мальчик, «Лукания» — и захлопывает у него перед носом дверь, словно перед самой бубонной чумой.

Он должен был бы вспомнить об этом укромном уголке, если бы не был таким безголовым негром, потому что именно здесь они провозились несколько суббот, когда ты, Бланкита, была еще девочкой из кабаре, а не его женой. Упомянутый отель — это всего-навсего кривобокий домишко, хотя и двухэтажный; присматривала за ним зобатая, одетая в черное старуха, которая была привратницей, хозяйкой или чем-нибудь похуже. Сейчас только семь утра, дверь заперта изнутри на ключ и засов — в эту пору едва ли взбредет кому-нибудь в голову просить приюта в отеле «Лукания».

Наконец, ему открывают. Во главе заведения уже не толстая старуха в трауре, а итальянец, который арендует этот дом и от которого разит сыром. Чего вам надо? Новый домоправитель не позаботился о том, чтобы сменить неряшливую обстановку, которая ему досталась,— вот там стоят те же самые кресла с торчащими пружинами, висят те же обшарпанные занавески, в той же никелированной раме сидит Освободитель на своем белом коне, который стал теперь серым в яблоках от того, что скопища мух засидели несчастную лошадь. Чего желает сеньор? Худая взъерошенная служанка подметает маленький дворик худой взъерошенной метлой. Метла и служанка похожи друг на друга как две капли воды. Чего вам надо, per la Madonna?

Эта сеньора тут не живет, говорит итальянец. Ты правильно сделала, Бланкита, что назвала фальшивую фамилию,— газеты часто публиковали твое имя рядом с именем Викторино. Викторино вспомнил о твоем портрете, вытащил его из кармана и показал владельцу отеля.

— Она моя сестра, я пришел из Рио-Чико, от старой матери, срочное дело.

Итальянец косит глаз на твою фотографию, Бланкита, его толстый палец показывает Викторино на угол второго этажа, на ту самую ком-

нату, куда вы уединялись, ты и она, разгоряченные, после того как всю ночь миловались за столом в кабаре «Рай». Викторино идет, хромая, к лестнице, нога побаливает, но он четырьмя прыжками взлетает наверх, стучит в дверь кулаком, раз, два, три, ему не отвечает твой голос, Бланкита. Ему отвечает хриплый рев мужчины:

— Кой черт лезет в такую рань? Твою мать...

Тем самым вечером Викторино познакомился с Крисанто Гуанчесом, не подозревая, какую роль этот первый встречный — в ту пору разговорчивый и обтрепанный мулат — сыграет в его жизни. Викторино прогуливал почти все уроки. Мама смотрела сквозь пальцы на его шалопайство; отец Факундо Гутьеррес теперь в счет не шел — вот уже год как он исчез из их многоквартирного дома, на сей раз навеки, унеся с собой груз тяжкой ненависти Викторино.

Викторино спустился почти до самого дна оврага в поисках Водяной Мартышки, своего catcher[1]. Мартышка никогда не убегал из школы, потому что вообще не был записан ни в какую школу. Как бы управлялась Нарсиса в доме без Водяной Мартышки? Водяная Мартышка собирал хворост, Водяная Мартышка таскал клиентам выстиранное белье, Водяная Мартышка поднимался в город купить рису и бананов, Водяная Мартышка помогал ей присмотреть за своими тремя братишками, тремя чертенятами, которые лазали, голопузые и чумазые, среди валунов и совали в рот что попало. Четыре сына Нарсисы были так не похожи друг на друга, что никому и в голову не пришло бы спросить — родные ли они братья. И к тому же никто из четырех не пошел в Нарсису, все пошли в отца, а посему, значит, отец у них не был общим.

Викторино больше нравился домишко Нарсисы, грязная лачужка под ребрами моста, чем многоквартирное обиталище, в котором он жил. Мама смотрела на него со снисходительным презрением, когда он высказывал эту дичайшую мысль в ее присутствии. Глупый мальчик. Домик Нарсисы и Водяной Мартышки построен из каких-то жалких обломков. Откуда только раздобыты эти куски картона и жести, из которых сложены стены? А пол? Пол — голая земля да галька из оврага. А потолок? Две рогатины, а сверху листы ржавого цинка, которые, вон, везде валяются. Задней же стеной служил вертикальный земляной срез оврага. Когда дождя не было, овраг водой не наполнялся, но если лило как из ведра, красный поток ревел тигром, грязными кобылами вставал на дыбы, грозил снести людские поделки — иногда и сносил. Вверху, на мосту грохотали грузовики и визжали клаксонами лимузины. И тем не менее Викторино предпочитал эту пещеру, въевшуюся в склон оврага,— только не комнату в их доме, такую же, как остальные двадцать три комнаты, выстроившиеся в ряд вдоль коридора, похожего на тюремный ход. Маме этого не понять.

— Пошли, catcher, сыграем по одной!

Водяная Мартышка встал с циновки, где он обычно лежал и размышлял, пока Нарсиса замачивала простыни в корыте, окруженная голоштанными сынами и говорливыми соседками. Водяная Мартышка одним прыжком выскочил наружу и пошел вверх следом за Викторино. Они карабкались по узкой и крутой тропке, которая рождалась на дне оврага и кончала существование там, наверху, откуда долетали крики бродячих разносчиков. Викторино решительно лез вверх, Водяная Мартышка отставал от него шага на три, когда они вдруг увидели,

[1] Игрок в бейсболе, ловящий мяч *(англ.)*.

как по этой же самой тропке спускается вниз Крисанто Гуанчес, или Качируло — так он им тогда представился, так они с ним и познакомились. Крисанто Гуанчес загородил им дорогу, схватившись левой рукой за лиану, чтобы случайно не соскользнуть в обрыв.

— Вы здешние? — сказал он.

Видать, этот малый постарше нас, подумал Викторино. Не потому, что он выше или там здоровее — нет, он и не высок и не здоров. Просто голос хриплый, рука натруженная, костлявая, и глаза острые. Крисанто Гуанчес был мулатом, но не без примеси индейской крови, с острым носом, как у белых, с настороженным и колючим взглядом, как у негров; потухший окурок нагло подрагивал в углу рта. Одет он был в брюки бывшего цвета хаки и в землистую рубаху с дырой над правым соском.

— Я живу тут, под мостом, — сказал Водяная Мартышка из-за плеча Викторино.

Викторино и Водяная Мартышка, pitcher[1] и catcher, из оврага поднимались вверх, чтобы сыграть партию в бейсбол: сыновья лавочника-португальца обещали принести новый мяч, но случайная встреча с Крисанто Гуанчесом спутала все их планы. Мне надо потолковать с вами, сказал он. Они сошли с тропки на полпути вниз и сели на корточках под аркой моста. Мое дело дрянь, сказал Крисанто Гуанчес и поведал свою историю. Викторино и Водяная Мартышка слушали его в благоговейном восторге и молчании, которое прерывалось только кряхтеньем восхищенного Викторино или машинальными приговорками Водяной Мартышки, причем совсем не к месту: Ох. душа моя, коняга, например.

— Сначала я удрал из исправительной колонии, которая в Лос Текес,— так начал Крисанто Гуанчес. Тьма причин оправдывала его бегство. В колонию его отправила собственная мать. Откуда у нее гроши, чтобы справиться с пятерыми мальцами, хулиганами без отцов? Тут ты по крайней мере обучишься читать, узнаешь какое-нибудь ремесло, говорила она ему под тамариндами, которые растопырились над входом в колонию. Читать он выучился, верно, потому что буквы ему нравились, но ремесло, которому его научили сотоварищи, не имело ничего общего с тем, о котором мечтала мать. Он научился обороняться ножом от человеческой скверны и человеческой справедливости, научился взламывать замки и взбираться на стены. Однажды они впятером набросились на повариху исправительной колонии и попользовались ею, один за другим — острие ножа, приставленное к горлу, шептало ей, что лучше не сопротивляться. Он научился курить все что попадалось под руки и, научившись подобным вещам, сбежал на рассвете, пробравшись сквозь заросли камышей и ряды колючей проволоки. Прямиком направился в Каракас, вдоль полузаброшенной железнодорожной колеи. Он не вернулся домой, а ночевал в сараях и под всякими навесами, укутавшись в старые газеты, чтобы спастись от настырных тараканов.

— Сейчас я драпанул из дыры, почище прежних,— продолжал горделиво повествовать Крисанто Гуанчес, по достоинству оценивая свой подвиг. На сей раз он сбежал с острова Такаригуа, из исправительного дома, если не сказать — тюрьмы, лагеря, устроенного в самом центре озера, куда его препроводили после того, как он угнал чужой мотоцикл. Там он перенял поучительный опыт малолетних закоренелых преступников; познал карцеры, где спишь на голом полу и сидишь на хлебе с водой, искупая свои прегрешения; познакомился со стражниками, раздававшими от щедрот души своей удары пле-

[1] Игрок в бейсболе, бросающий мяч *(англ.)*.

тью и матерную ругань; увидел часовню, куда надо ходить на все мессы, и национальный флаг, который надо поднимать каждое утро. Игра стоила свеч. Семь арестантов поклялись помогать друг другу на воде и на суше, нырнули как-то ночью в одной тихой заводи и вынырнули в прибрежных зарослях соседнего островка — змеиного скопища, а не островка,— поплыли далее к берегам чьего-то поместья; дальше следовать не пришлось, потому как всех их накрыли «хаковые мундиры». Стражники и шпики схватили всех, кроме Крисанто Гуанчеса, который в одно из воскресений восстал из праха у обочины какого-то шоссе; Крисанто Гуанчеса, проделавшего немалый путь на мешках грузовика; Крисанто Гуанчеса, просившего милостыню в церквах деревень Арагуа; Крисанто Гуанчеса, спавшего на сухих табачных стеблях в заброшенной лачуге; Крисанто Гуанчеса — к вашим услугам.

— Ну, сила! — сказал Водяная Мартышка.

— Что думаешь теперь делать? — спросил Викторино, растирая пальцами листок, упавший ему на руку.

Он вошел в город сегодня на рассвете, через Антимано. Еще не высовывал нос из этого оврага, ожидая, что кто-нибудь ему пособит, кто-нибудь — не легавый и не трус. Глаза Крисанто Гуанчеса нацелились на лоб Викторино.

— Мне нужен друг, товарищ, «подельник»,— сказал он.

— Будет такой,— сказал Викторино.

Викторино Перальта

Какая бы женщина — будь то красотка в расцвете лет, одинокая лилия, замужняя магнолия, вдовая сирень — ни протягивала руку отцу Викторино, инженеру Архимиро Перальте Эредиа, он взирал на нее á la лесничий леди Чаттерлей, наскоро оценивая все ее прелести,— точнее говоря так, словно готов скинуть пижаму и улечься с ней рядом. Викторино никак не удавалось уяснить себе, почему мужья, братья или возлюбленные не влепляют его отцу профилактическую оплеуху, пусть даже юридически и неоправданную. Мэми же всегда пасует перед камуфляжной логикой обвиняемого:

— Ах, Мэми (он позволяет себе это вольное обращение, которое, в общем-то, разрешено только Викторино), ревновать в нашем возрасте — значит просто посягать на хороший тон; в сорок пять лет у тебя сила воображения, как у школьницы; неужели ты думаешь, что..? — и на следующий день Мэми получает орхидеи от какого-то инкогнито; она сумеречно улыбается, когда благодарит его, ибо ей не сорок пять, а сорок восемь.

Викторино, раздевшись почти догола, чтобы затем натянуть спортивную одежду, садится на скамейку в раздевалке, меланхолически осматривает ногти на своих ногах и еще раз мысленно ругает отца. Бабник, самый настоящий, думает он. А ноготь на большом пальце правой ноги был и остается предметом его весьма серьезного беспокойства: крохотный от рождения, вросший в мясо; препараты доктора Шолля тоже ничего не могут сделать с уродом пальцем, этим макроцефалом с нависшим лбом, круглоголовым архиепископом или банкиром, контуры которого дисгармонируют с остальными девятью

братьями, длинными, стройными, белыми, как спаржа в пучке. Вот пуп — кофейное зерно, зажатое мышцами живота; соски — темные ягодки на широких тарелках груди. Викторино легонько потирает ладонью рыжие волосы, оттеняющие подмышку, колотит сжатыми кулаками по обтекаемым цилиндрам своих ляжек. А вы, Мальвина, его кузина и любовь, все еще играете в этакую жестокую непроницаемость сейфа. На кой черт Викторино ваши обмороки, когда он вас целует, ваша дрожь пугливого зверька, когда он ласкает ваши груди, на кой черт ему все это, если вы всегда встречаетесь при свете бела дня, одетые по всем правилам приличия, Мальвина!

Викторино, уже облаченный в голубой свитер,— на ногах белые шерстяные носки и белые спортивные туфли на резиновой подошве,— легкой боксерской трусцой вбегает на помост спортивного зала. Тренер Луи Бретон слегка отвлекается от упражнений, чтобы кивнуть ему через плечо приветственное «bonjour» [1]. Луи Бретон когда-то был чемпионом Алжира в весе мухи — у него всегда при себе удостоверяющие сей факт вырезки из газет (для маловерных). Однако накопленный со временем жирок и латиноамериканское меню превратили его в объемистый бочонок; толстые очки для близоруких усмиряют его дикий взор, два передних платиновых зуба украшают металлическим блеском улыбку. На нем синие трусы и белые туфли, как на его учениках; форма тренера отличается лишь тем, что он носит блузу по пояс с низким вырезом (вместо надлежащего свитера). С жилистой шеи свисает золотая цепочка, на цепочке — медаль с образами св. Роке и его собаки, которые, однако, не видят света, утопая в густой шерсти на груди Луи Бретона, груди, мохнатой как у отшельника.

Рамунчо, Эсекьель и Уильям, три закадычных друга Викторино, уже возлежат на покрытом парусиной ковре, сгибают и разгибают свои конечности в такт хлопкам и устной команде (команда подается ласковым голосом, словно совет: руки под голову, ноги прямые, ну-ка, поднять, мальчики, а теперь плечи вправо, пободрее, подружнее, сесть, коснуться пальцев ног; не расслабляйся, Эсекьель, ты ведь не масло) Луи Бретона. Колокольчиковый звон стенных часов, не имеющих обычного циферблата (какие-то мондрианские[2] часы: три желтых сектора и один красный, единственная стрелка — черный рычажок; темп — будь здоров, буги-вуги времени, неопластицизм в действии) приказывает прервать тренировку. Резко пахнет потом, но потом людей, моющихся мылом «Пирс». Рамунчо отводит душу тихим неприличным словом, сидя в позе йога. Тренировка продолжается, теперь они вертят в воздухе ногами (когда Луи Бретон кричал «Allez»), имитируя езду на велосипеде.

Викторино едет по воображаемым дорогам, которые прокладывают в воздухе он и его лежащие на спине товарищи, потом кидает «bonjour» тренеру и вприпрыжку бежит в южный угол громадного прямоугольника, туда, где громоздятся штанги и гири. Растянувшись на жесткой обитой кожей скамье, Викторино займется теперь тренировкой плечевого пояса. Его пальцы сжимают стальную штангу, на концы которой навинчены тяжелые зеленые круги. При ее толчке вверх краснеет напрягшаяся шея, скрипят, как дверные петли, сжатые зубы, кривятся губы в видимом, но добровольном страдании.

Я — крепкий парень, Мальвина. В той ткани, из которой сплетены наши мускулы, а не в киселе хваленых мозгов, размещается истинный разум, если мы отведем разуму принадлежащую ему по праву роль источника энергии, а отнюдь не роль иглы для штопки подорванных

---

[1] Добрый день *(франц.)*.

[2] Мондриан, Пит (1872—1924) — бельгийский художник-абстракционист.

девственных устоев и от рождения слабых нервов, так думал бы Викторино. Викторино с удовольствием поглядел бы, насколько хватило бы силы характера и пристрастия к душеспасительным занятиям у всех этих двадцатилетних Фаустов с их сутулыми спинами и кровоточащими деснами, если бы соблазнитель Мефистофель предложил им променять десяток прочитанных книжонок и заслуженную похвалу их университетских профессоров (не говоря о нем самом) на его, Викторино, силу и здоровье, на право с гордостью поглядеть на самих себя, нагих, в зеркало ванной комнаты, так, как смотрит он сам на свои бицепсы. Да они послали или, вернее, променяли бы на... (извините за грубое слово, Мальвина) все эти сумасбродные теории, разработанные вместе моралистами и садистами в непонятных целях. *Викторино — крепкий парень, Мальвина,* и ощущения мускульной радости ему вполне достаточно, чтобы чувствовать себя довольным и счастливым на этом свете. По утрам он не корчится в мучительном кашле, как курильщики, а полной грудью вдыхает свежесть и свободу, как молодые бычки и деревья. Он не просыпается в тисках мигрени и с гнетущим чувством тоски, как пьяницы, а встречает утро с ясным взором и спокойным сердцем. Он питает отвращение ко всяким гадостям, разрушающим плоть, будь то никотин, алкоголь, онанизм, картежная игра, болезнь или хандра, и посему же питает отвращение к разлагающей морали тех, кто транжирит свою молодость, преждевременно желтея от скуки и педантизма, среди учебников по органической химии и конъюнктурной философии — к жвачным животным, прикованным к кормушкам библиотек.

В этот самый момент он поднимает, лежа, вес в сорок килограммов, Мальвина, и мог бы его удвоить, если бы в том была нужда, потому что он крепкий парень и его мускулы повинуются его воле. Викторино тут же захотел бы просветить нас, что эту крепость, точнее — этот большой вес, он берет не каким-то чудом, по милости господа бога, а благодаря своему упорному труду в поте лица. Каждый человек, конечно за исключением рахитичных и хилых от рождения, появляется на свет, способный воздвигнуть свою башню, и эта башня непременно будет воздвигнута, если работаешь час за часом и кладешь камень за камнем. Какое дело Викторино, что его соперник может писать стихи, сочинять музыку или решать уравнения — главное в другом: если случилось бы троим — Викторино, нагишом, второму мужчине, нагишом, и вам, Мальвина, тоже нагишом,— оказаться на необитаемом острове и Викторино захотел бы вышвырнуть соперника в воду, бедняга, не сомневайтесь в этом, был бы туда вышвырнут вместе со своим греческим ямбом и своим гастритом, и Викторино наслаждался бы одиночеством с вами, Мальвина. Пусть читают псалмы и выпускают пузатых уток ораторы и журналисты, священники со своих амвонов и ученые писаки в своих монографиях. Журналисты, ораторы, ученые и священники не сотворили до сей поры ничего путного, кроме того, что все еще стараются произвольно уравнивать физически слабого человека с сильным, вооружая этого слабого мозгляка смертоносным оружием и привилегированным правосудием, страстно желая ввергнуть того и другого в кровавую бойню и т. д. и т. п. — так сформулировал бы свои мысли Викторино, если бы его учили мыслить. Я — крепкий парень, Мальвина, это все, о чем он мыслит, опуская штангу на грудь; его легкие облегченно сжимаются ш-ш-шипящей губкой.

Уильям и Эсекьель подходят к тренировочным мешкам, свисающим с потолка, осторожно кружат вокруг кожаных цилиндров, делают ложный выпад с левой руки и затем наносят мощный боковой удар правой, прикрывают лицо перчаткой, будто этот болтающийся чурбан может дать сдачи по зубам. Луи Бретон наблюдает за ними, дает сове-

ты: чище делай «jab»[1], Уильям, а тебе следует быстрее двигаться, Эсекьель,— никогда не меняя своего покровительственно-вежливого тона. Викторино оставил гири и теперь дубасит черную грушу «punching bag» [2]; груша с головокружительной быстротой бьет по деревянному щиту, на котором закреплена; кулак Викторино молотит по ней мощно и синхронно, пятьдесят раз подряд «так-так-так...», удары стучат глухой барабанной дробью.

В душевой собираются все четверо. Викторино открутил кран до предела, обрушил водопад себе на спину, затем подставил грудь и плечи бьющей струе, выпятил живот.

Из-за левой перегородки он слышит голос Уильяма:

— Знаешь новости? Сегодня вечером пирушка в доме Пибе Лондоньо. А нас обошли, не пригласили.

Викторино выключил душ и сдернул полотенце с крючка. Тут же слышится прорвавшийся сквозь звонкие струи голос Эсекьеля, который, отфыркиваясь, комментирует известие из-за правой перегородки:

— Позвоним по телефону Пибе и все узнаем, он что-то темнит, ни словом не обмолвился о празднике, мол, этим вечером мне надо идти на урок алгебры— все врет, трусливый паразит, про свою дурацкую алгебру.

Все четверо выходят из кабинок и задерживаются в коридоре для тайных переговоров, накинув на плечи, как тоги, белые купальные полотенца — римские сенаторы-злоумышленники. Часть повествовательная: достопочтенная семья Лондоньо празднует пятнадцатилетие Нены. В связи с этим в их огромном доме сегодня вечером устраивается бал, на который приглашен почти весь Каракас. Часть заключительная: семейство Лондоньо решило после тщательного анализа всех возможных осложнений и всех возможных инцидентов воздержаться приглашать их — закадычных друзей Пибе Лондоньо, дабы оградить себя от неприятных последствий (драки, синяки, свинцовая примочка и т. д.). И бедняга Пибе Лондоньо, боевой товарищ, покорился, даже не пикнув, оскорбительному нажиму своих предков. Но Эсекьель — студент юридического факультета, не следует об этом забывать.

— Мы все равно там будем и повеселимся,— демонически изрекает Викторино.

Сей безапелляционный вердикт вызывает у обвинителя Эсекьеля Устариса блаженный смех с вариациями,— он то кудахчет pianissimo, то гогочет в темпе allegro ma non troppo, достигая кульминации мощными аккордами хохота, затем переходит на andante cantabile[3] и в заключение выстукивает челюстями серию арпеджио.

— Мы пойдем на праздник и захватим с собой Монну Лизу,— неумолимо подтверждает Викторино.

Монну Лизу? Хохот Эсекьеля Устариса воспроизводится во всей своей великолепной инструментовке и во всех тональностях. Три его приятеля вторят ему. Никогда имя модели Леонардо да Винчи не производило такого шумового эффекта. Да, конечно, возьмем с собой Монну Лизу. И Луи Бретон, экс-чемпион Алжира в весе мухи, тоже смеется вдали, сам не зная чему.

---

[1] Удар, толчок *(англ.)*.

[2] Мешок для ударов при тренировках в боксе *(англ.)*.

[3] Очень тихо; живо, но не слишком быстро; певуче *(итал., муз.)*.

Четыре атлетически сложенных парня, которых вы видите,— Рамунчо, Уильям, Эсекьель и Викторино,— неразлучные друзья с безумных мотоциклетных времен. Викторино минуло тогда четырнадцать лет, и это было первое сражение, которое он выиграл у своего отца, а также у Мэми, которая героически боролась мольбами и упреками против того, чтобы он носился по улице на адской машине. Мэми — ярая противница всякого суеверия и чернокнижья, даже глазом не моргнула, рассказывая ему хитро придуманную историю своих страшных предчувствий:

— Уже несколько ночей подряд, Викторино, мне снится сон, что ты погибаешь в уличной катастрофе, при столкновении... Лужи крови, столбы дыма, все бегут, что-то ужасное...— И она смахнула слезу, чтобы выдумка звучала правдоподобнее.

— Такая культурная женщина, как ты, Мэми, не должна верить глупым снам, мы ведь живем в середине двадцатого века,— ответил ей Викторино, и его аргументы нашли благоприятный отклик в унаследованном рационализме инженера Архимиро Перальты Эредиа.

— Мальчик прав,— сказал отец,— но я все-таки никогда не куплю ему мотоцикл, это самоубийство. А все сны — наглый обман; мне, например, каждую неделю снится, что я сплю с Софи Лорен, сплошной восторг, но такого еще ни разу не случалось в моей жизни.

Не говорилось ли вам, что он неисправимый бабник? Викторино тогда решил научиться водить мотоцикл, используя машину Уильяма, семья которого — по своему происхождению и привычкам типично английская — была далека всяким страхам и, напротив, испытывала гордость за подобные средства передвижения, приносящие такую славу и такие доходы британской легкой промышленности. Однажды днем Викторино ворвался в сад своего дома верхом на мотоцикле Уильяма и помчался по асфальтовой дорожке, раскинув руки в стороны, как акробат. Мэми, стоя на балконе, приглушила чуть было не сорвавшийся крик тремя дрожащими пальчиками, прижатыми ко рту. Отцу ничего не оставалось делать, как пойти на перемирие с сыном и купить ему этот грохочущий «триумф» кроваво-красного цвета, самый быстрый и необузданный среди всех мотоциклов города.

Стать собственником и водителем великолепного пурпурного «триумфа» значило похоронить в белой урне свое детство, похоронить под бетонным покрытием улиц. Четырнадцати лет от роду родился новый человек, Прометей на коне, на механическом тигре. Даже когда его дядя Анастасио, следуя своему светскому образу жизни, захватит его с собой в бордель Чакао и когда он первый раз в жизни познает тайники женщины (это случилось годом позже после того, как ему подарили мотоцикл), Викторино не преисполнится таким сознанием своей великовозрастности, таким сознанием своей моральной свободы. До сих пор он еще никогда не испытывал опьянения, производимого эликсиром, на который навесили ярлык «Частная собственность» и который оказывает такое глубокое влияние на социальную историю наций и частную жизнь людей. Никогда Викторино не считал своей собственностью эти противные школьные принадлежности. Они были предметом забот и хлопот его родителей, так же как и предметы одежды, которые только мешали ему свободно разгуливать нагишом среди бамбуковых кустов, прибитых жарой. Его абсолютной собственностью не был даже домашний пес Ягуар, униженно вилявший хвостом в ответ на его пинки и спавший в ногах его кровати, с удовольствием, как настоящий мазохист, ожидая, когда в него швырнут ботинком. Не считал он своим и скелет-велосипедишко, который скрипит между ногами у каждого посыльного из аптеки.

Мотоцикл — это, напротив, неотделимая принадлежность, неотъемлемая часть мужчины, как половой член и зубы, как гордость и воля. Мотоцикл — это существо гораздо более живое, чем, скажем, кот или канарейка. Как свою подругу он ласкает его взглядами, как невесту украшает всем, чем может, как малого ребенка моет, наводит блеск. Стоило взглянуть на это всемирно известное сокровище, на красный «триумф» Викторино, на острые бычьи рога, которые Викторино прикрепил к рулю, на этого красавца без единой масляной брызги, заботливо стертой руками Викторино, со сверкающими крыльями, отполированными до блеска тоже руками Викторино. Стоило поглядеть, как медленным шагом победителя он спускался вниз по крутым улицам на склонах Авилы. Стоило посмотреть, как бесстрашно, на бреющем полете, огибал углы, повинуясь малейшему движению пальцев Викторино, словно конь самых чистых кровей. Стоило посмотреть, каким коршуном или молнией несся он по прямой, догоняя, послушный правому кулаку Викторино, массу опережавших его машин, вырываясь вперед и возглавляя всех, картинный и величественный, словно лошадь шейха. Стоило посмотреть, как чутко и осторожно спускался он в полночь по старой пересеченной дороге, ведущей к морю, испытывая умение и храбрость своего хозяина. Стоило посмотреть, как освобожденный от всех глушителей и кляпов, он возвещал наступление утра мужественным грохотом, тревожа стариков своей бурной молодостью. Стоило посмотреть на него, на эту красную ярость в облаке дыма, пугавшего улицы партизанской стрельбой. *Поглядели бы на него с тобой, Мальвина, с тобой, сидящей на крупе, Мальвина, обнимающей меня руками за шею, Мальвина, прижимающей к моей спине свои два лимончика, которые колышут твой свитер, Мальвина; с тобой, кричащей: пожалуйста, остановитесь, мне страшно! Я-то хорошо знаю, что тебе совсем не страшно, а ты просто хочешь покрепче прижаться ко мне, Мальвина.*

— Давайте-ка устроим сафари [1], boys [2],— предложил как-то Уильям в пепельных сумерках знойного вечера: ждали обещанную грозу, но она не торопилась; горячий ветерок тормошил брошенные газеты и жухлые листья.

Великолепная шестерка уже довольно долго зевала в тоскливом ожидании ливня, проклиная его задержку, полусидя на своих мотоциклах — одна нога на педали, другая на земле. Все приняли план действий, предложенный Уильямом и похожий на кинобоевик, никогда не предполагая о том, что об этой «перестрелочке» будут говорить долгие месяцы в Восточном районе, что эта спортивная забава навлечет на них инквизиторскую ненависть благочестивых дам и пуританское презрение их святых мужей, хотя в уголовно-полицейском управлении озорникам ничего не смогли вменить в вину, когда полковник Арельяно бесцеремонно притащил их туда. Вышло так, что больше поверили им, чем их обвинителю. Логически рассуждая, бесплатный донос обозленного полковника менее заслуживал доверия, чем показание свидетелей происшествия, свидетелей, которых подставили они же сами — Рамунчо и Пибе Лондоньо; показание, согласно которому какие-то призраки-мотоциклисты (мы видели их собственными глазами), горлопаны-негры из прокоммунистических районов (ох, и страшные хари) проливали кровь и сеяли смерть на газонах Кантри и Ла Кастельяны, мстя за свои сектантские обиды, расовые и классовые.

Это сафари, которая, судя по рассказам, к полуночи приобрело сенсационный размах сражения, началось в конце мутного вечера самым тривиальным образом, как простая забава. Шесть корсаров сна-

[1] Сафари — охота на диких животных в Африке.
[2] Ребята *(англ.)*.

чала разъехались по своим домам, чтобы конфисковать имеющееся оружие. По возвращении они произвели его учет: два охотничьих ружья, способных стрелять лишь по фантастическим тиграм в ближайшем тире и найденных Уильямом и Эсекьелем в чуланах своих предков; третье ружье извлек Пибе Лондоньо из закромов своего старшего брата-помещика; Рамунчо раскопал в каком-то шкафу блестящий револьвер с предлинным стволом, некогда украшавший пояс его дедушки, когда тот был гражданским начальником в Канделярии; Викторино взял напрокат в багажнике отцовского «мерседес-бенца» браунинг, современный, жгущий руки своим нетерпением. Что касается Турка Хулиана (в ту пору он еще был членом их гоп-компании, этот плут), ему удалось достать только старый дробовик, над которым вдоволь посмеялась бы любая дикая тварь, за исключением, может быть, кролика или голубя. Теперь, четыре года спустя, Викторино уже не помнит — своевременное ли появление этого дробовика или антипатия, которую им всем внушал фокстерьер сестер Рамирес, были причиной тому, что вооруженное нападение началось с охоты на мелкую дичь. Собачонку звали Шадоу [1]; из-за своей толщины она утратила внешние характерные черты своей породы, но осталась, этого у нее не отнимешь, столь же надменной и саркастической, как фокстерьер, ее уродивший.

По правде же говоря, дело заключалось в том, что все члены гоп-компании (кто больше, кто меньше) были влюблены: одни — в старшую сестру с ее нумизматическим профилем и черными локонами, словно нарисованными углем; другие — в младшую с ее благородно-опаловым взором и дивными ручками, такими нежно-белыми, как аромат жасмина. А вторая беда, гораздо более горькая, состояла в том, что ни один из этих парней никогда не тревожил воображение двух красавиц, двух надменных жительниц улицы Альтамира. Старшая вздыхала от безответной любви над портретом сэра Лоуренса Оливье с черепом в руке, чей похоронный монолог явно дисгармонировал с криминалистическим интересом к предмету его изучения; младшая сестра терзалась мучительной страстью к фортепьяно, и никакая мысль о самых мужественных мальчиках не была в состоянии преодолеть ограду из ее бесконечных занудных гамм и упражнений. Но для песика Шадоу (этот контраст отравлял им каждое воскресенье) находилось время и на заботы и на ласки: миленький Шадоу, светик ты мой. В пальчиках сестриц треугольные уши собачонки складывались в слоеный пирожок, черной тучей представало перед их коллективными любовными мечтаниями темное пятно на ухе Шадоу. Шадоу же наблюдал за ними издалека, с проницательным хитроумием Скотланд-Ярда. Но вот Шадоу поднял вверх свой хвост-обрубок, как антенну, принимающую сигнал опасности. Охота на фокстерьера была поручена Турку Хулиану; это не было издевкой над его наивным дробовиком, да, теперь Викторино вспоминает, это дело было поручено Турку потому, что он был самым покорным обожателем старшей сестрицы Рамирес: с мусульманским терпением часами подряд кружил он у решетки ее сада, она же в это время читала книгу стихов (или поваренную книгу). Восседая в тени акаций, она решительно ничего и знать не желала о существовании на земле Турка Хулиана, неблагодарная. Сестрицы Рамирес часто ходили и в кино и в концерт — иначе говоря, Хулиан попусту растрачивал свою сирийскую хитрость и свое ливанское терпение. Обе эти способности, доставшиеся ему от предков, он теперь раскрыл полностью, чтобы привлечь поближе тень Шадоу, недоверчивого и настороженного,— но удача, кажется, близка,— выманить его на полянку, напротив своего дробовика. С первого выстрела он попал в

[1] **Тень** *(англ.)*.

толстое пузо пса,— слишком жирным для фокстерьера был бедняга. Охотник превратил его шкуру в решето. Насмерть раненный Шадоу закачался, пьяно шатнулся к изразцам стены и злобно тявкнул, умирая, на невидимого и нежданного агрессора; новый свинцовый залп пробил черное пятно, украшавшее его левое ухо; от собачьего чутья и верности остались одни воспоминания. Сестрицы Рамирес ушли в кино или в концерт, в далекой кухне шмыгали прислуги; ни одному человеческому существу не пришлось присутствовать (или уронить слезу) при троянской гибели Шадоу перед подъездом его дома.

Совсем иначе, ковбойским кинобоевиком, выглядел бой с доберман-пинчерами доктора Фортике. Псы были такими абстрактными существами, такими неразличимыми, одинаковыми, что никому и в голову не приходило снабдить их кличками. Слаженная и горячая тройка, которая выстреливала из кустов, как три черных бича, едва только слышались чьи-нибудь дерзкие шаги вблизи особняка доктора Фортике. Можно было бы подумать, что эти собаки высечены из обсидиана или базальта, если бы не яростное сверканье их миндальных глаз. Той ночью ушлые псы залаяли на опасность, которую почуяли; слепым галопом помчались к рощице, где засели Уильям, Эсекьель и Пибе Лондоньо со своими ружьями. Тончайшее чутье говорило псам, что они мчатся в жестокую тьму, что несут на погибель три своих острых головы, шесть своих обрезанных ушей, шесть своих блестящих глаз-миндалин. Первая пуля из ружья Уильяма пробила мускулистый битум груди, летевшей в авангарде. Но двое других псов, не колеблясь, продолжали бешеный аллюр — настоящий доберман никогда не уклоняется от боя. Тогда Эсекьель спустил курок. И не попал. Два оставшихся в живых зверя были уже в пяти шагах от своих врагов, когда Пибе Лондоньо великолепным выстрелом раздробил череп одному из них. Только тогда истерически замелькали огни в особняке. В последнем прыжке третий доберман несомненно всадил бы свои покрытые пеной клыки в грудь Уильяма. Старый револьвер Рамунчо не тратил времени на «господи, помилуй!» — его громовой выстрел оглушил окрестность. Здоровенный пес, роняя слюну, покатился по герани, обрушив на нее весь свой гнев, и тут же затих. *Я не разрядил свой пистолет, Мальвина, потому что не пришла пора; потому что хотел выиграть свое сражение под дождем.* Три добермана воронёной стали, черно-синие от немощи, черно-синие от смерти, остались лежать, распластавшись на мокрой траве, как принесенные в жертву быки на арене цирка.

Теперь предстояло Викторино схватиться в поединке с немецкой овчаркой полковника Арельяно. Темные космы ниспадали с ее хребта на львиные бока, хвост красивым рыжим ятаганом спускался с широкого зада почти до полу, огромный язык болтался между клыками, ее звали Кайзер. Собака с таким рабским удовольствием подчинялась приказам полковника, что он не скупился на похвалы своему Кайзеру. Никогда у меня не было более дисциплинированного солдата, говорил полковник. Просто диво, францисканская овечка, которую младшие дети полковника седлали как пони и давали еду из своих пухлых ручек, превращалась в страшного цербера, едва лишь слышался легкий трепетный шумок среди ближайших апельсиновых деревьев. Викторино подразнил собаку, пробравшись за решетку. Викторино словно уже видел ее напряженное огромное тело, скрытое во тьме, ее кривые, готовые к прыжку, сильные задние ноги, ее навостренные волчьи уши, оскаленные волчьи клыки — она ведь потомок волка. Викторино уже слышал ее дикий рык, уже различал ее эластичные шаги, все ближе и ближе, по песчаной дорожке, уже ощущал ее страшное присутствие, тут, за решеткой, где ждал ее с холодным браунингом наготове. Викторино целил прямо между глаз, как заправский охотник на львов, блеск

выстрела слился со сверканием молнии. Викторино вышел победителем. Викторино с ходу вскочил верхом на мотоцикл, одновременно с прыжком в седло завел мотор. Его пятеро приятелей уже с грохотом мчались вперед, по аллее между пальмами и саманами[1]. Полковник будет кричать в тревоге: Кайзер! Ему сначала покажется, что Кайзер чутко спит под фонарем у ворот, Кайзер! — он встретится лицом к лицу с трагедией, когда подойдет ближе и его фонарик осветит кровь, которая тихо струилась с львиной головы. Кровь Кайзера темными сгустками спекалась на свежих побегах травы.

Викторино Пэрдомо

Валентин и я входим в коридор факультета гуманитарных наук. Исидоро, покуривая третью сигарету, уже стоит там в своей альпинистской куртке (никогда в жизни он не взбирался ни на один холм), в своих полукедах (никогда, даже в качестве зрителя, он не был ни на одном спортивном стадионе). У Исидоро — печальные усы перуанского индейца и вальсирующая индейская походка, но ни один из перечисленных особых признаков его наружности не отвечает действительности. Исидоро — ответственный руководитель БТЕ, которая будет помогать нам в нападении на филиал Голландского банка. Исидоро неслышно скользит позади нас по длинному коридору. Фидель и его бородища дружелюбно улыбаются нам со стены. Но никто из нас троих ни на кого не смотрит, даже на портрет Фиделя, даже на Мирейту. Мирейта протягивает к нам кружку для сбора пожертвований, потряхивает ею, окликает звучным контральто: «Жертвуйте на партизан, вы, скряги!» Мы ускоряем шаги, Мирейта следует за нами еще некоторое время: «Это для партизан, друзья! Это для заключенных, если вы боитесь партизан!» Наконец, она отстает, нам надо поговорить подальше от здания ректората и аудиторий, чтобы ни одна душа не нашла нас на этих задворках. Уже далеко позади нас осталась толпа будущих медиков, долбящих свою анатомию, далеко позади. Вот мы и пришли, я беру слово.

— Вот через эту дверь,— говорю я и показываю Исидоро отправную точку наших первых шагов; моя рука шныряет то туда, то сюда по плану, начертанному на цементном полу. Через эту дверь входим команданте Белармино и я, а вот через эту, говорю я и умолкаю, потому что ревет сирена скорой помощи, мчащейся к университетскому госпиталю ... через вторую дверь появятся Фредди и Спартак. Кассира, говорю я и ставлю на этом месте крест, я заставлю поднять руки вверх. А тут, говорю я, и мел крошится у меня в руке от второго энергичного тычка, тут стоит полицейский, которого обезоружит Белармино. Второго кассира, говорю я и в третий раз черчу крестик, возьмет на себя Фредди, Фредди будет также контролировать действия машинистки, рыжей девы, которая тут же упадет в обморок, как думает Карминья. В это время, говорю я и рисую мелом кружок, Спартак ставит на пол свой пустой чемодан и идет с револьвером наготове к этой точке, эта точка — кабинет управляющего, вход в кабинет прямо из банковского помещения. Ясно, товарищ?

Исидоро удостаивает меня легким кивком, на мимическом языке кечуа это, видимо, означает «яснее быть не может».

Я продолжаю развивать план действий. Белармино со своим авто-

[1] Саман — южноамериканское дерево, похожее на кедр.

матом и Фредди с револьверами в обеих руках—со своим и с тем, который он возьмет у полицейского охранника,— будут держать на мушке всех присутствующих: двух кассиров, упавшую в обморок секретаршу обезоруженного охранника, рассыльного и какого-нибудь запоздавшего посетителя. К этому моменту явится Спартак с управляющим, который притащится ни жив ни мертв от страха, тряся своей голой лысиной, и этот голландский сыр, конечно, согласится открыть сейф, чтобы спасти свою жизнь, откроет его, и — это уже моя задача — надо будет лишь переложить деньги в чемодан. По нашим самым скромным подсчетам сумма перевалит за двести тысяч боливаров. Я перекладываю их в кожаный чемодан и брезентовый мешок, который прихватит Спартак. Затем останется только умело организовать отход, товарищ.

— Каким же образом? — спрашивает этот вялый скептик Исидоро.

— Каким образом? Сначала выходим мы, Спартак и я с деньгами, вслед за нами Фредди, и последним уйдет Белармино; команданте немного задержится, ему надо навести на них страх своим пулеметом и припугнуть: знайте, паразиты, если кто-нибудь попытается нас преследовать, мы размозжим ему голову вон оттуда, с того тротуара! Мы выйдем все четверо за двадцать секунд, выйдем быстро, но не бегом, придется притормозить ноги, на которых уже отрастут крылья, как у Меркурия,— тут я улыбаюсь.

Таким образом мы доберемся до стоящего напротив «шевроле», где нас будут ждать Карминья и Валентин, обнявшись как влюбленные, метрах в двадцати от главного входа, вот в этом месте,— говорю я.

— А потом? — спросил Исидоро.

Теперь берет слово Валентин. Он развертывает на приступке план Каракаса, который принес с собой в кармане, и начинает рассказывать со всеми подробностями, как будет крутиться черный «шевроле» с того момента, когда захлопнутся его дверцы и мы сожмемся в комок на его сиденьях. Этот путь был уже проделан нами шестьдесят раз пешком, двадцать раз на машине и десять тысяч раз мелькал на экране нашей памяти. Нить Ариадны (Валентин — непревзойденный мастер мифологических ассоциаций, «крылатые ноги Меркурия» — тоже его выдумка, потому я и улыбнулся, когда так сказал), этот путь — нить Ариадны, которая приведет нас к автомашинам, угнанным вашей БТЕ, товарищ Исидоро.

— В какое время?

— Семь минут займет банковская операция,— говорю я.

— Еще семь минут мы будем ехать к тому месту, где вы будете нас ждать,— говорит Валентин.

— Мы входим в банк в 4 часа 27 минут, вы нас принимаете в 4 часа 41, о'кэй? — говорю я.

— О'кэй,— говорит Исидоро. В их распоряжении имеются уже со вчерашнего вечера две автомашины с измененными номерами, не считая легально добытого дорожного катка, который будет стоять в двадцати метрах от банка, чтобы обеспечить стоянку для машины Валентина. Как только она придет, каток отвалится, говорит Исидоро. Мы будем ждать вас на этом углу с четырех тридцати ровно, говорит Исидоро, и его палец точно вонзается в указанный пункт на карте.

Они будут стоять на углу около стены католического колледжа носами прямо на юг, в направлении главного кладбища, Валентин затормозит в трех метрах от них, мы с деньгами сядем в первый автомобиль, остальные — во второй.

— Зарубите на носу,— говорит Исидоро,— Спартак и ты (он обращается ко мне), вы с деньгами — в первую машину, Белармино и Кар-

минья — во вторую. А ты (обращается к Валентину) остаешься в «шевроле» с Фредди и немного проедешь за нами, прикроешь отход, согласен?

— Согласен.

Теперь продолжает Исидоро. Карминью надо высадить за автобусной остановкой, Белармино уложит все оружие в чемодан, у меня в кармане должно быть три боливара, чтобы взять такси,— ох, этот Исидоро, ничего не забывает. Последний вопрос — почему команданте Белармино, ответственный руководитель нашей БТЕ, не явился лично поговорить с ним, с Исидоро. Не годится, чтобы его видели в университетском здании, отвечаю я. Исидоро ухмыляется, впервые за все время, и уходит не прощаясь, исчезает среди кустов со своими печальными усами и своими не нюхавшими спорта полукедами; он похож на студента, которого исключили за леность, за меланхолию, а может быть по болезни. В двенадцать часов в условленном месте, говорю я Валентину. О'кэй, отвечает Валентин и носком ботинка стирает план, который я начертил мелом на цементе, затем удаляется в направлении, противоположном тому, куда ушел Исидоро. Сейчас 9 часов 30 минут, Ампара.

И вот я остаюсь наедине с тобой, Ампара, позади здания ректората, с нетерпением ожидая одиннадцати часов, когда смогу увидеть тебя. Мне, конечно, признаюсь тебе, мне немного страшновато, немного больше, чем немного, но я ничего не рассказывал и не расскажу тебе о своих делах. Едва ли ты знаешь, что я читаю брошюрку Мао, что однажды меня арестовали за то, что я кричал «ура» кубинской революции,— ты тогда еще хотела идти за мной в Главное полицейское управление. Тебе и в голову не приходит, что я воинствующий активист с оружием в руках, а тем более, что я вхожу в состав одной из диверсионных групп ФАЛН[1], что принимаю участие в нападениях, что я ставлю на карту свою жизнь и все части тела без твоего разрешения. Иногда мне так и хочется рассказать тебе обо всем, чтобы ты знала, какого мужчину ты называешь своим, но тогда я тут же вижу перед собой парней, которые корчат из себя героев, чтобы вскружить голову девчонкам, а потом улечься... В общем, мерзко, не стоит. Я тебе ничего не скажу. *Однажды ночью ты ему приснилась, Ампара, и про это Викторино тоже тебе никогда не расскажет. Вы оба, обнаженные, бегали по сказочному пустынному пляжу. Глаза Викторино не отрывались от следов твоих ног и от ритмично чередовавшихся в беге упругих смуглых ягодиц. Коварные наскоки моря обдавали белой пеной ваши колени. Тройка пеликанов, единственных свидетелей, бестактно преследовала вас. Ты все замедляла и замедляла бег, пока не упала ничком на песок. И Викторино рухнул на тебя, говоря тебе «любовь моя» и целуя локоны на твоем затылке. С моря доносился мелодичный хор черных голосов. Это был будоражащий, силлабический реквием, сладострастный псалом смерти.*

Операция «Голландский банк» тщательно спланирована, Ампара. Но только в воздухе так и повис один вопрос, который все мы хотели задать и все же никто не смог заставить себя раскрыть рот: а если завяжется перестрелка? Если завяжется перестрелка, Ампара, любовь моя, весь этот прекрасный план может полететь ко всем чертям. Надо будет принимать решения по ходу дела, руководствоваться первобытным инстинктом, перешагнуть через чей-нибудь труп, чтобы другие

[1] ФАЛН (Fuerzas Armadas de Liberación Nacional) — Вооруженные силы Национального освобождения — партизанские отряды и диверсионные группы. В рядах ФАЛН участвовали коммунисты и комсомольцы до тех пор, пока в 1967 году Коммунистическая партия Венесуэлы не приняла решение приостановить участие в партизанской деятельности и повести работу в массах.

не перешагнули через твой. Ты сама понимаешь. А помнишь, тот прошлый день моего рождения сначала тоже был какой-то невеселый, никчемный. У нас с отцом разгорелся один из наших трудных политических споров, и ребята с первого курса гуманитарного факультета с трудом оторвали меня от этого диспута, я ушел, чуть не плача, потому что толком ничего не мог противопоставить аргументам, которые тогда, уже давно, обрушил на меня мой отец: **величие Ленина состоит в том, что он сумел применить марксизм к условиям новой действительности.** Ты в черном платье подошла ко мне с бокалом в руке и пригласила меня танцевать, а я тебе сказал, что не умею, ты ответила, что это уж не такая важная деталь, и посмотрела на меня так лучисто, так умоляюще; я поднялся и начал волочить ноги, как какой-нибудь старый профессор антропологии, я ведь действительно не умел танцевать и спросил, откуда у тебя явилась идея соблазнять отшельника, а ты нахально ответила, что поступаешь так всякий раз, когда тебе нравится мужчина; я же с непозволительной ревностью пожелал узнать, часто ли тебе нравятся мужчины; тогда ты остановилась прямо среди танца, приблизила свои губы вплотную к моему уху и выдохнула самый неожиданный из всех ответов: Сегодня — первый раз в жизни. Ты сказала это, но я тебе ни чуточки не поверил, потому что глаза твои горели так, как ни у одной другой женщины; потому что губы твои приоткрывались так призывно, потому что груди твои не подчинялись узде бюстгальтера, потому что каждый из гостей, проходивший мимо, так смотрел на тебя, что... Но еще хуже, чем выстрелы,— это если операция заранее станет известна врагу, если ее сорвет какой-нибудь донос, помешает осуществить какая-нибудь непредвиденная напасть, если схватят как какого-нибудь сопляка, если швырнут в дерьмо каталажки, если будут избивать прикладами, если будут оскорблять мать, если наденут наручники и будут плевать в лицо, если будут бить в пах, чтобы ты заговорил; выбивать зубы из окровавленного рта, чтобы ты заговорил; прижигать горящей сигарой соски на груди, чтобы ты заговорил; тыкать револьвером в висок,— и ты не знаешь, хватит ли у тебя мужества, сможешь ли ты вытерпеть все эти муки и не заговорить, Ампара. Клянусь тебе, я предпочитаю быть убитым на месте. А какой нежданный сюрприз ты мне преподнесла там, в темном баре «Сабана Гранде», когда, пригубив красного «кампари», пробормотала смущенно, что пусть будет как будет, но мы не можем не любить друг друга. И еще добавила совсем тихо, отведя глаза в сторону, что ты — девственна, но что это не является каким-то непреодолимым препятствием, именно так и сказала, этими самыми изысканными словами, и назначила мне свидание: Я буду ждать тебя в своей квартире ровно в одиннадцать утра... Сегодня я пойду к тебе в одиннадцать часов, в твоей квартире никого не будет, кроме тебя; Николаса уйдет за покупками, твоя мать еще не вернется с работы, у меня бушует кровь от желания снова почувствовать тебя, снова прикоснуться к твоим влажным губам, перед тем как ввязаться в эту заваруху сегодня, в 4 часа 27, но я тебе не скажу об этом ни слова, Ампара. Единственные плоды революции, которые пусть зреют в твоем патио,— это стихи Маяковского и «Ленинградская симфония» Шостаковича. Ты и так ведь умеешь тонко чувствовать, Ампара.

Викторино рухнул замертво под безгласной деревянной крестовиной, на которой висел колокол. Призрак Алонсо Кеханы — вчера он начал читать «Дон Кихота» — отделился от водосточной трубы и простер к нему бесконечно добрые руки, чтобы поддержать. Дежурный

вместе со своей тенью, задыхаясь, несся к Викторино вдоль известковой стены. Дежурный сначала приписал падение Викторино усталости, а потом заподозрил злонамеренное бунтарство: Встаньте, Пэрдомо, встаньте, говорю вам. Дотронувшись, наконец, до его мертвецки-холодных висков, приложив руку к затихшему сердцу, перетрусивший дежурный заорал во весь голос, чтобы не остаться наедине с покойником. Внезапный шум и гам преждевременно втолкнули утро в серые коридоры лицея. Сбежались воспитанники, закутанные в свои худосочные одеяльца; один из них зажег свет в прихожей, второй побежал звонить о зверствах, апеллируя к властям. Притопал, задыхаясь от ярости, сам директор, и ему была предоставлена гегемония в обследовании трупа Викторино.

— Он умер! — блеяло стадо его сотоварищей, и под их испытующими взглядами директор заметно скисал, по его душе-самописке испуганно растекались чернила притворного признания своей виновности.

— Мы требуем, чтобы сейчас же сообщили его семье! Мы требуем, чтобы его осмотрел врач! — чеканил Вильегота, лучший друг Викторино, Вильегота, взъерошенный и насупленный.

Смерть Викторино, его собственная смерть, была для него одним удовольствием до тех пор, пока Вильегота, его лучший друг, не произнес этих гневных и волнующих слов. Требуем, чтобы тотчас известили его семью! Он представил себе свою Мать, рыдающую над ним, и из головы вылетели все самоубийственные мечтания: Мать плачет, нет уж, лучше не умирать. Более часа он стоял неподвижным пугалом под колоколом в патио, ему оставался еще целый час до тех пор, пока придет регламентированный рассвет и ударит над его головой колокол: гнусный трезвон, возвещающий завтрак. Это наказание было неизбежным следствием той ночи, когда Мелесио, его сосед по кровати, донес на него, что он курит: Да, под одеялом, бакалавр. На следующий день директор созвал всех воспитанников — от мала до велика — и публично швырнул в лицо Викторино самые мерзкие словечки из своего педагогического жаргона: «Хулиган! Ублюдок! Подонок!»— и все это из-за какой-то коробки сигарет «Капитолио». Ничего, я улажу это дело, подумал Викторино, надо только встретить Мелесио подальше от лицейской казармы, где-нибудь среди сосен или в зарослях бамбука, и врезать ему так, чтобы красные шарики покатились, а еще лучше зуб вышибить — за донос. Бой был равным, потому что Мелесио оказался не из слабых, привык к наказаниям, неизвестно где научился ускользать от ударов, контратаковал как баран, когда меньше всего ждешь. Были забыты все святые молитвы в общей часовне, бой развернулся не на жизнь, а на смерть, и никакой пацифист не был бы в силах смягчить их души. Они осыпали друг друга отборной бранью в течение потогонного получаса, пока, наконец, Викторино не удалось выпустить немного гемоглобина из правой ноздри Мелесио. Тот тоже пустил кровь Викторино, ткнув головой в тот же самый дыхательный аппарат. Когда вблизи задрыгала черная сутана отца Пелайо, Викторино уже успел повалить своего противника на кучу лиан, уже впился своими пальцами в его ябедную глотку, и победоносный конец сражения был совсем близок. Однако отец Пелайо разразился библейскими воплями («Исследуйте себя внимательно, исследуйте, народ необузданный», кн. Сафония, II, 1) и кинулся разнимать их своими цепкими руками, накладывающими епитимьи и отправляющими в рот эстремадурские колбаски.

На долю Викторино пришлось позорное наказание, а Мелесио досталось лишь поощрительное похлопыванье по плечу — в этом учебном заведении шпионаж расценивался как наивысшая доброде-

тель, а непослушание каралось как самый тяжкий грех. И вот отныне, в течение двух часов до завтрака Викторино должен был выстаивать под колоколом с раскинутыми в стороны руками, дрожа от холода, если сосновый бор насылал на него холодный смолистый осенний ветер; шмыгая носом, если проклятый косой дождь заливал ему башмаки. И каждое утро, стоя под крестом, Викторино вскармливал свою ненависть, обдумывал планы мести.

Викторино пришлось сдать позиции. Умер он внезапно у подножия колокола, но его труп вынужден был ожить, чтобы не подливать масла в огонь материнских мучений. Она писала ему отчаянные письма, не могла смириться с мыслью, что он заперт в этом лицее, но что делать, иного выхода у них просто не было. Отец Викторино, непреклонный коммунист Хуан Рамиро Пэрдомо, все еще находился в заключении (на этот раз ему дали пять лет) в далекой тюрьме; мать сначала творила просто чудеса со своим гомеопатическим жалованьем школьной учительницы. На ее слабые плечи попеременно рушились одна тяжесть за другой: плата за квартиру, башмаки для Викторино, плата за электроосвещение, жалованье Микаэле, книги для Викторино, расходы на еду, передачи для Хуана Рамиро. Но пришел такой день, когда остался только один выход: Викторино отправился в лицейский интернат, мать приняла филантропическое гостеприимство тети Сокорры. В моем доме всегда найдется для тебя постель и место за столом, сказала тетя Сокорра, она очень мудрая, эта тетя Сокорра. У нее дочь того же возраста, что и Викторино, которую зовут Кончита и которая в последнее время стала часто вздыхать без всякой причины, поэтому какое-то смутное беспокойство заставило тетю Сокорру воздержаться от предложения двух постелей и двух мест за столом.

Пошел дождь, и предрассветная мгла лениво заколыхалась в широких отсветах луж. Дежурный похаживал вблизи Викторино, искоса наблюдая, держит ли он руки прямо в горизонтальном положении и не сгибает ли ноги в коленках, в общем, точно ли выполняет пруссаческие приказы директора. Время от времени Викторино клял бога почем зря, по его разогнутым локтям бегали мурашки, невидимая тяжесть наваливалась на плечи; он старался незаметно расслабиться, чтобы не стоять все время по-военному, навытяжку; иногда, на какие-то секунды, ему удавалось опустить руки вниз,— хорошо еще, что сторож на сей раз не был такой сволочью, как это хотелось бы директору.

Рыжуха, воспитанник третьего года обучения, под наблюдением которого находилась аптека лицея, встал рано, чтобы пораньше засесть за зубрежку. Викторино еще издалека заприметил близорукого мученика в ореоле фонарного света,— нос парня прямо врезался в коричневый учебник по физике. Нет, Рыжуха не был примерным учеником, какое там, но послезавтра должен был быть экзамен по физике, и на всякий случай надо было вызубрить хоть несколько страниц — вдруг повезет и ответишь, чем черт не шутит. Ох, Рыжуха! Он давно уже пользовался заслуженным авторитетом неисправимого; тайно курил, как Викторино; затевал дискуссии на неприличные темы; подставлял подножки защитникам в дружеских футбольных матчах; втихую развратничал, как знакомый араб. Разгуливая среди сосен под моросящим дождиком, Викторино и Рыжуха вдвоем точили оружие мщения, добросовестно взращивали свою вполне оправданную ненависть к директору, к его холуям, к его троглодитской системе воспитания, к этим казарменным баракам, которые он (директор) ханжески именовал «лицеем». В одну из своих тайных вылазок в головах двух карбонариев родился план взорвать лицей.

В шкафах аптеки, которой командовал Рыжуха, влачили жалкое платоническое существование необходимые для взрыва элементы: густой нитроглицерин с желтоватым отблеском и мелкий порошок апельсинового цвета. Два новоявленных алхимика пробрались в кладовую аптеки и стали готовить свою адскую смесь в самые безопасные часы — по утрам, когда отец Пелайо раздавал просвирки воспитанникам, которые шли причащаться, или по воскресеньям, заранее отказываясь от заманчивой прогулки вниз, в город. Предавшись душой и телом изготовлению «зловредной панацеи», как ее называл Рыжуха, они отговаривались тем, что, мол, охотнее пойдут на экскурсию в Каррисалес, имея право поплескаться в реке, чем станут участвовать в шествиях «Тела Христова», потому как круглые зады прихожанок слишком сильно разжигают их сладострастие. По прошествии трех месяцев лабораторных работ они накопили в своем крохотном пороховом погребе шесть почтенных по размеру динамитных пыжей, снабженных мохнатыми фитилями, а также огромную дозу любопытства — что же из этого выйдет, а, Рыжуха?

Один за другим они вывели на огневые позиции все патроны, истомившись желанием скорее отомстить за обиды и оскорбления. Одну «бомбу» положили за сильно хлопающей дверью кухни, хотя отвратительный запах вареной шкуры и червивой фасоли явно унижал это произведение искусства. Другую бомбу засунули в щели большого алтаря, как раз под молитвенную книжонку отца Пелайо, под эту сообщницу его надоевших месс, которые набивают мозоли на коленях учащихся и забивают им головы сомнениями в святые выдумки,— нет веры, которая устояла бы перед столькими молитвами, отец Пелайо. Третья бомба ожидала своего часа в аудитории, где бакалавр Аримсенди с коварным цинизмом распространялся о тех конституционных правах граждан, которые предоставляет им демократический режим. И, наконец, последняя бомба, самая мощная и огромная, особенно тщательно и любовно сделанная, злокозненно зрела под стулом директора, под этим почти героическим постаментом. Но директор не будет восседать там в рассветный час освободительного взрыва, они об этом знали заранее, но то, что пустое седалище взлетит на воздух, уже само по себе будет актом символическим и многозначительным, правда, Рыжуха?

Взрыв превзошел их самые смелые ожидания. Было шесть часов робкого октябрьского вечера, воспитанники гуляли туда-сюда по коридорам после окончания занятий; до вечернего колокола на ужин оставались считанные минуты. Рыжуха и Викторино тихо испарились; призраками скользя вдоль стены, они летели каждый к своему шнуру. Рыжуха зажег два шнура на северной стороне, Викторино поднес пламя спички к двум другим на южной стороне; затем они вернулись другим путем и встретились в начале коридора, включившись без лишнего шума в разговоры и споры: Как я тебе уже говорил... Я решительно не согласен с расстрелом Пиара [1]... Они так скоро и одновременно вернулись, что никто не обратил внимания на их отсутствие. Первая бомба шарахнула на кухне, ее вулканический взрыв с корнем вырвал металлические двери, громовым оркестром воспроизвел полифоническую фугу на цинковых кастрюлях и тарелках; перед ошалевшим и вопящим поваром взметнулся огненный вихрь, разметавший потолок в щепы. Следующей статьей расхода стала часовня, интерьер которой превратился в груду обломков после взрыва второй бомбы. Святую

[1] Мануэль Пиар — активный деятель национально-освободительного движения в Венесуэле начала XIX века, в 1817 году как «бунтарь и конспиратор» по приговору военного трибунала был расстрелян. Впоследствии оспаривались выдвинутые против него обвинения.

деву Кармен раздолбало на части! — заорал Вильегота. Рыжуха и Викторино пережили несколько патетических секунд в напряженном ожидании третьего огнеизвержения. У них так и взыграла душа, когда третий взрыв настежь распахнул двери дирекции, швырнул навзничь двух рахитичных учеников второго курса, а от кресла тирана не оставил ни ножек, ни ручек. Лишь бомба, подкинутая во владения бакалавра Арисменди, не сработала; то ли были изъяны в ее конструкции, то ли случились неполадки со шнуром, но это — второстепенная неудача; лавровый венок все равно увенчал героев-нигилистов, правда, Рыжуха?

Но Рыжуха всего этого испугался и Викторино тоже, когда заговор еще не успел выйти из стадии словесной подготовки. Это очень и очень обидно. Теперь, стоя под ножом первого тихого, солнечного луча, Викторино особенно сожалел об этом. Они решились только на то, чтобы списать формулу динамита и глядеть влюбленными глазами на прозрачные пробирки, которые голубыми стеклышками кокетливо подмаргивали им из аптечных шкафов. Хотя бы какая-нибудь нечистая сила помогла умереть Викторино под колоколом, освободила бы его, главное, от гнусной пищи в этом свинарнике, где ею пичкают в дисциплинарном порядке: Суп надо есть обязательно, Пэрдомо, ешьте суп. На каком только злачном рынке находил повар, если его только назовешь поваром, эту рвань с костями, эту обсосанную фасоль и гнилой маис, из которого делают эти вязкие лепешки? — думал он. Мать гремит своими сковородками, стоя у газовой плиты спиной к столу, накрытому безупречно чистой скатертью, а Викторино сидит за столом, облокотясь на него и зажав в руках вилку с ножом. Мать зажарила на обед кусок сочной и жирной свинины, Викторино слышит, как потрескивает жир аппетитной токкатой, как в резвом аллегретто раскрываются бутоны жарящихся луковиц, лепесток за лепестком. Мать подходит с большим белым подносом, в центре которого — золотистая отбивная котлета, ее великолепие охраняет целый эскадрон жареных картофелин и пара кровавых перцев-преторианцев. В этот трогательный момент прогремели над горем Викторино три удара колокола, призывавшие к так называемому завтраку. Не так-то просто умереть, подумал он.

Викторино Перес

Викторино распахивает дверь ударом ноги и начинает постепенно тонуть в своем несчастье. Первая беда — мятая рубашка на стуле и нижняя юбка на полу, как поверженное боевое знамя; первая беда — красное с бисером платье, которое Бланкита давным-давно не надевала: Викторино даже подумал, что она заложила платье, продала или, наконец, подарила соседкам. Вторая беда встречает его, когда он повернул искаженное лицо к постели.

Волосы Бланкиты разметались по подушке тонкими витыми струйками, струйками вазелина и пачулей; все ее одеяние — одна ночная сорочка, не доходящая до колен. Тут же мужские ноги в белых носках. Поза этого типа отнюдь не отвечает традиционному положению; на нем нет ничего, кроме этих носков первого причастия и коротких жокейских трусов.

Викторино сразу узнает в нем метиса по прозванию Маракучито, который неизвестно чем занимается — даже не вор. Маракучито проводит все субботние вечера у стойки в «Раю», его индейская апатичность позволяет пене оседать в кружке пива, и никакой музыке не удается соблазнить его потанцевать; равнодушно-привычным оком завсегдатая взирает он на девок, шмыгающих в туалет. Крисанто Гуанчес уверял, что метис — платный легавый и поставляет сведения полиции, но эти обвинения никем не подтвердились — просто Крисанто Гуанчес не верит никому.

Маракучито узнает его тоже; мгновенно прихлынувшая к ноздрям кровь одним толчком подсказывает Маракучито, что он попал в трясину, из которой не вылезти. Недовольной рожи, которую он скорчил, когда кто-то нетерпеливо колотил в дверь, больше нет; остается страх загнанной крысы, инстинктивное стремление справиться со своей панической растерянностью — наверняка придет конец, если он бросится навстречу приближающимся шагам. Он сразу заметил, как скрюченные пальцы Викторино поползли к карману брюк, увидел, как блеснула рукоятка ножа в полумраке, услышал весьма симптоматичный «крак» выскочившего клинка. Метис чувствует, что его единственный, ненадежный, рискованный, но единственный путь к спасению — дверной просвет, несмотря на то, что вооруженная рука Викторино блокирует этот путь. Инстинкт самосохранения или логика индейских предков, отфильтрованная в его крови, подсказывают ему, что самая большая опасность — ждать внутри комнаты: Викторино все более разъяряется по мере того, как идут минуты — свидетели его оскорбления; Викторино все более утверждается в своей злобной решимости по мере того, как приходит в себя от сюрприза. Оцепенело скорчиться в темноте — значит дать прирезать себя, как борова. Маракучито выкатывается из кровати в жокейских трусиках и белых носках, вплотную притирается к стене и пядь за пядью преодолевает злополучные два метра, отделяющие его от двери. Он движется, не отрывая глаз от черного кулака, сжимающего нож, и когда этот кулак делает молниеносный выпад, Маракучито рывком подается назад, будто изогнулась плеть или колыхнулось пламя, и острый клинок разрезает воздух в трех миллиметрах от его пупа. Из самого нутра хрипит жалобный голос:

— И ты убьешь меня, брат, из-за проститутки, из-за обычной шлюхи? — говорит слюнявый бледный мозгляк, опершись о розовую доску умывальника.

И из-за того, что он сказал эту грязь, я не убил его, Бланкита, хотя, говорить нечего,— была ты и проститутка, и обычная шлюха, но для меня ты моя жена, это сидит во мне и не ему об этом знать. Когда же он сказал эту грязь, Бланкита, вместо того, чтобы пригвоздить его к доске умывальника, я кричу ему: Забирай свои штаны и чеши отсюда, сволота! Он не стал дожидаться, пока я повторю, кинулся ястребом к стулу, схватил штаны и рубаху и — как ветром его сдунуло, даже на башмаки не взглянул, вылетел в дверь, потом вниз по лестнице, из гостиницы несся сломя голову до самых холмов Гуаратаро.

Затем Викторино переносит свое внимание на твои всхлипывания, Бланкита, ручеек стенаний, струящийся словно из-под кирпичного пола:

— *Не убивай меня любовь моя клянусь тебе я не сделала ничего плохого клянусь моей матерью я знаю ты мне не поверишь я вчера вечером напилась в «Раю» где вспоминала о тебе и напилась как сумасшедшая ты ведь знаешь любовь моя что я очень боюсь спать одна когда голова кругом идет и мне кажется что ко мне придут мертвецы и тогда я сказала Маракучито чтобы он отвел меня в эту гостиницу и*

он остался ночевать со мной было уже очень поздно я легла ногами туда а он ногами сюда я знаю любовь моя что ты мне не поверишь но мы не делали ничего плохого клянусь тебе моей покойной матерью не убивай меня...

Бланкита ошибается. Викторино и не думает убивать ее, а только чиркнуть по ней раз-другой ножом, чтобы оставить на ее теле вечную память о том, что она проделывала, пока он сидел под арестом. Он с ходу резанул бы ей грудь, которая торчит из-под плечика рубашки. Он медленно приближается к вороху простынь, где она скулит; Бланкита уже ощутила шелест холодной стали на коже и угрем метнулась к стене — он едва успевает оцарапать ей одну грудь. На царапине показывается кровь, это правда, но так мало, что шрам едва ли останется.

Так она лежит, в узком тупике между ножом Викторино и стенкой, спиной к нему, беззащитная, все еще лепеча ненужные слова: Я ничего не делала плохого. Не убивай меня, любовь моя. Рубашка поднялась на бедрах, и ее шоколадные ягодицы распаляют его, две глиняные амфоры, обнаженные и блестящие, ее шоколадные ягодицы. И он решает во имя справедливости перечеркнуть их крест-накрест, и на сей раз его рука не может дрогнуть, и она не дрогнула,— получился отличный крест: два аккуратных разреза, две ножевые раны. Бланкита не в силах сдержать пронзительного крика, но тотчас раскаивается в том, что вскрикнула: их личные дела не должны выходить за стены этой комнаты. До этого момента она только тихо всхлипывала и упрашивала, сведение личных счетов — это их дело, только их и более никого. Ты хочешь убить меня, любовь моя?

Раны на ягодицах отнюдь не походят на царапину на груди, а скорее напоминают длинные и глубокие борозды, сделанные рукой мясника. В них пульсирует ткань красивого пурпурного цвета. Вот только портящая все дело кровь заливает простыни, чернит розочки на матраце, одна капелька из амфоры уже клюнула кирпичный пол. Руки Бланкиты пытаются схватить правый кулак Викторино, там, где нож; она цепляется за него, сотрясаясь от пяти слов, которые повторяет, как старый фонограф: Не убивай меня, любовь моя; Не убивай меня, любовь моя; Не убивай меня, любовь моя,— пока Викторино своими губами невольно не стирает мокрую соль с твоих глаз, потому что он никого и никогда не любил так, как любит тебя, Бланкита. Любя так сильно, он потерял голову, когда увидел тебя в кровати с другим мужчиной; и, любя так сильно, он сам страдает от ран, зияющих у тебя позади. Твоя кровь — половая тряпка, которая стерла все, что ты натворила. И он целует тебя в рот, еще пахнущий табаком и мятой, и ревет, как последний дурак, вместе с тобой.

У подножья лестницы стоит замерший итальянец — почти сценическое воплощение Спарафучилле в немой опере среди зловонных декораций коридора. Викторино, хромая, спускается вниз по ступенькам — вывихнутая нога еще болит — и обеими руками поддерживает раненую женщину.

— Per la Madonna! Che hai fatto?[1]

Физиономия итальянца превратилась в деревянную маску, украшающую нос корабля,— маску из мореного дуба над красными следами, которые печатают шаг за шагом пятки Бланкиты.

— Carogna, che non sei altro![2]

Викторино ведет ее бережно и нежно в вестибюль, прислоняет, как куклу, к дверному косяку; двое прохожих мимоходом взгляды-

---

[1] Святая Мадонна, что вы сделали? *(Итал.).*

[2] Падаль, не иначе *(итал.).*

вают на нее и идут дальше, так и не поняв — парализованная ли это женщина или манекен для похорон. Викторино, отчаянно размахивая руками, остановил такси.

— Отвези ее в пункт скорой помощи, маэстро! У нее кровотечение, маэстро!

Шофер по одному его виду понял, что речь идет не о кровотечении, а скорее о кровопускании; со скрежетом зубовным помогает опустить ее на заднее сиденье. Бледная как мел Бланкита не может ни говорить, ни стонать; даже слово прощания из нее не выдавливается. Викторино сунул шоферу монету, которую получил от мотоциклиста, и все повторяет настойчиво:

— Вези ее в пункт скорой помощи, скорее, маэстро!

Шофер, перед тем как тронуть с места, бросает на него злобный взгляд; нетрудно себе представить, о чем он думает: Повезло же мне с утра. Эта женщина испортит кровью все сиденье. Уже испортила. Если полиция узнает, а она обязательно узнает, впутают меня во всякие допросы и очные ставки,— но, во всяком случае, он все же рванул вперед, машина с Бланкитой завертывает за угол, а Викторино все еще одиноко торчит посреди улицы, забыв, что брюки залиты кровью, и чувствует себя брошенным, как дохлая лошадь. *Бланкита, я тебя очень люблю, зачем тебе надо было трахать меня по башке?*

— Ты помнишь дона Сантьяго? — вдруг спросил Викторино, чтобы что-нибудь сказать. Ему надо было разорвать тишину, которая начинала угнетать и давить, как камень; ему хотелось бы кинуть горсть пепла в открытые глаза Крисанто Гуанчеса, чтобы притушить их мертвенный блеск. Через окно, распахнутое в овраг, слышались первые заунывные псалмы петухов.

— Ты помнишь дона Сантьяго?

Крисанто Гуанчес до мелочей помнил дона Сантьяго, но не отвечал, как не ответил бы ни на какой другой вопрос. Дон Сантьяго был любезный и услужливый галисиец, скромный и неболтливый — старик что надо для той поры, когда они начали заниматься воровством. Викторино стал заниматься мелкими кражами вообще не по призванию и не потому, что хотел нажиться,— просто он желал показать себя достойным выбора своего нового друга Крисанто Гуанчеса, дерзкого пирата с острова Такаригуа. Так, например, по какому-то счастливому случаю около тротуара на одной пустынной или полупустынной улице притерся красный мотоцикл — черт знает куда делся его законный владелец! Почему было не сесть на него верхом и не отправиться спокойненько вниз по асфальту? В мастерскую дона Сантьяго надо было идти по широкому сырому коридору без крыши; к заплесневелым стенам прислонялись заржавленные колеса и куски труб. Надо было пройти еще через две двери и пробраться по лабиринту из металлолома прежде, чем попадешь в клетушку, где дон Сантьяго работал с чисто галисийским трудолюбием; его плоскогубцы и молотки не знали ни воскресений, ни праздничных дней. При всем этом у дона Сантьяго с его героическими белыми усами и взобравшимися на лоб очками был весьма пристойный вид. Кто отважился бы подумать, что перед вами не один из почтеннейших старцев? Клиент являлся к нему, таща с собой мотоцикл и делая вид, что хочет починить какую-то испорченную деталь. Дону Сантьяго достаточно было бросить один взгляд на покрышки: даю тебе двадцать боливаров за него! Клиент начинал торговаться, речь, мол, идет почти о новом «ралейге», дон

Сантьяго немного набавлял цену, если был в хорошем настроении, и клиент выходил обратно через главный вход, уже без мотоцикла, гордо насвистывая популярную песенку «Вот бредет крокодил в Барранкилью...»[1] А потом оставалось только подчистить номер и другие отличительные знаки, перекрасить мотоцикл в менее кричащий цвет, изменить некоторые детали и перепродать — кто его знает за сколько? Всеми этими мелочами занимался дон Сантьяго, для этого он заводил влиятельные знакомства и, конечно, пользовался всеобщим уважением.

— А ты помнишь про американку из Бельомонте? — Викторино воскресил в памяти воспоминание, которое в любом другом случае, даже тогда, когда они провели скверную неделю в тюрьме Планчарт, всегда заставляло улыбаться Крисанто Гуанчеса. Но на этот раз он не улыбнулся, а продолжал лежать, уставившись в потолок с неподвижностью трупа. Летучая мышь, вырванная из своей ночи, бодала стены, начинавшие уже светлеть.

В ту пору, когда случилось происшествие с американкой из Бельомонте, они уже не были простаками, похитителями велосипедов, нет, сеньор, в эту, правда, не очень далекую пору они уже специализировались на похищении дамских сумочек. Именно дон Сантьяго удостоил их доверия, снабдив легальным мотоциклом, который по ходу дел оплачивался нелегальным товаром. Викторино медленно ехал за женщиной и ее сумкой, Крисанто Гуанчес сидел за его спиной, они старались поравняться с преследуемой на участке, где движение было небольшим, затем следовал наскок, вернее сказать, прыжок тигра — и женщина оставалась без своей сумочки. Крисанто Гуанчес бежал с добычей метров десять, чтобы догнать мотоцикл, Викторино тут же поддавал газу, оставляя за собой вонючую дымную серую струю и грохот, в котором тонули крики жертвы. Ей-богу, смех было глядеть на немногих остолбеневших свидетелей.

Американка вышла из банка Бельомонте с этаким видом безусловного превосходства над другими, который появляется у одиноких женщин, когда они становятся обладательницами чека на кругленькую сумму. Это была рыжая воинственная блондинка, деваха из тех, что мелькают на экранах телевизоров во главе нью-йоркских пожарных или карнавального шествия в Новом Орлеане. Викторино наслаждался преследованием — американка выписывала восьмерку такими бедрами, которые заслуживали Нобелевской премии и орденской ленточки Почетного легиона. Самым неожиданным оказалось то, что в своей атаке Крисанто Гуанчесу не удалось оторвать у нее сумку — ни одну, ни вместе с рукой: американка была чемпионкой по теннису или по какому-либо чисто мужскому виду спорта.

Крисанто Гуанчесу не оставалось ничего другого, как вцепиться в сумку и дать этой натренированной даме такого пинка, что она выпустила из рук сумку, взвизгнула, да так и осталась голосить на безупречном английском языке: Police! Police![2] — словно находилась на площади Пикадилли.

Если сцена грабежа не вполне отвечала режиссерскому замыслу, зато развязка была весьма приятной: открыть кожаную сумку у поворота железной дороги на Пало Гранде, почувствовать ароматное дуновение, исходящее от невиданно толстой пачки денег, пошуршать роскошными новенькими бумажками по 500 боливаров каждая — ну что за прелесть. Они обрядились в элегантные костюмы из английского кашемира и пили на брудершафт с офицерами и адвокатами в раз-

---

[1] Барранкилья — портовый город в Колумбии.

[2] Полиция *(англ.)*.

ных кабаре. Викторино впервые увидел Бланкиту в кабаре «Рай» — лучше бы не видел. Крисанто Гуанчес влюбился в одну рыжую кукутку [1], которая в пылу страсти наградила его триппером.

А этот, другой Крисанто Гуанчес, распластавшийся на кучках сухого дерьма и на досках со щелями толщиной в палец, оглушенный тишиной, которая плыла по пустому дому, устремивший немигающие глаза в балки потолка, не желал вспоминать ни о чем. Кровавая парабола тянулась от его вспухших губ к затылку, ножевая диагональ пересекала голую грудь. Этот домишко, затерянный среди выступов оврага, не принадлежал никому, даже влюбленные парочки не отваживались устраивать себе тут ложе, опасаясь змей; по этой хижине шныряло только всякое мелкое зверье, да приберегали ее для своих тайных сборищ бродяги.

Ночь, которая закончилась для них обоих в лучах позорного рассвета, началась торжественным вечером их первой большой кражи, первого вооруженного нападения, их официальным произведением в бандиты. Они уже приобрели славу ловких охотников за дамскими сумками и поэтому вполне понятно, что вчера утром к ним подошел Кайфас, когда они бесцельно прогуливались среди лавчонок на Кинто Креспо; к ним подошел Кайфас и сказал: Мне нужно два тертых кореша для дела, клюете?

Они клюнули. Но первое вооруженное ограбление, которое так волновало их в ходе подготовки, потому что это был их первый опыт совместных действий с матерыми налетчиками, это первое ограбление само по себе не произвело на них особого впечатления. В памяти Викторино сия история запечатлелась как хаотическое воспроизведение вульгарного американского боевика: общим планом — поворот к улице Санта-Моника; средним планом — продовольственный магазин, человек с висячими усами становится на цыпочки, чтобы опустить металлическое жалюзи; крупным планом — на сцене появляется Кайфас, нацеливает дуло своей «пушки» на брюхо лавочника; средним планом — Крисанто Гуанчес и Викторино в один миг опустошают кассу; замедленная съемка сверху — три бандита дубасят в хвост и в гриву лавочника, Кайфас оглушает его рукояткой револьвера; последний кадр целиком заполняется физиономией лавочника, пытающегося что-то сказать. Новая сцена, в кадре — автомашина, которая останавливается за ближайшим углом. Музыкальный фон — грохот, нагнетающий напряжение. Крупным планом — Кубинец за рулем. Камера перемещается в автомашину. Через ветровое стекло в фокусе улица; камера возвращается внутрь магазина, средним планом — в углу за прилавком с коробками и бутылками три бандита, там они находят пачки банкнот; общим планом — бандиты с добычей выходят на улицу, лавочник лежит распростертым на полу, с его лица ручьем льет кровь, темнит белизну мешка с мукой. Снаружи крупным планом — Кубинец за ветровым стеклом, Кубинец закуривает сигарету и включает зажигание, во время дальнейшей сцены слышится шум мотора; средним планом — три бандита бегут к автомашине; общим планом — они открывают дверцы и влезают в автомашину; быстро мелькают кадры — автомашина летит, сворачивает налево в третий переулок; съемка замедляется, крупным планом — та же самая улица, что и в начале эпизода; тот же самый ракурс; триумфальная музыка. Далее киноэкран заволакивается кровью, которая заливает также и его, омрачается болью разбитой ключицы, ожогами и побоями, которые оставили свои следы на его коже. Что касается Крисанто Гуанчеса, то он не хочет вспоминать абсолютно ни о чем.

[1] Кукута — город на границе Колумбии и Венесуэлы.

Кошмар начался тогда, отвратительное глумление началось тогда, когда они перешагнули порог этой лачуги, затерянной среди выступов глубокого оврага. До этого логова спустились они вдвоем, следуя за Кайфасом и Кубинцем, после того как бросили автомашину на какой-то уединенной аллее. Они пришли сюда делить добычу, участвовать в традиционной церемонии. Неожиданно из тьмы вынырнули еще двое, чьи морды никогда ранее не видел Крисанто Гуанчес, чьи имена никогда не слышал Викторино. Они не участвовали в деле, но притащили три бутылки рома и пакет содовых таблеток, с восторгом рассыпали розоватые пастилки при свете фонаря, который в высоту — пальма, в ширину — шимпанзе, но, несмотря на свои габариты, сеял слабый свет, совсем как в шахте.

Викторино и Крисанто Гуанчес хватили по стакану рома, чтобы не выглядеть молокососами, но отказались от содовых таблеток и странной закуски, даже с риском упасть в глазах своих матерых напарников. Затем они притаились в углу комнаты,— ведь придет же когда-нибудь время справедливого распределения добычи. Который теперь час, Викторино? Он прикинул — должно было быть не более половины второго ночи. Кайфас, Кубинец и два чужака пили из горлышка бутылки в другом конце комнатушки, пытались позабавиться пошлыми анекдотами, но начинали с конца, а потом, не зная что еще добавить, разражались идиотским хохотом, рыгали и издавали другие непристойные звуки. Вдруг они притихли. Сломав хрупкую тишину, один из пришельцев, тот, кого другие называли Бешеный Пес, сказал:

— Давайте прижучим этих двух сопляков!

Викторино и Крисанто Гуанчес сначала восприняли эти слова как зверскую шутку пьяных, какую-то секунду перед ними маячила надежда, что речь не о них,— ведь они уже не сопляки, не мелюзга паршивая, а два таких же равноправных «подельника», которые ставили на карту свою свободу и свою жизнь, участвовали в мужском деле и теперь, как мужчины, сидели на корточках и терпеливо ждали приглашения к законному дележу добычи на равных основаниях. Но в ответ на предложение Бешеного Пса послышалось одобрительное мычание остальных. Бешеный Пес был сущим дьяволом, которому еще ударил в голову ром, и поэтому в его голосе, в его предложении чуялось нечто особенно страшное, садистское, Кайфас уже направлялся к ним, мало что соображая:

— А ну, скидывай одежду, ребята, сейчас мы повеселимся!

Викторино и Крисанто Гуанчес, узрев реальную опасность, кошачьим прыжком кинулись к двери, но натолкнулись на гиганта с фонарем, которого звали Мохнатый Бык; он загородил собою дверь и, оттолкнув, заставил отступить, Викторино сунул было правую руку в карман, чтобы нащупать нож, но Кайфас одной своей ручищей, как тисками, сжал оба его запястья. Кубинец и Бешеный Пес волоком оттащили в сторону Крисанто Гуанчеса. Все его выкрутасы и проклятья ничего не стоили. Отпустите меня, сволочи! Викторино стоял, одинокий и беззащитный, перед Кайфасом и Мохнатым Быком.

— Сначала вам надо убить меня! — двое мужчин, оглушенных ромом, не поняли, что Викторино прокричал яростную правду; с него содрали одежду, загнали в темный угол и на его отчаянные попытки кусаться или вырываться отвечали кулачными ударами, которые гулко ложились на ребра Викторино, как комья глины на гробовые доски. Кайфас гнусаво приговаривал:

— Ну, ты, негритенок, не брыкайся, все равно не вырвешься.

Мохнатый Бык вывернул ему левую руку за спину и продолжал

выкручивать ее кверху мелкими постоянными поворотами,— боль, острая и невыносимая, нарастала.

— Ой, руку сломаете, сволочи проклятые!

— Говорят тебе, не брыкайся, негритенок,— отвечал Кайфас. Борьба продолжалась несколько минут. Впрочем, кто знает сколько? Пьяные громилы разбили ему переносицу, сломали ключицу. Кайфас прижег ему мошонку зажженной сигаретой, содрал кожу с ягодиц своими хищными когтями. Викторино тоскливо ощутил, что его сейчас убьют, почувствовал, как к самому горлу подкатило похолодевшее сердце и стало душить, и что это, наверное, и есть сама смерть.

— Ну-ка, давайте все сюда! — послышался вдруг неожиданный рык Кубинца из соседней комнатушки.

И только в этот момент они оставили его, почти потерявшего сознание. Он уткнулся позеленевшими губами прямо в грязь, с трудом перекатывая во рту проклятия и бранные слова: Чуть не убили меня, сволочи. Потом он погрузился в какой-то обморочный туман; по временам издалека доносились наглые смешки Кайфаса; боль в ключице не давала ему совсем лишиться чувств. Заброшенный домишко возмещал себе свою гибель и заброшенность.

Они ушли с добычей, они дырявили рассветный туман своей пьяной икотой, они забыли в доме фонарь, оставшийся гореть среди пустых бутылок. Этот ленивый свет напомнил Викторино, где он находился, Крисанто Гуанчес лежал, вытянувшись, в черной луже тьмы, израненный и окровавленный, как и он сам. Богохульства Крисанто Гуанчеса возносились прямо к небесам, он не смог перенести зверских пыток, жуткой непрерывной боли, его едва не придушили.

Крисанто Гуанчес, истерзанный и опозоренный, не вспоминал более ни о чем, не обращал никакого внимания на сострадательные уловки Викторино. Его едва не придушили, его измяли, он не смог выдержать. И теперь он не сводил с потолка бездумных мертвенных глаз.

Викторино Перальта

Викторино привел свой «мазератти», чтобы его крестили глаза Мальвины. У Мальвины увлажняются ладони рук, ей все равно — приедет ли он на осле или в санях. Самое главное, что он приехал, она его ждет с самого завтрака, одетая в белое платье, а теперь делает вид, что поливает клумбы в саду. Мальвина — высокая, почти такая же высокая, как Викторино; под глазами у нее синева, настоящая, хотя это уже и не модно; глядит невесело. Она влюблена в Викторино с того самого дня, когда впервые взобралась на его мотоцикл, когда тесно прижалась к его спине в легкой рубашке, которая приятно щекотала ее едва обозначавшиеся юные груди. Потому с той поры она стала сосать ментоловые карамельки и зачитываться комиксами — Викторино мог перевоплощаться в Супермена, Попейе, или Мандрейка[1], или в любого другого героя, все равно. По мере того как оба росли, Мальвина влюблялась все больше, и вот — под глазами у нее синь, на совести — уже два года тайных поцелуев и запрещенных ласк. Викторино пытается идти дальше, скажем, до самого конца; он тысячу раз умолял ее об этом, старался обойтись и без мольбы, но она прекрасно знает, она предугадывает движения его души — после того, как станет обладать ею, он не будет ее любить по-прежнему, да, это

[1] Герои комиксов.

не блажь, но он не будет ее любить по-прежнему, как не любит по-прежнему те вещи, которые ему уже принадлежат. Мальвина в этом уверена, поэтому она упирается, сгорая от страсти в его объятьях, смертельно желая раскрыться, как раковина, под нажимом упрямых коленок Викторино: Не капризничай, любимая моя. Он целует ее, как, наверное, целовал царь Соломон, он просит у нее страсти, которую она хотела бы дать ему, не может дать ему. Все остальное в жизни Мальвины не имеет значения: занятия в католическом французском колледже (Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, et caetera[1]), фортепьяно, феминизированное сентиментальными вальсами; два сорокалетних друга дома, которые выражают желание на ней жениться; оглупляющее чтение благопристойных романов — мать не разрешает ей читать романы сомнительного содержания. Сегодня день рождения Викторино, и он не приехал в назначенный час повидать ее. Единственная отрада в этом скучном мире — греховное сопротивление объятиям Викторино, нет, нет и нет с дрожью в голосе, нет и нет, затрудняющие дыхание и бросающие синеву под ее глаза...

Викторино оставляет «мазератти» на аллее и идет к Мальвине, которая тоскливо ждет его, окруженная маргаритками и папоротниками, овеянная мирским запахом малабаров, состязающаяся в субтильной аристократичности с орхидеями.

Они входят в дом. Мальвина уже рассыпала ахи и охи и всякие слова восхищения по поводу блестящих форм автомобиля: Это что-то дивное. Они лавируют среди королевской утвари и мебели, ковровый кардинальский путь ведет их прямо к библиотеке.

— Я не приглашен на празднество к Лондоньо,— говорит он задерживаясь перед дверью и пропуская ее вперед.

— Тогда я тоже не пойду,— говорит она. Ответ, который он предвидел.

Библиотека — самое укромное место в доме, в ее атмосфере носятся флюиды пожелтевших пергаментов и замшелых переплетов, дух Гаруна аль-Рашида и Виктора Гюго. Голубоватое окно смягчает резкий наружный свет — надо зажечь лампу, если хочешь расшифровать золоченые угасшие буквы, если желаешь разглядеть клейменые хребты книг. Викторино и Мальвина не зажигают лампу.

Один-единственный портрет оживляет полутьму зала, поглядывая на свою собственность, правда, ограниченную здесь небольшим пространством между парчой оконных гардин и красным деревом шкафов,— это портрет доктора Хасинто Перальты Эредиа, адвоката по рождению, экс-сенатора республики, члена правления и акционера анонимных компаний, хозяина этого дома, отца Мальвины, дяди Викторино. Его сияние не меркнет и в этом помещении — солнечные крупинки, сеющиеся сквозь окно, почти целиком оседают на его ясной голове, а к вечеру прислуги зажигают неоновую рамку, бледнящую его лик мертвенным отсветом,— ему ни секунды не дают остаться наедине со своим бархатным интерьером. Юридические ухищрения змейками бороздят дядюшкино светлое чело; деньги, текущие в его бумажник, придают влажный блеск огромной жемчужине, озаряющей его черный галстук. Академическая живопись, обычная, но выразительная; творение испанского художника, конечно, прославленного, придворного портретиста короля Альфонсо XIII и Прекрасной Отеро[2],— дон Хасинто Эулохио не рискует доверять свою физиономию анахроничной мазне национальных художников.

---

[1] Из католической молитвы «Ave Maria», переведенной на французский язык.

[2] Имеется в виду известная в свое время французская актриса легкого жанра.

«Всякий триумф — это результат долгих и целеустремленных усилий»,— подобными афоризмами разражается портрет. Живой и здравствующий дон Хасинто Эулохио, всецело поглощенный трелями телефонов, мурлыканьем заседающих членов правления, беготней по коктейлям в честь бракосочетаний, разводов и похорон своих бесчисленных друзей, дон Хасинто Эулохио во плоти и крови не имеет необходимого свободного времени для умиротворяющего философствования. «Моя биография — одно сплошное усилие воли и разума, я создал этот дом с единственной, но добродетельной дочерью, я не расточал нерасточимые богатства, унаследованные от нашего отца,— это я говорю для моего брата, Архимиро; я не собираюсь создавать из наследства лирические миражи, как Анастасио, мой второй брат, младший,— Анастасио вбил себе в голову мысль о развитии промышленности в этой стране, по горло увязшей в долгах. Мои собственные капиталы,— тут портрет дона Хасинто Эулохио еще раз всем сердцем сожалеет, что художник не снабдил его полуулыбкой благополучия,— мои капиталы находятся в Англо-Американском банке. После Кубы никто не знает, что может случиться в этой мутной круговерти, которая нас окружает! Итак, мои личные капиталы составляют сумму 840 тысяч 807,83 доллара, помещенные под восемь и пять восьмых процента годовых. Этот отчет я получил неделю назад, я еще помню цифры с точностью до десятой доли, у меня память как у Юстиниана».

Викторино и Мальвина огибают кожаные кресла и докучливые энциклопедии. Разгулявшиеся гормоны гонят их в самую глубь библиотеки, туда, где стена юридических фолиантов и ее gnosis [1] служат им надежным укрытием. Внимание, дамы и господа, игра начинается! Мальвина лицом к преследователю, более не сдерживаясь, сама забивается в угол, спиной к шкафам с трудами римских законников. Только гелиотропы ее дыхания отделяют ее от атакующей команды, мяч поставлен в центр поля, судья смотрит на своей хронометр и дает свисток, центральный нападающий устремляется в атаку.

«Остальное я предусмотрительно вложил в недвижимость и ипотеки. Справедливости ради следует добавить,— продолжает разглагольствовать цицероновский портрет дона Хасинто Эулохио,— что основная суть, или «Сезам, откройся» моих успехов, таилась в моей способности раскусить психологию этой страны, психологию в ее самых тончайших проявлениях или, скажем лучше, психологию людей, управляющих этой страной, а именно: генералов в мундирах, политиков-прагматиков — и нефтяных компаний (в свое время — in illo tempore — правили и латифундисты, ныне ставшие добропорядочными старичками, набальзамированными мумиями, вымогателями субсидий, кому сейчас придет в голову вступать в сговор с каким-нибудь производителем какао для того, чтобы сделать его одним из членов правления «Стандарт ойл»?). Психология генералов в мундире: основное устремление генералов в мундире — нагнать на нас побольше страху, следовательно, надо проявлять страх. Психология политиков-прагматиков: их политику понять нетрудно; необходимо только показать им, что ты можешь иметь на руках столько же карт в нашей общей игре, сколько они имеют, то есть сорок процентов пакета акций. Психология нефтяных компаний: у них нет никакой психологии, но есть логика, и надо примениться к их логике».

Викторино и Мальвина целиком растворяются в поцелуе, и никакие трубы Апокалипсиса не смогли бы оторвать их друг от друга. Она чувствует, как под ее языком маленькой сладкой горячей змейкой

[1] Знания, мудрость *(греч.)*.

вьется его язык; ощущает, как рука корсара берет на абордаж ее груди, выдыхает свои первые «нет», томно и уступчиво. Другая рука Викторино нежно опускается по ее спине ниже талии.

Викторино прерывает поцелуй, чтобы увлажнить ее губы набором противоречивых эпитетов: Моя королева, Моя собаченька, Мой персик, Моя жаркая печка, Мои любимые волосы, Моя дьяволица, Моя святая, Моя любовь.

«Кроме того,— образ дона Хасинто Эулохио продолжает расточать самому себе велеречивые социологические похвалы в этот сверкающий ноябрьский полдень, который посылает ему оптимистические телеграммы в тусклое оконное стекло,— кроме того, основой основ моего прочного общественного положения, моего национального удельного веса является конкретный факт, конкретная деятельность, которая с виду кажется пассивностью, абсентеизмом: я никогда не лез в министры, никогда не был министром, никогда не буду министром. Сколько людей в Венесуэле разбили свое блестящее будущее, свою блестящую карьеру, ослепленные идиотским желанием развалиться в черном «кадиллаке», который имеет номер с однозначным числом! Уважающий себя общественный деятель не имеет права ставить в зависимость от какого бы то ни было правительства свою репутацию, а тем более принимать из рук правительства министерский портфель. Подумайте, друзья мои, о той ответственности, о взаимосвязанных межведомственных осложнениях, которые связаны с выполнением обязанностей министра. На совести министра путей сообщения — процент убитых, за которых несет ответственность министр внутренних дел; доброе имя министра юстиции зависит от рытвин и кратеров, которыми усеяны дороги нашей страны. На плечи министра здравоохранения ложится изрядный груз контрабанды, которую ввозят через наши продажные таможни. А если в один прекрасный день правительство низлагается, мятежники сносят вам голову, как это обычно бывает, и не успеваешь оглянуться, как с окрестных гор спускаются толпы, обуреваемые желанием растащить библиотеку министра иностранных дел и помочиться в его китайский фарфор и на полотна Утрилло [1]. Друг правительства — пожалуйста, министр — никогда. Таков был бы девиз, который обрамлял края моего герба, если бы в нашей стране была в ходу эта геральдическая чепуха».

Бедра Мальвины подчиняются ритму Викторино, в бурном темпе несутся они на медовой волне необъятного моря, она безотчетно вонзает ему ногти в спину, воркует, как голубка, слова нежности, о которых раньше и не думала, ее влажные лепестки сотрясаются под напором тверди Викторино, он сгорает в: *дай мне твои губы, моя любовь, я их потерял, хоть умри, любимая, я ничего не вижу, я совсем ослеп.*

И вот свершается (и не свершается — они же одеты) непочтительный акт по отношению к портрету дядюшки Хасинто Эулохио. Ничего, Викторино, вперед! Дядюшка погрузится в трясины канонического права или сделает вид, что ничего не понимает, если так угодно богу.

Такого еще в жизни не было:

ни тогда, когда они пригласили прогуляться в их размалеванных автомобилях трех уличных педерастов, самый нахальный из которых запел в предвкушении противоестественных ласк: «Спасибо, сорат-

[1] Морис Утрилло (1883—1955) — французский живописец, мастер городского пейзажа.

ницы по хайлайф[1], сестрицы наши!» Эти три мерзавца распустили свои павлиньи хвосты под осквернеными арками Центра имени Симона Боливара. Была полночь. Этих типов довезли до стадиона № 18 клуба Валье Арриба и бросили там в чем мать родила под дождем, коловшим их стыдом и холодом, предварительно исполосовав ремнем зады и измазав краской животы извращенцев;

ни тогда, когда они сбросили под откос улицы в глубины пруда (на следующий день надо было прибегнуть к помощи портового подъемного крана, чтобы извлечь его на поверхность) великолепный «роллс-ройс» доктора Эченагусии,— заслуженная кара за его отвратительную точность выражений: он называл их неисправимыми малолетними вандалами, а в своих комментариях при игре в бридж называл преступной бандой из высшего класса и давал другие идиотские определения;

ни тогда, когда они опорожнили двенадцать банок красной краски в водохранилище, которое поставляет воду в.Кантри. Во всех особняках из кранов потекла кроваво-багровая жидкость, а они распустили слух, что вода была злонамеренно отравлена экстремистами, и в течение нескольких дней никто не отваживался пить ее, мыться или использовать в туалетах;

ни тогда, когда они ворвались пиратами на торжественный банкет еврейской аристократии. Из синагог явились раввины в глухих сюртуках и с постными физиономиями, чтобы председательствовать на одной из своих древних традиционных пирушек, а они, ухватив скатерть за концы, выскочили с ней на улицу — по земле покатились самаритянские амфоры, хлеб-маца, вареные яйца, цыплячьи шейки, ореховые пироги, все это покатилось по земле, смешиваясь со страшнейшими угрозами пророков Иезекииля и Иеремии;

ни тогда, когда они гостеприимно предложили прокатиться в своих машинах двум «ночным бабочкам», шатавшимся взад-вперед по авениде Казановы,— крашеной блондинке и черноволосой эквадорке. Они заморочили девчонкам головы россказнями о ночном пикнике, повезли их по какой-то корявой дороге, которая карабкалась по склонам Авилы, потом заставили забраться в самую гущу кустарников, устроили шикарный костер из их профессиональных платьев и видавших виды туфелек, а самих оставили среди колючих зарослей да еще на прощание добросердечно предупредили: осторожно, здесь много ядовитых змей-мапанаров;

ни тогда, когда они устроили оргию в благородном пансионе семейства Бехарано. Мать, отец и сыновья отправились в Грецию обозревать античную культуру, дом остался один под присмотром мажордома-португальца, который родился в век карбидных горелок. Они навесили замок на комнату, где восьмидесятилетний старец уютно дремал, освободили ящики с шампанским из тьмы погреба, а Монна Лиза и ее две подруги (такие же лахудры, как и она сама) стали выпендриваться в стриптизе под аккомпанемент стереофонической записи «Страсти по Матфею». Утром они выложили на персидских коврах четкий узор из собственного дерьма;

ни тогда, когда они заняли стратегические позиции на балконе кинотеатра Альтамира, где Фрэнк Синатра пел «Strangers in the night»[2] или какую-то другую из своих плагиатных песенок, а Рамунчо прервал его рыком гиппопотама, и по этому сигналу Эсекьель и Пибе Лондоньо стали швырять кудахчущих кур и лить зловонную жидкость прямо на головы сидящих в партере. Из глотки Рамунчо при этом вы-

[1] От английского «high life» — светская жизнь.
[2] «Странники в ночи» *(англ.)*.

рывались панические вопли: Землетрясение, бегите, землетрясение! Викторино открыл огнетушитель и устроил душ Шарко бежавшим в панике людям;

ни тогда, когда они завлекли в какой-то укромный уголок парка Эль-Хункито двух наивных учениц американского колледжа и заставили их проглотить крепчайшую смесь рома с текилей, способную свалить с ног даже трухильянского полковника, после чего они вдоволь наигрались с обалдевшими блондиночками — правда, до крайности не дошли во избежание осложнений;

ни тогда, когда отомстили Далиле Монтекатини, которая сначала была доверенным лицом их шайки и подругой Уильяма, а затем вдруг с бухты-барахты превратилась в пуританку. Далила Монтекатини стала ходить по всем домам и рассказывать про них ужасы: Не приглашайте их на праздник, они настоящие хулиганы. И вот они однажды вечером вытолкали ее из «фольксвагена», затащили, согласно лучшим сценариям телевидения, в один заброшенный дом и стали грозить, что попортят ей груди, а этот бестия Рамунчо в лучшем инквизиторском стиле махал перед ее носом садовыми ножницами: Проси у нас прощения на коленях! Целуй каждому башмаки! И Уильяму тоже, хотя он и молчит! И Далиле Монтекатини пришлось по-магометански преклонить колени, чтобы защитить целостность своих прелестей;

ни разу, когда им приходилось учинять эти исторические скандалы, не веселилась так спортивная душа Эсекьеля Устариса — он студент третьего курса юридического факультета католического университета, но душа у него чисто спортивная,— как в этих автогонках не на жизнь, а на смерть в безлюдном месте неподалеку от Прадос дель Эсте.

Ты просто наслаждаешься, Эсекьель, снова и снова вспоминая эту эпопею и прибавляя все новые детали, которые позже придумал или, может быть, упустил в своих прежних рассказах.

— Викторино и Уильям,— говорит Эсекьель,— раздобыли в Ла Кастельяне автомашину «мустанг» кремового цвета, которую только что освободили из контейнера, доставившего ее из Питтсбурга или из Чикаго. Судя по счетчику, она наездила не более ста километров, кожа на сиденьях еще пахла новыми ботинками, в общем, отличная машина.

Это была не машина, а механизированный архангел, Эсекьель. Только американцы знают секрет, как воплощать в металл такую аэродинамическую элегантность, повторять чеканку Паоло Учелло [1]. Кем могла быть ее хозяйка, Эсекьель? Надо полагать, надменной дамочкой, которая изъясняется по-французски, натягивает на пальцы черные надушенные перчатки и тратит свои вечера на визиты притворного соболезнования — впрочем, в Каракасе ей уже не придется проводить время так бестолково.

— Мы в свою очередь,— продолжает Эсекьель,— мы, то есть Пибе Лондоньо и я, мы свистнули «мерседес-бенц», не такой новехонький, как «мустанг», но тоже почти девственный, модель этого года, экипированный что надо — кондиционированный воздух, радио «Телефункен», радиола «Филиппс», в общем, машина что надо.

Видно, что хозяин его был рабом классической музыки, Эсекьель, у него хватало средств и терпения слушать анданте «Юпитера» на

[1] Флорентийский художник, гравер (1396—1471).

скорости восемьдесят километров в час. Но кем же все-таки мог быть его хозяин, Эсекьель? Скорее всего, врачом, который получает восемь тысяч боливаров за каждую операцию по удалению аппендицита. И после того, как кладет денежки в карман, цинично успокаивает пациентку, испуганно кряхтящую перед наркозом: Не волнуйтесь, сеньора, это так же просто, как вырвать зуб. Восемь тысяч боливаров. Денег у него, видно, до черта.

— Мы поехали по шоссе, которое сворачивает к Прадос дель Эсте, вы знаете, сразу после сквера,— повествует Эсекьель.— Викторино вырвался вперед на «мустанге», я шел за ним по пятам на «мерседесе», а в хвосте у нас пристроился грузовичок для развозки хлеба, полный судей и зрителей, он все время трясся за нами, этот грузовичишко.

Какой сумасшедший булочник, Эсекьель, какой квашня-человек решился доверить свою рабочую машину Рамунчо? Потому что не кто иной, как сам Рамунчо управлял этим грузовичком.

— Было уже далеко за полночь,— рассказывает Эсекьель,— и движение транспорта нам было не помехой. На холме асфальт кончился, и мы попали на строящуюся дорогу. Рабочие оставили там фонарики на шестах, эти хромоноги послужили стартом нашей гонке на скорость. На первом этапе они нам дали фору, пришлось хвост поджать, ничего не поделать.

Его невозможно было победить, Эсекьель. Викторино мчался, как сорвавшийся с цепи демиург, среди пыли и визга; колеса «мустанга» бешено скакали по рытвинам и колдобинам. «Мерседес-бенц», свинцово тяжелый и величественный, отставал. Дорога вдруг оборвалась; впереди вырос холм, за ним — пустыри. В последний миг Викторино послушался предостерегающего вопля Уильяма: Тормози или мы разобьемся! *Но все-таки я победил тебя, Эсекьель.*

— Тогда,— говорит Эсекьель, до этого он рассказывал со сдержанным ехидством о пока еще не главных событиях гонки, теперь же его прямо распирает от гордости,— тогда мы рванули на пустырь, чтобы показать там, кто настоящий победитель, мы решили...

Пустырь казался им автодромом, до отказа наполненным невидимой публикой; автодромом назвал его ты, Эсекьель. Они были готовы начать мужественную игру, которая показала бы реальную ценность и крепость этих прекрасных автомашин — капотов и крыльев, всех этих штуковин, которые прикрывают их смазанное маслом сердце. Вера в победу сидящего рядом Пибе Лондоньо еще более взбодряла тебя, Эсекьель; Пибе уверял, что хотя это верно, что немецкие воротилы сгубили миллионы людей в концентрационных лагерях (стариков, женщин и детей, действуя с нищенским практицизмом, Эсекьель), от этого они не перестали понимать толк в автомобилестроении. Ты разделял его веру в немецкое промышленное чудо, Эсекьель. Но не надо было забывать, что соперником «мерседес-бенца» той ночью было не другое авточудо, а Викторино, державший в руках руль этого чуда. Отвага и вера в себя составляли и составляют три четверти победы, так повелось еще от царя Давида, а эти качества всегда были присущи Викторино, Эсекьель.

— Мы стали друг против друга, лоб в лоб,— говорит Эсекьель,— между нами было метров двадцать. Гудок хлебного грузовичка должен был послужить сигналом, Рамунчо дал сигнал и...

Они начали сближение на средней скорости. Сначала ты увильнул от неминуемого столкновения, Эсекьель, в нескольких дюймах от себя ты дал промчаться слепому крейсеру, который несся прямо на тебя не с добрыми намерениями, и правильно поступил — Викторино никогда не свернул бы в сторону, но в последний миг ты сделал

легкий бросок направо и передний бампер твоего «мерседеса» пробил заднее крыло «мустанга». Жалобный звон разнесся по пустырю. Ты здорово ему заехал, Эсекьель.

— Я подумал, что обязательно надо дать ему еще разок,— сказал Эсекьель,— и снова развернулся навстречу.

Колеса «мерседеса» ожесточенно заскрежетали в крутом повороте по голой земле. Браво, Эсекьель, твой неожиданный вираж позволил тебе перехватить Викторино как раз посередине продолговатого эллипса, который описывал «мустанг». Мощный киль «мерседеса» устремился прямо на радиатор «мустанга», смял его и превратил в дымящийся, чихающий аккордеон. Ты вышиб его из игры, Эсекьель.

— Этого было предостаточно, чтобы кончить сражение,— говорит Эсекьель,— но ведь вы знаете Викторино. Пибе Лондоньо толкнул меня, дав знать, что «мустанг» продолжает нас преследовать, или, лучше сказать, призрак «мустанга», верно?

Действительно, Эсекьель, за твоей спиной послышался прерывистый храп избитого мотора, слышались англосаксонские вопли Уильяма — можно было подумать, что кричит сам Редьярд Киплинг, окруженный индийцами. Ты напрасно старался уйти от толчка, Эсекьель, захрустели сломанные ребра «мерседеса», Пибе Лондоньо ткнулся вперед, прямо на стекло. Еще бы чуть — и он раскроил бы себе лоб. Резкий запах пролитого бензина взвился в темноту. Но этот бешеный наскок, Эсекьель, был только последним хрипом в бою, хрипом, который вырвался у Викторино — не у побежденной автомашины, а у него самого. Тебе удалось вырулить вбок, Эсекьель, чтобы не быть разбитым всмятку, не превратиться в металлолом; фонари грузовичка Рамунчо подмигивали впереди, в туманной дали. Позади остался побежденный боевой петух, бивший вверх фонтан кипящей воды, из-за которого выскочил Викторино, проклиная Джорджа Вашингтона — персонажа совершенно непричастного к этим событиям,— а вслед за ним в ту же самую дверцу выскочил Уильям; вторая дверца, превращенная в парализованный кусок железа, заклинила навеки.

— Мы хотели отпраздновать победу нашего «мерседеса» кругом почета по пустырю,— заканчивает Эсекьель,— но и сам «мерседес» превратился в кучу дерьма, через двадцать метров он встал как вкопанный.

Да, он остановился, импозантный, но ни на что не годный, как статуя генерала, Эсекьель. Пассажиры грузовичка во главе с Рамунчо приступили к торжественной церемонии дележа добычи. Ты, победитель, взял себе на память звонкое радио «мерседеса», Пибе Лондоньо прихватил с собой две запасные шины, он это заслужил. Рамунчо выпотрошил «мустанга», как хирург, готовящий пациента для пересадки всех органов; остальные зрители тоже не скрывали свою страсть к сувенирам, за исключением одного рыжего садиста — он удовольствовался тем, что располосовал вдоль и поперек великолепную кожу на сиденьях опасной бритвой, которую вытащил из кармана, предоставив свободу пружинам и конскому волосу решительно без всякой надобности — просто так, чтобы душу отвести. А что же делал Викторино, Эсекьель?

— Викторино,— говорит Эсекьель и не может скрыть своего удовлетворения,— Викторино зашагал в пыльную темноту с пустыми руками. Он не привык к поражениям. Еще не знал, что такое потерпеть крах. Через полчаса мы его догнали, предлагали сесть в грузовик, настаивали, спорили, упрашивали: Не упрямься, не будь дураком — только слова зря тратили и в конце концов оставили наедине с его тихой яростью и восходившим солнцем.

Викторино Пэрдомо

Ты меня ожидаешь, и по твоему телу пробегает дрожь, как по молодой лошадке перед бегами, Ампара. У дверей твоей квартиры я забуду о своих военных делах и думах, сложу свои заботы, как складывают газету под бутылкой молока; оставлю в лифте последний кусочек грифельной доски моей памяти, где нарисован план банка и точное местонахождение кассиров; я так же отрешусь на время от своей юношеской неистовой ярости, которая требует обратить все в прах и пепел, чтобы построить справедливость на чистом месте, начиная с круглого нуля. Я выкину, я думаю, что смогу выкинуть из головы все эти не соответствующие ни месту, ни времени мысли, перед тем как скинуть со своего тела соответствующую одежду и предстать перед тобой во всем своем мужском обличии; а ты откроешь мне дверь в цветастом халатике, и руки твои будут пахнуть душистым мылом и нежностью, и лицо озарится такой улыбкой...

Викторино шел, по дороге выдавливая из себя воспоминания, воскрешая в памяти самые дивные минуты счастья, тысячи прекрасных смертей, пережитых вместе с тобой, Ампара, с того самого дня, когда ты стала женщиной, его любимой. В памяти мелькали и неловкости первых дней.

...Я учил тебя выражать любовь, я сам учился вместе с тобой выражать любовь; дистиллятор любопытства и удовольствия превратил наши первые боязни и робости в утонченные наслаждения; мы все более углублялись в густой дивный лес, горячие тайны которого никто нам ранее не открывал, чудеса которого не могут быть описаны в книгах, не могут быть изображены на киноэкранах, Ампара, любимая моя. Ты изобретала разные слова рядом со мной, а я узнал вкус твоего пота и твоих слез. Мы чувствовали себя и животными, и богами, сок наших тел вскипал в едином пламени, молния безумного блаженства разом ударяла в нас обоих.

После долгого глубокого поцелуя около окна, Ампара, ты молча пойдешь к своей кровати, сбросишь цветастый халатик и, обнаженная, соблазнительно засмуглеешь на постельной белизне. Команданте Белармино разоружит полицейского охранника, этого чертова мулата, который отдаст ему револьвер, отвернувшись. Я стану медленно раздеваться, Ампара, вся одежда упадет к моим ногам, все мои чувства устремят меня к твоим приоткрытым губам и к твоим сомкнутым векам, к тебе, Ампара, цветок мой любимый. Через стекла черного «шевроле» можно будет разглядеть суровый профиль Валентина, к нему прижмется Карминья со своим сороказарядным полуавтоматом, зажатым между ногами. Я подойду к тебе бесшумно, босиком; ты не услышишь, а, скорее, почувствуешь мои шаги, не открывая глаз; твои руки протянутся мне навстречу; твой рот дрогнет в поисках моего рта, ты нежно прикусишь мои слова. Я нацелю револьвер ему прямо в лоб и закричу: Руки вверх! Не сопротивляться! — и перепуганный кассир... Вдруг меня пронизывает мысль, Ампара,— я не смогу тебе сегодня дать счастья; что бы мы ни делали, только время потеряем; и нежность твоя пропадет даром.

Все так и происходит. Ты чем-то расстроен?— спрашиваешь. Ты о чем-то думаешь? — спрашиваешь. Тебе нездоровится, любимый? — спрашиваешь; твои губы мечутся по моим губам, ты вся — одно огромное раскрытое желание. Я не смогу тебе сегодня дать счастья, я убежден в этом, Ампара, будь все трижды проклято.

Не иначе, какой-нибудь ангел шепнул тебе, чтобы ты оставила меня в покое, Ампара. Ты тихо встала, я робко смотрю вслед твоей смуглой спине. Ты остановилась в задумчивости около радиолы. И твоя квартира наполняется музыкой, которая всегда была наперсницей наших самых исступленных соитий, самых наивных признаний, самых непристойных игр. «I can't say nothing to you but repeat that Love is just a four letter word»[1],— поет Джоан Баэз, и ее песенка приобретает на этот раз глубину молитвы, тоску элегии, которая усугубляет мою травму. Единственное утешение — сознание того, что это мучение скоро кончится, через несколько минут я буду далеко отсюда; у меня стучит в висках, сухо в горле — далеко отсюда.

Но ты не смиряешься, Ампара. Все еще обнаженная и задумчивая, зажигаешь сигарету и окутываешься дымом. Сейчас ты повернулась лицом ко мне, золотистый световой зайчик прыгнул из окна тебе на грудь. Ты раздавила о мраморный стол только что зажженную сигарету и возвращаешься ко мне, веря в себя, в силу страстно любящей женщины, в свой аромат и в свои руки. А если будет перестрелка? Если будет перестрелка, придется перешагнуть через чей-нибудь труп, чтобы не перешагнули через твой собственный, черт подери. Нет, Ампара, ничего не выйдет. Ты делаешь мне больно. Говорю же тебе: Сегодня невозможно, а ты твердишь упрямо: Всегда возможно — и стараешься побороть мою прострацию, пока сама не убеждаешься, что это невозможно.

Тогда ты взглядываешь на часы. Очень скоро должна вернуться твоя мать, она уже вышла из учреждения, села в автобус и едет, едет сквозь уличный шум и семафоры. Одевайся быстрее, я оделся быстрее, чем ты думала, самое главное — оказаться подальше отсюда, страдать или смириться, но только подальше отсюда. Ты же улыбаешься, ласково, просто, любовно, ободряюще: Дурачок ты мой, я жду тебя завтра утром, в этот же час, слышишь? А если будет перестрелка, Ампара?

(Была такая идиллическая эпоха, когда все мы жили в мире и согласии, nemine[2] не было никаких супротивных мнений,— никто не может представить себе такого, видя, как мы перегрызаем друг другу глотки. Однако в самом деле существовала такая обетованная земля свободного волеизъявления, хотя Вы и не верите, скептик-читатель; сейчас я Вам поясню. Мы однажды почувствовали, что по уши сыты этим самым диктатором,— quosque tandem[3] будет командовать какой-то плюгавец, тщеславный толстяк, недалекий, жестокий, возомнивший себя Наполеоном и не дотянувшийся до пупа Тартарена из Тараскона, когда пришло время показать, чьим прототипом из французских героев он мог бы быть. Самый срам в том, что он сумел нагнать на нас просто библейского страху — таким вооруженным до зубов он везде являлся, таким исполненным решимости свершить любые преступления он казался,— впрочем, он и свершал любые преступления. Но когда он этого менее всего ожидал, стадо баранов превратилось в осиное гнездо и — я его свалил, ты его свалил, он его свалил, мы его свалили, они его свалили, вы его свалили. И когда пришло пробужде-

[1] «Я ничего не могу сказать тебе, кроме того, что Любовь — это слово из четырех букв» *(англ.)*.

[2] Ни у кого *(лат.)*.

[3] До каких же пор *(лат.)*,— из обращения Цезаря к Катилине: «До каких же пор ты будешь злоупотреблять терпением нашим...»

ние, нас охватила поистине фуэнтеовехунская[1] эйфория — хотелось ликовать, как диким африканцам вокруг изрешеченного стрелами дохлого гиппопотама. Сеньор атеист стал разгуливать под ручку с сеньором епископом, а сеньор епископ стал угощать сеньора атеиста шоколадом: Выпейте еще чашечку, прошу вас. Приятель-капиталист похлопывал с искренней снисходительностью по вспотевшей спине приятеля-рабочего, а приятель-рабочий просил благословения у приятеля-капиталиста. Товарищ юноша преклонял колени перед седовласым опытом товарища старца, а товарищ старец пел дифирамбы бородатому задору товарища юноши. Военные запасались для свиданий цветочками с клумб общественных парков, к великому гражданскому удивлению уличных девиц. Крестьяне водили своих детей в банк, чтобы они позабавились, швыряя арахисовой шелухой в членов правления, которые весело подмигивали детишкам из-за решетки. Благороднейшая мадам Liberté[2] стала бесшабашной подвыпившей богиней, аппетитная мадам Egalité[3] дискредитировала себя под стать своей сестре; кадильный ладан курился лишь у ног третьей сестрицы, экс-Золушки, мадемуазель Fraternité[4], синьорины Unitá[5], мисс Concord[6], фрейлейн Einigkeit[7]. А меж тем беглый диктатор[8] ностальгически побалтывал в бокале Tom Collins[9] в баре отеля «Фонтенбло» (Майами Бич), подытоживал суммы своих банковских капиталовложений, складывал доллары с швейцарскими франками — их перевалило за 120 миллионов — и похихикивал в кулачок, похихикивал, как дух-пересмешник испанского поэта по имени Эмилио Каррере, несправедливо преданного забвению.

Мы сидели втроем, как и раньше за столом, перед деревенским ароматом супа и мягким благодушием хлеба. Мой отец, Хуан Рамиро Пэрдомо, вернулся из далекой тюрьмы, окруженный ореолом всеобщего восхищения, к чему он никогда и не стремился. Газеты писали о его стоической выдержке при пытках, о его удивительном самообладании на унизительных допросах, о перенесенных муках голода и жажды, которым его подвергали, чтобы сломить; о металлических лезвиях, которыми ему кромсали ноги. Но он плевать хотел на подлые расспросы, посылал всех подальше — таков был его единственный ответ. Газеты рассказывали также о его годах заключения, проведенных в тюрьме в Сьюдад Боливар; там он разводил овощи, обучал грамматике, истории, географии узников из простого народа. Его друзья приезжали навещать его, я видел, как они обнимают его, гордые тем, что они его друзья; они говорили: Ты настоящий коммунист — это единственная похвала, которая всегда доставляет ему удовольствие.

Потому что мой отец, Хуан Рамиро Пэрдомо, не меняется, не опошляется в тюрьмах, в которых сидит; потому что он не считает каким-то геройским подвигом пребывание в них, он считает, что это

[1] От «Fuente Ovejuna» — «Овечий источник» *(исп.)*, пьеса испанского драматурга Лопе де Веги (1562—1635) о борьбе народа против феодала.
[2] Свобода *(франц.)*.
[3] Равенство *(франц.)*.
[4] Братство *(франц.)*.
[5] Единство *(франц.)*.
[6] Согласие *(англ.)*.
[7] Единство *(нем.)*.
[8] Имеется в виду венесуэльский диктатор Маркос Перес Хименес, свергнутый народным вооруженным восстанием в 1958 году и бежавший в США.
[9] Виски со льдом.

просто несчастный случай, который может произойти с каждым из его товарищей. И вот поэтому я всем и везде говорил, даже когда меня и не спрашивали: Хуан Рамиро Пэрдомо — это мой отец. Он сидел во главе стола, между матерью и мной, комкал в руках салфетку, ел суп, который мать приготовила из овощей и своей любви, и говорил:

— Расскажите же, что творится в мире? Что делается у нас?

Он хотел узнать о больших событиях, которые произошли в мире во время его отсутствия, как и когда советский народ запустил спутник, что говорилось о Сталине на XX съезде. Отец был заключен в одиночную камеру, куда не проникал даже лай собак. Мать информировала его обо всем своим ровным голосом учительницы, а иногда предоставляла слово мне:

— В наших делах Викторино разбирается лучше меня.

Мой отец хотел до мельчайших подробностей знать, как я свалил, ты свалил, он свалил, мы свалили, они свалили, вы свалили диктатора[1]. Он даже не отдавал себе отчета в том, что там, в своей камере, он участвовал в перевороте более активно, чем мы здесь, на воле. Это вы, узники,— те, кто его действительно свалил. А я, Викторино Пэрдомо, студент второго курса социологического факультета, который швырял булыжниками в полицейские пулеметы, я просто мелкий буржуа, который шел на улицы, чтобы слиться с демонической яростью толпы; я делал это, чтобы вырвать из заключения своего отца, ибо во что бы то ни стало хотел быть достойным моего заключенного в тюрьму отца, вот и все.

— Без романтики, Викторино, без красивых слов,— говорил мне отец,— лучше объясни мне, как наши разъединенные профсоюзы смогли организовать общую забастовку; кто объединил интеллигенцию, как, в какой форме проявилась солидарность моряков, откуда взял оружие народ.

С помощью матери я пытался ответить на эту кастаньетную дробь вопросов. Мать на глазах превратилась в жизнерадостную Аллилуйю, она расцвела как пышные деревья-букары, она сожгла свою печаль на улицах вместе с портретами диктатора, которые летели в костры. Я никогда не мог предполагать, что ее слабые плечи смогут выдержать такое огромное, вдруг свалившееся на них счастье. Ее волнение шестнадцатилетней девочки сделало ее еще более красивой, она ни с того ни с сего вдруг вскакивала из-за стола и возвращалась, сопровождая Микаэлу, которая несла высоко над собой, как голову Джоканахана, те самые свиные отбивные, которые тогда привиделись мне, как во сне, во дворе лицея. Мать заливалась коротким радостным смехом, когда мой отец (а мой отец не обладал ни малейшим талантом вести семейные собрания), когда мой отец робко пытался сострить или пошутить в разговоре. Однако где-то там, в самых высотах материнской радости, в свете ее ликования мне казалось, будто я различаю мерцание свечи; она ласково и как-то отрешенно гладила рукой волосы отца, словно боясь потерять его; ласково проводила рукой по моим волосам, словно боялась потерять меня. Вот-вот прольются слезы ее напуганного счастья. Пролились.

---

[1] Имеется в виду, очевидно, свержение диктатора Переса Хименеса 23 января 1958 года.

Викторино Перес

Слава богу, что многоквартирный дом, где еще живет Мама (она все еще продолжает день за днем жарить лепешки для продажи), находится недалеко от отеля «Лукания». Викторино находит в себе силы добраться туда, хромая и кляня весь свет, прижимаясь к стенам и заборам, как загнанный пес. Его черные штаны залиты кровью Бланкиты, запачкана и рубашка, на сером фоне которой предательски краснеют пятна. До дома остается каких-нибудь двести метров. Викторино прекрасно знает, где лучше идти, чтобы в эту пору избежать ненужных встреч. Завернув за угол, он скользит вдоль бесцветной изгороди (почти двадцать метров — и ни одной двери), окружающей склад каких-то материалов и машин. Затем пересекает улицу, оставляя позади торговый перекресток, который еще не совсем очнулся от ночной дремоты; проходит, втянув голову в плечи, мимо трех неизбежных окон, где живет знакомый люд, и, наконец, исчезает в коридоре многоквартирного дома. Толстуха из комнаты № 1 еще спит, никто с ним не сталкивается, никто его не замечает. Он отодвигает плечом кретоновую занавеску, входит в комнату Мамы — словно только что вернулся из школы. Она стоит и стряпает, словно бы и не было этих трех лет разлуки. Она отворачивает голову от дымящейся сковородки и видит сына, стоящего посреди комнаты. Не говоря ни слова, она подходит к нему и целует его в лоб. Он говорит ей детским жалобным голосом (только с ней одной он может говорить таким голосом): Мне бы сменить одёжку. Мама не задает вопросов, она только ощупывает мокрые кровяные пятна, чтобы узнать, не ранен ли он, и успокаивается, убедившись, что это кровь не Викторино. Тогда она моет руки в раковине, открывает темный сундук, который будто врос в пол рядом с ее кроватью, и начинает перебирать предметы мужской одежды. Викторино сбрасывает с себя серую рубаху и черные брюки, свертывает их в комок и швыряет под стол, в одних трусах ожидая, пока Мама что-нибудь найдет. Она протягивает ему штаны цвета хаки, которые ему немного широки, и архиепископально-лиловую рубаху, которая ему тоже немного великовата. Викторино не знает, какому мужчине принадлежала сия одежда, да ему абсолютно неинтересно знать это. Мама плачет, не вытирая глаз; он старается делать вид, что не замечает ее слез. Она достает с карниза коробку «Квакер», где хранит свои сбережения, и отдает все монеты Викторино, все одиннадцать боливаров. Оба понимают, что ему нельзя долго оставаться под родной крышей. Именно сюда полицейские нагрянут раньше всего, они уже были здесь несколько раз, когда он убил (нельзя было не убить) итальянца. Он натягивает на себя мешковатую одежду с чужого плеча и засовывает деньги в еще не освоенный карман. Мама провожает его до кретоновой занавески, чтобы проститься с ним: Да хранит тебя бог — единственные слова, которые она произносит за все эти короткие минуты.

Викторино останавливает свободное такси и говорит шоферу адрес, который дал ему Камачито в тюрьме. В районе Про Патриа утро уже совсем созрело, солнце украшает апельсиновыми цветами худосочные деревца на маленькой площади; бледная, в желтом платье девочка играет в какую-то игру, разговаривая сама с собой в дверях одного домишки. По адресу, указанному Камачито, находится скобяная лавка или портняжная мастерская совершенно непотребного вида: ее окна наглухо закрыты ставнями, а не стеклом, как подобает настоящим витринам. За прилавком этого странного заведения сидит, скор-

чившись, не менее странный субъект неопределенного возраста. Антикварное пенсне пляшет на его хищном носу, он внимает воинственным воплям, несущимся из радиоприемника, который на уровне его головы извергает следующие известия: *Викторино Перес, враг общества № 1, сегодня на рассвете совершил удивительный по дерзости побег из тюрьмы Ла Планта. Вы можете выиграть крупную сумму денег в лотерее Ориенте...* Викторино более или менее это предвидел: радио будет орать до полудня; затем его станут поливать грязью вечерние газеты, а завтрашние утренние удостоят его чести увидеть собственный портрет на последней полосе.

Викторино подходит к скрюченному коммерсанту и говорит, что он от Камачито. Старикашка сразу же опознает своего визитера, в голове у него мутится от страха, а радио вновь с ожесточением начинает бубнить: *...беглый бандит имеет при себе оружие... Пепси-кола украшает жизнь...* Старикашка еще более сжимается за прилавком и, стуча зубами, едва может произнести со столичным или деревенским акцентом имя помощника, который шныряет в задней комнате: Худас Тадео! Видимо, к тому должно относиться это имя: Худас Тадео! Затем хозяин напяливает на голову черную фетровую шляпу, которая сразу делает его вдовцом, и говорит, неизвестно к кому обращаясь — то ли к Викторино, то ли к Худасу Тадео, который наконец приплелся после того, как его окликнули в шестой раз: Я вернусь через десять минут,— и поспешно выскальзывает из лавки. Викторино не беспокоится, хозяин не может выдать его, не рискуя привлечь внимание к своим собственным делишкам: откуда, мол, вы знаете этого Камачито? Радио снова начинает горланить о его побеге. Известие об этом будет передано раз сорок до обеда. Худас Тадео — индеец себе на уме: он никогда не слушает, о чем болтают призрачные радиоголоса, он предпочитает давить пальцем развратные мушиные пары на досках прилавка. Викторино садится на стул, который ему предложили. Худас Тадео смотрит на него искоса и улыбается, улыбается так, словно посвящен в какой-то секрет,— он ни во что не посвящен, но разыгрывает видимость соучастия, строя из себя дурачка. Никто не входит за покупками в эту лавку, в которой не заметно никакого товара. По тротуару удаляется продавец лотерейных билетов, занудно выкрикивая идиотский волшебный номер без семерок. Проходит более получаса, и возвращается старикашка в антикварном пенсне, возвращается таким же встревоженным, каким ушел. Не снимая шляпы, он нервно говорит Викторино: Пошли! — и опять идет на улицу. Викторино следует за ним, хромая и изрыгая проклятья.

Встревоженный старикашка ведет его к дому, находящемуся в этом же квартале. Их быстро впускает в дверь женщина, у которой фронтон и подножие типичной проститутки. Двое мужчин, находящихся в маленьком зале, и не думают подниматься с дивана. Вся мебель — ядовито-зеленого цвета, две картины тематически дополняют друг друга; на одной стене боксер-негр в боевой стойке, на другой — белокурый младенец Иисус в совершенно беззащитном положении. Пахнет кофе с молоком и мятой. Викторино сваливается в одно из ультразеленых кресел, оба мужчины глядят на него с пытливым участием. У одного из них глазное веко вздулось твердым, куриным яйцом, у второго во рту торчит гораздо меньше зубов, чем потеряно. Викторино кладет начало знакомству, сообщая, что у него страшно болит вывихнутая лодыжка. Редкозубый говорит ему: Сними-ка ботинок и носок, сделаю тебе массаж. Проститутка с трогательной заботой приносит ящик, который должен послужить опорой для разутой ноги. Так называемый массаж оказался зверским рывком, от которого у Викторино в глазах заплясали звезды (Альдебаран, Кассио-

пея, Пояс Ориона, созвездие рыцарских поэм времен короля Артура, хотя Викторино и слыхать о них не слыхивал). Он не может удержаться от стонов вперемежку с руганью. Редкозубый массажист, снова осклабившись в жалкой гримасе Пьерро, утешает его, стоя перед ним на коленях. Старикашка в черной шляпе все еще стоит у двери, в которую они вошли. Викторино, которого от боли прошиб пот, подозвал его рукой. Пойди-ка найди мне Крисанто Гуанчеса,— сказал он ему, найдешь его там-то и в такой-то час. Викторино называет место и час. У старика впервые за все время светлеет лицо: замаячила надежда избавиться от нежеланного гостя. Он ускользает, не попрощавшись. Четверо оставшихся чувствуют себя после его ухода гораздо уютнее. Женщина приносит кофе с молоком, аромат которого несется уже издалека, и пачку печенья. Редкозубый обнажает десны в своей пародии на улыбку, тип с яйцеобразным веком тоже старается выразить беглецу свое профессиональное восхищение. Он идет в соседнюю комнату и возвращается с нежданной штуковиной — удивительно мягкой подушкой, на которую Викторино опускает пятку своей больной ноги. Редкозубый вытаскивает из футляра две дозы марихуаны и предлагает одну из них своему новому приятелю: Хочешь? Викторино хочет, да.

Далее следует первая чудесная галлюцинация Викторино Переса, описанная романистом, который называет марихуану «Cannabalis sativa» (вместо того, чтобы называть ее именами, благоприобретенными: цикада, ознобик, сенцо, кудряшка, шумиха, хуанита, побегушка, мачиче, мафафа, маланга, дурья башка, маслица, марабунта, маранья, мария, мария джованни, мария ла-о, марьянжа, марихуана, марильон, мэри уорнер, материалец, штучка, дерьмо, лесовичка, ухмылка, комочек, пельпа, пеппа, катапульта, питрака, розалия, роза мария, четки, шора, табачок, всячина, ракета, глушонка, хохма, фуфу, шуточка или травка). Романист называет ее «Cannabalis sativa», или кола, или гашиш,— чистая литературщина,— и почти совсем не знает, как она действует на человека, о чем он лишь прочитал в одной брошюрке, посвященной отравлению ядами:

Ракета по имени Викторино взмывает и взмывает в небо из каменной глыбы по имени Викторино — и нет этому конца, потому что одна часть Викторино покоится в удобном кресле, а другая часть Викторино летит вверх в бредовом смерче сна. Его правый локоть тесно спарен с правой ручкой кресла; эта часть Викторино не принимает никакого участия в его заоблачных путешествиях, а остается недвижимой в грязном притоне — ей даже не дано знать, в какие минуты Викторино возвращается из своих космических прогулок и снова обретает локтевую и лучевую кости руки, покидаемой на столь долгое время. Напротив того, череп (который, по мнению преподобного отца-бенедиктинца Франсуа Рабле, есть наиважнейшая — после древней и благородной мужской принадлежности — деталь тела человеческого), череп Викторино безмерно увеличивается, а вместе с ним раздувается объем комнатушки, и все видимое пространство подобно бесконечно большой велосипедной покрышке, которую бесконечно накачивает насос. Шар-череп Викторино улетает в страну чудес, страну без homo sapiens, без пейзажей, без обозначений и предсказаний, наполненную только красками, линиями, воздухом, временем, мате-

рией, движением, воспроизведением, приумножением, распространением, в общем, сплошной кинематикой, уважаемый дружище Сото [1]. Что касается младенца Иисуса, которому удается без всякой опоры восседать на стене в этом гнусном заведении, он, видно, использует этот головокружительный хаос, чтобы стушеваться в чудодейственных приливах, раствориться в стеклянном блеске атмосферы, вознестись на небеса, усесться по правую руку всемогущего бога-отца и т. д. и т. д. Викторино теперь вовсе не беглый негр, удравший от людского правосудия, а машина неограниченных летных возможностей (за исключением правого локтя, который остается на земле в знак его симпатии к роду человеческому) и моторизованная голова, свободомыслящая и свободовидящая. Киноварь, шафран, глауконит, опал, лилово-красно-бурый спектр, жемчуг, кармелит (никогда в своей собачьей жизни не слыхивал Викторино таких слов, но он их видит) — эти краски заливают его; спирали, параболы, эллипсы, окружности, знаки бесконечности (откуда знать ему, Викторино, почти не бывавшему в школе, названия этих кривых, по которым он скользит?) несут его по своим траекториям и в конце концов запускают куда-то ко всем чертям, пока он не становится осью мутной мигающей призмы. У кого это, будь он трижды неладен, болит щиколотка? Только не у Викторино — он во власти самого усладительного наркоза, весь смак которого в том, что знаешь — ты под наркозом, чувствуешь, как млеет сердце, и слышишь бессмысленную песенку, стучащую в такт крови:

Я знаю, что любишь ты рис с молоком,
Я в пляске кружусь под твоим потолком...

Однако щиколотка болит. Гостеприимная проститутка, которую кличут Газелькой,— не за общую легкость поведения, а за отдельные нежданно резвые выходки,— раздевается специально для Викторино и зазывно выгибается в проеме двери, распахнутой в солнечное патио. Неудержимое желание обжигает Викторино, он готов ринуться на нее, не испрашивая разрешения у двух приятелей, покуривающих свои трубки. Но появление бедняжки Бланкиты вдребезги разбивает его порыв. Бланкита является в первом акте балета в операционной: один тип в белом халате, пританцовывая, промывает ей раны физиологическим раствором, второй сшивает располосованную плоть тонкими, как леска, жилами; третий стягивает кожу простыми нитками, четвертый вонзает в тело иглу шприца — антисептический укол,— и все четверо выпархивают, наконец, в игривом падекатре, покинув ее, лежащую ничком, с пластырем на ягодицах, с полной льда резиновой плошкой на заднице, гоп-ля-ля!

На расстоянии более двух километров от Викторино все происходит именно так, как это ему видится в его убежище в Про Патриа; эта подозрительно точная телепатия побуждает его благоразумно вернуться к земным стезям — просто дьявольское наваждение, Викторино. Призма растягивается в ось, ось превращается в касательную, касательная съеживается в знак бесконечности, знак распадается на два кружка, один из них вытягивается в эллипс, эллипс развертывается в параболу, парабола закручивается в спираль, спираль невесомо оседает на мозг, ее когда-то раскрутивший; локтевая и лучевая кости руки Викторино становятся ощутимой частью тела Викторино. Младенец Иисус вновь покорно распластывается на своей стене. Газелька одним глазом подмигивает ему (Викторино) из двери, распахнутой в солнечный патио,— она и не думала сбрасывать платье. Нет ли там еще марихуаны на одну затяжку?

[1] Хесус Сото — современный венесуэльский художник-абстракционист, пытающийся изображать предметы «в движении».

Вторая галлюцинация Викторино Переса:

Плут с яйцеобразным веком вытаскивает из кармана спичечный коробок, полный не спичек, нет, а «мафафы», свертывает цигарку, сам зажигает ее и подает Викторино — это как раз то, что нужно Викторино позарез. И в его втором потустороннем путешествии на него обрушиваются старые воспоминания (они сами лезут на него, он и не думал подзывать их свистом, как собачонок), воспоминания о разных старых случаях, которые снова происходят с ним точь-в-точь как все это было, вплоть до последней запятой; он переживает их еще раз, все точь-в-точь, как тогда. Например, случай с убийством итальянца (его необходимо было убить). Викторино сумел заставить себя выкинуть из памяти эту малоприятную историю, по крайней мере ее самые досадные подробности. И вот, этот эпизод, черт его дери, сейчас развертывается перед ним на известковой белизне стены, словно кинопроектор крутит пленку, на которой, как при замедленной съемке, воспроизводятся все детали; вот она, эта улица.

Шесть часов вечера, черная пятница. Викторино вчера ночью пил и танцевал с Бланкитой во Дворце спорта. На глазах у нее была полумаска, а на подбородке черная мушка. Бутылка «Белой лошади», поданная на льду с содовой, посадила их на мель—эти бандиты содрали с них сто двадцать боливаров. Обнаружив утром полнейшую пустоту в своих карманах, Викторино с бухты-барахты решил кого-нибудь ограбить, чтобы компенсировать столь беспардонное вымогательство. Гуанчес отказался сопровождать его — он вообще не любит работать при естественном освещении, а тем более, когда в голове еще гудит от вчерашней попойки; Гуанчес всегда знает, что делает.

Викторино остановил свой выбор на портняжной мастерской итальянца потому, что она находится в том захолустном районе Каракаса, где он выучил (не в школе, в школе-то он черта с два что-нибудь выучил) правила игры в бейсбол, когда прогуливал уроки. Как свои пять пальцев знает он тут все закоулки — надо будет пробежать метров двадцать, завернуть за угол там, позади автомобильной стоянки — глубокий овраг, который он излазил вдоль и поперек; покружившись в нем, он вылезет наверх, у самого массива жилых домов, где пробраться сквозь лабиринт простенков и лестниц — ему тоже раз плюнуть. Сам Дик Трэси не угонится за ним после ограбления, не говоря уже об этом пентюхе, о сыщике, которого показывали в телефильме.

Однако, когда Викторино остановился у витрины и стал разглядывать английские кашемировые ткани (из Маракая [1]), щекотное прикосновение холодных (ниже нуля) невидимых пальцев к его лопаткам ясно дало ему понять, что дело не выгорит. Викторино всегда обходилось дорого это невнимание к предчувствиям. Просто трусость прет из всех щелей, говорит он и загоняет глупые предчувствия обратно в щели, как тараканов. И в этом его ошибка. Итальянец из портняжной взглянул на него недоверчиво, настороженно: время закрывать мастерскую, Викторино не выглядел как клиент, пришедший снять мерку.

— Чего тебе? — спросил он хмуро. Викторино уже хотел ответить: «Ничего», уже собрался было отложить грабеж на другой день, но вдруг вскипел злостью на самого себя — он никогда не шарахается назад. В штаны наложил от страха, негр? И вместо того, чтобы дать задний ход под каким-нибудь благовидным предлогом (Можно от вас позвонить, сеньор?), он мигом вытащил револьвер, нацелил тому прямо в галстук и залпом выпалил грозные приказы: Ни с места! Руки вверх или получишь пулю в лоб! Снимай часы и все остальное!

[1] Город в Венесуэле.

Пьетро Ло Монако, так звали портного по сообщениям утренних газет, поднял руки, но не спускал внимательных глаз с темной рубахи налетчика. Откуда было знать Викторино (он не узнал об этом и из завтрашних утренних газет), что это вовсе не обыкновенный заурядный портной и не сицилийский крестьянин, ставший портным, а экс-солдат, или экс—военный преступник, или экс-футболист—из тех, что играют в спортивной форме и с судьями, или экс-мотоциклист — из тех, что гоняют с номерами на спине, или просто какой-нибудь преподаватель трюков и приемов, чтобы увечить своих ближних. Викторино взвел курок револьвера: Клади барахло на прилавок! Человек начал снимать часы и обручальное кольцо, все так же в упор глядя на Викторино — как на своего смертельного врага. Вынимай бумажник! — но тот не подчинился, рванулся было применить приемчик «каратэ», и Викторино не осталось ничего другого, как всадить ему пулю в ногу, чтобы отбить охоту к подобным японским штучкам.

Говоря по правде, дело уже провалилось, как проваливается всякий налет в ту самую секунду, как только звучит выстрел. Теперь у Викторино осталась единственная цель — бежать, поскольку дело провалилось. Но Пьетро Ло Монако, охромев, все-таки бросился к двери, чтобы загородить ему выход на улицу. Дурак, я убью тебя, пусти, сволочь! Итальянец не слышал его, не хотел слышать, схватил огромные ножницы и закупорил собою дверь: рост — метр девяносто, бычья грудь, как у Муссолини. Викторино смахнул на пол с прилавка его драгоценности, предложил почетное перемирие: Вот твои шмотки! Не заставляй проливать кровь! Пропусти меня! Тот и ухом не повел, замахнувшись смертоносными ножницами. Викторино не мог понять, как этому кретину удалось спасти свою шкуру на войне. Не иначе, судьба вручила его мне, будь он..! — философски подумал Викторино, прицелился в самый центр груди и всадил в нее три пули подряд, от которых тот сразу и ковырнулся. Перед тем как выскочить и для того чтобы оправдаться перед историей, Викторино попытался вытащить у него бумажник из заднего кармана брюк, но Пьетро Ло Монако и в смертный час упрямо цеплялся за свои лиры, которые были еще боливарами; с неистовой страстью цеплялся за блага бренного мира, из которого уходил.

Эпизод закончился тем, что Викторино прорвался сквозь строй и страх любопытных; две тысячи мух слетелось на сладкий мед выстрелов. С дороги или всех уложу на месте! — рычал Викторино. Толпа двумя волнами, как Чермное море, отлила в стороны, а минутой позже все стали раскаиваться в своем благоразумии и всем скопом пустились его преследовать. Куда там! Викторино козявкой шмыгнул в извилины глубокого оврага. *...Меня застукали в субботу, через день, в твоих объятиях, Бланкита.*

После этого детального воспроизведения убийства итальянца (его надо было убить, вы сами понимаете) визуальный аппарат Викторино попадает в хаос видений. Его прошло-настоящая жизнь замелькала перед ним с несусветной быстротой, в дьявольской гонке фильма, который крутится назад, навертывается с диким шелестом на бобины проектора: дни разлетаются пушинками секунд, километры — стружками миллиметров. Викторино никак не может извлечь одно цельное воспоминание из этого вихря смешавшихся мест и времен. Его жестокая юность почему-то сливается с его более или менее обычным детством, нападение на большой магазин заканчивается игрой в мяч в родном многоквартирном доме; тело Бланкиты, завер-

нутое в саван, тащат хоронить муравьи; ограбление фермы в Ла Флориде переносится к быкам моста, где впервые появился Крисанто Гуанчес, бежавший с острова Такаригуа. При воспоминании о Крисанто Гуанчесе экран вдруг успокаивается; на стене воспроизводится светлое воскресенье — так же явственно, как та черная пятница, когда скончался без приобщения к святому таинству итальянец-портной Пьетро Ло Монако.

Накануне вечером они вдвоем совершили налет на закусочную, битком набитую публикой. Урожай собрали немалый: три тысячи двести чистоганом, одиннадцать пар наручных «котлов», четырнадцать кожаных «лопатников» с удостоверениями личности и сентиментальными фотографиями и одну «пушку», принадлежащую посетителю, который был шпиком, но не успел вовремя разрядить в них этот револьвер. Викторино и Крисанто Гуанчес сидели нос к носу в своей комнате, честно поделив добычу: каждому — священные пятьдесят процентов, а револьвер заприходован как общее и неделимое орудие труда. Викторино решил использовать момент полнейшего взаимопонимания и выложить товарищу план, который он молча и долго вынашивал, обдумывал, так и сяк взвешивал, по кускам разжевывал, переваривал, кипятил в собственной крови. Речь идет о том гнусном происшествии, о котором они за прошедшие три года ни словом не обмолвились.

— Пришел час мщения,— сказал Викторино. На его лексиконе заметно сказалось пагубное влияние телевизионных постановок.— Я выслеживал их как собака, шаг за шагом, этих четырех паразитов: Кубинцу продырявили шкуру во время нападения на Центральное кладбище, Мохнатый Бык смылся год назад в Колумбию, но эта сволочь еще вернется, увидишь.

Крисанто Гуанчес — профиль, высеченный из кремня,— его не прерывал.

— А вот Кайфас и Бешеный Пес высиживают яйца в Ла Леоне, срок им навесили два года. Все очень просто, друг. Мы дадим «сучку» надеть на нас «перчики», он будет очень доволен, что накроет нас. Мы везде наследили и там тоже. А когда нас застукают, упекут как раз туда, куда надо; точно тебе говорю, друг.

Крисанто Гуанчес — мрачный бронзовый мертвец — его не прерывал.

— Теперь мы не сопляки по пятнадцать годов, не безоружные, не по одному против двух. Я подсеку Кайфаса, а ты уберешь Бешеного Пса. Все до крохи продумано, друг. В первую же ночь, там, в Ла Леоне; сработаем чисто, ножи всадим — не пикнут. Что думаешь про это, друг?

Крисанто Гуанчес встал с табурета, на котором сидел, выпрямился, будто само воплощенное заклятие, и произнес таким злобным голосом, какого Викторино от него еще не слыхивал:

— Я не позволю тебе упоминать о том, что случилось той ночью, и никому не позволю,— той ночью ничего не случилось, понял? Ничего не случилось, будь ты..!

И снова стал кремневым изваянием. Викторино понял, что одно лишнее слово, самое краткое, может привести к беде, ему не хотелось беды. Крисанто Гуанчес смотрел на него с ненавистью, впервые за все годы их дружбы. Глухая ненависть к Викторино вспыхнула в груди Крисанто Гуанчеса и жгла еще часа два, пока наконец не затухла.

Светлое воскресенье обрывается, потому что Викторино летит кувырком вниз со своих кудрявых облаков. При этом у него так и чешутся руки от веселой охоты подраться с кем-нибудь, и он

вдруг ощущает страшный голод, голод доброй сотни людей, потерпевших кораблекрушение. Щиколотка ноет по-прежнему. Слышится веселое чириканье Газельки в многообещающем перезвоне посуды на кухне. Просто адский голод точит ему нутро.

В дверь стучат. Редкозубый Пьерро испуганно и поспешно выскакивает из своего угла. Говорит, что его зовут Гильермо, и продолжает метаться, как жаба. Викторино его успокаивает:

— Открывай, не бойся. Это мой друг, Крисанто Гуанчес.

Но этот святой Фома беззубый не верит в метафизическое ясновидение. Осторожно подкрадывается к двери и в замочную скважину сверяет реальность со словами. Конечно, это Крисанто Гуанчес.

Крисанто Гуанчес шепчется с Викторино более получаса. Вернусь в семь вечера, говорит он на прощанье и возвращается, как обещал, ровно в семь. На этот, второй, раз Редкозубый, называющий себя Гильермо, подскакивает к двери и открывает без всякой боязни. Нога у меня уже не болит, думает Викторино. Он проглотил кучу таблеток аспирина, подремал минут двадцать, растянувшись на пружинном рабочем месте Газельки. Услужливый Редкозубый помогает ему встать и дойти до двери. Викторино выходит из дома, опираясь на плечо Крисанто Гуанчеса. Газелька говорит ему «прощай» с милостивой улыбкой — последним свидетельством ее поистине герцогского (не тех герцогов, которые Сен-Жермены) гостеприимства. У самого тротуара тихо подрагивает голубой «олдсмобиль», только что уведенный с Ла Ринконады. Его экс-владелец — видно, большой любитель лошадей: вся машина завалена программками с ипподрома и фотоснимками коней — победителей на скачках. Викторино с первого взгляда узнает человека за рулем — он слышал, с какой похвалой отозвался однажды об этом типе Крисанто Гуанчес. Фамилия его не то английская, не то тринидадская, что-то вроде Робинсона или Мэдисона,— Викторино не может в этот момент припомнить. Рядом с водителем восседает Карениньо, который приветствует Викторино посвистом сойки. Викторино ныряет на заднее сиденье, его колено чокается о колено человека, лицо которого растворяется в темноте. Когда тот заговаривает, Викторино узнает его по голосу. Это Попик, его потому так кличут, что он самозабвенно крестится перед каждым налетом. В «Раю» они как-то раз чуть было не схватились на ножах. Лучше не вспоминать о том дурацком вечере, оба были пьяны в доску. Крисанто Гуанчес разнял их, встал между ними, когда они уже вытащили ножи. Крисанто Гуанчес помирил их месяц спустя, и вот теперь Попик сидит рядом, Попик дружески протягивает Викторино оружие. Это — «пушка» с длинным стволом, из арсенала полиции. Викторино ощупывает затвор. У Крисанто Гуанчеса меж колен зажат пулемет-автомат. А у тебя, Карениньо? У Карениньо в кармане бельгийский пистолет новейшей модели. А у тебя, Попик? У Попика на вооружении кольт-38, закаленный в боях. В нашей лодочке все с веслами,— громогласно подводит итог описи оружия Крисанто Гуанчес, а «олдсмобиль» в это время уже оставляет позади бедняцкие кварталы Про Патриа, взлетает на выжженный солнцем косогор, ныряет в район Сан-Мартин, пересекает тенистые улицы Эль Параисо, лавирует, покачиваясь, в потоке автомашин на Пуэнте Йерро. Лучи встречных фар и неоновые блики реклам обмывают его ливнем света, но, к счастью, такой «олдсмобиль» — вне всяких подозрений и к пассажирам не придерешься —

все, слава богу (кроме Викторино в его архиепископально-лиловой рубахе), одеты как шаферы на свадьбе, в лучшее, что сумели стибрить. Викторино сжимается в комок между Крисанто и Попиком. Машина держит путь прямо к Восточному району.

С такой батареей «пушек», Бланкита, мне думается, мы идем на крупное дело, но я пока не лезу с расспросами, Бланкита, погляжу, что дальше будет.

Человек с крючковатым носом собирается запирать дверь ювелирного магазина; рядом с угодливостью пономаря копошится приказчик. Викторино и Крисанто Гуанчес выскакивают из тени. Один момент! Викторино уже не хромает и никогда больше не собирается хромать. Правой рукой хватает хозяина ювелирного магазина за глотку и в яростном запале швыряет его прямо в витрину с часами. Приказчик под дулом автомата Крисанто Гуанчеса дрожит, как овечий хвост. Попик мгновенно кидается к кассе. Карениньо разбивает стекло прилавка рукояткой пистолета; его руки, погруженные в пробоину, сгребают и вытаскивают на свет божий кольца и ожерелья. Револьвер Викторино вынуждает хозяина отступать в глубь магазина. Где остальные деньги? Крисанто Гуанчес оставляет приказчика и присоединяется к допросу. Говори или тебе крышка! Человек молчит. Где остальные деньги, гад? Викторино стукает его по голове револьвером, кровавый червячок ползет по желтому голому черепу. Крисанто Гуанчес тычет дулом пистолета ему под ребро, тогда человек с крючковатым носом перекатывает испуганные глаза вправо, в сторону лестницы, которая ведет наверх, упирается в замаскированную дверь на верхний этаж. Они поднимаются вслед за крючконосым, автомат Крисанто Гуанчеса подталкивает его клетчатый зад. Крупная выручка хранится в черном кожаном портфеле, кожаный портфель заперт в ящике письменного стола, этот стол ювелир открывает в такой смертной тоске, будто собственноручно вспарывает себе живот. Крисанто Гуанчес опускает автомат на пол, чтобы взять деньги, и тратит две минуты, чтобы опутать хозяина веревкой с бесчисленными узлами, наподобие почтовой посылки, и всунуть ему кляп в рот. Глаза крючконосого Аввакума[1] пророчески сверкают среди ножек письменного стола: «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне». Когда они спускаются вниз, Крисанто Гуанчес тащит оружие, а Викторино баюкает на руках черный портфель. Внизу стоит приказчик в необратимом оцепенении набальзамированного фараона — результат безупречной работы Попика: сто оборотов веревки вокруг щиколоток, руки, прикрученные к животу, плотная повязка под носом. Карениньо уже набил драгоценностями чемоданчик. Викторино выходит первым, за ним Карениньо, третьим — Попик, шествие замыкает Крисанто Гуанчес. У тротуара тихо подрагивает «олдсмобиль». Мэдисон тотчас оправляется от мнимой дремоты и обеими руками хватается за руль. Впереди развертывается улица во всей своей тиши и провинциальности, только какая-то жирная супружеская пара созерцает осколки стекла на тротуаре. Мировой был ударчик, а, Попик? Хватанули тысяч на тридцать, а, Викторино? Всю свою часть спущу на девок, говорит Карениньо, ласково поглаживая круглые бока чемоданчика. Я куплю домишко своей старухе, ханжески мямлит Попик. Все спущу на виски «Черная этикетка» и на девок, настаивает Карениньо. Остальные помалкивают о своих намерениях.

Я ненадолго смоюсь в Колумбию, Бланкита; если эти суки из полицейского меня накроют, Бланкита, они меня пристукнут, я их знаю,

[1] Имеется в виду иудейский пророк Аввакум (650—627 гг. до н. э.), посетивший, по библейскому преданию, пророка Даниила в пещере со львами.

уйду в Колумбию; жалко, что ты, раненая, в больнице, а то взял бы тебя с собой, потанцевали бы кумбию в Санта Марии, Бланкита, эх, было бы здорово.

Викторино одним рывком хватает автомат, который молча привалился к бедру Крисанто Гуанчеса, к трупу Крисанто Гуанчеса, выражаясь точнее. Пуля попала прямо в затылок. Стреляли те, кто не отпускает грехи за милую душу, те, кто приговаривает к смерти, как только ее начинают изрыгать их винтовки. Викторино разносит вдребезги часть заднего стекла машины прикладом автомата и начинает строчить в острозубую брешь.

Настолько обдуманный грабеж, настолько чистая операция, как эта: налет на ювелирный магазин. И кто мог бы представить себе такой исход! Окруженные пятью, нет, пятьюдесятью полицейскими, целым полчищем полицейских, которые стреляют, чтобы сделать из тебя решето. Загнаны, как крысы в западню, в уличный тупик. Не спастись никому, разве только Карениньо, который убежал по крышам с драгоценным чемоданчиком и черным портфелем. Но и Карениньо едва ли спастись; это было бы чудо, ниспосланное провидением, а провидение может и не захотеть вмешиваться.

Уже остались далеко позади и ювелирный магазин, и подмигивание увеселительных заведений на Сабана Гранде, и круговоротная толчея на площади Венесуэлы, и улюлюкающий стадион на авениде Рузвельта. «Олдсмобиль» несся к стенам Центрального кладбища, к тому месту, где они должны были разойтись, чтобы поутру снова встретиться. Будем делить добычу на Тарпейской скале, в ранчо Черной Клотильды, разопьем пару бутылок; ты, Попик, еще повозишься с ней как всегда,— сказал Крисанто Гуанчес. Черная Клотильда ждала их, сгорая от нетерпения и от трех своих главных и излюбленных греховных страстей: алчности, сластолюбия и неуемной любви к крепкому рому.

Викторино стреляет напропалую, свирепо сдвинув брови и отчаянно сжав губы,— сам Давид (творение Бернини) с автоматом в руках. Эта французская тарахтелка типа «гочкисс», весело искрясь, выполняет свое назначение. Викторино вынужден локтем отпихнуть труп Крисанто Гуанчеса, который наваливается на него каменным грузом, мажет липкой кровью, мешает разворачивать автомат. Попик делает редкие выстрелы из револьвера через левую дверцу. О Мэдисоне говорить не приходится,— он ранен при первом же залпе и хрипло стонет, судорожно прижимаясь к баранке.

Всему виной был Мэдисон, кто бы мог подумать. Мэдисон, этот матерый волк, холодная голова,— в преступном мире столицы не сыщется второй такой водитель, когда спасение зависит от машины. А этой ночью Мэдисон растерялся как новичок, случилось невероятное. Они встретились с патрульной автомашиной, которая ехала из Лос Росалес; с безобидным радиопатрулем, который колесил по улицам, лениво неся свою службу, и никогда не обратил бы на них внимания, если Мэдисон вдруг не потерял бы головы. Без всякой надобности он резко рванул вперед, круто свернул налево на первом же перекрестке, полез прямо на красный свет, не взглянул на дорожный знак-стрелку.

Бедняга Мэдисон смертельно ранен в спину пулей навылет; его рвет кровью под баранкой, трясет в агонии, хрипящего, теряющего сознание. Карениньо убежал с добычей, получив благословение остальных,— отчаянная попытка спасти что-нибудь в этой свинцовой буре. Последними словами Крисанто Гуанчеса были: «Ты, Карениньо, драпай отсюда, бери чемодан и бумажки, ныряй вон в ту дверь, лезь на крышу, беги, потом увидимся, беги...», тут и сражает его пуля,

прямо в затылок. Карениньо повинуется приказу теперь уже мертвого предводителя, чудом увертывается от четырех пуль, растворяется во тьме дверного проема и сейчас карабкается по крышам. Но, если провидение не протянет ему спасительную длань, наверняка погибнет: весь квартал оцеплен убийцами-полицейскими.

Именно потому, что Мэдисон попер на красный свет, плюнул на дорожный знак, патруль заподозрил неладное и стал их преследовать: сначала нехотя, для порядка, но затем прибавил скорость, видя, что Мэдисон поддает газу. Куда прешь, болван? Сворачивай направо, дубина!..— но Мэдисон не слышал воплей Викторино и Крисанто Гуанчеса, он перестал быть Мэдисоном. И патруль взялся за дело всерьез, припустился за ними со скоростью ста километров в час, включил взревевшую сирену, дал предупредительный выстрел. Что случилось с этим Мэдисоном?

Вот он, смертельно раненный, а может быть, и мертвый. Он уже не стонет, уже не дергается, бедняга Мэдисон,— и все по своей вине. Слышится сдавленный злобный голос Попика: Патроны кончились, чтоб вашу..! В следующий же миг он совершает то, что задумал: открывает дверцу и бросается наружу. Фары военной автомашины освещают человека, ползущего на коленях по цементу, вопящего: Сдаюсь! Сдаюсь! Не убивайте! Человек начинает плакать. Викторино остается один в автомашине, Крисанто Гуанчес мертв. Мэдисон тоже мертв. Викторино продолжает строчить из автомата, совсем один, совсем один, совсем.

Патруль просил подкрепления визгом сирены, вспышками сигнального фонаря, по радио,— сеял тревогу и просил подкрепления. «Олдсмобиль» был быстрее полицейской машины, и ему удалось оторваться от преследователей, скрыться из виду — сирена выла далеко позади. Мэдисон уже овладел собой и нажимал на педаль, как сам Фанхио[1], Мэдисон стал Мэдисоном. Попик дважды разрядил револьвер в сторону полицейских — два деликатных предупреждения, которые советовали полиции быть более благоразумной. Вера в свою счастливую звезду снова вселилась в душу Викторино, но на время все же придется смыться в Колумбию. Карениньо, опять подумал он, считает, что все-таки стоит спустить свою добычу на девок.

Попик продолжает ползти на коленях и кричать «Сдаюсь!», но на него не обращают внимания. Викторино уже привык к свисту юрких пуль, к их звяканью по железу машины. Он не выпускает из рук автомат, хотя и не знает — почему и зачем. Бланките не спится, во тьме, на больничной койке ей не спится. Мама тоже не смыкает глаз этой ночью. Обе слышат далекие выстрелы, предсмертные крики; да, наверно, все это им слышится. Викторино возвращается из оврага, где встретил Крисанто Гуанчеса под тем мостом, где стал его другом, навсегда, ты помнишь, Крисанто, брат мой? Попугай дона Руперто возносит свои слова превыше выстрелов, ругани полицейских и грохочущей тьмы ночи: Будь здоров, гад! — кричит попугай.

Дьявольское наваждение, черная магия овладели душой Мэдисона — другого объяснения нет. Фары патрульной машины уже светились сзади тусклыми огоньками, полиция уже отказывалась от погони — отстали, сволочи! — когда вдруг Мэдисон на всем ходу кинул «олдсмобиль» прямо в пасть этой улицы, слепой кишки, тупиковой, похоронной. В один миг тормоз оборвал бегство, они уткнулись в грозную стену. Уголовная полиция, тайная полиция (Дихеполь), муниципальная полиция, национальная гвардия, армия — все вооруженные силы Республики включились в этот неравный и жестокий бой. Крисанто

[1] Известный аргентинский автогонщик 50—60-х годов, пятикратный чемпион мира.

Гуанчес мертв, Мэдисон мертв, Попик захлебывается рыданиями, потому что никто не внимает его мольбам; Викторино обезумел, совсем обезумел, тряся обеими руками пустой молчащий автомат. Где-то среди выстрелов звонко булькает невыносимая радиомузыка: «Глупый бык, влюбленный в луну». *Я хотел сказать тебе, Бланкита...*

Викторино Перальта

— Алло, алло, Хиомара, послушай-ка, я нарочно встала так рано, сейчас семь часов, я специально встала пораньше, чтобы рассказать тебе о празднике у Лондоньо. Ты умрешь. Нене Лондоньо исполнилось пятнадцать лет, знаешь, уже пятнадцать, а помнишь, совсем недавно она еще слюни распускала на уроке математики? И на уроке географии? А тебя к ней не пригласили, наверное, потому, что ты живешь не в Кантри, а в Лас Делисиас, так я думаю. Но можешь не горевать, кубышка, потому что там жуть что было, такой страх, такой срам, стриптиз и еще почище. Можно сказать, скандал века, просто умрешь. Мы туда отправились с Папи и Мэми очень рано, потому что одну меня с моим братом, Хулито, никуда не отпускают, потому что Хулито приклеивается к бутылке с виски, как этикетка, и совсем забывает про сестру, и «о'кэй» не получается, а по правде сказать, когда эта самая Нена Лондоньо пришла к нам — вся в кудряшках и ленточках — приглашать меня к себе неделю назад, я уже тогда почувствовала, что выйдут одни неприятности из этого приглашения. Ну, так вот, Хиомара, приехали мы рано, и были там одни только родственники и несколько мальчишек, и среди них эти карлики Кастрильо, такие страшненькие, бедняжки, и маленькие, что если бы они раньше всех не приехали, им бы и к столу не пробиться. Подожди минуточку, мне нужно «pour petit», здесь где-то был горшочек, ой, я сейчас, не вешай трубку, я уже, Хиомара, слушай. Так вот, весь дом Лондоньо — сплошная иллюминация, а у входа, ты сейчас просто ляжешь, два полицейских в полной форме, и стояли они чурбаны чурбанами, когда скандал разразился, а Нена Лондоньо, представь себе, даже очень мило выглядела, наверное, первый раз за всю жизнь. Ничего не скажешь, видно, родители всадили немало денежек в ее платье, которое привезли из Парижа, из Франции. С ума сойти, наверное, от Кристиана Диора, белое, все шитое бисером, а туфельки — куда там Грэйс Келли или Жаклин, а я была в розовом платьице, в общем простеньком, но очень элегантном, все получилось «о'кэй», мне его шила портниха моей Мэми, она шьет — пальчики оближешь. Знаешь, ты сейчас умрешь, только никому не говори, Хиомара, я недавно закрутила с одним мировым мальчишкой, просто супермен, только обритый наголо, потому что недавно он поступил в католический университет. Ну, да ладно, подожди, об этом я расскажу потом. Так вот, бал открыли общим танцем, устроили какой-то кордебалет, как во времена моей бабушки. Родители Нены Лондоньо считают, что эти бальные танцы — высший шик, а на самом деле — все старье и чепуха, и ты знаешь, вот беда, моя Мэми никак не могла произнести правильно имени моего мальчика, кавалера по танцам, его зовут Хэролд, ну и

имечко, умереть, правда? Мэми сразу же и задала мне взбучку, что я его выбрала, она всегда бывает злая до того, как выпьет третий бокал шампанского, а потом-то все в порядке, становится шелковая, знаешь, а стол был — просто мечта, и на том свете, наверное, такого не будет, ты ведь такая обжора, Хиомара, наверное, сразу подумала про стол. Сейчас я опишу тебе все по порядку, нет не все, а самое главное, что там было. Во-первых, холодная индюшатина, и кроме того, жареный индюк целиком, потом — большая свиная голова, лежит себе и улыбается, потом ростбиф, я его больше всего ела, ох, знаешь как вкусно; мясо в шампиньоновом соусе, красная рыба в майонезе, ветчина, нет, скорее рулет из ветчины, и салаты там были — сладкие и кислые, и паштет тоже неплохой. Подожди, я чуть не забыла про лангусты в таком белом соусе, знаешь, как зубная паста, и еще много всякой вкуснятины на длинном-предлинном столе, шикарно, изумительно, я шла к столу в очереди с моим лысеньким, с Хэролдом, я тебе называла его имя? И сама взяла на двоих: ростбиф для себя, а паштет и жареного индюка для Хэролда. И красного вина, тоже, конечно, для Хэролда. Нет, ты сейчас умрешь — Делия становилась в очередь шесть раз, вот смех-то! Ей пришлось наполнять тарелки шести разным мальчишкам, ну, они, наверное, за это простили ей, что она такая толстая, простили, наверное, и то, что она такая глупая, а танцевать так и не пригласили бедняжку Делию, потому что она всегда наступает на ноги. А ты, наверное, все еще вздыхаешь о своем головастике, ну, и дурочка, знаешь, он был на вечере в смокинге, который висел на нем как на вешалке,— наверное, напялил отцовский смокинг, а ведь доктор гораздо толще его. Послушай меня и подумай хорошенько, твой головастик даже к столу не подошел, кубышка, а вот от бара с бутылками его никто оттащить не мог, напился вдребезги, весь вечер совал деньги барменам, и они подносили ему раньше, чем другим. Тогда сеньор Лондоньо по приказу сеньоры Лондоньо, ты же знаешь, он у нее под каблуком, так вот, сеньор Лондоньо распорядился убрать виски, но головастик тогда переключился на канью, вот какой пассаж, кубышка. И самое лучшее, если ты его навсегда выкинешь из головы, навсегда — «toujour», ну, и понятно, Хиомара, что на вечер пригласили эту певичку Бильо, да еще целый ансамбль, чтобы играть в перерывах. И Бильо показала им, наверное, впервые, что такое музыка «йе-йе». В общем — ерунда, я чуть не умерла от скуки, поцелуйчиков не было, ляжками не толкались, подумаешь, какой грех. В общем-то, было много света, полно публики и, конечно, та самая была, с зелеными глазами, ты понимаешь, из тех самых — «всему свету отказу нету», я не хочу называть ее имени по телефону, могут подслушивать, она никогда не теряет времени, ох, и девочка, что сверху, что снизу, просто жуть, пробы ставить негде. Все мальчишки хотели танцевать с ней: «следующий танец со мной», «следующий танец со мной», нарасхват приглашали, ее называют «Золотая ляжка», эту Трини. Ой, боже мой, я назвала ее по имени, пожалуйста, не говори никому, ну, ладно, кубышка, а когда я пошла в туалет, Хиомара, я там встретила целое общество, там были три девочки, которые действительно пришли «pour petit», там были и те, кто действительно хотел по-взрослому покурить, там была также и Леонорсита, она притворялась, что у нее болит голова, а на самом деле ее тошнило, она объелась индюка. Там была и Мими в своем единственном голубом платье небесного цвета, ты его знаешь, там была также Инесита, та самая, которая подбирает все, что плохо лежит. Какой позор! Правда, это безделушки, духи, или пудреница, или губная помада, но ведь страшно подумать, так может исчезнуть и бриллиантовое ожерелье, за милую душу. Бедная Инесита не может управлять своими чувст-

вами, мой лысенький говорит, что она клептоманка или там клектоманка, как это называется, а мне сдается, она просто воровка, ей-богу. Подожди, постой, Хиомара, сейчас я тебе расскажу, кубышка, сейчас все расскажу, но ты только послушай, какой там был шикарный бассейн, весь освещенный голубыми и розовыми лампочками, такая прелесть, на нем плавали всякие растения, а посредине лотос, совсем как в Японии, а рядом белый лебедь, с ума сойти, совсем как в фильмах Юла Брюннера, этого второго лысенького красавчика, такая прелесть, я просто обожаю лысеньких, ну, ладно, душечка, перехожу к самому главному, нет, погоди, представляешь, там был такой торт, не торт, а чудо, мы все на него набросились, я съела целый кусок и даже кусок Мэми, она ведь не ест сладкого, после пятого бокала шампанского она совсем осовела. Ну да ладно, сейчас ты упадешь и не встанешь. Только кончили танцевать котильон, начали играть какую-то гадость, затрещали трещотки, задудели дудки и будто лягушки заквакали, притом стали еще кидать серпантин и всякие хлопушки. Это уже играла не Бильо, а приглашенный ансамбль заиграл вальс, кому это только пришло в голову заказать вальс? — такая отвратительная музыка. Подожди, Хиомара, одну минуточку, постой, сейчас ты просто упадешь и не встанешь: вдруг с холмика вниз, прямо от главной аллеи, какой ужас, видим, бежит какая-то женщина к веранде, ох, душечка, в одних только панталонах, нет на ней ни бюстгальтера, ничего, вся грудь наружу, одни красные панталоны с черными кружевами. Жуткая картина, с ума сойти. Это была женщина, которую называют Монна Лиза, да, та самая, я узнала имя потом, мне его сказал Тите, бежит она по травке с холма, эта Монна Лиза, почти нагишом, Хиомара, и все так и остолбенели. Тогда она как завертит бедрами около бассейна, как закричит: здесь находится бардак Пибе Лондоньо? Это еще не все. Она пришла не одна, какое там — одна! За ней следом, за этой Монной Лизой, явились в одних трусиках, знаешь кто? Викторино Перальта, и этот самый англикашка Уильям, и этот псих Рамунчо. Ты их хорошо знаешь. И все в одних трусиках. Я просто не знала, куда глаза девать. Голые по пояс, выхваляются своими мускулами, знаешь, кубышка, какие они здоровые, гири поднимают, а лица у них бандитские. Я просто видеть не могу эту шайку. Весь праздник испортили. Они думают, что лучше всех, они думают, что они сам господь бог. Дикари они форменные, вот они кто. Постой, послушай дальше. Оказалось, что их не пригласили. Их, видите ли, обошли, и они решили отомстить, сделать по-своему, Хиомара. И самое страшное было, что никто из гостей пальцем не двинул. Одни смотрели на всю эту гадость с любопытством, другие — словно одеревенели от страха или в штаны наложили, будто ничего и не происходит. Тогда вдруг явился из дома сам доктор Лондоньо, разозленный как черт. Стал их ругать бандитами, хулиганами, убирайтесь, мол, из моего дома, и набросился с кулаками на этих идиотов. Ой, Хиомара, что тут было! Викторино как схватит за грудь доктора Лондоньо, отца Нены, хозяина дома, представляешь? Да как швырнет в бассейн, а доктор как был во фраке, так и плюхнулся среди лотосов и лебедей. И барахтается там, будто пингвин или белый медведь. Просто ужас, ты не смейся, Хиомара, и глядеть-то страшно было, и зло разбирало. А Чина Гордиэльес вдруг как заревет, точь-в-точь как сумасшедшая, с ней случился настоящий припадок истерики, ты ведь ее знаешь, а Рамунчо, это чудовище, как схватит ее за плечи, бац — и тоже в воду, да ты не смейся. Я стою ни жива, ни мертва, а бедная Чина плавает среди лотосов в своем белом газовом платье, пищит все равно что Офелия, сказал мой лысенький. Кто она, эта самая Офелия? И еще одного старикашку кинули в бассейн, знаешь, из тех, которые

называют себя поколением Двадцать восьмого [1]. А в мистера Уилкинсона запустили целым ананасом, чуть челюсть ему не свернули, а потом через парадную дверь ворвались в дом, стали бросать на пол вазы, опрокидывать столы, срывать гардины, Монна Лиза впереди, Викторино — позади, ну, разве не дикари, а? Да нет, Хиомара, что ты, полицейские и не думали вмешиваться. Папаши этих парней стали кричать: Разбойники! — а они уже убежали; стали кричать: Они, мол, за это дорого заплатят, мы будем на них жаловаться, мы пропечатаем в газете их имена и фамилии, мы их пристрелим, один даже вытащил револьвер,— а они все уже убежали. Тоже умник нашелся, когда они все уже убежали, и никто ничего не сделает, я тебе говорю, душечка. Ведь их папаши — закадычные друзья, лучше позабыть обо всем и дело с концом. Разве будет драться доктор Архимиро Перальта Эредиа с доном Филиберто Устарисом? Потому что там также был и Эсекьель Устарис. Он тоже участвовал в этом безобразии, я их просто ненавижу, этих хулиганов, хвалятся своей мускулатурой, дерутся нахально, знают, что всех осилят, вот и издеваются над людьми, и радуются, а потом убегают. Все они такие, я их до смерти ненавижу. Ой, послушай, я забыла тебе рассказать, что Хэролда, моего лысенького, тоже кинули в воду. Представь себе, нет, только представь себе! Он был в новеньком смокинге, который ему так шел, да еще он плавать не умеет, вы только представьте себе, его вытащил их шофер, еле откачали, делали искусственное дыхание, какой кошмар! Даже плакать хочется, правда, кубышка? Чао, кубышка! Я совсем расстроилась, кубышка, чао.

Викторино бежал от хохота и всеобщей сумятицы, в которой утонул праздник Нены Лондоньо. Монна Лиза распрощалась с остатками своего одеяния и нагишом носилась по улицам Кантри — леди Годива верхом на мотоцикле Рамунчо. Викторино оставил их веселиться и ведет свой «мазератти» вниз по Панамериканскому шоссе, вниз, в туман, подальше от Лос-Текес, подальше от Лос-Колорадос, в сторону Гуайяса, к ущелью, где собираются скопища леших, которые обычно бродят в одиночку по долинам Арагуа. Или, может быть, не лешие, а просто голоса гор призвали его к себе. «Мазератти» начинает спуск, Викторино ни с того ни с сего включает радио — неожиданно из металлического ящика вырывается берлинский филармонический оркестр, неожиданно из деревянного ящика вырывается «Фантастическая симфония» [2]. Такую музыку Викторино не знает, но романтическая мольба скрипок не позволяет ему прихлопнуть ее. Когда стихли прозрачные скрипки, заплакала валторна, одинокая и меланхоличная. *Хватит с меня барахтаться в этой блевотине,* подумал Викторино. Викторино должен уехать из этой несчастной страны, Мальвина, из этого эмбриона страны, из этого зародыша родины, законсервированного в бутыли со спиртом. Его единственным багажом будет воспоминание о вас, он сядет на трансатлантический лайнер по имени Мальвина, он пересечет моря, пахнущие Мальвиной, под небом цвета Мальвины, он сойдет на берег в порту, где никто не будет знать, кто он, поселится в каком-нибудь медвежьем углу, где часы будут повторять двенадцать раз подряд имя Мальвины, возвещая полночь. А вы останетесь заживо погребенной в этой тюрьме, желающей казаться страной, вы— гладиолус утренней мессы, лилия теннисной площадки, гвоздика за

[1] Так в Венесуэле называют участников студенческих выступлений 1928 года против диктатуры Гомеса.

[2] «Фантастическая симфония» французского композитора Гектора Берлиоза (1803—1869).

тенистой оградой, тюльпан на клумбе, незабудка около радиолы, virgo potens, virgo clemens, virgo prudentisima[1], пока вы не выйдете замуж, пока вы не выйдете замуж за одного из ваших сорокалетних друзей дома, доктора права, или гражданского инженера, или члена биржи Каракаса. Никогда еще не было в Каракасе такой свадьбы. Викторино должен уехать из этой карикатуры на страну, Мальвина. Церковь заполнена музыкой и светом, невеста диво как прекрасна, она кажется ангелом, эта невеста; вы торжественно шествуете среди шушуканья старух и визжанья органа, вы согласны назвать его своим супругом? Викторино получит это известие где-нибудь в Копенгагене, случайно наткнется на старую газету, на декабрьский номер где-нибудь в консульстве, увидит вашу фотографию с флёрдоранжем и список избраннейших блестящих гостей. Викторино предпочел бы получить извещение о ваших похоронах: волей божьею скоропостижно скончалась сеньорита Мальвина Перальта Ульоас. Какой страшный удар, какая боль в сердце. Но это легче перенести, чем... Он должен удрать из этой страны, Мальвина, по морям цвета Мальвины, пристать к какой-нибудь страшной пристани, где ему дадут работу грузчика, он будет пить чистое шотландское виски в тавернах, пахнущих смолой и опилками, обнимаясь с моряками и проститутками, он станет рассказывать им о своей кузине и подруге, они будут пошло издеваться над его излияниями, Викторино трахнет свой стакан о сверкающую медную стойку. Я должен уйти из этой ужасной страны, Мальвина, взяв с собой только память о вас, чудесную память о вас, Мальвина. Воркование арфы пробилось сквозь пение скрипок, как жалоба покинутой голубки, которая плачет под дождем; по мановению волшебной палочки фон Караяна порывисто взметнулся и понесся вальс, «мазератти» в такт ему плавно огибает отроги горы. *Все это дерьмо, и я сам дерьмо,* думает Викторино. Его головокружительное увлечение открылось той самой ночью, когда вы праздновали свой день рождения, Мальвина. Викторино танцевал с вами без передышки, сам не зная почему. У него была подружка, Люси, которая безутешно ревела, глядя, как вы оба танцуете, не отрываясь друг от друга: это же неправильно, когда кузен влюбляется в кузину. А потом вам нравилось носиться на его мотоцикле, прижавшись к его свитеру, и он чувствовал на своей спине тепло вашей груди; а потом вы вместе плавали в бассейне, и Викторино тихо скользил под водой, чтобы вдруг вынырнуть рядом с вами; а сначала вы его называли не Викторино, как все, а Индейский вождь, почему Индейский вождь? Но головокружительная страсть открылась только той ночью, в ваш праздник. Люси рыдала под пальмами в саду и хотела кончить жизнь самоубийством. Викторино танцевал с вами, и только с вами, прижимаясь все теснее и теснее, все более забывая — и вы и он, вместе,— о глазах, которые вас окружали. Просто невероятно, чтобы двоюродный брат и сестра... Викторино должен исчезнуть из этой жестокой и ядовитой земли, где каждый смотрит друг на друга со злом ростовщика, где каждый, куда бы он ни шагнул, тонет в ненависти и грязи, где всюду лианы ненависти, тростниковые чащи ненависти, Викторино должен бежать из этой страны, Мальвина. Он танцевал с вами и поцеловал вас прямо в губы, плевать хотел он на всех. Мэми не спускала с вас взгляда из-за стола, двоюродные брат и сестра! Мэми сидела, бледная и ошеломленная, среди бутылок шампанского и канделябров; Люси исчезла. Викторино впервые назвал вас «моя красивая собаченька», его пылающее сердце вечным волчком закружилось вокруг ваших ног, он не может жить без вашего тела, Мальвина. Он дол-

[1] Дева властная, дева спокойная, дева разумнейшая *(лат.).*

жен бежать из этой страны, его сердце бьется и бьется вокруг синевы под вашими глазами, Мальвина, ему надо бежать без оглядки из этой страны, из этой несчастной страны. Гобой и английский рожок разливают кругом свою пасторальную печаль. Утро уже воскресает над долинами, свет возрождается в колоссальных седловинах ближайших холмов, зеленые горы-храмы прорезаются из тьмы, черные быки пасутся на голубых пастбищах неба, заново создается очищенная от ночной тьмы изменчивая географическая карта облаков. Из ущелий поднимается запах только что скошенной травы, аромат сахарного тростника, разносимый ветром; дурманит голову частое дыхание сотен, тысяч цветущих деревьев. Флейта и кларнет чирикают среди волнующегося поля скрипичных колосков. Сколько всякой зелени, сколько всякой зелени бьет в глаза. От немощной зелени, которая желтеет в ближайшей лощине, до густой и таинственной, которая чернеет в дальних ущельях. Уйти из этой страны, бежать от этих кокетливых, орошенных росой пейзажей, послать к черту эти смирные, готовые уступить человеку лощины и склоны. *Все сдаются, я не сдамся,* подумал Викторино, подумали вы и ваши упрямо сопротивляющиеся чресла, Мальвина. Если Викторино останется с вами в этой стране, если откажется от своей тяжкой свободы, если раздавит свои принципы, которые велят ему отличаться от других; если он усмирит себя, чтобы жить под вашей сенью, как какой-нибудь кокер-спаниель, ушастый и мохнатый, как кокер-спаниель, отец Викторино подарил бы супружеской чете прекрасную усадебку, зажатую среди этой бурной зелени, а ваш отец, Мальвина, открыл бы вам хорошенький счет в National City Bank. Дон Викторино Перальта, поставщик чистокровных кобыл; дон Викторино Перальта, поставщик бычков породы гольштейн и цыплят породы леггорн — это он сам, а его прекрасная супруга Мальвина Перальта де Перальта, восседающая верхом на буланой кобылке,— это вы. Какое убогое счастье, какая деревенская скука, Мальвина. Викторино предпочитает бежать из этой страны, путешествовать с памятью о вас, крепко зажатой под мышкой, как портфель; предпочитает удар ножом в каком-нибудь кабаке Роттердама. Он ведь не кто иной, как грустный буян, Мальвина. Молодость больше всего поддается грусти, он зовет вас из своего удручающего одиночества, которое разделяет с ним только мотор его автомобиля. Вы ему не отвечаете. Ему отвечают аспидно-черные тучи, скапливаясь вон там, вдали. Он снова зовет вас, потому что ему нужно ваше тело, Мальвина, но ему отвечают только темные тучи, грохочущие вдалеке, как литавры; он зовет вас, зовет из своей рушащейся крепости, Мальвина, но сейчас даже грязно-серые тучи ему не отвечают. Викторино должен бежать от этого безмолвия. Викторино увеличивает скорость «мазератти», его подгоняют своим резким грохотом литавры, своим воинственным кличем корнеты, своим гневным ворчаньем контрабас. Влекомый северным пассатом всех скрипичных смычков, подстегиваемый хлестким ритмом Траурного марша, «мазератти» дерзко расцепляет поток воздуха на две сумасшедшие струи, его ветровое стекло желтыми распятиями украшают две погибшие в вихре бабочки, «мазератти» — серебряный рев, летящий вниз по горной дороге, как глас самого Иеговы. *Разве не самый я разудалый из нашей компании?* — думает Викторино. Да, это так, Мальвина, Викторино Перальта запалил костер, чтобы сжечь и по ветру рассеять мысли о дипломе бакалавра философии, Викторино Перальту тошнит при одной только думе о том, что он любимый сынок или домашняя собачка, что одно и то же; у Викторино Перальты звучит в ушах горн, зовущий на подвиги молодых революционеров; Викторино плевать хочет на рахитизм и вдохновение кабинетных поэтов, у Викторино Пе-

ральты нет профессии, кроме гордости, что у него нет никакой профессии; что у него есть крепкая грудь, Мальвина, крепкие бицепсы, крепкие челюсти, крепкое сердце, если оно понадобится; что он собственник и водитель этой мощной машины, которая повинуется его рукам, его ногам, его крикам, Мальвина, как ослик соседнему булочнику. Шины фальшиво шелестят на поворотах, шины верещат, раздраженные слащавым визгом фагота, пришпоренные нервным пиццикато скрипок. Спидометр показывает сто десять, когда они обходят старый кремовый «додж», сто двадцать, когда они настигают голубой «бьюик», сто двадцать пять, когда они обгоняют черный «кадиллак». Викторино управляет с безупречной четкостью, левая рука там, где полагается быть цифре «11», на воображаемых часах, правая — там, где должны быть «3» часа. Спидометр показывает сто тридцать, когда он пролетает мимо грузовика, который сдуру хотел было не пропустить их, шофер выпалил ругань, унесенную ветром. *Я любого крутану, как эту баранку,* думает Викторино. Викторино имеет полное право ехать со скоростью ста сорока километров в час, Мальвина, Викторино управляет этим страшным «мазератти», будто бы это ослик соседнего булочника; у Викторино в мозгу, как на ладони, каждая его гайка, каждый тросик, каждая капля бензина, и прибавьте к этому еще опыт Викторино, его мускулы, его реакцию, его нервы. Подобный спуск со скоростью ста пятидесяти километров в час по горной дороге — это для него такое же безобидное времяпрепровождение, как прогулка малыша в своей нарядной коляске. Викторино когда-нибудь сумеет сбежать из этой страны, Мальвина, он будет участвовать в настоящих гонках, будет участвовать в международных автогонках в Монсе и в Лё Мане. Викторино Перальта в шлеме и с улыбкой, непревзойденная южноамериканская звезда, новый Фанхио. Гирлянды цветов и поцелуи белокурых дев у финиша. Жаль, что разбился английский чемпион на последнем повороте. А Викторино будут осаждать фотографы, Мальвина, его будут атаковать любители автографов. Викторино Перальта побил мировой рекорд, станут кричать громкоговорители. Да, то будет полет наперекор времени и наперекор смерти, не то что эта любительская прогулочка, это шествие со скоростью каких-то паршивых ста шестидесяти километров в час по заезженной дороге, которую он знает как свои пять пальцев, Мальвина, в великолепной нарядной машине, которая подчиняется ему, как ослик соседнему булочнику. Внезапно капли дождя падают на зелень и на шоссе. Викторино продолжает мчаться навстречу грифельным тучам, которые громоздятся вдали, навстречу беспощадному ливню, который начинает сейчас рушиться на него косыми струями огромных капель, который уже успел исполосовать дорогу желтыми лохмами грязи, сползающей с глиняных холмов. «Дворники» разрывают густую пелену воды на ветровом стекле. Тарелки берлинского филармонического оркестра лязгают при свете молнии. Викторино не снижает скорости, ее незачем снижать, незачем, но на повороте, где стоит рекламный щит «Orange Crush» [1], там все и случилось,— задние колеса «мазератти» занесло в сторону, покрышки заскользили по мокрому бетону, мощное туловище машины рванулo по диагонали прямо к склону, к опасной обочине дороги. Викторино прекрасно знает, что в этих случаях не тормозят, при скольжении и заносе тормозить нельзя. Викторино увеличивает скорость, Викторино нажимает на акселератор — этот маневр необходим, чтобы избежать столкновения слева, чтобы не врезаться в гору справа. Викторино выполнил маневр чисто, и тут вовсю хлынул ливень, и тут из-за поворота выскочил этот са-

[1] Апельсиновый прохладительный напиток *(англ.).*

мый автобус вишневого цвета, битком набитый пассажирами и курами, переполненный детьми и песнями. Викторино в ярости на свою идиотскую судьбу резко вывернул руль, «мазератти» на бешеной скорости прыгнул в пропасть,— нет, не Викторино прыгнул, нет. *Мальвина, собаченька моя, ох, сволочь, Мэми...*— думает Викторино. Остолбеневшие пассажиры вишневого автобуса только успевают увидеть и услышать серебряное звонкое ржание, которое пронзило завесу дождя. Онемевшие дети слышат удары молота о наковальни скал, слышат рев тромбонов, дробящийся на наковальнях скал, и, наконец, бурный яростный жесткий финальный аккорд.

Но симфония не кончается, Мальвина. По чудесному велению Орфея, сына Аполлона, а то, в случае чего по колдовству святой Чечилии, супруги святого Валериана, берлинский филармонический оркестр продолжает звучать в глубинах пропасти, в мешанине раздавленных папоротников, покореженного железа, дымящихся обломков и его останков, да, Мальвина, его останков. Также слышится и шум ливня, но такой звонкоголосый, что трудно определить, бурлит ли это вода или бушуют ликующие ведьмы, устроившие непотребный утренний шабаш у трупа этого юноши. Визгливый и насмешливый ливень (буря, оседлавшая метлу) говорит с экстравагантностью Гойи, говорит голосом кларнета:

— Ты думал убежать из этой прекрасной страны, бедный мертвый мальчик, мы используем твое семя как целебную мазь, чтобы поднять нашу иссохшую грудь; мы употребим твою кровь как бальзам, чтобы выпрямить нашу согбенную спину, твое семя, смешанное с белладонной и мандрагорой, твою кровь, подслащенную опиумом и цикутой, бедный мертвый мальчик, который мечтал дезертировать из этой чудесной страны.

И как раз в это время налетает ветер, чтобы оградить останки Викторино, но ветер такой озлобленный, что трудно сказать: ветер ли это или хор монахов-капуцинов, которые гнусаво тянут самый мерзкий вариант молитвы Dies Irae, какой только можно себе представить:

Dies irae, dies illa
solvet saeclum in favilla,[1]
Черт поднимет свой хвостилье
и почешет свой задилье.

Это, конечно, монахи, святые братья ветра, поклявшиеся сорвать шабаш черных туч.

Мерзкие ведьмы оказались в явно невыгодном положении в этот утренний час, без летучих мышей, без тумана, при свете зари, которую не заляпают грязью их метлы, не вспугнут темные заклинания и дьявольские тарантеллы. В дополнение к хору из какого-то отшельнического скита звонят в помощь услужливым монахам участливые колокола папы римского.

Dies irae, dies illa
solvet saeclum in favilla,
Черт поднимет свой хвостилье,
Поскребет себе задилье.

Judex ergo cum sedebit
quidquid latet adparebit[2]
Подними ему хвостебит
И целуй ему задебит.

Наконец уносится прочь бешеный колдовской ритм дождя, побежденный непреклонной торжественностью ясного песнопения. Над всей

[1] Строки из католических псалмов: «День гнева — день сей, когда мир превратится в пепел» (кн. Сафония, I, 15).

[2] «Тогда воссядет судия, и все тайное станет явным» *(там же).*

долиной простерлось чистое небо. Радуга яркой почтовой маркой приклеилась к небесам. С шумом и гамом бегут дети, певшие песни, а вместе с ними мелькают в зелени откоса красные костюмы пожарников, оливковые мундиры жандармов, белые штаны крестьян. Словом, толпа людей мчится вниз по откосу — оркестр в полном составе — к изумлению шмыгающих в сторону ящериц. Так закончился концерт Берлиоза, Мальвина. Черная уродливая птица, расположившаяся было на умиротворенном челе Викторино, вспорхнула и полетела низко над землею, гротескно взмахивая черными крыльями.

Викторино Пэрдомо

В этом доме воздух и все предметы пропитаны тяжелым запахом старых архивов. Кроме того, тут всегда царит страшная жара, как на невольничьем судне или в чистилище. Но эта жара — единственное проявление молодежного (нет, не молодежного, скорее, мятежного) духа. Стулья — какие-то странные сооружения с черными подлокотниками, шестиугольными сиденьями и гербами, вырезанными на спинках. Обрядовая меблировка церковной ризницы, немыслимая ни для какой другой квартиры нашего города — нефтяного, металлического, электрифицированного еретика. Огромный шкаф — акула или катафалк? — председательствует на этой ассамблее. Сквозь его стекла за вами наблюдают фарфоровые супницы и тарелки. Украшающие их золотые вензеля сплетаются друг с другом, как пары новобрачных. Здесь нет ни окон, ни слуховых окошек, ничего. Тяжелая гардина цвета старого золота — шевелюра тициановской женщины или тернеровские [1] небеса — лишь наводит на мысль, что рядом точно такая же комната. В этом доме живут сеньориты Ларусс. Да, бакалавр, фамилия того самого французского ученого, который составил словарь. Но они не француженки. Они из Кумана, а может быть из Куманакуа. Всегда благопристойны в своих кружевных воротниках в стиле Рохаса Пауля [2], всеми уважаемы в своем солидном доме тоже в стиле Рохаса Пауля. Никто не смог бы догадаться, как и кому это удалось. Кому удалось наладить контакт нашей Боевой Тактической Единицы с этими тремя живыми виньетками из старого журнала «Кохо илюстрадо». Вероятно, только команданте Белармино и я знаем, откуда тянутся глубокие корни их приверженности нашему делу. Они — спиритки. Подрывной спиритизм, водруженный на земной платформе анархизма. Они питают к нам материнскую нежность. У бедняжек никогда не было сыновей. Вероятно, их плоть — я, пожалуй, рискнул бы поклясться на библии — никогда «не впускала ни дюйма чужого эпидермиса, проливая слезы», как говорит Неруда. Они закармливают нас финиковым вареньем и апельсиновым мармеладом. Угощают холодной водой из кувшина колониальной эпохи. Они нам с удовольствием предоставляют (а нам только на руку, что они — дамы из общества, как это ни парадоксально) свой дом для сборов накануне операций. По правде говоря, их больше всего привлекает оживление, волнение, значимость

[1] Уильям Тернер (1775—1851) — английский художник-колорист.

[2] Учредитель Национальной академии истории, также больницы для бедных в Каракасе в конце XIX века.

наших деяний. Анхеле Эмилии Ларусс, старшей из трех сестер, перевалило далеко за пятьдесят; она любит наигрывать на арфе отрывки из концерта Генделя. Она поддерживает постоянную связь с наиболее воинствующими душами потустороннего мира. Одной ночью она беседует с Савонаролой, другой — с Аугусто Сесаром Сандино[1]. Ее интересуют только героические покойники, не то что Махатма Ганди. Вторая сестра Сильвия Мария, сорока восьми лет, рисует акварели и предпочитает выступать в роли медиума. Когда тушится свет, она чувствует, как по ее позвоночнику начинают бегать мурашки, а чья-то решительная рука хватает и движет ее руку. Единственный недостаток вызываемых духов — это их непреодолимое стремление вмешиваться в чужие дела. Они просто не могут удержаться от предсказаний, советов, соображений по поводу возможного исхода наших операций, хотя никто не просит их совать сюда свой нос. Сегодня к нам вдруг приближается Анхела Эмилия, согнувшись под тяжестью загробных откровений. Она говорит: Вчера вечером я беседовала с маршалом де Аякучо[2], не более, не менее. Она говорит: И речь зашла о нападении, которое вы готовите. Она говорит: Я со своей стороны ни слова ни о чем не обронила, это меня не касается. Она говорит: Маршал не вдавался в подробности, но он твердо уверен, что дело провалится. Она говорит: Он советует вам отложить его на другой раз. Она говорит: Он вас известит через меня о наиболее подходящей дате. Команданте Белармино делает вид, что чрезвычайно тронут. Обещает отложить операцию. Он говорит: Прошу вас передать маршалу нашу бесконечную благодарность. А мы продолжаем собираться. Спартак (не тот мятежный раб, которого по ночам вызывают сеньориты Ларусс, а наш бравый товарищ из БТЕ) пришел сюда раньше всех. Я пришел вторым, но он уже сидел, сумрачный, в углу залы. Затем является Карминья в черном свитере и красной юбке — прямо-таки само воплощение 26 июля[3], лихо! Белармино наверняка спросит ее, почему у нее в шкафу не нашлось юбки другого цвета. Карминья садится рядом со мной и открывает книгу, которую притащила с собой. Неужели у нее хватает мужества читать Политцера[4] в такие минуты? Впрочем, женщины способны на все. Гляжу уголком глаза. Называется «Случай с отравленными конфетами», из детективной серии «Седьмой круг», ну, это еще ничего. Потом приходит Валентин. За ним вслед Фредди. Я чувствую, как в моей груди начинает биться какая-то мокрая птица, но улыбаюсь à la Чаплин вновь вошедшим. От страха никуда не денешься, самое главное, чтобы об этом не знали другие или знали как можно меньше. Белармино пока еще не пришел. Не в его привычке приходить последним, что могло бы с ним случиться? Мы все пятеро думаем, это легко заметить, об его непредвиденной задержке,— что могло бы с ним случиться? Внезапно декорация меняется, Белармино уже здесь. Приветствует нас своим успокоительным: Как дела? Именно в этот момент, или чуть позже, и приоткрывается тускло-золотая гардина и в залу вплывает Анхела Эмилия Ларусс, чтобы с волнением передать нам послание маршала. За нею шествует младшая из сестер, Ана Росарио Ларусс, сорока пяти лет, седовласая, в прошлом — рыжая, пишет

[1] Руководитель антиимпериалистической вооруженной борьбы народа Никарагуа против североамериканских оккупантов, убит в 1934 г.

[2] Имеется в виду Антонио Хосе де Сукре (1793—1830), национальный герой Венесуэлы, активный участник борьбы против испанского господства; титул Великого маршала получил после исторической битвы при Аякучо (1824).

[3] Речь идет о революционном «Движении 26 июля» на Кубе, возглавлявшемся Фиделем Кастро в годы борьбы против диктатуры Батисты и названном в честь 26 июля 1953 года — дня штурма Монкады. Красное и черное — цвета этой организации.

[4] Жорж Политцер (1903—1942) — французский философ-марксист, участник французского Сопротивления, убит гитлеровскими фашистами.

стихи. Поэтесса приносит на подносе шесть чашечек дымящегося кофе. Я не верю в существование так называемых духов, исторический материализм меня от этого хранит, но... Предположим, однако, что какая-то психическая духовная сила, материальная, но духовная, преобразуется приемными антеннами Сильвии Марии Ларусс в предчувствия, в выводы, которые навеяны призрачной видимостью маршала; в общем, волны, посылаемые каким-то мозгом «икс» в место «игрек». Передача мыслей на расстоянии ведь тоже может быть наукой, черт возьми, а? Белармино начинает говорить. Производит проверку оружия. У Спартака — револьвер, у меня — тоже. Для Фредди мы раздобыли в долг пистолет. У Валентина — свой. У самого Белармино — его пулемет-автомат. У Карминьи — ее полуавтомат. Миссия Карминьи ограничивается тем, что она ожидает нас в автомашине. Не слишком ли сильно она вооружена такой убийственной артиллерией? Попробуйте поспорить с нею по этому поводу, она скажет — трус, для себя стараешься. Оружия сейчас при нас нет, но не страшно, если бы и было. Сеньориты Ларусс отнюдь не пугаются, когда взирают на наши огневые жерла. Они глядят на них так, словно они, сеньориты Ларусс,— просто любопытные бездельницы, которые глазеют на витрину с забавными игрушками. В этой же зале сопит кот. Это не фарфоровый кот, а роскошный живой кот, поэтому я и говорю, что он сопит. Наверное, ангорский — такой у него величественный чисто кортасаровский [1] вид. Карминья гладит его рукой по льстиво извивающейся спине. Зверь мурлыкает и трется об нее — святоша и развратник. А все-таки тишина — паршивое дело. Остаешься один на один с собой. И начинают лезть в голову мысли о прошлом, о настоящем, о том, что может случиться в туманном будущем, туманном от бесконечных мыслей и предчувствий, одолевающих как мухи: вдруг случится то, вдруг не удастся это, вдруг будет перестрелка. Вон, старик на портрете веером распустил свою филантропическую бороду. Благородный и мудрый старец, но по глазам видно, что характерец у него строптивый. Это, конечно, отец сеньориты Ларусс, царствие ему небесное. Завсегдатай и главный действующий дух на всех их спиритических сборищах. Самое главное, чтобы другие не знали, велик или мал твой страх, он во всех сидит, даже в Белармино, который в эту минуту полирует свои ногти пилочкой. Фредди и его шикарная автомобильная куртка шевелятся в поисках следующей, восьмой сигареты; Фредди прикуривает их одну от другой. Действительно ли Карминья читает или разыгрывает перед нами комедию? Кот трется теперь у ее ног, требуя еще ласк, но, увы. Эта тишина — сплошное безобразие.

— Мы как-то угнали, значит, мировую машину, «линкольн», цвета морской волны,— Фредди прерывает молчание, чтобы рассказать о том самом нападении на ресторан «Ла Эстансия», о котором в таких игривых тонах сообщала хроника самых уважаемых газет.— Летучая Мышь высадил нас на углу и остался ждать с включенным мотором, а мы семеро быстренько шмыгнули в дверь, которая, будь она неладна, оказалась совсем не той, что надо; попали прямо в какую-то забегаловку, которая сообщалась с рестораном. Мы тогда не готовились как следует, в ту пору мы были просто озорные парни и больше ничего. Ну что ж, ребята, вперед! Мы прошли через эту забегаловку, которая была еще темна и пуста в девять вечера, и по длинному коридору проникли в бар ресторана, а в баре — весь пол в коврах, ни

[1] Хулио Кортасар (род. в 1913) — современный аргентинский писатель.

одного шага нашего не слышно. Народу было там порядочно и шуму немало, кроме того, какие-то важные типы устроили банкет — из какой-то машиностроительной компании или металлургической хреновины, откуда я знаю, в общем, справляли какую-то годовщину. Красавчик был во главе нашей ватаги, командовал операцией с «томпсоном» наготове. Он как гаркнет на весь зал: Мы из Главного полицейского управления, из Дихеполя, и должны произвести обыск, нам известно, что здесь потребляют кокаин и другие наркотики! Я с ходу ринулся к одному полковнику в мундире, который говорил по телефону; в один миг левой рукой я прервал связь, а правой ткнул пистолет ему в ребра и сказал этак ласково: Выкладывайте оружие и не двигайтесь. Труднее мне пришлось с поваром, который в трех шагах от меня жарил цыплят; он не хотел никак от них оторваться: Они же пережарятся,— и мне пришлось здорово стукнуть его по башке рукояткой своей «пушки», чтобы он, наконец, бросил своих цыплят и пошел со мной, в общем, повар возглавил всю эту банду трусливых мозгляков. Там был и жандарм — этот жандарм за милую душу проглотил, что мы тайные агенты, благоговейно обратился к Красавчику и извинился, что этой ночью забыл свой револьвер дома,— еще одна заячья душа. Я вам уже говорил. Был там и дипломат в черной тройке — не позволю, чтобы полиция меня обыскивала, сказал он. Красавчик нацелил ему «томпсон» прямо в пузо и ответил: Тогда завтра все равно окажетесь в нашем полицейском управлении, господин посол,— и господин посол понял, что мы спокойно можем укокошить его, и предпочел дать себя обыскать. Единственно, кто попытался выкобениваться,— потому что все остальные уже в штаны наложили,— были две сеньоры, еще довольно свеженькие. Они насмешливо называли нас задиристыми мальчишками и нагло на нас поглядывали, пока Жирный Попугай не рассвирепел и не заорал на них: Чего на нас пялитесь, вы, шлюхи! Тогда они сразу призадумались. Кроме «томпсона», которым орудовал Красавчик, у нас с собой были еще две девятимиллиметровки, одна сорок пятая «никелировка» и две «пушки» тридцать восьмого калибра, не считая хорошенькой штучки, которую я отобрал у прохвоста-полковника с обещанием возвратить по окончании обыска. Здравия желаю, полковник. А удовольствие, прямо скажем, было ниже среднего — согнать все это стадо и построить их в шеренгу, чтобы удобнее было работать. Операция, которую мы планировали на пятнадцать минут, отняла у нас почти час. И тут еще вваливается парочка в обнимку, типчик сразу почуял, что происходит что-то странное, и выдавил из себя улыбочку: Лучше пойдем в другое место, любовь моя,— сказал он. Но на них в упор нацелился сорок пятый калибр Лапо Виктора: Здесь для вас самое место! Еще один смехотворный эпизод произошел, когда Жирный Попугай углядел сочное жаркое на одном из столов — с салатом, с жареной картошечкой,— все как положено, а Жирный Попугай не успел пообедать. Он уселся за стол и все слопал в полминуты, за это на следующий день ему дали здоровую взбучку — мы ведь тоже как черти были голодные. Наконец, угрожая оружием, мы сумели всех, кто там был — посетителей, барменов и чиновников с банкета,— поставить по стенке зала, и Верзила Родольфо решил напоследок повеселиться: А что, если нам заставить их встать на колени? Тогда один насмерть перепуганный посетитель в коричневых брюках, может, в зас... тиранных брюках, услышал это пожелание и по собственной инициативе обратился к толпе: Дамы и господа, агенты хотят, чтобы мы встали на колени! И тут же всем скопом они шмякнулись на пол, как в церкви; эта сцена не входила в наш план, клянусь собственной матерью, но Красавчик решил использовать это послушание и крикнул: Никакая

мы не полиция, мы — налетчики, выкладывайте бумажники и драгоценности или получите пулю в лоб. Никто и не пикнул. Правда, полковник было заартачился, и я ему снова ткнул револьвером в бок, да еще одна толстуха прогнусавила антипатриотические слова: И это происходит у нас в Венесуэле! Верзила Родольфо и Жирный Попугай собрали барахло, урожай был неплохой, сорок тысяч боливаров наличными, ценностей — навалом, часов — целая куча. Мы упрятали добычу в три чемодана, которые были у нас с собой, и на следующий день передали в организацию. Не пропала ни одна сережка. Нас было восемь полумертвых от голода, считая Летучую Мышь,— шесть учащихся Технической школы и двое безработных,— ниже среднего класса, как говорят,— но мы считали позорным взять хоть один сентаво, который принадлежал революции; не так, как иногда бывает, о чем я знаю, да и вы тоже. Ну, в общем, операция окончилась, Красавчик сказал: Пойду, прикажу нашим патрульным на улице, чтобы стреляли из пулеметов по каждому, кто захочет пойти за нами,— он сказал это очень твердо и дважды повторил, потом пошел к двери на улицу, через которую мы и должны были войти. Мы отходили за ним не спеша, держа на мушке все скопище, но когда подошли к автомашине Летучей Мыши, то одного недосчитались. Пропал Монсеньер,— сказал Верзила Родольфо. Вся беда была в том, что когда мы начали считать, все ли здесь, и обнаружили пропажу Монсеньера, то наш «линкольн» уже успел отъехать на добрых полквартала, а мы не знали, остался ли Монсеньер в ресторане или так увлекся операцией, что забыл обо всем на свете,— такое тоже бывает,— или черт знает, что там еще случилось с Монсеньером. Сейчас уже поздно возвращаться искать его,— сказал Красавчик. Пошел он к...! — сказал Лапо Виктор, и мы покатили к университету. А этот паразит Монсеньер преспокойненько подошел к нам через полчаса в коридоре около большой аудитории. Он так объяснил свое исчезновение: он обыскивал верхний этаж, когда Красавчик дал приказ уходить, но он ничего не слышал. Ей-богу, я не слышал, сказал Монсеньер, я спустился по лестнице вниз, а людишки все еще стоят на коленях, никто не думает и пальцем шевельнуть, ни дать ни взять — собор святого Петра в Риме. Тогда, сказал Монсеньер, выхожу я на улицу и беру такси, которое подвозит меня сюда, прямо к звонку, за три боливара, которые Красавчик одолжил мне сегодня утром. Вот и весь рассказ, дайте сигару, говорит Фредди.

Это нападение à la Рокамболь на освещенный ресторан, эта киносцена с коленопреклоненной публикой — все это ерунда, мы действительно были озорными мальчишками, говорит тихо Фредди; все эти смехотворные выходки уже в прошлом. Сейчас словари выплевывают более страшные словечки: ненависть, избиение, расстрел, репрессии, раны, тайная полиция, горе, «умри!», штык, тюрьма, Качино, Ла Исла, Сан Карлос, Эль Вихия [1], шрам, автомат, полуавтомат, пистолет, лагерь, кольт, «сдавайся!», агония, похороны, шпик, ссылка, допрос, молчать, голод, кладбище, команда, жажда, кровотечение, «стрелять!», тайная сходка, страх, донос, расстрел, убивать. Кто начал убивать? Они начали преследовать, они начали убивать, мы прибегли к террористическим методам, чтобы защищаться, а потом всеобщий террор превратился в систему, в хлеб, в воздух. Чужая жизнь

[1] Тюрьмы и концлагеря в Венесуэле.

стоит два сентаво, ничто. Собственная жизнь стоит четыре сентаво, почти ничто. Книги и гимны обратились в наши выстрелы, в их залпы. Они помещают на страницах большой прессы фотографии своих убитых. Полицейских агентов или жандармов с размозженными черепами и залитыми кровью мундирами, рядом с которыми вдовы и сироты обливаются слезами около урны третьего сорта. Мы публикуем в размноженных на мимеографе листовках списки павших товарищей, погибших в бою, расстрелянных в горах, повешенных на дереве, умерших под пытками, о тех, которые покончили с собой,— они числятся среди самоубийц, но...

Команданте Белармино участвовал в вооруженном нападении (сам он никогда и никому об этом не рассказывал, а мне и не надо, чтобы он об этом рассказывал, я читал в газете описание человека, который командовал операцией; я обратил внимание на некоторые приемы в этой операции и могу поклясться, что руководил ею Белармино). Он участвовал в вооруженном нападении, где убил двух человек, двух кассиров и двух клиентов,— эти отказались поднять руки вверх, один из них полез за чем-то в карман, команданте уложил их на месте пулеметной очередью. Без сомнения, это был Белармино. Газеты поместили на последней полосе снимки трупов с распахнутыми рубахами, чтобы все видели пулевые раны на их шеях. Они лежали на окровавленных простынях — лица бледные и осунувшиеся, как восковые. О других товарищах, здесь присутствующих, я почти ничего не знаю, за исключением Валентина,—он мой друг, мой соученик. Валентин ограничивается тем, что водит машину, ждет в двадцати метрах от места действия, никогда ни в кого не стрелял,— так он мне говорил. Что касается меня самого, я, кажется, убил одного полицейского, когда проводили митинг в районе Ла Чарнека. Товарищи обращались с речами к народу и раздавали листовки. Вот тебе и новое правительство! Барретико и я страховали операцию, засев в подвале за углом. Вдруг, откуда ни возьмись, бежит с шашкой наголо этот оболтус-полицейский, наверное, из новичков,— болван зачем-то сунулся один и без всякой надобности в район, уже захваченный бойцами ФАЛН. Барретико и я выстрелили одновременно, с пятиметровой дистанции. Он хлопнулся головой прямо в какой-то подъезд, а мы побежали объявлять тревогу. На следующий день в газетах был портрет убитого — один-единственный выстрел в правый висок, так говорилось в репортаже. На нас двоих пришлась одна дырка, потому я и говорю — «кажется», когда упоминаю, что убил полицейского. Барретико уверяет, что это была его пуля. Убитый — мулат по имени Хулио Мартинес, у него были три дочки и золотой зуб, как говорилось в репортаже,— и один-единственный выстрел. Интересно, сразила ли кого-нибудь Карминья своим автоматом? Есть ли хоть один покойник на счету у Спартака, который избрал себе романтический псевдоним восставшего раба и все время молчит и о чем-то думает? Когда не надо заниматься каким-нибудь делом, он все время молчит и о чем-то думает.

Это война на истребление, я честно говорю. Правительственные войска сожгли казармы и казнили трех крестьян, подозреваемых в сотрудничестве с партизанами. Партизаны расстреляли двух типов, которые послужили проводниками правительственным войскам. Вот пяти крестьян как не бывало. Один заключенный был привязан к мачте, к корабельной мачте, вкопанной в землю; на него обрушили более ста ударов толстыми железными прутьями, а на следующий день утром его нашли повесившимся в тюремной камере. Бомба, брошенная городскими партизанами, убила одного офицера правительственных войск, а также старуху, которая продавала конфеты на

утлу улицы. Пулеметным огнем была встречена демонстрация гимназистов, был убит школьник тринадцати лет, и никто не мог собраться с духом сообщить об этом его матери. Одна БТЕ открыла огонь по нефтепроводу. Нефтепровод принадлежит «Стандарт ойл», в пожаре погибли две рабочие семьи, среди жертв был один грудной ребенок. А недавно найден один наш молодой активист, студент юридического факультета, совершенно изувеченный, труп так искромсан и лицо так изуродовано, что его сестра смогла узнать только по зубам. Это война на истребление, честное слово.

Мой отец, Хуан Рамиро Пэрдомо, не согласен со многими нашими методами, никогда не был согласен. Мой отец — коммунист старой закалки; мне думается, он не может понять наш новый язык революции, которая, создавая свою теорию, тут же воплощает ее в жизнь. **Рабочий класс — бесспорный авангард, гегемон революции,** утверждает мой отец, где-то об этом вычитал. А если рабочий класс еще занят своими, другими заботами, ведь революция не ждет. Мой отец говорит: **Дело в том, Викторино, что марксизм может диалектически развиваться, как развивается все на свете, но он никогда не изменит своим принципам в угрозу снобам революции.** Мой отец берет слово, когда его об этом совсем не просят; он не говорит простыми словами, а будто произносит речь; мы же разговариваем просто — оружием. Белармино уже кончил ковырять ногти, украдкой глядит на часы, вытирает пот со лба сложенным вдвое платком. Карминья захлопывает книгу, заложив пальцем страницу, на которой остановилась. Я чувствую, как у меня в желудке начинает что-то скрести, что-то горячее; будто лисьи зубы впились изнутри в мой пуп и не отпускают. **Такую революцию, которую хотят свершить без участия рабочего класса, даже если случайно удастся что-нибудь свершить, такую революцию бунтующих молодых интеллектуалов, мятежников, не имеющих настоящего теоретического фундамента, протестующих, но не признающих главенствующую роль рабочего класса,— такую революцию называйте как угодно, пожалуйста, но только не марксистской, не ленинской,**— так говорил мне отец, говорил убежденно, категорично. А я его слова воспринимал по-своему, совсем не воспринимал. Карминья одета в красное и черное,— зря она сейчас напоминает о 26 июля. Белармино до сих пор не пришел в себя от блестящей победы кубинцев, никто и думать не думал, что они сделают революцию раньше, чем мы: вроде бы — остров туризма и табака, разврата и пьянства, рома «бакарди» и казино Де ла Плайя, «если хочешь разудало погулять»,— и мы, с нашими боевыми традициями и антиимпериалистическими массами, с латифундиями, с верфью, железом, электричеством, всем, чем хочешь. Кто бы мог подумать, что кубинцы нас так обскачут. Самое плохое, что если и дальше так будет, как сейчас, то мы не сдвинемся с места; конечно, руководители типа моего отца — люди опытные, благородные, очень достойные уважения, но, как мне казалось, не идут в ногу с нашей атомной, космической эрой, с нами, молодежью. А мой отец не хочет понять, мой отец говорит: **Молодежь сама по себе не является революционной силой, она — этап человеческой жизни, который проходят все без исключения: фашисты, полицейские и те, кто бросает бомбы на Вьетнам. Единственная разница между революционером старым и революционером молодым, Викторино, заключается в том, что старый революционер в нашей стране должен вынести на себе все испытания, постоянные преследования и тем не менее продолжать оставаться революционером.** Мать не вмешивается в наши дискуссии, возможно, она хотела бы что-нибудь сказать, но не говорит; хотела бы заплакать, но не плачет; она предпочла бы

стерпеть любую физическую боль, чем видеть, как мы жестоко спорим, мой отец на одних позициях, а я — на других. Я с ходу наскочу на толстого кассира: руки вверх, не сопротивляться! Ампара от трех до четырех будет сидеть на лекции по истории искусств. «Вазари говорит, что Лука Синьорелли[1] имел одного-единственного сына, юношу семнадцати лет, который погиб». Ампара думает, что я сейчас сижу и зубрю фрейдистскую теорию подсознания вместе с Валентином. Команданте Белармино снова поглядывает на часы, берет со стола газету и читает объявления, не обращая никакого внимания на своих скучающих сообщников: Путешествие в Европу на самолетах «Эр-Франс», в глубине — вид Триумфальной арки. **Псевдофилософы, которые стремятся разделить общество на поколения, а не на классы, по биологическим, возрастным признакам, а не по идеологическим, остаются всего лишь софистами — дешевыми или дорогими,— которых пригревает буржуазия и т. д.,**— мой отец считает так...

А все же неприятно тратить сейчас время на думы о том, что сегодня вечером можно попасть в лапы полиции, что тебя запрут в тюрьму, запрут, предварительно избив жестоко; а потом начнутся допросы об именах и адресах, будут вышибать зубы дубинками, будут плевать тебе в лицо, будут обзывать сукиным сыном и похуже. Я ничего не скажу, я в этом уверен, абсолютно уверен, но мне не хотелось бы испытывать на себе всего этого. А Карминья все-таки хорошенькая, несмотря на свой автомат, она хорошенькая, хотя некоторые тенденциозные психологи говорят, что только уродины становятся революционерками. Сейчас 3 часа 10 минут, в эту пору мой отец всегда садился читать классиков, или писал статью в газету, или готовил какое-нибудь выступление — когда он будет депутатом,— чтобы с парламентской трибуны разоблачить козни империализма: Гражданин депутат Хуан Рамиро Пэрдомо имеет слово. Мой отец упорно не хотел признавать, что революцию можно выиграть только путем немедленных насильственных выступлений. Он говорил, правда, мне: **Разве я когда-нибудь отрицал, Викторино, что насилие может стать повивальной бабкой революции? Но я отрицаю твой культ террора, насилия, не опирающегося на теорию; не признаю грубую примитивную силу, всезнающих героев, возвеличивание авантюристических акций,**— говорит мой отец с возмущением. И с этих устоявшихся понятий его не сбить: дисциплина, аппарат, структура, условия, содержание, характер, централизм, партия, гегемония, собрания, уклоны, экстремизм, слова, слова, слова. Молодежь Латинской Америки — это вулкан, который не погасить словами, а отец лишь пускает в ход свои всегдашние аргументы. А что скажешь о кубинской революции, старик? Я принадлежу к силам ФАЛН, я рискую своей жизнью в этих операциях, которые мой отец осуждает; и я во сто крат более революционер, чем он со своими теориями, лекциями, докладами и откладываемым часом восстания,— когда, мол, возникнут подходящие условия. Я атакую его идеями Мао, как булыжниками. Мать — наш единственный и немой свидетель, она никогда никому не судья; мать не хочет быть судьей, а только немым свидетелем. Оружие принес Эрнесто в чемодане, он ходил за ним в арсенал, притащил также и пистолет, который нам одолжила БТЕ Санты Росалии. Пистолет предназначается для Фреди, товарищи не хотели его до последней минуты отдавать, боясь, что больше его не увидят. Оружие находится сейчас в соседней ком-

[1] Джорджо Вазари (1511—1574) — итальянский живописец, архитектор, автор жизнеописаний итальянских художников эпохи Возрождения, в том числе Луки Синьорелли (ум. в 1523 г.).

нате, и каждый из нас по очереди идет с Белармино осматривать свое, я тоже пойду проверить свой револьвер. **Самое трудное в этой ситуации заключается в том, что мы полагали, будто анархизм уже мертв и погребен... погребен общим мировым развитием. И вдруг этот покойник восстает из своего склепа в самой середине двадцатого века. Ты рассуждаешь как анархист, Викторино, а рассуждать так в наше время — это все равно что пытаться лечить аппендицит у знахарки,**— таковы были последние слова моего отца. И я ушел из дома, из дома, за которым следила обычная полиция, тайная полиция и все другие полиции, следили из-за меня и из-за моего отца. Я ушел из дома, ставшего неуютным из-за наших постоянных споров и нависших над нами невыплаканных слез матери. Я ушел из дома в какой-то понедельник и теперь живу в этом паршивом пансионе под вымышленным именем, зовусь Мануэль Падилья и свободен теперь от всех домашних уз, от отцовской диалектики. Когда будем пересекать площадь Трес Грасиас, пробьет 4 часа 22 минуты; там, неподалеку от Карса, всегда стоит полицейская патрульная машина; может быть, она что-нибудь заподозрит — пятеро мужчин и одна женщина в машине, так всегда ездят налетчики. Если нас заподозрят, начнут преследовать, и тогда Белармино... Сейчас мой отец снова в заключении, его перевели в военную тюрьму Сан-Карлос. Мать опять осталась одна. Черта с два сослужила службу отцу эта представительная демократия, черта с два сослужила ему службу эта конституционная система, плевать они хотели на его парламентскую неприкосновенность, он был взят прямо из своего парламентского кресла: Вы арестованы. Прошу слова! — но они увезли гражданина депутата в черной крытой машине. А теперь он в одной из камер тюрьмы Сан-Карлос перечитывает «Анти-Дюринга», бедный старикан. Мой толстяк кассир — сорокалетний усач, наверное, у него есть дети, наверное, он будет в синей форме и будет сортировать бумажные деньги: вишневые десятки, зеленые бумажки по двадцать боливаров, оранжевые — по пятьдесят, шоколадные — по сто. Я суну ему свой револьвер прямо под нос и скажу: Руки вверх, не сопротивляться! Карминья сидит, скрестив ноги, у нее немного задралась кверху красная юбка и слегка обнажилось красивое бедро. Что за чертовщина случилась сегодня со мной у Ампары, сегодня утром? Как сейчас вижу ее — такая женственная, обнаженная, около радиолы. «I can't say nothing but repeat that Love is just a four-letter word» — поет Джоан Баэз. Ладно, зато все остальные дни мы творили чудеса. Верно, приятель? Чудеса. А когда победит революция — почему бы ей и не победить? — когда свалится это правительство — а оно обязательно свалится! — я выброшу револьвер ко всем чертям, я найду Ампару, я запрусь с ней на три ночи подряд, пусть мать ее ломится в дверь. Куда задевался Викторино, будут спрашивать товарищи. Кому надо скрываться в день победы? Мне надо, мне. Задача Белармино — разоружить жандарма. Самое опасное дело. Ровно в 4 часа 27 минут Белармино и я войдем в главную дверь. Не откажет ли мой револьвер? Я его испробовал не раз на пустынном берегу, он смазан и вычищен. Не откажет ли? То и дело читаешь в газетах: «Револьвер дал осечку», в телевизионных передачах тоже все время осечка. Толстяк будет считать билеты. Руки вверх, не сопротивляться! А если будет перестрелка? В 4 часа 27 минут. Вдруг слышится голос Белармино: Если меня сегодня убьют, я надеюсь, что сеньориты Ларусс дадут мне отдохнуть недельку в чистилище, прежде чем призовут к своему столику,— говорит он. Ни к чему это, лучше бы помолчал, сейчас не до таких шуток. Валентин останавливает машину в нескольких метрах от банка, я вы-

хожу через левую дверцу, с револьвером на поясе,— инородная вещь, инородный холод, инородная тяжесть. Уже 4 часа 26 минут. Уже нас ожидает БТЕ. Исидоро у стены католического колледжа. Спартак выйдет из машины с другой стороны, у Спартака в руке будет чемодан для денег, Спартак займется управляющим. Если схватят кого-нибудь — будут мучить, будут прижигать зад утюгом, отобьют кулаками печенку, заплюют лицо, повесят за... Белармино смотрит на часы, смотрит долго и пристально. Команданте Белармино встает, сейчас ровно 4 часа. Все мы встаем, наконец-то сейчас выйдем из этой унылой берлоги. 4 часа ровно, Ампара. А если будет перестрелка?

Ни Белармино, опытный бдительный командир; ни Викторино, мятущийся воинствующий фантазер; ни духи-провидцы, которых вызывают сестры Ларусс, никто не обладает способностью предугадать будущее. «Не пытайся заглянуть в завтрашний день» — кажется, это Гораций. И только глубокомысленный Спартак подозревает, предчувствует, знает. Спартак — член ФАЛН. Он стал членом ФАЛН, может быть, потому, что личное участие в щекочущих нервы опасных операциях доставляло ему не то чтобы удовольствие, а скажем, наслаждение азартной игрой: был на волоске от смерти и кажется, будто выиграл собственную жизнь в рулетку. Кончаем! Семнадцать на черную! — и вздохнул облегченно. Спартак стал городским партизаном — другая гипотеза,— потому что какая-то пружинка в сердце толкала его на то, чтобы чем-то отличаться от других; чтобы казаться героем в глазах остальных: что, мол, за удалец, ну и сорвиголова; просто супермужчина; не парень, а... Спартак полез в горячее дело — третье предположение,— потому что ему осточертели обременительные общественные поручения, душные собрания, пропитанные мужским духом и дешевым табаком; надоела малоприятная пропагандистская работа: напишешь самый невинный лозунг на стене, например: «Да здравствует Че Гевара!», а тут как тут полиция и дает тебе по морде. Нелегко определить, каким из этих мотивов руководствовался Спартак, когда вступал в эту БТЕ, а также почему для своего псевдонима он избрал славное имя фракийского вождя-раба. Спартак — человек замкнутый, никогда не говорит вслух о том, что думает. Ну, и что же? А то, что, может быть, он молча подавлял свое бунтарство, глушил в себе чувство соперничества, озлобленности и беспомощности, чтобы в конце концов (в результате весьма сумбурного процесса мышления) все это перешло в неприязнь к твердой дисциплине, насаждаемой руководителями партии, в отвращение к военным или á la военным приказам командиров БТЕ, в презрение к беспрекословному повиновению нижестоящих товарищей и в то же время — в боязнь смерти, собственной смерти, которая подкарауливает, нацелив рога, в каждом шорохе и в каждой тени. Спартак начал подумывать, что незачем спешить умирать, у него уже отпала охота к героической кончине, он прикинул, что нет более неприятного обязательства, чем смерть, будь она проклята, и зачем он только ввязался в эту заваруху? Спартака задержали неделю назад, но этот факт остался неизвестным команданте Белармино, он остался неизвестен и другим членам БТЕ. Спартака задержали в полночь три агента тайной полиции, они караулили его с самого вечера внизу около лифта. Достаточно было пригрозить ему — мы повесим тебя за... Достаточно было поговорить с ним немножко о его близкой смерти. Спартак не захотел умирать.

Теперь Спартак — единственный среди них, кто предвидит, знает о провале, который их всех ожидает.

Они выходят друг за другом из дома сестер Ларусс в 4 часа 3 минуты.

Да, никому не дано предвидеть будущее. Патрульная машина, которая будет нести службу на площади Трес Грасиас, пропустит их мимо, словно бы их и не заметит, ни малейшего подозрения не внушит автопатрулю этот черный «шевроле» с пятью мужчинами и одной девушкой внутри; патруль сделает вид, что все в порядке. В «шевроле» Белармино разведет руками, словно рассказывая какую-то историю, чтобы незаметно сказать: Надеюсь, вы уничтожили все бумажки в своих карманах, если у кого-нибудь что-либо осталось, надо проглотить. Белармино угрюмо усмехнется и добавит: Самое лучшее средство от опасности — проглотить свой собственный страх,— чем больше проглотишь страха, тем меньше опасность. Так скажет команданте Белармино в 4 часа 22 минуты, проезжая через площадь Трес Грасиас. Остальные будут напряженно помалкивать. Унылый Спартак не оторвет глаз от своих опозоренных коленей.

В 4 часа 26 минут Валентин затормозит в семи метрах от банка. Викторино вылезет через левую дверцу, Фредди и Спартак — через правую. Белармино выйдет несколько раньше и теперь уже будет идти по тротуару с перекинутым через плечо плащом,— приклад его оружия зажат под мышкой, ствол в напрягшейся руке. Мимо пройдут несколько прохожих, продавец лотерейных билетов будет выкрикивать счастливые номера, нищий калека протянет ладонь из своего укромного угла. В эти секунды БТЕ без колебаний бросится в атаку, карта будет брошена, чем меньше страха — тем меньше опасность. Руки вверх, не сопротивляться!

Произойдут и другие вещи, но ведь пророков нет. Охранник даст Белармино смирнехонько себя разоружить, не моргнув глазом вручит ему свой разряженный револьвер,— таковы будут инструкции, которые он получил: отдать разряженный револьвер, не моргнув глазом. Толстый кассир, дрожа, согласится на все при первом же крике Викторино: Возьмите деньги, возьмите,— затрясется этот бледный студень,— возьмите сколько хотите, у меня двое детей. Несчастный толстый кассир не будет посвящен в курс дела. Не стреляйте, сеньор! Кассир не будет ни о чем предупрежден. Блондинка секретарша упадет в обморок — права была Карминья! — и из раскрытой сумки на землю хлынет поток интимных вещиц: пудреница, носовой платок, духи, кошелек, губная помада, румяна, ключи, сигареты, гребешок, иголка с нитками, жевательная резинка, аспирин, зажигалка, амулет, шариковая ручка, дезодорант, визитные карточки, удостоверение личности, письмо, портрет Абелардито и пакетик фирмы «Котекс» с противозачаточным. Почему бы не предупредить заранее и эту чувствительную любительницу телевизионных детективов? Затем появится управляющий в сопровождении Спартака, который упрет ему свой «кольт» в спину; они спустятся на три ступеньки вниз. Да, сеньор управляющий будет знать о том, что должно произойти; он ожидает их с четырех часов, но его одолеет такой страх, словно бы он ничего не знал,— эти бандиты способны на все... Его лысина покроется обильными каплями пота, когда откроется дверь,— они способны на все. Викторино быстро переложит купюры в чемодан и в кожаную сумку. В этот момент команданте Белармино с удовлетворением подумает, что никогда ни одна операция не проходила с такой точностью, в таком соответствии с выработанным планом.

Но все же никому не дана привилегия предсказывать будущее. «Истину говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю»,— наверное, только бог имеет право так говорить. В 4 часа 35 минут, когда уже окончится операция, когда они уже выйдут из банка, по пути к автомобилю, посреди улицы они заметят отсутствие Спартака. Куда же он делся, дьявол? Черного «шевроле» тоже не будет на месте. Что же случилось с Валентином? В отчаянном крике женщины там, вдалеке, они узнают голос Карминьи. Продавец лотерейных билетов окажется не продавцом, а сыщиком, вооруженным автоматом; калека-нищий сбросит свою нищету пистолетом «вальтер», который сверкнет в его руке; случайные прохожие превратят автомашины, стоящие вдоль тротуара, в баррикады; все балконы ощетинятся коротко- и длинноствольным оружием, слезоточивая бомба взорвется прямо перед ними. Тогда-то они все и поймут.

Фредди всегда был скор на решения, он быстро шмыгнет за угол, но притаившийся там ловкач полицейский натренированной рукой всадит ему пулю прямо в грудь, и Фредди ничком рухнет на тротуар. У Белармино будет время на какую-то долю минуты поднять свой «томпсон», чтобы дать короткую оборванную очередь: он успеет пронзить грудь калеки-нищего, который уже воинственно выпрямился. Поражение одного врага, одна вражья смерть и более ничего; сам команданте Белармино упадет навзничь, изрешеченный сотней пуль, задергается в луже темной спокойной крови, выкатит глаза в агонии и умрет как настоящий команданте, умрет. Чувство жуткой подавленности вдруг охватит Викторино посреди улицы: *Для чего бежать? Для чего отстреливаться? Для чего жить? Шесть человек набрасываются на меня, бьют по лицу рукоятками пистолетов, надевают мне наручники, куда-то тащат меня, пиная и крича, Ампара.*

Все это произойдет с 4 часов 27 минут до 4 часов 36 минут. А сейчас еще только 4 часа три минуты, шесть членов БТЕ гуськом выходят на улицу. Один за другим рассаживаются в черном «шевроле»: Валентин за рулем, рядом с ним Карминья, с краю — Белармино, выставив локоть в окошечко. Фредди, Спартак и Викторино — на задних сиденьях. Ни потусторонние духи, которых вызывают сестры Ларусс, никто ни в этом мире, ни в том не знает и не может разгадать будущее. Кроме Спартака.

В одном разделе официального сообщения говорится:

«Независимо от увечий, которые по свидетельству медицинских экспертов, вызвали смерть гражданина Викторино Пэрдомо, осмотр и вскрытие трупа показали следующее:

а) наличие многочисленных травм;

б) перелом первого левого ребра;

в) серьезное повреждение печени и правой почки;

г) многочисленные ушибы с кровоподтеками в мягких частях брюшной полости и в правой части грудной клетки;

д) обильные ссадины на животе, на груди и половых органах;

е) кровоизлияния: субплевральное (правая сторона) и субэпикардиальное;

ж) расширение мочевого пузыря и содержание крови в моче;

з) полукруглая ссадина, охватывающая переднюю и заднюю части предплечья.

Эти данные наводят на мысль: все ли обнаруженные телесные повреждения являются результатом падения из окна разбившегося насмерть гражданина Викторино Пэрдомо?».

В другом разделе сообщения говорится:

«Установить, самовольно ли выбросился погибший из окна четвертого этажа, как утверждается в сообщениях сеньора министра внутренних дел, или он был выброшен оттуда третьими лицами, в случае чего речь шла бы об убийстве, выходит за рамки возможностей данной комиссии, вследствие недостатка соответствующих доказательств. Однако версия самоубийства, если принять во внимание условия, в которых находился арестованный (руки за спиной, в наручниках) непосредственно перед своей смертью; если учесть расположение и высоту оконного проема, в который, как говорят, он выбросился, а также некоторые другие обстоятельства,— версия самоубийства вызывает большое сомнение. Тем не менее серьезность такого заключения обязывает самым тщательным образом проанализировать все факты, основываясь, в соответствии с нормами права, на доказательствах и фактах, представленных в процессе расследования, и не делая никаких выводов, выходящих за пределы материалов следствия».

Последний раздел сообщения гласит:

«Наличие крови в моче, находящейся в мочевом музыре, и отсутствие переломов тазовых костей, как показало вскрытие, свидетельствуют о том, что почки выделяли кровь в мочевой пузырь еще до наступления смерти. Если бы повреждение почек, выявленное при вскрытии, было бы результатом падения из окна, то в мочевом пузыре не была бы обнаружена кровь, так как эти органы, не имея никаких патологических функциональных изменений, могут выделять кровь только в случае их прямого повреждения путем нанесения сильных ударов. Исходя из этих соображений, комиссия считает, что Викторино Пэрдомо был подвергнут до того, как наступила его смерть, жестокому обращению с применением силы, бесспорно принимающему формы невиданных пыток и истязаний».

Повторилась история — во плоти и крови Викторино Пэрдомо, точь-в-точь, удар за ударом,— повторилась история страданий и смерти Хосе Грегорио Родригеса, которая произошла в нашем городе Каракасе несколько лет тому назад, ночью 26 мая 1962 года, когда упомянутый Хосе Грегорио Родригес находился в качестве политического заключенного в здании Генерального полицейского управления (Дихеполя). По правде говоря, тут есть некоторые несоответствия. Викторино Пэрдомо в день смерти исполнилось восемнадцать лет. Хосе Грегорио Родригес был уже великовозрастным 35-летним мужчиной, который оставил четырех сирот-детей и не стал персонажем никакого романа. Однако мы отклоняемся от темы.

Когда хочется плакать, не плачу

Мама купила глиняную урну и отделала ее черной материей, Мама ходила за трупом в морг, Мама ехала со своим мертвым сыном в грузовичке, Мама была в кладбищенской конторе, чтобы уладить некоторые формальности, и теперь она здесь, у подножья холма, на котором его похоронят. Два муниципальных могильщика ставят урну на носилки и начинают восхождение. Мама следует, шепча «Отче наш», за ними, держит обеими руками букетик маргариток, стоивший ей двенадцать боливаров. Надо пробираться сквозь заросли ковыля и колючих ньярагатов, откидывать ногами заржавленные кон-

сервные банки и другие жестянки. Они останавливаются под тенью дерева каньяфистола. Здесь вырыта какая-то могила в ожидании какого-то покойника. Мама посвящает неизбежные слова поминания отцу Викторино, Факундо Гутьерресу, которого она никогда больше не видела,— он всегда был пьян в стельку, наверное и сейчас на ногах не держится, если еще не помер. Два могильщика опускают урну на толстых веревках в глубь ямы. Взмахи лопат, полных земли, заставляют Маму невольно заплакать, хотя она обещала себе не оплакивать Викторино на людях. Могильщики кладут на мягкую горку земли опознавательный кирпич, 715 FP 283,— буквы и цифры временного номера могилы намалеваны смолой. Могильщики утирают потный лоб пыльно-серыми платками и спускаются с пустыми носилками. Мама опять бредет вслед за ними среди камней и кочек. Викторино остается один, захороненный среди многих других бедняцких могил, но у него есть своя урна, задрапированная своей черной тканью, и у него есть свой букетик за двенадцать боливаров, и слезы Мамы, которые тоже чего-то стоят. Мама желает доброго вечера муниципальным могильщикам, снова влезает в грузовичок, чтобы скромно вернуться к кладбищенской конторе.

Мэми держится прямо с огромным трудом: слева под руку ее подхватила донья Аделаида, справа — одна из приятельниц: назавтра Мэми и не вспомнит, которая из многих. Все происходящее прикрыто пеленою слез и вечерними сумерками, которые опускаются теперь рановато. Мэми едва различает знакомые лица в окружающей толпе, любопытные головы то тут, то там высовываются из-за мраморных ангелов и святых дев, скорбные старушки от Святой троицы бормочут литании, шесть дружков Викторино несут на плечах его урну, сняв ее с катафалка. За ними плывут несметные букеты цветов — ирисы, орхидеи, розы, гортензии и лилии, пачкающие руки россыпью золотой пыльцы; сладкий запах тубероз и нарциссов укачивает Мэми. Урну опускают на веревках, устанавливают на дно могилы, слезы еще плотнее застилают глаза Мэми. Инженера Архимиро Перальты Эредиа нету рядом, он должен быть в Лондоне по делам,— по крайней мере так он сказал Мэми, когда она укладывала ему чемоданы. Пришлось послать ему жестокую телеграмму. Инженер Архимиро Перальта Эредиа не успел на похороны, он в полном отчаянии старался достать билет на самолет, но безуспешно. Мэми слышит голос капеллана словно очень и очень издалека: Libera me Domine de morte aeterna[1]. Инженер Архимиро Перальта Эредиа прилетит завтра к полудню, он не перенесет этого удара, Викторино был для него все, Libera me Domine de morte aeterna. Капеллан в белом облачении и черной столе читает поминание, капеллан машет над могилой кропилом, венки громоздятся пирамидой до ветвей дерева. Церемония закончена. Мэми покидает склеп семьи Перальта, опершись на чьи-то две руки,— следующим утром она и не вспомнит, кому из ее приятельниц принадлежали эти руки.

Мать оплакивает свое одиночество среди пятидесяти юношей, пришедших на похороны Викторино; ночью они были рядом с ним в похоронном агентстве,— шпики переписали их имена, глядели на труп с нескрываемой злобой, цедили проклятия сквозь зубы. Только у самых кладбищенских ворот полиция отвязалась. Мать входит за ограду вместе с группой молодых людей, которые поют: «Bella, ciáo, ciáo...[2] и если я паду в бою, возьми себе мою винтовку...» Мать чувствует себя одинокой и обессиленной. Даже родственники не узна-

[1] Из заупокойной молитвы *(лат.)*.

[2] «Прощай, прощай, красотка...» *(итал.)* — песня итальянских партизан времен второй мировой войны.

ли о смерти Викторино,— газеты ограничились только сообщением о нападении на банк и пока ни словом не обмолвились об убитых. Мать не может объяснить себе, каким образом эти пятьдесят товарищей Викторино узнали о случившемся. Они всю ночь провели с ней у гроба, а теперь выкрикивают, как клятву: Мы отомстим за тебя, Викторино, мы отомстим! — поднимают урну на плечи, несут по узким дорожкам, мрачная ярость ожесточает молодые лица; они несут урну, обернутую красным стягом и черной лентой. «Мы — молодая гвардия, будущее свое куем...» Хуан Рамиро Пэрдомо заключен в тюрьму Сан-Карлос, ему не разрешили присутствовать на погребении сына. Мать ощущает, как растет чувство ее одиночества по мере того, как они приближаются к могиле. Его похоронят на ровной голой площадке, где уже возвышаются сто совершенно одинаковых могил, и над каждой торчит сто раз повторенный маленький черномраморный Христос. Этих Христов фабрикуют сериями и продают по дешевке. Мать купила одного такого на могилу Викторино.— «О, bella, ciáo, bella, ciáo...» Одна девушка из группы плачет вместе с Матерью, один студент с распахнутым воротом говорит над только что сомкнувшейся землей: «Мы отомстим за тебя, Викторино, мы отомстим!» Хуан Рамиро Пэрдомо закусит губы и сожмет кулаки в своей камере. Нет одиночества в мире, сравнимого с одиночеством Матери. Но юноши и девушки подходят, один за другим обнимают ее, и снова звучит песнь: «Сверкающим солнечным утром я вышел на бой с врагом...» Мать медленно идет к выходу среди мрамора и сосен, ее провожает девушка, плачет вместе с ней.

И вот, единственный раз в жизни скрестились пути трех женщин, одетых в траур,— той, что приехала в грузовичке с подножия холма; той, что поднялась из семейного склепа Перальта; той, что, опустив голову, вышла из узкой аллеи. Три женщины в трауре безучастно взглянули друг на друга, будто никогда раньше друг друга не видели — никогда раньше не видели, это правда,— и будто бы ничего не имели общего.

Три Викторино и Мигель Отеро Сильва

«И вот, единственный раз в жизни скрестились пути трех женщин, одетых в траур... Три женщины в трауре безучастно взглянули друг на друга, будто никогда раньше друг друга не видели — никогда раньше не видели, это правда,— и будто бы ничего не имели общего».

Так — лаконично, строго, своей психологической глубиной и эмоциональной насыщенностью напоминая античную трагедию,— завершается роман Мигеля Отеро Сильвы. Прочитав новое произведение выдающегося венесуэльского писателя, мы действительно убеждаемся в том, что этим трем женщинам ранее не доводилось где-либо встречаться. Однако в последующих словах автора нельзя не заметить нотку сомнения: «...и будто бы ничего не имели общего». А в самом деле, было ли что-то общее у этих незнакомых между собой женщин? Как известно, представляют они различные, более или менее четко отмежеванные социальные слои общества, живут каждая в своем кругу, у каждой свои интересы — и, быть может, лишь простым стечением обстоятельств суждено им было в один и тот же день родить своих сыновей, в один и тот же день их потерять, навсегда проститься с ними. Нет — дает понять нам автор,— конечно, не такие, по сути своей случайные, совпадения во времени сблизили, объединяют трех женщин, связав невидимыми узами их судьбы.

Все они — и та, и другая, и третья, каждая по-своему — столкнулись с проблемой молодого поколения в современном капиталистическом мире. С очень важной и очень сложной проблемой места молодежи в жизни, в борьбе за существование, за свои права. Справедливо называют эту проблему одним из наиболее драматических показателей кризиса буржуазной системы: отсюда — те явления морального, социального, идеологического характера, что наблюдаются среди известной — и не малой — части

молодых людей Запада, что нашли свое отражение на страницах романа «Когда хочется плакать, не плачу». Действие романа Отеро Сильвы развертывается в Венесуэле, но разве все это мы не встречаем в любой иной стране, где капитализм устанавливает свои антигуманные порядки, диктует волчьи законы! Никакого труда не составит изменить название страны, географических пунктов, имена персонажей — и перед нами откроется правдивая, ужасающе правдивая картина происходящего чуть не повсюду, если не всюду, в хваленом «западном мире».

Большой и честный художник слова, Мигель Отеро Сильва, лауреат национальных литературных премий, недавно избранный в члены Венесуэльской академии языка, счел своим долгом рассказать о той молодежи, которая оказалась выброшенной за борт общества, либо не нашла цели и смысла в жизни, либо под пагубным влиянием ультралевых сбилась с пути. Писатель рассказывает взволнованно, горячо, страстно. В чем-то, по-видимому, с ним трудно согласиться, о чем-то можно и поспорить, однако несомненно понятны его чувства, его опасения, его тревога. Не забудьте: роман этот им посвящен сыну, выпускнику физико-математического факультета Центрального университета в Каракасе, что само по себе красноречиво.

Почти пять лет Мигель Отеро Сильва работал над последним романом. «Мне стоило огромных усилий его написать,— говорит он в интервью для венесуэльской печати.— Кроме всего остального, этот роман отличается от предыдущих моих книг как своим языком, стилем, так своей техникой, композицией» (нашим читателям знакомы произведения романиста и поэта — в «Иностранной литературе» несколько лет назад был опубликован его роман о патриотах Венесуэлы «Пятеро, которые молчали», позднее переизданный «Роман-газетой» и «Молодой гвардией»; в русском переводе выходили также романы «Лихорадка», «Мертвые дома», «Город в саванне», печатались его стихи, фрагменты философской поэмы «Море — это смерть»). Отеро Сильва отмечает, что все его романы «относятся к литературе разоблачения, однако всякий раз я стремился к тому, чтобы разоблачение обладало достоинствами художественного произведения, являлось бы плодом литературного творчества. Мои романы можно определить как социальные, но в более широком толковании термина».

В беседе с пишущим эти строки Мигель Отеро Сильва как-то сказал, что он придерживается почти документальной достоверности в художественном произведении, «не разграничивая труд писателя и труд журналиста», и потому «ситуации романа всегда взяты из действительности, а персонажи — это портреты реальных людей, лишь перемещенные в литературную атмосферу».

Так случилось и на сей раз — из жизни вошли в роман герои «Когда хочется плакать, не плачу», три Викторино. Кстати, в каракасском еженедельнике «Септимо диа» помещен очерк о прототипе Викторино Переса — только в отличие от последнего этот «враг общества № 1», от которого писатель с магнитофоном в руках, создавая обобщенный образ в произведении, позаимствовал кое-какое «сырье» для последующей творческой переработки, поныне отбывает срок заключения в тюрьме. В равной степени нет оснований полагать, что в поле зрения художника не попадали реально существовавшие — или существующие — прототипы Викторино Перальты, Викторино Пэрдомо, настолько эти персонажи жизненны, конкретны. По словам Мигеля Отеро Сильвы, «молодые действуют на авансцене, старшие нарисованы на стене». Все внимание автора отдано трем юношам, родившимся в один и тот же день, пусть в совершенно разной обстановке, при крещении получившим имя того святого, которого в этот день чтит церковь. Как и их матери, юноши никогда друг друга не видели и, очевидно, даже не подозревали о существовании друг друга, хотя и у них, вопреки всей их полярности, всему их несходству, можно обнаружить некие точки соприкосновения. Трое — каждый тоже по-своему, возмущаясь, выражая свои бунтарские настроения,— протестуют, выступают против создавшего их, против окружающего их буржуазного общества, мира.

Викторино Переса, сына трущоб, бесчеловечные условия «дна» большого капиталистического города заставляют идти на новые и новые преступления, пока не сразит юнца полицейская пуля. Викторино Перальту, отпрыска олигархического семейства, типичного экспоната «золотой молодежи», безыдейная, бездумная жизнь — high life — влечет неведомо куда, пока не приведет к не менее абсурдному финалу. От альфы до омеги жизненная тропа обоих Викторино, Переса и Перальты, предельно ясно начертана, чем-то закономерна.

Неизмеримо сложнее, резко отличающийся от своих ровесников, образ третьего Викторино — Викторино Пэрдомо, сына старого коммуниста. Многие-многие годы — в это время сын рос, мужал, уже стал студентом гуманитарного факультета,— его отец был вдалеке от семьи: то на подпольной работе, то в тюрьмах. Оторванного от отцовского влияния, мечтательного, еще политически незрелого, но не желающего примириться с враждебной действительностью, Викторино Пэрдомо захватывают ультралевацкие, анархистские «теорийки», фальшивые неотроцкистские «р-р-революционнейшие» фразы, «идеи» Мао. Под воздействием пропаганды маоистов и других ультралеваков, сбивающей с толку идейно неподготовленную, хотя и кипящую, бунтарски настроенную молодежь, Викторино Пэрдомо вместе со своими однокашниками-студентами вступает в «боевую группу». И все же не удалось экстремистам окончательно отравить своим ядом сознание юноши — в последний момент он не может не вспомнить

мудрые предостережения отца о лживости, о бесперспективности, об опасности подобных «теорий»,— но уже чересчур поздно: Викторино Пэрдомо погибает, став еще одной жертвой псевдореволюционного авантюристического экстремизма. Автор романа сумел убедительно показать, к чему приводят попытки маоистов и других ультралеваков вовлекать в безрассудные авантюры — под лозунгом «революция силами молодых и немедля», в полном отрыве от масс,— неопытную, незнакомую с теоретическими основами революционной тактики, с уроками рабочего движения латиноамериканскую молодежь, подло спекулируя на ее благородных порывах, на ее энтузиазме, боевитости.

Все больше и больше юношей и девушек Венесуэлы, как и всей Латинской Америки, как и всего капиталистического мира, начинает понимать, что капитализм чужд молодому поколению, не в состоянии решить его коренные жизненные вопросы, не отвечает требованиям эпохи. Молодые люди начинают сознавать, что капиталистическая система сама по себе, естественно, не сможет излечиться от раздирающей ее болезни. Пусть недостаточно быстро, но все-таки проявляется процесс «протрезвления» от угара экстремизма. Растет, неуклонно растет число молодых патриотов под знаменем освободительной борьбы народных масс против империализма и реакции. Растет число подлинных борцов за дело народа, вооруженных марксистско-ленинской теорией.

Выступая недавно в венесуэльском сенате, секретарь ЦК Коммунистической партии Венесуэлы, сенатор Эдуардо Гальегос Мансера, проанализировав причины «бунта молодых», говорил о нарастании, наперекор репрессиям, движения молодежи, студентов. Он напомнил сенаторам, что еще в 1895 году Фридрих Энгельс писал: «Почти ровно 1600 лет тому назад в Римской империи тоже действовала опасная партия переворота. Она подрывала религию и все основы государства, она прямо-таки отрицала, что воля императора — высший закон... Долгое время она действовала скрыто, вела тайную работу, но в течение довольно уже продолжительного времени она чувствовала себя достаточно сильной, чтобы выступить открыто. Эта партия переворота, известная под именем христиан, имела много сторонников и в войсках; целые легионы были христианскими... Император Диоклетиан не мог долее спокойно смотреть, как подрывались в его войсках порядок, послушание и дисциплина. Он принял энергичные меры, пока время еще не ушло. Он издал закон против социалистов — то бишь против христиан. Собрания ниспровергателей были запрещены, места их собраний были закрыты или даже разрушены, христианские знаки — кресты и т. п.— были запрещены, как в Саксонии запрещены красные носовые платки. Христиане были лишены права занимать государственные должности, они не могли быть даже ефрейторами. Так как в то время еще не было судей, как следует выдрессированных по части «лицеприятия», судей, наличие которых предполагает внесенный г-ном фон Кёллером законопроект о предотвращении государственного переворота, то христианам было просто-напросто запрещено искать защиты в суде. Но и этот исключительный закон остался безрезультатным. Христиане в насмешку срывали текст закона со стен и даже, говорят, подожгли в Никомедии дворец, в котором находился в это время император. Тогда он отомстил массовым гонением на христиан в 303 г. нашего летосчисления. Это было последнее из гонений подобного рода. И оно оказало настолько сильное действие, что через 17 лет подавляющее большинство армии состояло из христиан, а следующий самодержец всей Римской империи, Константин, прозванный церковниками великим, провозгласил христианство государственной религией» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. второе, т. 22, стр. 547—548).

Выступление Эдуардо Гальегоса Мансеры в сенате, с одной стороны, а с другой, «Христианский пролог» — своеобразный ключ к озорному, ироничному, горькому повествованию Мигеля Отеро Сильвы, насколько мне известно, не являлись и не могли являться некоей предопределенной, скоординированной акцией. И это знаменательно. Знаменательно и потому, что роман Отеро Сильвы, несмотря на трагическую гибель его главных, восемнадцатилетних героев, не несет на себе печать пессимизма, отчаяния, безысходности. «Нет,— заявляет автор романа,— это не пессимистическое произведение. И если в произведении кто-то терпит поражение, то вина не моя, а того общества, в котором я живу. Однако я пытаюсь, даже показывая поражение, дать место проблескам света и, насколько возможно, выразить надежду».

Если внимательно перечитать последние абзацы Пролога к роману, то выяснится, что донья Консуэло в день рождения трех знакомых нам Викторино, приняв одного, торопилась принять еще другого новорожденного, которого она, взглянув на календарь, хотела наречь тоже Викторино,— этот должен быть четвертым. Упомянув вскользь о нем, автор потом хранит молчание — и весьма многозначительное (вспомним: из четырех воинов Пролога, бросивших вызов прогнившей Римской империи, воин по имени Викторино как раз выделялся особой убежденностью в собственной правоте, стоицизмом,— его примеру, однако, не последовали наши знакомцы,— и, быть может, «четвертому» уготована иная судьба). Да и, между прочим, стихотворение классика латиноамериканской и мировой поэзии Рубена Дарио — а оно входит в его цикл «Песен жизни и надежды»,— из которого Мигель Отеро Сильва взял строфу для названия своего романа, проникнуто верой, что все же «зори златые взойдут».

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

Надежда и память

Перевод с сербско-хорватского и словенского

В этой подборке представлены стихи двух поэтов Югославии — серба Стевана Раичковича и словенца Лойзе Кракара.

Оба — одного поколения. Раичкович родился в 1928-м, Кракар на два года старше. Но эти два года многое решили в судьбах поэтов. Лойзе Кракар был схвачен немцами и брошен в концлагерь. Стевану было в то время пятнадцать лет...

И вот — их стихи.

Раичковича мы хорошо знали и раньше. Он — отличный переводчик русской поэзии. Книга, выпущенная в Белграде в 1970 г. «Шесть русских поэтов», отмечена высоким вкусом и тонким пониманием духа русской поэзии. Он, Раичкович, и в собственных стихах близок ей. Возможно, потому и «повезло» Раичковичу или, скажем, Десанке Максимович в русских переводах больше, нежели другим не менее крупным поэтам Югославии. Что же роднит эстетику Раичковича с эстетикой русской музы? Может быть, проникновенная углубленность в душу природы, может быть, постоянная сосредоточенность на вопросах смысла жизни. Конечно, эта лирическая серьезность — вовсе не исключительно русское качество искусства. Но в самом подходе к философским, по сути дела, категориям бытия у русской поэзии были и остаются особые приметы. Собственно говоря, не только поэзии — исторически сложившейся русской общественной мысли свойственно не столько отвлеченное логическое мышление, сколько живая связь с практикой, интересами защиты человеческого в человеке. Не идеал надбытийной гармонии и мудрого покоя, а позиция личности, у которой, по словам Герцена, «в груди слишком много... любви, чтобы остаться в своей исключительной выси». Вот почему путь Стевана Раичковича, у которого за внешней созерцательностью бьется горячее соучастие к боли и радости живой материи, близок нашему пониманию философии мысли в творчестве поэта.

И холм, и сумерки, и камень, «который мыслит» (вспомним Н. Заболоцкого: «И встретил камень я»),— природа у Раичковича мыслит, страдает, хочет попроситься в друзья и братья человеку. Цветок заглядывает «в глаза, как живой»...

И снова кажется, что зло
Ничтожно, потому что есть
Добра огромное число.
Оно во всем, его не счесть.[1]

Это уже нравственный вывод.

А вот человек и дерево словно бы поменялись местами: человек хочет дотянуться руками до «дерева одинокого», помочь ему, утишить его боль. Герой другого стихотворения слушает пенную реку, сообщает облакам «наше усердье»... И как уходит в синее небо, растворяясь там, голубь («Небо»), так в «Стихах о разлуке» говорится о смерти:

Мы не умрем, а лицом
В небо упремся.
Мы ненадолго уйдем,
Скоро вернемся.

Сотворение мира «не закончено». Деревья и травы ждут опеки, ласки, лепки. И после жизненного пути герой Раичковича, как это было, например, у Китса или

[1] Стихи даны в переводе А. Кушнера.

Гарсиа Лорки, хочет слышать шелесты и вскрики птиц. Чувство, которое рождают у нас стихи Раичковича о природе, нельзя, строго говоря, назвать одушевлением неживого — у него все живо, и то, чему «положено» быть неживым, в том числе. В стихотворении о воде, например, вода «стоит удивленно, ступнями холодными упираясь в самое дно, где камень растет, и песок, и спираль травинки, и два округлых сиянья, идущие от меня». Человек же чувствует себя «стебельком тишины».

Во многих стихах Раичковича живет идея вечности природы, которая для поэта — мерило народного отношения к жизни. Главное здесь — естественность, здоровые отношения с окружающим миром, тяга к свету, добру, истине.

В реальной практике поэзии своей страны творчество Стевана Раичковича активно противостоит разного рода формалистическим и пессимистическим концепциям. Оно несет слово ясное, чистое и простое, подобное радости так любимой им природы. Хочется бесконечно повторять эти солнечные, легкие, прозрачные строки надежды:

Солнцу яркому спасибо,
Ветру, воздуху, траве,
Слову точному спасибо
И небесной синеве.

...Труднее отношения с Надеждой у Лойзе Кракара. Страшные годы Бухенвальда и Освенцима, где прошла юность поэта, оставили отчетливый след в его творчестве. В документальной прозе «Оттуда улетали даже птицы» (1962), в поэзии Кракара вечно звенящим набатом звучит тема памяти и возмездия. Это жестокая память, это прямой и резкий свет. Помню, как потрясли меня строки Кракара, поставленные эпиграфом к альбому, где собраны страшные рисунки художников из концлагерей — Дахау, Освенцима, Гонарса и прочих. Тогда я записал их по-словенски. Сейчас есть перевод Б. Слуцкого: «До смерти, наверно, смерть устала, но библейский ад осуществила. Ремеслом здесь преступленье стало, миллионы в прах передробило». Нужна и такая поэзия. Кракар не пугает нас, жизнь обращает к нему свое лицо, которое бывает похоже и на лик Горгоны, и на ангельский лик. Поэт предпочитает видеть жизнь в трезвом свете дня. Кто осудит его за то, что изнанку жизни он видит так же отчетливо: ходят по земле недобитые фашисты, отливаются пули для новых войн, существует торговля людьми, их телом и душами, существует разорванный человек, у которого смята душа, как будто он «одно из полотен Пикассо». Он обращает наше внимание и на то, что будущее зависит от нас самих, что будущему может быть уготована судьба роботов, всемирного стандарта, если мы не станем на страже живой души. В рисунках мастеров примитива («Выставка примитивистов») ему чудится тревога: может быть, они рисуют мир плоского, бездушного и бездуховного мира? «Что будет в каменных кущах, в кронах железных древес, в проволоках цветущих в эру стальных небес?» Да, в стихах Кракара мир выглядит жестче, беспощаднее, чем во многих стихах его коллег. Его солнце (сравним символику солнца-любви у серба Васко Попа, солнца-труженика у боснийца Мака Диздара, солнца-надежды у хорвата Юре Каштелана), солнце Кракара, беспощадно, как гневливый бог, как мстительные протуберанцы судьбы... Да, порою ощущение черного цвета достигает у Кракара предела. И все же мы ошиблись бы, отнеся поэзию Кракара к еще одному варианту пессимистической концепции мира и человека.

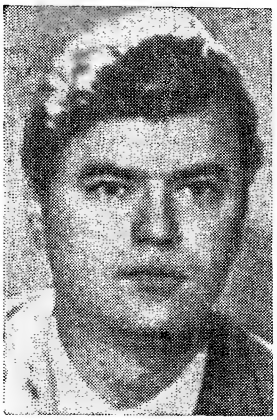
Должны мы все, кто в это верит...
просунуть контрабандой меж мотков
колючей проволоки, пороха, товаров —
пшеницы семена,
и певчих птиц,
и несколько поэтов.

Вы слышите? Он сам называет поэта в ряду тех, кто «верит», кто стоит в одном «списке» с певчими птицами, пшеницей, семенами жизни! Нет, Лойзе Кракар не меньше нас верит в будущее и борется за него. Он хочет только, чтобы в нем не осталось «колючей проволоки», «пороха», чтобы в мире торжествовали подлинные ценности: красота труда, хлеб песни...

В одном доме в Любляне я случайно обнаружил альбом записей песен времен партизанской войны. Там были русские песни, слова для песен известных югославских поэтов: Жупанчича, Бора, Самеца Каюха и др. Вспомнил я это в связи вот с чем. В разговоре с одним югославским писателем я услышал, что художественная молодежь наших дней считает, что идея времени — не слово, а визуальность. Ухо слышит не мысль, но шум. В век техники, телевидения слово значит мало. На сцену выходит компьютер, предметная поэзия, где слово рассыпано на буквы, а буквы рисуют «молча» — для глаза... А я привел в ответ строки Тонё Павчека, словенского поэта, бывшего партизана: «И еще — и вне нас и в себе — мы должны тишину уберечь, чтобы слышалась речь, еле слышная робкая речь голубей, муравьев, и людей, и сердец, где есть боль...» (Перевод Н. Разговорова).

В этой напряженной тишине поэт должен слышать музыку родства и созвучия всего живого — человеческую боль и радость. Слышать голос надежды. Это — каждому по-своему — удается Стевану Раичковичу и Лойзе Кракару.

ВЛАДИМИР ОГНЕВ



СТЕВАН РАИЧКОВИЧ

Я не знаю, тень от ветки или ветку,
Что мне выбрать, взять в стихи и на заметку.

Я под лиственную сень вхожу (но взглядом
Продолжаю быть на солнце, с тенью рядом).

И к чему теперь я ближе, стоя с краю,
То ли к ветке, то ли к тени — я не знаю.

Может быть, борьба за рифму нас подводит
Ближе к дыму, чем к огню, а жизнь проходит?

Числом нас несколько

На верандах в осенние дни
Лозы ржавые чуть шелестят,
Слева сердце пошаливает,
Справа — в окнах краснеет закат.

Жадно смотрим на плод, его цвет
Ослепительный — радует глаз.
Где же счастье? Его, видно, нет,
И числом только несколько нас.

Смотрим: ветра порыв в виноградной лозе
Приоткрыл позабытую гроздь.
Скрип въезжает нам в уши на большом колесе,
Сено, мальчик на сене, скрипящая ось.

За домами река убегает во тьму.
Сквозь бурьян по обрыву спускаемся к ней.
Где же счастье? Замена ему —
Осень, вечер и ветер с полей.

Горы вдруг потемнели — рвануться бы к ним,
Дотянуться до них, до туманных высот,—
Нет, мы словно со дна, замечтавшись, глядим,
Как прохладное облачко в небе плывет.

Камню прости, что молчит

Камню прости, что молчит
Тайну скрывая свою.
Капля за каплей стучит,
Жизнь изъязвляя твою.

Сделался полупустым.
Время не движется вспять.
Птице прости, что твоим
Другом хотела бы стать.

Тени, бегущей вослед,
Жесткому ветру прости.
Выхвати мелочь, предмет

Маленький и помести
Так, чтобы был на виду
Он, как подсолнух в саду.

Перевод АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА

Двери в ночь отвори

Двери в ночь отвори, пусть укроются ветви деревьев густые,
Пусть войдут полевые цветы в эти вазы пустые.

Двери в ночь отвори, кто-то ждет в этой темной дубраве,
Он слова тебе самые горькие скажет, он вправе.

Двери в ночь отвори, эти стены сломай, что к тебе не пускали
Горький мир в темноте, все он ждет, чтоб его приласкали.

Город или полночь

Ты ждал эту полночь
Ждал как-то странно
Словно живым существом ты ее представлял
Словно бы полночь появится там-то и там-то
Из-за того вон угла
Или в этом окне.

Ты ждал эту полночь
Бог знает зачем дожидался:
Город вроде затих

Люди крепко уснули
И попрятались звуки должно быть
в коробки для звуков
И попрятались птицы в коробки свои
которые не затворяются на ночь
А ты все не спишь
И в шаги свои вслушиваешься как в дни
что давно миновали.

Ты ждал эту полночь.

И вот ты вслушиваешься в свои шаги:
Что-то слишком уж равномерно они звучат
Чересчур равномерно
Как часы
(Тот старый будильник
Который ты вечно завертывал в тряпки
И прятал подальше
Чтоб можно было не слышать)
Часы от которых ты собственно и сбежал.

Но куда?

В какие ты дали забрел
Чтобы спать бесконечно и тупо
Спать как спят фараоны в гробницах?

Может быть ты желал
Ты хотел
И решил себе тайно:
В час когда все устанут
ты будешь вполне еще свеж
И возьмешь этот город усталый
И легко передвинешь куда-то?

Зачем ты забрел
В эту полночь
Словно лучшего времени нет для прогулок?

Ты вздумал шутить
С поэзией
С жизнью.
Неужель с одиночеством тоже?

Ты ждал эту полночь...

Далек этот город
И стар
Со своею историей однообразной
С голубями
И с памятником

С одним освещенным окном.

Птица

Птица, о точка в небе!
Хрупкие робкие крылья!
Душа синевы!
Хочу от стрелы защитить твою песню.
Я хотел бы стоять здесь, как дерево или как пень.
На доброе это тело опускайся без страха!
Я буду молчать, как камень,— о милая птаха,
На моей голове проведи спокойно хотя бы день.

Утешенье листвы

Золота шелест я ощущаю в глубине твоей древней.
Может, в глазах еще только бывает подобная темень и тайна,
В глазах, которые трудно открыть, но нужно открыть
и потом полюбить навечно.
Словно колодец, где только угадывается движенье
Далекой воды, поблескивающей маслянисто,—
Такова душа твоя, осень, скрытная и немая, почти что камень.
Стою, как всегда, высокий, в тени твоей зыбкой.
Одиноки мои ладони, беспокойны, как странник.
Дай руку мне протянуть в твое трепетанье, в омут,
И взять в утешенье горсть этих листьев красных.

Далекое

Есть ветер такой, что волос не растреплет,
Не шевельнет даже листьев,
А просто вдруг налетит неизвестно откуда
И заставит подумать внезапно,
Прошелестев на рассвете:
Что-то от нас далекое
Существует на свете.

Перевод ЮРИЯ ЛЕВИТАНСКОГО

Мир

Солнце светит чуть подслеповато.
Но меня не радует оно.
Ни оно, ни ветер. Мне не надо
Ни листвы, ни трав. Мне все равно.

Облаков на небе взор не ищет,
Вообще не рвется в небеса.
Я стою на мертвом пепелище,
От него не отвести глаза.

Мыслей нет. Земля уж не дымится.
Лечь бы навзничь рядом где-нибудь.
Странно в небе вскрикивают птицы,
И печаль мне разрывает грудь.

Отхожу, ложусь, смежаю веки.
Ветер пряжу шелковую ткет.
Сколько боли в каждом человеке!
Пусть она отплачет и пройдет.

Муравей мне на руку влезает,
Щекоча, ползет по ней. Терплю.
Так меня он к жизни возвращает.
И опять я чувствую: люблю.

Жизнь люблю, тяжелые колосья,
Муравья, упавшего с руки,
Тишину и птиц многоголосье,
Мир, всем бедам нашим вопреки.

Стихи о разлуке

Думаешь, мне непонятен
Камень лежащий?
Шелест травинки невнятен,
Тихий, томящий?

Думаешь, я не расслышу
Пенную реку?
(Знай, с каждым днем она ближе
Мне, человеку).

Может быть, мы продолжаем
Жить после смерти
И облакам сообщаем
Наше усердье?

Этот простор онемелый
Что вспоминает?
Может быть, снег этот белый
Смех навевает?

Мы не умрем, а лицом
В небо упремся.
Мы ненадолго уйдем,
Скоро вернемся.

Спасибо солнцу, земле, траве

Солнцу яркому спасибо,
Ветру, воздуху, траве,
Слову точному спасибо
И небесной синеве.

Сердцу, бьющему тревогу,
Ведь за всех оно болит,
И листве, что на дорогу
Тень бросает и шумит.

Этой глупой и садовой,
Бестолковой голове,
О, спасибо вечно новой
Жизни, воздуху, траве.

Перевод АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА

ЛОЙЗЕ КРАКАР

Champs Elysèes[1] *в полночь*

Стальным звуком звучат ночи на асфальтовых полянах.
Стальной петух возглашает весеннее утро.
Стальной богородице
молимся в стальных храмах.

Воюем сталью,
живем в стальных цитаделях,
в светлых стальных печах сжигаем дорогих нам стариков.
Приди же в негомеровские стихи, о сталь,
приди в наши песни.
Призываем тебя в наши любови, что в стальных каретах
рождаются и умирают,
призываем тебя в мечты, что мчат среди звезд
в седлах стальных Пегасов,
призываем в тесных домах,
заваленных стальными словами.

[1] Елисейские поля *(франц.)*.

Мы познали тебя и умеем расчесть твой гнев и милость,
мы можем расчесть твой голод, твою любовь, твою грубость,
убить тебя только не можем,
а могли бы — охотно убили.
Поэтому начинаем моленье:
будь нам другом, не бей нас, хрупких.
Это мы тебя породили,
ты б не выросла без нашей крови.
Мы принесли тебе в жертву птиц, воду, деревья,
мы тебе отдаем жен, детей и спокойствие.
Ключи нашей фантазии
напоят тебя своей влагой.
Отдаем тебе все, просим о немногом:
дай нам умереть по-нашему, по-домашнему,
по-старинному, если хочешь,
только не по-твоему, не по-стальному.

В Бухенвальде, 1960

По моим кровавым следам
бредут любознательные туристы
и фотографируют погасшие печи,
где сжигали моих братьев.

На землях ужаса и смерти,
на землях, где человек был опозорен,
откуда даже птицы улетели,
сейчас устроили идиллию,
площадку для сентиментальных воспоминаний,
с экскурсоводами, проспектами
и весьма назидательной выставкой преступлений.
Нам, как мышам, прививали чуму,
нам стреляли в сердце,
сдирали заживо кожу,
отрубали члены и головы,
чтобы сегодня
по этим препарированным головам,
по этим переплетенным в человеческую кожу книгам,
по этим мешкам с волосами задушенных девушек
землянин мог узнать свою точную цену.

Моя кровь жива, как и прежде,—
каждая пролитая здесь капля
жива... Как живы
позабытые в траве мины,
покуда они не вспыхнут
под незваными
и не крикнут
в уши неба
огненные слова:

раз нет наказания и нет преступления,
пусть сгинет все,
носящее имя человека. Пусть сгинет
род, желающий достичь небес,
покорить все крутизны вселенной,
если он до сих пор не заплатил
все свои земные долги.

Перевод БОРИСА СЛУЦКОГО

■ ■ ■

Колумб уплывает все дальше,
все грозней его приказанья:

Запрещаю оплакивать мертвые корабли,
их будет все больше.

Запрещаю о женщинах думать,
ибо женщина — матерь сомненья,
а сомненье — смерти подобно.

Запрещаю птиц ожидать —
ласточки уже туда улетели,
а воробьи туда не летают.
К мачте велю привязать любого,
кому страшные сны приснятся.

Девяносто девять из нас
на землю уже не ступят —
и все же она существует.
Видите мертвый корабль вдали?
Мертвый, он верит — земля существует.

Не слушайте чаек —
девяносто девять из нас достанутся им,
и все-таки цель путешествия вовсе не в этом,
нет, высшая радость его заключается в том,
чтоб угадывать ветра движенье,
и рыб,
и всего, что над ними,
и кто из нас будет тем сотым — не знать наперед.
Посему умирать на моем корабле
запрещаю.

И корабль уплывает все дальше.
Земля, словно яблоко,
висит на самой высокой веточке вечности.

Sous le pont Mirabeau coule la Seine[1]

Вода узнает человека сразу
и поскольку лгать, как мы, не умеет,
говорит ему: ну-ка, взгляни на себя!
Человек поглядит на себя и увидит,
что, увы, душа у него плешива,
и у воды появляются ямочки на щеках.
Но вода, она знает, что смеет смеяться,
ибо он, человек, ее не ударит,
потому что остры ее волчьи зубы,
а человек, он, как серна, труслив.

Но тем, кто подходит к ней так спокойно,
как женщины, шествующие по лугу,
вода не сделает ничего.
Ей нежно шепнут, и она согнется,
и даст забраться к себе на спину,
и унесет в свой залив укромный,
где в самом разгаре кипень июня
и юные дочери ее нагие
тихо проводят рукой по струнам,
сплетенным из самых пахучих трав.

О Сена, дай мне одну из них в жены,
чтоб мог я к тебе, как домой, возвращаться —
я птица, а сад твой июньский полон
червей и ягод для песен моих.

Автопортрет

После полуночи я — как одно из полотен Пикáссо:
где-то внутри на меня изумленно глаза мои смотрят,
смотрят на сердце мое, что держу я в ладони костлявой,
сердце, большое, как шар нашей темной планеты полночной;
все так неясно во мне, а снаружи все выпукло очень,
и чей-то таинственный лик под названьем «Подруга поэта»
недоуменно глядит на престранную эту фигуру,
что называется так: «Поэт полуночной порой».

Перевод ЮРИЯ ЛЕВИТАНСКОГО

Le monde de naïfs[2]

Выставка псов окаянных
и двухголовых птиц,
ложек тюремных деревянных,
также — собачьих гробниц.

Комильфотные люди —
прелесть девичьих глаз.
Что же все-таки будет,
Когда не будет нас?

[1] Под мостом Мирабо течет Сена (строка из стихотворения французского поэта Аполлинера).

[2] Здесь: выставка примитивистов.

Примитивисты,
что станет
в эру стоглавых псов,
когда нас всех не станет?
Знаете, братья богов?

Что будет в каменных кущах,
в кронах железных древес,
в проволоках цветущих
в эру стальных небес?

Смерть

— Кто мне горячего хлебушка даст,— говорит,—
хлеба и супу, когда я усталый вернусь и голодный?

— Кто вечерами за мною в кухню зайдет,— говорит,—
простыни переменить для кого мне, одинокой и старой?

— Кто мне по-дружески руку подаст,— говорит,—
руку и теплые туфли после томительной долгой дороги?

— Кто чемодан мой к автобусу поднесет,— говорит,—
я ведь уже ни на что не буду годиться.

— Кто за меня будет душою болеть,
если засяду в трактире вдвоем со своей печалью?

— Кто будет мною изруган и потом вразумлен?
Он ведь совсем неуклюж, мой последний в жизни ребенок.

— Кто заворчит, потому что я трубкой дымлю?
Кто мне скажет: вставай, наконец же, старый!

— Кто меня встретит, когда с рынка новости я принесу?
Кто будет ждать, пока я выглажу брюки с рубашкой?

— Кто, приласкав меня, скажет: бриться пора!
Кто унесет ту постель, где лежала она,—

Кто-то из нас двоих должен первым уйти.
В двери не вместе, по очереди, мы выходим.

Потому что слишком двери смерти малы
Для чего-нибудь большего, чем ноша одной жизни.

Перевод БОРИСА СЛУЦКОГО

■ ■ ■

Я в трансагентствах задаю вопрос:
когда же во вселенную отчалит
первый корабль?
Должны мы все, кто в это верит, чаще
в служебные стучаться кабинеты,
чтобы, час отхода выяснив,
просунуть контрабандой меж мотков
колючей проволоки, пороха, товаров —
пшеницы семена,
и певчих птиц,
и нескольких поэтов.

Перевод АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА

ЕЖИ БРОШКЕВИЧ

Долго и счастливо

РОМАН

Перевод с польского МИХАИЛА ИГНАТОВА

Нет, вычеркиваю эту привычную чушь,— будто если уж что огромное, так непременно вода, а если уж что страшное, так это только разбушевавшийся шторм. В горах Тарбагатая я слышал совсем иной гул и грохот. Ибо не только большая вода в союзе с большим ветром способна оглушить окончательно и без всякой жалости. Люди в этом деле куда искуснее, и сам господь бог со своими четырьмя стихиями ничто по сравнению с той изобретательностью, с какой определенные люди в определенное время способны раздавить и искромсать людскую массу, оглушить ее, втоптать в навоз, низвести до ничтожества и подлости, а также обречь на издыхание.

Горы Тарбагатая стояли под июльским небом достойно и величаво, как стадо сытых волов. Но именно в их зеленой тиши вернулись ко мне гул и грохот, берущие свой исток в человеческих разговорах.

Да! Это были немцы сентября тридцать девятого — те, которых обрушила на мою голову смешанная с малярией хина, привела в «балаган», стоявший на раздольной тарбагатайской ниве. В краткие мгновения тишины я слушал стук косилки, далекую казахскую песню, мычание телят. Но вслед за этим снова тотчас же сваливался с чистого неба тот смертельный гул. Я слышал его чересчур хорошо, этот неподражаемый лязг техники и изобретательности — крик множества талантливых и хорошо вымуштрованных умов, так прилежно работавших на благо Oberkommando des Heeres [1].

Повторяю: мы успели познакомиться раньше. В Мадриде, к примеру, на похоронах Хименесов. Уже там я научился ненавидеть тех, со свастикой — до боли в стиснутых зубах, до исступления,— хоть все было не так просто. У меня во взводе было двое иных немцев: учитель из Дюссельдорфа и деревенский парень из-под Фленсбурга.

Они были с нами, а все-таки...

Я объяснял им: вам нечего стыдиться, не будьте олухами, Menschenkinder[2]. Адольф — это не Германия.

Но ведь я лгал: он все лучше управлялся с ними, немцами. Не только при помощи палки, пули и концлагерей. Адольф подкупал баварцев, саксонцев, пруссаков воплями об их собственном абсолют-

Продолжение. Начало в № 6.

[1] Главного командования сухопутных войск *(нем.)*.

[2] Ребята *(нем.)*.

ном величии. Он не призывал германского их имени всуе. Они шли колоннами, громыхали сапогами по мостовым прекрасных городов, держали равнение направо, ровно, по линеечке, выкидывая правые лапы при возгласе «хайль!». Так было. И это ему удавалось. Ганно из Дюссельдорфа говорил: эта скотина превращает народ в толпу, толпу в сброд, а сброд в орду. Поэтому я вообще не очень-то удивляюсь Аугусту из-под Фленсбурга, который, вместо того чтобы перейти с нами Пиренеи, дезертировал нежданно и навсегда. Сделал он это в Палафругеле.

Он удрал в пустой каменной конюшне, накинув на свою тощую шею петлю из ремня, украденного у погонщика мулов.

— Keine Rede! [1] — говорил он нам накануне (а мы как раз возвращались с митинга, на котором интербригадовцы еще раз потребовали отправки на фронт, отказываясь от эвакуации, навязанной дипломатами).

Август смеялся над митингом, надо мной, а больше всего над самим собой.

— Alles Scheiss! Все дерьмо! — кричал он.— Все они уже у него! Он их всех подмял своим черным задом!

Он говорил, что знает своих и уверен: оба его брата, например, и обе сестры, и вся деревня, и, наверное, вся округа уже по ту сторону. Он говорил, словно видел: Мадрида нет, значит, будут парады в Берлине, Кёльне и всюду — и во Фленсбурге тоже. Даже ветераны пойдут на площадь перед ратушей: маршировать, кричать, вышагивать под музыку. По этому поводу и сам старый, энергичный и работящий фатер Аугуста с утра начнет чистить свои медали и дышать на Железный крест, который (вместе с искусственной ногой) он привез ранней весной шестнадцатого года из славного форта Дуомон.

Август перед смертью оставил письмо. Отцу: Herrn Ioseph Keller, Altdorf, neben Flensburg [2]. Мы не прочли того, что он написал, и не отослали письма. Слишком весело позабавились бы им почтмейстеры из фленсбургского гестапо.

Я знаю: Аугусту было гораздо хуже, чем мне. Жил он недолго и несчастливо. Но в сентябре тридцать девятого, в роще на Оксивье и позже, в грязных оврагах Бабьего Яра, я, пожалуй, ненавидел даже и Аугуста. Ненавидел его братьев, сватов, его теток и пратеток, всех их, схваченных за горло и оболваненных воплями о сверхвеличии немецкого народа. Я слышал эти вопли. Солдаты говорили со мной на старогерманском наречии: на немецком военном жаргоне — Kriegsdeutschen. Выли, сбрасывая бомбы, заходившие в пике «юнкерсы», артиллерия била с земли и моря, рвалась шрапнель, гранаты, мины, снаряды всевозможного калибра, строчили станковые, ручные пулеметы, автоматы — и все это сливалось в страшное бормотание и гул, от которого все чаще умолкали мы, мертвые, раненые и те, еще живые, теснимые с рубежа на рубеж, вынужденные переходить к обороне, впадающие в безнадежность.

Шестнадцатого сентября, в начале пятого, у нас оставалось уже только по десяти, по пяти, по одному патрону.

Это была третья моя война. Я знал: вопреки всему, это только начало. Две недели призывали мы на помощь бога, армию «Лодзь», союзников и отчизну, упорно сражаясь, проклиная и молясь более чем напрасно. Многие бросали оружие, растворялись в ночи, бежали. Я был в той тысяче, которая устояла. Еще пригожусь, думал я, зарывшись лицом в высохшую траву, исполненный отчаяния и ненависти.

---

[1] Речи быть не может *(нем.)*.

[2] Господину Иозефу Келлеру, Альтдорф, близ Фленсбурга *(нем.)*.

Но я говорил себе: если тебя вот сейчас, сию минуту, не добьют сапогом или прикладом, не заколют штыком, у тебя впереди хватит дел.

Мне нечем было стрелять. Их цепь надвигалась на нас, шла уже в полный рост. Только метрах в десяти позади меня еще вели огонь командир и несколько офицеров. Что же за жалкая это была пальба: несколько обойм, несколько пистолетов против заключительной атаки Баварской пехотной дивизии, корпуса Каупиша и эсэсовцев Эберхардта.

Полковник выстрелил последним. У него остался один патрон — последний польский патрон на этом участке фронта. Полковник вскинул руку. Из правого виска хлынула кровь на заросшую щеку, на воротник и эполет.

Момыш-улы слушал, и это ему не понравилось.

— Зачем? — сказал он.— Зачем он так кончил войну? По-моему, плохо сделал.

С луга доносилось побрякивание ножей косилки. Работала она тяжело, травы здесь высокие и жесткие.

— Ты знаешь, паша? — сказал я.— Я начал эту войну с косой. Знаешь, что такое коса?

Он не знал. Я объяснил. Но он все-таки не поверил. Понял бы, если бы речь шла о ноже, топоре, молоте или еще каком-нибудь кованом железе. Но косы? В краю кочевников не знали такого инструмента. Он слушал, но даже не смеялся. Обиделся на меня, что вот снова вру — на сей раз без выдумки и неувлекательно. Он был родом из кочевников, живших в седле; крестьян, жнецов презирал, спокойно, молча, но искренне. Он знал уже, что жизнь предоставила мне возможность и время научиться основам военного ремесла. Его интересовали новые, незнакомые ему виды оружия, и расспрашивал он главным образом об автоматах и удобных для всадника кавалерийских карабинах. Понимал, что я не профан и свое знаю. Но не поверил, когда прошел первый приступ лихорадки, а я, возвращаясь прямо с Оксивья и из оврагов Бабьего Яра, вспомнил, что начал эту третью свою войну в сентябре тридцать девятого года с косой в руках (в руках, уже приученных к ручным и станковым пулеметам и даже к легким пушкам). Момыш-улы заглянул с презрением и обидой мне в глаза. Сплюнул в костер, на котором в закопченном татарском котелке варилось для нас двоих пшеничное зерно, чуть приправленное тушенкой. Плевок этот означал: не ври! В тот вечер я был еще слишком слаб, чтобы толковее объяснить, откуда взялись эти смешные косы, какие они и почему понадобились.

— Ты человек военный, паша,— сказал я.— Еще поймешь.

Дня через два-три кончился хлеб. С базы совхоза должны были прислать очередную порцию черных буханок, но не прислали. Женщины молчали, но мужчины начали роптать, не нагло, скорее угрожающе.

Момыш-улы выслушал всех внимательно и спокойно. Потом велел забить жирного теленка, и на тарбагатайской ниве наступил настоящий праздник: забой, свежевание, сопровождавшееся песнями и танцами, дележ освежеванной туши по старшинству и согласно древним обычаям. Окорок и седло — старику, тонкую и жилистую шею — «переселенцам», остальное (тоже в зависимости от возраста и положения) — казахам.

Старик объявил выходной.

Долго собирали сухой бурьян для костра в радости, веселье и предвкушении пира. Даже брат и сестра Ситко вспомнили, что можно бегать, смеяться и кричать, гоняясь за эхом. Я наблюдал за ними,

невеселый и беспомощный. Момыш-улы не смотрел, но видел. Он сам кухарил. Обжаривал над огнем седло, в котле потрескивали жирные куски окорока, запах мяса, жира и трав вздымался к самому небу. Ситко только теперь неумело развели маленький костерик и пристроили над ним облупленный эмалированный чайник. Я надумал помочь — попросить для них какой-нибудь казахский котелок поменьше. Но боялся, что они снова не примут ни доброго совета, ни доброго отношения,— а в тот день я бы уже не вынес их несчастной глупости, мог бы дать по шее или под зад. И кончилось бы все настоящей взаимной ненавистью. Понимал ли Момыш-улы и это? Пожалуй, да.

— Слушай,— приказал он (ибо это звучало именно как приказ).— Приведи-ка этих «своих» к моему очагу.

— Момыш-улы,— сказал я этим «своим»,— зовет вас.

Они пришли, ни слова не говоря. Худосочный семнадцатилетний парнишка со старообразным упрямым лицом и Данка — моложе его на год, тоже некрасивая, беззащитная и испуганная. Остановились перед стариком, не глядя на него. Ждали, чем их опять здесь попотчуют, напугают или пригрозят. В первый момент они не поняли. А мне от этого движения старческой руки, каким Момыш-улы указал на место у своего очага, сдавило горло. Пришлось несколько раз глубоко вздохнуть. В небе кричали журавли, с запада широкой стаей шли белые тучи.

— Садитесь,— сказал я.— Будьте вежливы. Это старый человек, и он пригласил вас, не желая вам зла.

Им не хотелось сдаваться. Не из вежливости, не из страха. Момыш-улы все еще оставался для них только врагом. А я? Может, изменником, может, шпиком, во всяком случае, самое малое подлипалой. Им не хотелось сдаваться. Но им очень хотелось телятины. Дымок, подымавшийся от нанизанных на можжевеловый вертел кусочков мяса, запах, шедший из котла, шипящие в огне капельки жира — все это поколебало бы куда более зрелую гордость, не говоря уж о неуклюжей озлобленности детишек, попавших в круговерть времени, которое не только им трудно было постичь.

— Садитесь, ребята,— проговорил Момыш-улы. И они сели.

Тогда-то (во время трапезы, о которой в течение последующих семи постных месяцев я мог распространяться часами) удалось добиться еще одного: Момыш-улы поверил, наконец, что, говоря о косах, я вовсе не врал.

Сначала старик положил в подставленные ладони моих гостей по хорошему куску обжаренного седла.

— Пан Ситко,— проговорил я, облизывая пальцы.— Помоги-ка. Этот старик не хочет верить, что у нас родину защищали даже косами! Пан Сташек! Ну откуда такому знать, что даже коса...

Я попал в точку. Сташек с самого начала показался мне одним из тех, что зачитываются историческими и военными, сочиненными для ободрения сердец польских литературными произведениями. Наверняка никто такого слабака не приглашал в сборную спортивную команду гимназии. Но историк, конечно же, отмечал его. Многое он должен был знать о гусарах, о чвартаках, о лановой пехоте, об уланах, о легкой кавалерии, а стало быть, и о косиньерах тоже. То, что он ничего не знал о косах тридцать девятого года,— дело иное.

— Ну что, пан Сташек? — подзадоривал я парнишку.

Момыш-улы с явным любопытством вслушивался в польскую речь. Время было раннее, тени еще короткие и солнце припекало. Момыш-улы снял тюбетейку, стер пот с лысого черепа. Его пасущаяся невдалеке кобылка бодро заржала.

— Скажите же ему! — крикнул Сташек Ситко, выпускник первой

лицеальной гимназии имени Яна Длугоша во Львове.— Скажите же ему, что четвертого апреля 1794 года Костюшко и начал-то косами... то есть, что косиньеры Костюшко сыграли решающую роль в победоносной битве, в которой огромные и превосходящие силы Тормасова не устояли против польских кос... что вообще, например, Войцех Бартош, известный как Гловацкий... один...

— Что он говорит? — спросил татарин.

— Переводите! — кричал Сташек.— Какое он имеет право не верить? А в семьдесят четвертом? А в шестьдесят третьем... Переводите же!

Мне не пришлось слишком подробно переводить эту лекцию. Момыш-улы различал повторяющееся слово «коса». А главное, тон парнишки был весьма выразителен. Только сам Сташек внимательно следил, чтобы, переводя, я не исказил его слов и ничего не опустил. Он уже привык к звучанию русской речи и понимал, что я рассказываю старику о косе — орудии, кочевникам неведомом, над Вислой же употребляемом в сельском хозяйстве и пригодном при сборе зерновых и трав. Я втолковывал, что на польской земле крестьянам-косцам доводилось крепить ее острием вверх, и тогда коса превращалась в орудие, пригодное для совсем иной работы, нежели косьба.

Момыш-улы слушал, старательно пережевывая куски мяса. Зато сестра Сташека не очень-то хорошо и понимала, чего ради ее брат так кричит. Она ела. Вздыхала над каждым куском. Ее глазки щурились от сытости и счастья. Я, впрочем, тоже ни на миг не забывал, что после седла настанет черед тушенных в собственном жиру, приправленных травами кусочков жаркого. Только Сташек чаще давился словами, чем пищей. До смешного горяч был этот парень. Так спешил и старался, словно бы в тех давнишних косиньерских сказках хотел отыскать совсем новый смысл и своей жизни — надежду на военную славу и веру в то, что воскреснет солдатом. Перечислял даты, места боев, цифры, говорил, кричал, торопил: переводите.

— Переводите же! — напоминал он мне, и худое лицо его пылало, а с правого виска прямо на небритую мальчишескую щеку струился пот.

— Хорошо,— прервал нас, наконец, Момыш-улы.— Понимаю. Была сказана правда, но,— тут он поднял руку,— это старая правда. А ты говорил, что сейчас, год назад, начинал войну с косой, как это было встарь, в прошлые времена.

— Что? Что вы ему наплели? — воскликнул Сташек.— Это неправда.

— Правда,— сказал я.

Ибо это была правда.

Я сошел на берег в Гдыне шестого августа 1939 года. Канадский гражданин польского происхождения не возбуждал ничьих подозрений. Одет я был вполне по-человечески — Марго распихала по моим карманам немного долларов, а поскольку доллары уже начинали идти в гору, я не голодал, не шатался в поисках работы, мог выдавать себя за дачника, за туриста, валяться на пляжах, приставать к шоколадным от загара девушкам.

На побережье стояли погожие дни безмятежной поры отпусков. А я чувствовал себя глупо, совсем глупо. Ради чего я оставил на чужой земле Марго, свое счастье? Ради этой отпускной безмятежности? Она говорила правду: подлый, безмозглый я боров. И была права, если уже сейчас, из мести и от тоски, подыскала себе какого-нибудь жеребчика, которому повторяет те же очаровательные пошлости, что говаривала мне, лежа у меня под боком. В середине месяца я уже был близок к тому, чтобы завербоваться на первую попавшуюся ка-

лошу, которая идет на юг. Но перед тем поехал в Гданьск. Выпить доброго немецкого пива. Семнадцатого августа под вечер я отправился в старую пивную, бирштубу «Unter dem alten Hirsche» [1], которую помнил еще с двадцать четвертого года: деревянные скамьи, высокие кружки, кельнерши с крупами тяжеловозов— если похлопать, эхо отскакивает от стены к стене.

Там было полно народу. За столами сидели седеющие мужчины и их спутницы, парни и девушки, некоторые в коричневых мундирах, двое в черном — пели хором, стройно, постукивая в такт кружками о дубовые столы.

И тут — когда я уже уселся рядом с ними и почувствовал на себе взгляды обмундированных — я тотчас же забыл о Марго. Я не пел вместе с ними, не знал этой песни: «... und Morgen die ganze Welt». Но понимал слова. Заказал большую кружку пива, по-немецки, но с сильным акцентом. Они уже смотрели на меня. Хорошо, подумал я. Вот сейчас подойдет этот, повыше, или тот, с усами, и спросит: «Wer bist du, du blöder?»[2]

Сразу ли он попытается пустить в ход железом подбитые каблуки?

Сидел я спиной к стене, не так уж далеко от двери. Марго откармливала меня весьма заботливо, и я справился бы с несколькими такими черномундирниками. Я был даже в очень приличной форме. Тяжелой кружкой из стекла толщиной в сантиметр можно было расчистить себе дорогу в толпе и погуще, так что я зевнул, широко и старательно, ибо двое в черном уже шептались, поглядывая на меня, а зал как раз перестал петь.

Я был здесь чужим. Уже многие — и таких становилось все больше — видели, что я здесь совсем чужой.

— Miss,— обратился я к кельнерше, поднимая пустую кружку и зная, наконец, наверняка, что, несмотря на отпускную пору, война начинается, что она нависла над всеми нами и здесь, под этими закопченными сигарным и трубочным дымом сводами,— bitte, once more, noch einmal! [3]

Стало тихо.

Один из черных, что был повыше, встал: белокурый, с ясными глазами и вполне симпатичным вздернутым носом. Одернул китель, но еще не подходил.

— Hej! — крикнул он.— Hej! Sie![4]

На меня уже смотрели. Я глупо ухмыльнулся, но был на все готов. В сущности, одно только могло оказаться делом довольно трудным: как удрать от них, затерявшись в уличной толпе, оставив позади окровавленные рожи и головы.

— England? [5] — крикнул черный.

— No! — спокойно сказал я.— Nein! Canada! Ottawa! Weisst du? Ottawa, Ontario![6]

Очень забавно они растерялись, не зная, что им делать с моей липовой Канадой, с этим то ли торговцем-толстосумом, то ли туристом, который почему-то затесался среди них, раскрасневшихся от доброго пива. Очень это было смешно: черный так по-солдатски обалдел, что в конце концов даже щелкнул копытами. Я как раз допивал вторую кружку, когда он щелкнул копытами и заорал:

---

[1] «Под старым оленем» *(нем.)*.
[2] Ты кто такой, падаль? *(Нем.)*.
[3] Еще, пожалуйста *(нем. и англ.)*.
[4] Эй! Эй! Вы! *(Нем.)*.
[5] Англия? *(Англ.)*.
[6] Нет! Канада! Оттава! Понимаешь? Оттава, Онтарио! *(Нем. и англ.)*.

— Verzeihen! Danke! Heil Hitler! [1]

Я стер пену с губ. Кивнул головой, сказал «Never mind» [2]. Расплатился. Вышел.

Вышел на старую, людную, красивую улицу и двинулся в сторону вокзала не только затем, чтобы вернуться в Гдыню.

Я ведь шел на войну.

Хорошо помню, я думал тогда: ты идешь на войну, это будет последний бой, no passaran, hijo de puta, и помоги мне, боже, сполна заплатить за эту кружку пива. О милостивый господь! Аугуст Келлер! Семья Хименес! Отец Антуан! — молился я.— Помогите, сделайте так, чтобы тот, черный, попался мне когда-нибудь на мушку, чтобы я увидел его прямо в прорези прицела, чтобы, когда он мне повстречается, в руках у меня был какой-нибудь исправный инструмент с незаклинивающимся затвором, с матовым, не отражающим солнце стволом и хороший запас патронов. Большего бы мне и не требовалось, хоть я совсем неплохо владел ручным и станковым пулеметом, не оплошал бы даже и в расчете 75-миллиметровки.

— Не требовалось мне... не хотел я большего, Момыш-улы,— говорил я, по-настоящему волнуясь.— Достаточно было бы и обыкновенной надежной винтовки. А винтовок не было.

— Не было? — переспросил старик.— А почему? Не знали, что война идет?

— Не было винтовок,— объяснял я татарину, глядя в глаза парнишки, глаза, уже ослепшие от страха перед катастрофой, которой веяло от моих слов.— Не хватало винтовок не только нам, добровольцам. Полковник, командовавший береговой обороной, сам говорил мне, что не хватает их и солдатам. У него под началом было двенадцать тысяч человек, а на складах всего шесть тысяч винтовок. Понимаешь? Двенадцать и шесть.

— Плохой расчет,— соглашался татарин,— плохой начальник.

— Нет,— сказал я.— Он не был виноват.

— А кто?

Костер догорал, Данка спала, мы насытились, солнце стояло в зените, в высокой траве звенели кузнечики, и стоило бы растянуться в тени, на пахучем сене, под очень спокойным небом. Но бедняга Сташек уже плакал — он поверил мне и теперь, словно его топтал вражеский сапог, плакал, заслоняя лицо перепачканными жиром тощими руками. И я вскочил на ноги. Меня подняла ненависть — страшная, удушливая ненависть ко всей этой непростительной диктаторской и горе-полководческой тупости и косности, ко всем этим тяжким и недопустимым грехам командования, штаба, разведки, министров, этих господ в цилиндрах и фраках, с претензиями вершителей истории.

Я завопил, как кретин, как пьяный бандюга, которому изменила самая последняя портовая шлюха.

— Кто? Кто виноват? — вопил я.— Маршалы, министры, генералы! Двенадцать тысяч солдат, десять тысяч добровольцев, а сколько винтовок на складах? Шесть! Шесть тысяч, паршивых шесть тысяч на двадцать две тысячи человек, которые хотели защищать свою подожженную лачугу, свою жизнь, своих жен и свой скарб от нашествия страшной, Момыш-улы, страшной силы, самой большой военной силы, какая...

— Не кричи,— сказал он, ибо мой крик, хотя и не разбудил Данку, все-таки потревожил кое-кого из казахов, дремавших подле соседних «балаганов».

---

[1] Извините! Спасибо! Хайль Гитлер! *(Нем.).*

[2] Пустяки *(англ.).*

Я угомонился. Сел. Свернул цигарку из самосада. Очень он мне нравился, и потому уже спокойнее я начал рассказывать, что так вот орали мы тогда, требуя оружия, винтовок,— десять тысяч добровольцев, которым полковник с Оксивья не мог дать ни одной винтовки, ни одной гранаты, ручного пулемета или штыка — ничего, кроме доброго слова. Он не был виноват. Он уже предвидел свою смерть, когда ему пришлось выйти к людям и сказать: у меня нет ничего — хотя с моря, неба и земли несся железный и смертоносный гам всевозможных видов оружия, которого у них было навалом, выше горла, до чертовой матери.

Мы кричали, еще воинственно и с надеждой. Совсем напрасно взывали к богу, дьяволу, всем человеческим и нечеловеческим святым, пока не поняли: никого не проси о чуде и милосердии, ты, человече, должен трудиться сам.

Сташек перестал плакать. Он слушал теперь совершенно новую, солдатскую притчу о гдыньских косиньерах, добровольцах из рабочей милиции, для которых гдыньские кузнецы уже на второй день войны — второго сентября — начали ковать и перековывать на пики косы, собранные по скобяным лавкам и принесенные мужиками. Момыш-улы не менее серьезно, чем парнишка, прислушивался к моим словам, но в глазах его была жалость. Он верил и потому жалел.

— Не жалей,— сказал я.— Такой косой в рукопашном бою можно поработать на славу. Надо только пробиться сквозь заградительный огонь. Полковник, скажу я тебе, был хорошим командиром, хоть и слишком рано кончил войну. Не было у него своих запасов — он отправился за оружием к противнику. Не о чем жалеть, Момыш-улы. Двенадцатого сентября у нас уже не было кос — были вполне исправные, трофейные винтовки системы «маузер», образца 36 года. Очень хорошие винтовки.

— Послушайте! — проговорил Сташек.— Послушайте... я...

Он попытался взять мою руку.

— Хочешь махорки? — спросил я.

Он моргал своими детскими глазенками близорукого умника, пробовал улыбнуться. Я знал, что с ним происходит. Но с меня уже было довольно слюнтяйства, слез, треволнений и тому подобных нелепостей. Наскучила мне и моя собственная история. С вечерней прохладой обрушился на меня озноб второго приступа малярии.

— О чем тут говорить, парень,— сказал я.— Я иду спать.

Паренек разбудил сестру. Они молча пошли к «балагану». Я тоже поплелся в свое логово. Момыш-улы сидел, глядя на догорающие огоньки — на угли, которые тускнели, чернели, умирали. Последний горячий уголек он положил в трубку. Потом крикнул одной из женщин, чтобы принесла горшок молока. Молоко принесли для меня — запить отвар из травы и хины, от которой, как всегда, у меня загудело в ушах. Момыш-улы по своему обыкновению до поздней ночи сидел у входа в «балаган». Потухли все костры. Зажглись все звезды. Старик полушептал-полунапевал длинную и очень древнюю песнь наездников, готовящихся к великому походу. Перед рассветом он уехал на базу совхоза за хлебом. По его личному разрешению Данку Ситко пораньше отпускали с работы, чтобы она могла ухаживать за мной. Ночами брат и сестра по очереди сидели подле меня. Через два дня прибыли, наконец, подводы с затхлым хлебом и прокисшими огурцами, а я едва нашел в себе силы, чтобы выйти им навстречу. У малярии был трехдневный цикл, а третий приступ — самый сильный.

Я вышел из «балагана», опираясь на плечо Сташека. Момыш-улы мчался во весь опор. Осадил кобылу в метре от нас и поднял палец вверх, указывая на длинную, тянувшую к югу стаю журавлей. Он

очень устал: с седла сполз еще бодро, но тут же зашатался на одеревеневших ногах, побледнел, прикрыл глаза. И тогда-то в первый и последний раз он сказал мне несколько слов непосредственно о самом себе. Сказал он так:

— На горы ложится тяжелый снег, на человека — старость.

Данка умерла от тифа через год в Ташкенте, где мы три недели дожидались отправки в Бузулук. Это было через месяц после заключения советско-польского договора. В Бузулуке формировались первые подразделения польской армии, создававшейся на территории СССР. Было это также через десять месяцев после смерти Момыш-улы, который, завершая восемьдесят третий год своей жизни, пал, я бы сказал, смертью храбрых — умер в седле, сраженный леденящей метелью.

Расскажу об этом в двух словах: в совхозном табуне — в котором, впрочем, лишь нескольких жеребцов тех же кровей, что и его кобылка, Момыш-улы называл *конями,*— вспыхнула эпидемия. Веселый, безалаберный и вздорный директор совхоза (которому за его методы хозяйствования я бы дал года три) не позаботился с осени о ветеринарной аптечке. Начался декабрь, началась эпидемия. Лошаденки падали, ложились на глинистом полу конюшни с той безмолвной безнадежностью, с какой предаются смерти животные. Первый раз видел я тогда Момыш-улы в приступе настоящего гнева. Они с директором разговаривали с глазу на глаз. В память о том разговоре директор долго еще после смерти старика носил на щеке широкую отметину, как от удара кнутом. Беседа состоялась восьмого декабря. В степи уже два дня бушевала вьюга, хлынувшая в степь с гор, словно наводнение. Районная ветеринарная станция была теперь словно на краю света. Погожей осенью туда можно было добраться верхом за несколько часов. Тогда она была близко. Всего в тридцати километрах. Но в декабрьскую вьюгу, в трескучий мороз эти километры могли обернуться смертельной бедой.

Несмотря на это, Момыш-улы заупрямился. И не доехал.

Оба — и кобылка и всадник — остались в степи.

Запоздалые были похороны, без обрядов, без плача — совсем не похожие на скорбное прощание с отцом Антуаном.

Ибо отца Антуана хоронили со всей погребальной торжественностью: с песнопениями и рыданиями, во всем литургическом великолепии черно-серебристых риз и латинских молений, пропетых у подножия кенийских Белых гор,— на кладбище той самой больницы для прокаженных, которую отец Антуан основал в 1904 году и которой он руководил тридцать с лишним лет.

Основал он ее примерно в то время, когда я по вечерам, тайком от всей семьи, кормил маленького Деревянного крошками сыра и капельками меда. Оставил же он этот пост только осенью тридцать шестого, спустя несколько часов после того, когда я, закончив, наконец, свою долгую охоту за убийцей прокаженных, сказал ему, что хочу ехать в Испанию.

В 1936 году ему было уже за шестьдесят, но выглядел он почти моим ровесником. Сидел в желтом свете керосиновой лампы (под абажуром, от руки разрисованным голубыми и розовыми цветочками), ел кукурузные лепешки, запивая их темным пивом, от которого глаза его счастливо туманились, и выглядел еще моложе, чем обычно. Когда я вошел в комнату, он сам метнулся к шкафчику с посудой и пивными кружками, сам откупорил бутылку, не выплеснув ни капли, а потом, высоко держа ее, наливал пиво и радостно гоготал, видя, как пена вздымается над кружкой.

В тот вечер муссон принес с океана первый дождь. Известно было, что сил ему хватит не надолго и он стихнет до полуночи. Пока же дождь неистово барабанил по горному плато.

Уже с месяц я знал, с чем в конце концов приду сюда. Начал все сам отец Антуан. За месяц с лишним до этого последнего нашего разговора он задал несколько вопросов, ответа не требовал, сказал, что подождет. Потом прибыла очередная пачка опаздывавших на три недели газет из Европы. И я узнал об Испании. Но пока молчал, так как не закончил главную свою работу. Только на рассвете того дня, сумерки которого принесли первые гулкие порывы осеннего муссона, мы вместе с боем Эбонго приволокли мою охотничью добычу. Мы приволокли убийцу — в путах и сетях, с доказательствами преступления, всего в пене, как разъяренную гиену. Швырнули его на землю посреди главной площади у лепрозория, и он так кричал, что проснулись все его жертвы. Но тогда еще отец Антуан сумел защитить убийцу.

Убийца лежал в запертом на три засова подвале и дожидался белых жандармов из Найроби — я же, наконец, почувствовал себя вправе пойти к маленькому фламандцу, чтобы откровенно и по-сыновьи объяснить ему, почему я хочу уйти от него и по каким причинам *мы должны* проститься. И все же начать было трудно. Дождь стих до шепота. Лепешки были вкусные, пиво почти холодное, непередаваемо ароматное. Но проницательные глазки отца Антуана уже наливались гневом и жалостью. Он отодвинул кресло в темноту. Ждал.

Я попросил сигару. Он молча подал ее мне.

— Отче,— проговорил я уже после второй затяжки.— Я должен уехать.

— Куда?

У меня был один только способ доказать ему, сколь искренне уважаю я его за тридцать лет подвижничества и непостижимую на этой земле доброту. Я должен был сказать ему правду.

Я сказал:

— В Испанию!

Я был уверен, что он посинеет от гнева. Боялся взглянуть на него. Ждал, что крикнет, затопает ногами и громыхнет кулаком по столу — ибо так привык выражать свой гнев этот человек, которого многие справедливо называли «святым отцом из Милосердия Господня». Но я услышал только вздох: обычный вздох усталого старика.

— Тому только научил я тебя? — так спросил он.— Тому только и научил? Поедешь убивать,— добавил он еще.

— На молитву мне времени там не оставят! — крикнул я.— И запомни, отец: ничему она... ни тут, ни там... не поможет. Ты забыл, отец? — кричал я.— Сам учил меня: не призывай всуе имени господня, трудись сам, брат, человече!

Мне вовсе на хотелось кричать. Но это было необходимо. Я должен был заставить его ругаться в озлобленье и гневе, топать ногами и вопить отнюдь не благопристойно. Меня пугала его кроткая печаль. Я боялся, что его молчание, трясущиеся руки и вдруг постаревшие глаза лишат меня сил сопротивляться. В конце концов не многих в жизни я любил, а этот маленький забавный толстяк с рыжей бородой и в рясе салезианца оказался среди них. Я не мог допустить того, чтобы совесть моя дрогнула под столь явным напором горя, с каким маленький человечек смотрел на меня после того, как я произнес: я должен уехать. Я кричал все громче, что он ничего не знает и ничего не понимает.

— Что? — взорвало его наконец.— Что ты несешь, безмозглое ничтожество?!

Значит, удалось.

Сперва у нас обоих не очень-то получалось — несколько минут мы бранились еще без искреннего гнева и настоящего крика. Потом все-таки втянулись. Побледневшее, беспомощное лицо отца Антуана опять побагровело, кулаки обрушивались на стол так, что пивные кружки подскакивали, словно блохи, а за дверью (как обычно в подобных случаях) пополз озабоченный шепот и шумок.

— Этими руками! — гремел он, совсем уже разойдясь, подсовывая мне под нос большие, костистые, усыпанные веснушками кулаки.— Этими руками господь вытащил тебя с самого дна пропасти, накормил, напоил, спас. А теперь? Так ты благодаришь и за господню память и за людскую заботу? Нехристь вонючий! Прет из тебя бандитская суть! Но помни: не всякому проходимцу уготовано прощение.

Я так хлопнул дверью, что чуть не вышиб косяк. Но подслушивавший на пороге брат Феликс запутался у меня в ногах, я упал и не успел подняться, как отец Антуан уже схватил меня за шиворот, веля возвратиться, ибо ни исповедь, ни беседа еще не закончены. Воспользовавшись случаем, я наградил брата Феликса таким пинком, что тот полетел в глубь коридора, прямо на брата Роберта и преклонившего позади него колена Эбонго. Там, кажется, произошла настоящая свалка. Однако ни один из них и не пикнул. В сущности, их здесь не было, ибо они подслушивали, и хотя брат Феликс боднул бугристым своим лбом широкую грудь брата Роберта так, что загудело, оба молчали, как тени. Только Эбонго не сдержал жалобного вздоха, когда брат Роберт подмял его своей тушей. Я не успел разобраться во всем этом балагане, так как отец Антуан, привстав на цыпочки, словно тянущийся к дверной ручке ребенок, опять схватил меня за ворот куртки и потащил назад, в свой кабинет.

Смех свалил меня наземь, словно приступ падучей. Отец Антуан склонил надо мной побледневшее лицо, а затем закрыл глаза. На ощупь, неуверенно отыскал он свое кресло. Сел, продолжая придерживать веки пальцами, иссеченными от старости тысячью морщин, с почерневшими и поломанными от тяжких трудов всей жизни ногтями.

Я успокоился. Еле поднялся с пола. К тому же меня прошиб пот — от стыда, словно на солнцепеке в полдень.

— Отче,— спросил я очень смиренно.— Мне можно уйти?

— Садись,— приказал он.

Он отвел руки от глаз. Они были сухи, но веки по-прежнему опущены. Я сел, не зная, куда девать руки, глаза, что сказать. К счастью, лампа начала коптить, и я поднял стекло, очистил фитиль, снял нагар. Когда я снова водрузил стекло на место, дождь на дворе почти совсем утих. Привлеченные желтым светом лампы, в окна стучали огромные ночные бабочки — будто белые и черные кулаки. Лицо отца Антуана было так спокойно, словно он вдруг уснул. Но губы шевелились — отец Антуан молился.

Это был смешной и глупый человек. И вместе с тем — мудрый и прекрасный. Никто уже и не знал и не помнил, с какой стати молодой, подающий большие надежды врач из Брюсселя — отпрыск действительно богатой семьи торговцев и судовладельцев (валлонская ветвь ее вела большую заморскую торговлю, используя суда, принадлежавшие фламандской ветви) — бросил все блага отчего дома и в рясе салезианца удрал в Кению, дабы именем Христовым обращать стада черных овечек на путь истины и искупления. Сам отец Антуан никогда не вспоминал о причинах своего бегства с родины в Африку.

Зато часто, даже если его и не спрашивали об этом, объяснял, почему он остался на плато у подножия Белых гор.

— Говорят,— смеялся он,— что я приехал сюда обращать. Patati-patata[1]. Одно только очевидно: я остался, чтобы лечить.

И после недолгой паузы, когда веселые глаза его тускнели и прятались за толстыми веками, он добавлял:

— Лечить людей, главным образом неизлечимых!

Вообще-то он прибыл сюда вместе с тремя другими бельгийцами на подмогу содержащей большую больницу миссии французских салезианцев — миссии, которая была создана еще в девяностых годах, но сталкивалась с немалыми трудностями, ибо вела беспощадную и тяжелую борьбу с весьма богатой, полуправительственной пресвитерианской миссией. В мои времена открытая война между двумя миссиями уже угасла, но у отца Антуана было в запасе несколько очень забавных историй о давних годах, об ожесточенном соперничестве и яростных стычках между миссиями, каковые, раздаривая бусы, ситец, горшки, гребенки и жестяные побрякушки, отбивали друг у друга совсем свеженькие, первородно греховные души кикуйю, некоторых сомалийцев и массаев.

В одном только предмете обе миссии были по-братски единодушны: они не принимали прокаженных.

Тогда еще «frère» — брат Антуан сначала пытался поколебать этот принцип уговорами. Ссылался на евангельские тексты, на истории святых Франциска и Михаила, на притчи, полные пафоса милосердия. Его, однако, весьма скоро призвали к порядку с помощью руководившего миссией отца Доминика.

— Он втолковывал мне, и не без оснований,— рассказывал отец Антуан,— что миссия должна быть миссией. Это значит: должна быть открытой и посещаемой. «А ты хочешь,— так он спросил меня,— превратить мою миссию в остров прокаженных?» Я ответил: хочу. Тогда père Dominique спустил меня с лестницы.

Это была тема, к которой маленький фламандец возвращался с удовольствием: бунт против отца Доминика, стычки с его адъютантом и шпиком, месяцами тянувшееся покаяние на хлебе и воде, обращение к самому Риму и, наконец, решение Ватикана: брату Антуану и остальным трем бельгийским братьям разрешается основать лепрозорий Милосердия Господня. И так вот погостик Милосердия Господня весьма разросся. За тридцать лет брат Антуан стал отцом, те трое давно уже лежали в земле, а о трудах и святости Милосердия Господня трубил по всему свету всякий смекалистый европейский или американский журналист, забредавший в Найроби. Отец Антуан, словно ревнивая кинозвезда, собирал газетные вырезки, но умел и спекульнуть на них, когда речь шла о получении лекарств или ассигнований для отрезанного от всего мира острова Милосердия Господня.

Думается, однако, пора внести ясность. Время не терпит, и я должен, наконец, объяснить свое пребывание на острове отца Антуана — растолковать, как и почему я попал на этот «остров», за кем тут охотился, почему решил уехать и кто убил маленького фламандца в канун моего побега.

Дело обстояло так: весной 1932 года подкупленный Альфредом Бомбеком боцман Казарес «зашанхаил» меня на трамп, грузовое судно, относившееся к разряду плавучих гробов, главное предназначение которых — тонуть в открытом море естественным и не вызывающим протестов страховых обществ образом. Казарес «зашанхаил» меня на «Клеопатру» 30 апреля 1932 года, а это означает, что

[1] И прочий вздор *(франц.)*.

опоенного и избитого до потери сознания, обобранного начисто, раздетого и — самое паршивое — без матросской книжки меня внесли на борт расползавшегося по всем швам судна водоизмещением в четыре тысячи тонн, окрещенного именем владычицы древнего Египта. Без матросской книжки я в течение полутора лет не мог сбежать. Эти восемнадцать с лишним месяцев Казарес измывался надо мной терпеливо и дотошно. Я, наконец, прикончил его в Port Moresby [1] — сразу же после того, как затонула «Клеопатра». Но поскольку у меня все еще не было бумаг, целых два следующих года я проплавал на подобных «Клеопатре» гробах, бывших собственностью китайских и португальских судовладельцев, которые контрабандой доставляли оружие и боеприпасы для захудалых княжеств на южном побережье Аравийского полуострова. Четвертый по счету гроб носил красивое название — «Белая звезда». Мне удалось удрать с него в Момбасе в мае 1935 года, и очень вовремя: уже на следующий день по выходе из Момбасы «Белая звезда» отправилась на дно при совсем небольшом ветре, а поскольку шлюпки на ней были такие же ветхие, как и все остальное, лишь семь человек из команды спасли свои души, о чем вскоре сообщила «Найроби экспресс».

На сей раз мне, наконец, посчастливилось улизнуть с чужой — краденой — матросской книжкой и малой толикой собственных денег. При этом я был совершенно чист: книжку я украл у покойника, а деньги заработал более чем честно. Кроме того, мне удалось вынести на берег свою собственную, частную контрабанду: два ящика виски и двенадцать блоков сигарет.

Виски и сигареты я продал бармену лучшего ресторана для белых в Найроби. По этому случаю мы раздавили в баре бутылочку «Бродяжки Джонни». Так что, когда за полчаса до темноты я вышел на базарную площадь, все женщины показались мне по меньшей мере такими же желанными, как далекий и заснеженный, отчетливо в тот вечер видный чурбан Килиманджаро.

А самая из них красивая, сказочная, почти одного роста со мной сомалийка стояла напротив меня; она поднесла правую руку к моему лицу и погладила меня по щеке мягко и нежно, хоть чуточку мешал мизинец, немного скрюченный и словно бы высохший. Но какое мне дело было до этого привядшего пальца, если сама женщина была восхитительно осаниста, гибка, здорова и стройна. Из складок дешевенького красного ситчика выглядывали шея и полные, гладкие, словно отшлифованный агат, плечи, а прямо перед моими глазами светилось радостью лицо сомалийки с чуть раскосыми глазами, с выдвинутым вперед подбородком и губами, созданными для улыбки и для поцелуев.

— You! — сказала она.—You have money? [2] Есть у тебя деньги, и буду у тебя я. Хорошо, правда?

Она тоже была немного пьяна — и в ту ночь мы так и не сомкнули глаз. А наутро, вскоре после рассвета, я познакомился с отцом Антуаном.

Маленький фламандец прибыл с двумя черными полицейскими, и я, еще не протрезвевший, еще хмельной, отделал бы их всех троих до полусмерти, если бы не то, что меня поразило уже в первую минуту их нежданного визита.

— Лори,— заговорил маленький бородатый попик, без смущения, но печально разглядывавший нас, лежавших на сеннике, едва прикрытых тряпьем,— Лори! Нельзя убегать из Милосердия Господня.

[1] Порт-Морсби *(англ.)*.

[2] Эй ты, у тебя есть деньги? *(Англ.)*.

— Вам чего тут? — начал я таким тоном, что рослый полицейский тотчас же схватился за кобуру, а другой поднял дубинку.

— Послушай,— проговорил не спеша и отчетливо маленький священник, а взгляд его заставил меня замолчать.— Лори очень хорошенькая и милая девушка. Но она больна. Приглядись к ее правой руке. Три дня назад Лори убежала из Милосердия Господня. Так называется моя лечебница для больных проказой.

Отлично помню: он произнес «проказа» так, словно бы говорил «насморк, чирий, флюс».

Я взглянул на лежавшую подле меня, все еще улыбавшуюся девушку. В глазах у меня, очевидно, появилось такое дикое и испуганное выражение, что попик схватил меня за руку.

— Не смей бить ее! — крикнул он.— Она не виновата. Она не верит, что больна.

— Он лжет! — закричала Лори.

Она вскочила на ноги, обнаженная, черная, прекрасная. Кинулась на полицейских с кулаками, с криком и рыданиями. И тогда я все понял: они бросились от нее как от огня! Только бородатый священник не испугался. Он обратился к девушке на ее языке, с укором, но очень мягко. Гладя ее по щекам и плечам, он, наконец, уговорил ее одеться, собрать свои скудные пожитки и пойти с ним.

— А что будет со мной? — спросил я.

— Ты мог и не заразиться, сынок,— сказал рыжебородый коротышка.

И тут же предложил мне должность санитара в Милосердии Господнем с годичным контрактом и вполне приличной платой.

Полицейские ушли. Отец Антуан подвел Лори к хорошо ухоженному вездеходу «лендроверу». Девушка перестала плакать и горевать. Она развалилась — надменная и красивая — на переднем сиденье машины. Притворялась, что не замечает обступившей нас голытьбы и того восторга, который слышался в приглушенных голосах мужчин и возбужденном кудахтанье женщин.

— Подумай, молодой человек,— уговаривал меня отец Антуан.— Если ты... в худшем случае... заразился, то сразу же окажешься на месте и под вполне квалифицированным присмотром.

Голова у меня раскалывалась от перепоя, гнева и усталости. Небо, несмотря на раннюю пору, уже дышало сухим и ослепительным зноем.

Я долбанул кулаком по крылу машины:

— Не заразился я!

Попик с любопытством осмотрел вмятину на крыле, покачал головой, захохотал:

— Сумеешь выправить?

— Не заразился! — рявкнул я во всю глотку.

— Что ты так орешь? — заржал рыжий попик.

Потом внимательно взглянул в мои налитые кровью глаза. Понял, как у меня разламывается голова, высыпал в мои покорно подставленные ладони пару таблеток аспирина, дал запить холодным пивом из термоса и заключил:

— Я тоже думаю, что ты не заразился. А значит, никогда не заразишься. Именно поэтому можешь попытаться поработать в Милосердии Господнем. Попробуешь?

— Попробую,— проговорил я.

Я пошел в Милосердие Господне, не зная, что делать с собой в то утро,— пошел из-за Лори, аспирина и пива,— поехал с отцом Антуаном, ибо очень давно не ездил в автомобиле, да и вообще не знал этой части Африки.

В отце Антуане я тоже не обманулся. Еще в дороге он угостил меня остатками пива из термоса, что возымело силу слов: «Лазарь, говорю тебе: встань!»

— Аллилуйя, отец,— проговорил я радостно.— Я остаюсь в этом вашем Милосердии.

Рыжебородый весело кивнул, но тут же оба мы обомлели, так как Лори резко повернулась ко мне лицом, сверкавшим от счастья и слез. Она обняла меня за шею и, как вчера на базаре, потрепала по щеке красивой, но искалеченной болезнью рукой.

— Ты остаешься? — спросила она.— Со мной остаешься! — ответила она самой себе и прокричала прямо в ухо отцу Антуану: — Он со мной остается! Слышишь, парень?

Отец Антуан не ответил, только прибавил газу, и машину так затрясло, что Лори выпустила меня из объятий. Он смотрел прямо перед собой, поверх баранки, на сгущавшиеся у подножия Белых гор туманные пряди. Но когда я поцеловал Лори в пахнувшие потом и слезами губы, то в зеркальце, прямо против себя, встретился с его прищуренными глазами.

Он спросил, понимаю ли я по-французски. И, услыхав утвердительный ответ, предупредил тоном, уже вовсе не добродушным и не милосердным, что венчать нас не будет и никаких иных забав не допустит.

— Если ты имеешь что-нибудь против,— сказал он,— возвращайся, откуда пришел.

— Все будет в порядке, отче,— обещал я.

Я сдержал обещание, в чем, кстати, помогла мне и сама Лори. Через три дня она снова сбежала, и на этот раз мы уже не нашли ее. Поиски были прекращены через две недели. Она вернулась сама — спустя четыре месяца, и это была уже совсем не она. Я не узнал ее, хоть за это время и успел привыкнуть ко многому; впервые я по-настоящему ужаснулся: передо мной стояло чудовище с обезображенными конечностями и лицом, похожим на размокшее пепелище, и я вдруг понял, что это она... что это *была* она. На правой ее руке пальцев уже не было, не было и правой груди. Самым же страшным показалось мне то, что разрушительный недуг, обезобразивший Лори, не коснулся одного — голос ее оставался по-прежнему чист и ясен. Стоило прикрыть глаза, как передо мной тут же возникала сомалийка с прекрасным лицом и танцующей походкой.

— Эй, парень! Это я, Лори,— запел весело и кокетливо прекрасный голос.

Я убежал.

Отец Антуан застал меня немного погодя за увязыванием жалких моих пожитков. Я ослабел, словно после тифа. Полчаса я извергал из себя страх, ужас, отвращение — отвращение к себе, к миру, к людям, давился слюной, желчью и тем немилосердным, ходячим воплощением смерти, которое обратилось ко мне возле главной клумбы перед часовней ранним вечером, заговорило голоском веселым и чистым, как флейта:

— Hallo, boy! I'm Lori! [1]

Отец Антуан затащил меня к себе, поставил пластинку с взывающими к божьему состраданию песнями американских негров, а сам спустился в подвал за портером. Когда я уже немного оправился от испуга, дело у нас дошло до первого настоящего разговора, до спора и резкой перебранки. Точнее говоря, начался первый раунд долгого нашего матча — противоборства слов, мыслей, поступков, турнира,

[1] Эй, парень! Это я, Лори! *(Англ.)*

который, не окончившись, не выявив победителя, прервался в день смерти отца Антуана, накануне моего отъезда на испанский берег, на первую мою войну с Гитлером.

После второй или третьей бутылки портера оба мы принялись оплакивать судьбу прежней, чудесной Лори. Тут, однако, маленький фламандец строгим голосом упрекнул меня в том, что я забываю о милосердии господнем, ибо не оставит господь эту несчастную девушку в час ее кончины. Я закричал: ложь! Неправда! Все наше бытие заключено лишь между днем рождения и днем смерти, и чего я не улажу перед этим последним днем, того уже никогда не искуплю и не отработаю.

Маленький фламандец тоже легко переходил на крик. Обзывал меня убогим, кому неведома милость божия, сердито и жалостливо сокрушался над заблудшей душой моей.

Я сказал ему без обиняков:

— Не призывай всуе имени божьего ради несчастной девушки, все равно тебя наверху не услышат. Ты сам это лучше всех знаешь. Чем ты ее лечил, отче? Молитвой или чаульмугровой мазью?

Он сразу успокоился. Вздохнул, глубоко сострадая мне. Сказал, что хорошо понимает и видит жалкое одиночество моей души. Что будет изо всех сил стараться передать мне самое драгоценное из своего богатства: веру в милосердие господа, единого в трех лицах, милостивого ко всякой душе человеческой. Я, наконец, объяснил ему, что тщетен будет сей труд, что на веки вечные и очень давно принял я веру лишь в такое добро и такую справедливость, которые человек и человечество должны при жизни добывать своими руками. Он понял, но даже не спросил, коммунист ли я. Зато глаза у него разгорелись, словно у дьявола при виде обреченного.

— В вас проснулся апостол? — спросил я фамильярно.— Вспомнили о миссионерском призвании?

Он не отрицал. Более того, сказал «да». Ибо, хоть он и отвечал здесь за все, а значит, и за духовные дела Милосердия Господня, отец Антуан был прежде всего врачом, директором больницы и ученым, сражавшимся с тайной палочек Хансена, с жестокостью этой болезни, «темной, как грех, и глубокой, как пекло».

Подлинным же руководителем по духовной части был его заместитель — поджарый, твердого нрава отец Бенедикт. Тот довольствовался обращением черных пациентов и утешением душ, измученных болезнью, опекал он и души пятерых братцев и четырех сестриц, что, кстати, было занятием не из приятных, ибо благородному и прекрасному самопожертвованию этих людей отнюдь не сопутствовала внутренняя чистота. Грехи их были мелки, но глупы, надоедливы, неистребимы.

Отец Антуан бежал от них, как буйвол от слепней.

— Где я? — кричал он.— В прачечной или в Милосердии Господнем?

Я оказался однажды невольным свидетелем того, как отец Бенедикт, выслушав исповедь маленького фламандца, строго и неприязненно назвал вещи своими именами.

— Обуревает тебя гордыня, Антуан,— сказал он.— Мелкие души, глупые головы, малые грехи... тебе все это только претит. Ты презираешь глупость своего стада. Тебя не трогают его малые горести. Велика вина твоя, никудышный ты пастырь...

И вот на моих глазах пробудился в маленьком попике миссионер. Сейчас, из далекой дали, я вижу его во многих ипостасях: за баранкой «лендровера», над тарелкой с оладьями, в лучах пробивающегося сквозь заросли буша утреннего солнца, в теплом свете керосиновой

лампы, среди немощных старцев, среди детей с обожженными проказой лицами, склоненным над микроскопом.

— Послушай меня, парень,— обычно начинал он, когда мы сходились.— Я не доказываю тебе истинности происхождения, не навязываю догмы откровения. Я посредственный лекарь, никудышный пастырь, неумелый проповедник. Ты идешь своим путем. Я это понимаю. Но задержись на миг у креста, у пробитых гвоздями ног человека. Ибо он есть мера всех вещей. Отец в наших отцах, бедняк в нищих, богач в богатых и священник в священниках. Не проси его ни о чем. Ни о сострадании, ни о памяти, ни о помощи... ибо он есть само сострадание, сама память и помощь. Достаточно, если ты это поймешь. Тогда уже не понадобится тебе взывать к нему всуе. Отыщешь его в себе. Захочешь — и сумеешь трудиться, и ничто не запугает тебя: ни огонь, ни проказа, ни смерть.

Примерно так это звучало, но, в сущности, отец Антуан был слабым проповедником. К тому же я вскоре обнаружил, что он забрасывает меня красивыми фразами, словами напыщенными и громкими, в основном благодаря своей великолепной памяти, в которой крепконакрепко отпечаталось множество чужих мыслей и образов. Впрочем, в этом он сам мне признался и в конце концов махнул рукой на проповеди, зато распахнул передо мной свои книжные шкафы, стал совать мне в руки тома толстые и тонкие, мудрые, прекрасные, тупые, скучные — книги, испещренные пометками, восклицательными и вопросительными знаками и подчеркиваниями, свидетельствовавшими об истинно детской наивности этого милейшего чудака, который очень любил людей по велению собственной души, а думал, что делает это по приговору и милости провидения.

Потом обрушилась на нас смерть Лори. Она повесилась на длинном лакированном пояске своего самого красивого платья. Отец Бенедикт, который лично крестил ее, побелел от ярости и возненавидел несчастный труп. Отец Антуан рыдал над ней, словно над собственной дочерью, и потому еще, что Лори оставила нас, совершив смертный грех. Мы проговорили далеко за полночь. Выпили, пожалуй, несколько многовато пива и затем вышли в буш навстречу луне (что было верхом пьяной глупости, так как поблизости объявилось семейство львов, увязавшееся за стадом, которое гнали массаи).

— Зачем она это сделала? — вопрошал маленький отец Антуан звезды над собой и собственное свое сердце.— Отчего, господи, ты покинул ее? — плакал он.

Мы остановились на краю большой чистой поляны, будто снегом запорошенной лунным светом. Была самая светлая пора ночи — тоненькие струйки тумана поднимались над зарослями буша, словно цветы, кольца, пауки, чаши, бабочки, рядом, в ветвях дерева, заплакал разбуженный нашими голосами детеныш обезьяны, в траве на поляне шло какое-то тихое, но беспощадное сражение: пискнула мышь в пасти змеи, потом вспорхнула птица.

Я вспомнил первую, чарующую улыбку Лори.

— Если бы он даже и был... — сказал я о боге всей Африки,— я возненавидел бы его за ее проказу.

— Зачем она это сделала? — шептал Антуан, к счастью не расслышавший моих слов.

— Не знаю,— проговорил я, думая о том, что африканцы в этих местах не приемлют самоубийств. И тут у меня перед глазами промелькнула сцена, значения которой я еще не понимал, но которая таила в себе некий зловещий смысл: Лори на коленях перед тощим старикашкой с размалеванным белой краской лбом.

Старик откровенно смеялся над ее покорностью, но, заметив меня, проворнее ласки юркнул в кукурузу.

— Не знаю, зачем она это сделала,— повторил я.— Но попробую докопаться! И обещаю: я буду знать.

Весенний муссон кончился, дни стали наливаться зноем. И тут брат Роберт попросил меня помочь ему в столярной мастерской. Он объяснил, что в эту пору года обычно заготовляют гробы на весь сезон, так как больше всего смертей в Милосердии Господнем случается между пасхой и праздником тела господня.

Он был милым и кротким бычком — этот братец Роберт. Когда-то он попытал счастья на рингах Антверпена, но несколько нокаутов сделали его совсем не по-боксерски чувствительным к ударам в челюсть. Ему пришлось отказаться от карьеры. Челюсть стала нежней стекла, жаловался Роберт. Хуже фарфора и гипса... Один бог в небесах ведает, что с ней произошло! А поскольку отец Роберта был камердинером у сестры маленького фламандца, Роберт однажды узнал о Милосердии Господнем и с отчаяния, по глупости и доброте сердечной облачился в рясу и отплыл за счет салезианского ордена на остров отца Антуана, чтобы остаться там навсегда.

Обо всем этом он рассказывал так пространно и нескладно, что я успел сколотить пять гробов — такой прогноз составил на этот год отец Антуан. Однако он ошибся. Впрочем, все мы сначала ошибались и путались как в расчетах, так и в диагнозах. Лишь Эбонго с самого начала знал, что смерть Лори не только собственная ее смерть, но и грозное предостережение, зловещее предзнаменование. Случай отчасти помог и мне — я вспомнил ту странную сцену между двумя кукурузными полями: Лори на коленях перед невысоким, тощим старцем. Я обещал отцу Антуану дознаться, «зачем она это сделала», ибо чувствовал, что эту несчастную смерть окружила какая-то страшная тайна. Но уже назавтра забыл об этом. Картина, однако, вновь всплыла в памяти, когда в середине мая брат Роберт опять обратился ко мне за помощью.

Гробов не хватало! Да еще вдобавок — четыре побега.

Все происходившее очень тревожило маленького фламандца, но он не заговаривал со мной на эту тему. Работал больше обычного, да и жара докучала ему тоже больше обычного. Виделись мы главным образом по вечерам. Он просил читать ему вслух,— а когда както вечером, усталый не меньше, чем он, и измученный расстройством желудка, я швырнул книгу на пол веранды, потребовав дополнительного вознаграждения за то, что изображаю радио, он обещал заплатить. Обещал спокойно, беззлобно. Мне стало стыдно. А говоря откровенно, мне нравилось это развлечение — тем более что я нашел в нем и выгоду для себя: отец Антуан поправлял мое произношение и объяснял наиболее трудные места. Так подучивал он меня прекрасной французской речи, хотя ему казалось, что делает он только одно дело: опутывает меня святыми своими сетями. Ибо он просил читать ему проповеди Боссюэ, статьи Маритэна, стихи Шарля Пеги, рассуждения Паскаля. Недавно в каталоге здешней библиотеки я наткнулся на знакомое название и имя — Блез Паскаль, «Мысли». Без труда отыскал я отрывок, который в мае тридцать шестого прочитал вслух на веранде домика, бывшего обителью семи салезианцев из Милосердия Господня, отрывок, который чуть было не заставил отца Антуана и меня люто возненавидеть друг друга.

Тогда я уже наловчился, читал не спотыкаясь, не переиначивал слов, хотя попадались и довольно трудные, чуждые по своей старомодности и напыщенности.

Например:

«Сердце чувствует, что есть три измерения пространства и что числа бесконечны; разум затем показывает, что не существует двух квадратов чисел, из которых одно было бы вдвое больше другого. Принципы чувствуются, теоремы выводятся как заключения, и притом все это делается с полною достоверностью, хотя и различными путями. Смешно, что разум требует у сердца доказательств его первых начал, а иначе с ними не соглашается, точно так же, как было бы смешно, если бы сердце требовало, чтобы разум «чувствовал» все теоремы, которые он доказывает, а иначе не принимал бы.

Это бессилие должно служить единственно для унижения разума, который хотел бы судить обо всем, а не для оспаривания нашей уверенности в вещах, как будто бы только разум способен чему-то научить нас. Напротив, дай Бог, чтобы мы не имели в нем никогда нужды и чтобы познавали все вещи инстинктом и чувством! Но природа нам отказала в этом благе: напротив, она дала нам очень немного знаний подобного рода; все остальные могут быть приобретены только с помощью рассуждения.

И вот почему те, которым Бог дал религиозное чувство в сердце, очень счастливы и вполне законно убеждены. А кто не имеет веры, тех мы можем научить ей только с помощью рассуждения, ожидая, что Бог даст ее им при помощи сердечного чувства, без которого вера носит человеческий характер и бесполезна для спасения...

Сердце чувствует Бога, а не разум. Вот в чем суть веры: Бог, осязаемый сердцем, не разумом».

Мне трудно объяснить, чем рассмешили меня эти старомодные рассуждения.

Однако факт остается фактом, что на словах о «Боге, осязаемом сердцем» голос мой дрогнул. Я не хотел оскорбить ни отца Антуана, ни паскалевского бога. Но несмотря на это, в конце концов разразился безудержным смехом.

Отец Антуан сорвался с кресла, подбежал ко мне, ударил по лицу.

В глазах у меня потемнело. Я схватил его за руку как за горло.

— Может, мне подставить тебе другую щеку, ты, свистулька фламандская? — прошипел я задыхаясь. Но он вдруг обмяк у меня в руках, его голубые глаза наполнились слезами.

— Прошу тебя! — сказал он.— Ударь и ты!

Я не знал, что делать. Голову и сердце охватывала тревога, росло смятение, словно с лица падре Антуана смотрел на меня Бог, осязаемый сердцем. Над Белыми горами мелькнуло несколько беззвучных молний.

— Прости, отец,— произнес я, наконец.

— Не передо мной винись, не передо мной!

Тут он выпрямился и расправил грудь. Он явственно ощутил в себе прилив надежды, веры и вдохновения. Почувствовал силу нарождавшихся слов, живых как милость и откровение. Воздел руки, словно Моисей перед фараоном — наконец-то он был уверен: бросит меня на колени перед своим Христом.

Но как раз в это мгновение заплакала где-то невдалеке молодая гиена. К ней присоединилась вторая, третья. Наконец, мы поняли: это не гиены. Мы бросились туда, откуда доносились эти рыдания,— к третьему бараку. У часовни к нам присоединился Эбонго, от столярной мастерской топал слоновьей рысцой брат Роберт.

В третьем бараке жила семья массаев. Самое гордое племя кочевников Восточной Африки, знаменитые охотники на львов, приговорило одного из своих братьев к Милосердию Господню. Приговоренный, по имени Оль'Акти, заразил обеих своих жен и одного из сыновей. Трое других были еще здоровы, но племя, молодые мужчины ко-

торого не страшились идти на молодых львов, боялось проказы. Решением вождей Оль'Акти был беспощадно приговорен к оседлости, к агонии в Милосердии Господнем,— и он жил здесь уже третий год. Молчал, страдал в безмолвии, пребывал словно на дне моря. В своем гордом безразличии он даже позволил отцу Бенедикту окрестить жен и детей. Он производил впечатление человека, который решительно презирает собственное несчастье.

Мы ошиблись в такой оценке. На пороге комнаты, где жила семья Оль'Акти, толпилась кучка причитавших плакальщиц-прокаженных. Брат Роберт принес лампу. По глиняному полу комнаты текли ручейки, образуя красно-черные озера. Угол, в котором Оль'Акти держал свое уже несколько лет бездействовавшее оружие — копье с широким острым наконечником и щит с изображением злого духа,— этот угол был пуст. Комната, однако, не была пуста: на матах у трех стен остывали тела семейства Оль'Акти — обе жены и четверо сыновей, из которых один только был болен.

— Шесть,— прошептал брат Роберт.— Шесть новых гробов.

Глаза отца Антуана побелели от гнева. Он отыскал взглядом в толпе зевак и плакальщиц старого кикуйю Категу — местного сплетника и мудреца.

— Говори! — произнес он.— Что это значит?

Категу зажмурился, словно его собирались бить. Отец Антуан тонким голосом закричал что-то на языке суахили. Толпа не проронила ни звука в ответ. Плакальщицы умолкли — вокруг нас сгущалась тишина. Свет фонаря, который держал Роберт, упал на лицо боя Эбонго. Этому «мальчику» было под сорок, рост его едва превышал четыре фута, спина была разукрашена шрамами, напоминавшими о встрече с леопардом, к тому же у него было лицо старика и очень умные, всезнающие глаза. Свет застал его врасплох, и он не успел превратить свое лицо в маску. Было ясно, он что-то знал. Я понял: он знает!

Я вытащил отца Антуана и Эбонго из онемевшей толпы, а поскольку в третий барак уже прибыл отец Бенедикт со своим приближенным Феликсом, мы предоставили им и Роберту заниматься молитвами и наведением порядка.

Маленькому фламандцу я шепнул: Эбонго знает. Бой сразу же сообразил, что дело плохо, но отец Антуан не слушал никаких отговорок; он приказал ему идти с нами — вот так мы и начали следствие, долгое, мучительное, но в общем-то оказавшееся весьма плодотворным. Поначалу не помогли ни просьбы, ни угрозы, ни крики отца Антуана. Тогда, наперекор всем правилам, маленький фламандец достал из шкафа пузатую бутылку коньяку и с грохотом поставил ее на стол перед самым носом боя.

Эбонго начал сдавать. Стал давиться слюной, его глазки заплясали вокруг бутылки, словно бабочки вокруг лампы; в конце концов он уступил и только попросил сохранить в тайне, что это он давал показание. Затем сказал:

— Оль'Акти пошел искать льва, чтобы забрать у него душу, ибо...

— Ибо что? — рявкнул отец Антуан.

— Ибо его душу украли,— признался Эбонго.

Совершенно обалдело смотрел я на отца Антуана, который, вопреки здравому смыслу, тотчас же успокоился и налил бою в стакан весьма щедрую порцию.

— Что же из того, что украли? — пожал он плечами.— Не мог выкупить?

Эбонго вновь задумал затаиться в молчании, но второй стакан уже плясал у него перед глазами, а запах коньяка щекотал ноздри.

На широком, умном его лбу проступил пот.

— Нет, преподобный отец,—сказал Эбонго.— Тот, кто крадет души из Милосердия Господня, не продает их назад. Он мучит эти души, а потом убивает.

С огромным трудом я заставил себя не расхохотаться, так как отец Антуан, услышав этот вздор, вдруг побледнел и весь сжался в неподдельном ужасе. Голос его охрип до шепота.

— Неправда! Не верю! — повторял он.

Я все еще ничего не понимал, но мне удалось сдержать смех. В конце концов по их тону я догадался, что произошло и происходит нечто действительно страшное. А может, более чем страшное.

Эбонго поднес ко рту уже третий стакан и плеснул коньяк в глотку. Он стоял перед нами, слегка покачиваясь, а лицо его искажали злоба и страх.

— Мучит и убивает! — вскричал он тонким голосом.

— Уйди! — сказал маленький фламандец.

Эбонго ушел.

Вскоре после этого в буше отозвались настоящие гиены. Они пели ночной псалом над трупом Оль'Акти, который не успел встретить своего льва. Его убила ядовитая змейка в каких-нибудь трехстах метрах от Милосердия Господня.

Наутро штаб больницы совещался: что делать? Теперь стали понятны вещи, до сего времени непостижимые — самоубийство Лори, резкое увеличение смертности, четыре побега не столь тяжело больных, трагедия семьи массаев. Возле Милосердия Господня кружил убийца душ.

Отец Антуан, весьма удрученный, вкратце растолковал мне суть дела. Его прежде всего удивляло, что случилось это в здешних краях, поскольку с кражей душ ради заработка этнографы сталкивались главным образом в Западной Африке. Все сводилось к довольно-таки нехитрой процедуре — колдуны ловили души растяп разными способами: силками, сетями, мешками, на крючки, в горшки с приманкой. Впрочем, без злого умысла и дурных намерений. Просто-напросто люди, у которых крали душу — либо те, кто всего-навсего терял ее,— могли за определенную плату выкупить старую, а иногда даже и приобрести из запасов колдуна новую, получше, поздоровей и поотважней, чем прежняя. Никто при этом ни на кого не обижался, ведь каждый должен заботиться о своей душе, а колдунам тоже надо чем-то жить.

На сей раз, однако, мы столкнулись не с вором, а с убийцей. Он облюбовал себе Милосердие Господне, словно леопард стадо старых, обессилевших коров. Он пришел с северо-запада, из-за гор, объяснил Эбонго. Но его боялись даже пастухи-массаи, самые храбрые люди Восточной Африки.

— Что будем делать? — спросил отец Антуан.

Впервые я заметил у маленького фламандца полную беспомощность и старческую растерянность, он осознавал свое поражение. Зато отец Бенедикт впал в ярость.

— Скоты! Черные скоты! Нехристи! — задыхаясь, визгливо кричал он.— Крестили их, месяцами, годами спасали эти души, учили слову божьему... И ради чего? Отыскался один...

— Тише,— резко прервал его маленький фламандец.

Гнев Бенедикта пробудил его. Антуан заметил своему заместителю, что в Европе и поныне живы в душах людей языческие мифы, страхи и обряды, что сотни лет пастырства не смогли вытравить их из разума и совести человека. И разгорелся уже деловой спор: как противодействовать? В нем приняли участие оба преподобных отца,

братец Феликс и старшая из сестер, очень некрасивая, отличавшаяся решительным умом сестра Доротея. Собственно, с самого начала они были едины в выборе стратегии: надо, наконец, внушить несчастным из Милосердия Господня, что души их являются собственностью господа на небесах... и ничьей больше, только его собственностью,—и потому никакой осатаневший колдун ничем не может повредить им.

Я глянул на Эбонго. Всем своим видом, телодвижениями и покорным поддакиванием он выражал согласие с мнением обоих отцов, брата Феликса и сестры Доротеи. Но в слегка косящих его глазах плясал смех — неистребимый смех африканцев, которые знают, знали и будут знать, сколь необъяснимая глупость порой руководит силой белых людей.

И потому я встал:

— А может, мне поохотиться за этой скотиной?

— Не смей! — закричал отец Антуан.

Отец Бенедикт и брат Феликс тоже воспротивились этой затее (оттого лишь, что терпеть меня не могли). Зато сестра Доротея задумалась:

— А почему бы не попробовать?

Эбонго смотрел на меня с враждебным удивлением. Я понял, уверился: мысль неглупая.

— Нет! — поставил точку маленький фламандец.— Такая охота грозит смертью... либо охотнику, либо зверю. Не согласен. Не хочу этого. В опасности души больных. Мы должны защищать души.

Повторяю: это был умный и прекрасный человек. И вместе с тем он был смешон и глуп. Целых тридцать два года не поминал он имени божьего всуе, лишь сам в поте лица сражался с человеческим отчаянием и сам себя принес в жертву своему Иисусу, честно заслужив имя святого. Но когда в окружающем Милосердие Господне буше притаилось зло — подлое и жестокое, маленький святой фламандец решился призвать на помощь только имя божие и слово божие. И я тут же поклялся себе, что искуплю этот его грех, нарушающий вторую заповедь, и что сам потружусь ради блага напуганных душ из Милосердия Господня.

Но я был словно во мраке. Я не успел еще усвоить ни одного из местных наречий, а десяток-другой неумело выговариваемых суахили слов только смешили африканцев, не принося никакой иной корысти. Более того: даже умей я разбираться не только в речи, но и в побуждениях, навыках, обычаях, а также намеках, подтексте слов, жестов или молчания — я все равно был бы словно во мраке. Ибо теперь в Милосердии Господнем всем руководил страх, непостижимый и белым неподвластный. То, что мы не понимали его, лишний раз подтверждало нашу глупость и беспомощность. Я видел это по глазам всех — и самых старых и самых молодых — обитателей прокаженного Милосердия. Главное, я понял: они боятся. И так смертельно боятся убийцы, что из-за этого страха будут и оберегать, и защищать, и укрывать его, и направлять по ложному следу, и притворяться совершенно неосведомленными. Я пытался расспрашивать о тощем с размалеванным белой краской лбом старике, перед которым когда-то преклоняла колени Лори. Они отвечали: никто никогда не видел его. Слыхом о нем не слыхали, говорили они. Лишь очередной кандидат в клиенты столярной мастерской — веселый и нахальный пьянчужка из племени кикуйю по имени Каманте — шепнул мне в самое ухо, что на водопой к Змеиному ручью иногда приходит старый и черный леопард с белой отметиной на голове.

Каманте уже четыре дня лежал неподвижно, не принимая ни лекарств, ни пищи. Он был одним из тех, кто по приказу «того» согла-

сился умереть сам. И не признавался, что умирает по той простой причине, что «тот» убил его душу.

Я был словно во мраке. Но у меня оставалась еще слабая надежда — Эбонго. С Эбонго мы понимали друг друга без труда. Смахивало на то, что малорослый бой отца Антуана — единственный африканец в Милосердии, который безразличен ко всеобщему страху. Мне не удалось открыть источник его безмерной отваги. Но я знал, что она крепнет пропорционально содержанию алкоголя в его крови. Поэтому, воспользовавшись первым же удобным случаем — поездкой в Найроби,— я тайком провез в багажнике «лендровера» две литровые банки сивухи. А поскольку угощение африканцев алкоголем отец Бенедикт относил к тягчайшим преступлениям и смертным грехам, мы условились встретиться с Эбонго поздно ночью за часовней.

Луна была в последней четверти. Сначала она светила ясно, но вскоре потускнела и померкла. Мы сидели, прислонившись к стене часовни, молчали долго и терпеливо. Только в жестянке все громче булькало в ночной тиши. Наконец я начал игру: сказал Эбонго, что считаю его единственным настоящим мужчиной в Милосердии Господнем и что даже охотники-массаи по сравнению с ним хилые телята.

Эбонго взглянул мне в глаза с одобрением и совсем еще трезво.

— You'r right [1]. Я не боюсь его,— проговорил он без тени хвастовства,— потому как я христианин, моя душа принадлежит Иисусу, и я ношу ее здесь. Не потеряю ее, не дам ей сбежать, не позволю ее украсть. Мое слово: не дам, не позволю.

Тут он дотронулся до кисета из светлой телячьей кожи, висевшего на груди вместе с железным крестиком и чудовищно грязной ладанкой. Все это держалось на толстой стальной цепочке — и Эбонго засмеялся хитро и смело. Однако я не был уверен, все ли он сказал. Сказанное им выглядело правдоподобно. Но под белесой пьяной дымкой в глазах его вспыхнули две крохотные тусклые искорки беспокойства.

Я попробовал раздуть их.

— О'кэй,— сказал я.— Ты настоящий мужчина и христианин, Эбонго. Но ведь «он» может обернуться леопардом или львом и сорвать твою душу с цепочки. Каманте говорит, что к водопою у Змеиного ручья приходит старый черный леопард с белым пятном на лбу.

Эбонго прилип к банке. Потом судорожно задышал. Лицо его засеребрилось по́том — в глазах вспыхнула ярость.

— Не дам,— прошипел он.

Он полез в карман старых полицейских шорт, которые свисали ниже колен. Раздался треск — и я искренне изумился. Эбонго и вправду был богат. Худая его ручонка сжимала настоящий необыкновенно удобный пружинный нож с восьмидюймовым лезвием. Так что я выбрал достойного партнера: рахитичный большеголовый карлик обладал воинственной душой и разумом еретика. Был он также — о чем все знали — очень алчным человеком.

— Все в порядке, brother [2],— сказал я, отдавая ему жестянку, в которой кое-что еще оставалось.— Я понимаю, ты не веришь во все эти черные, глупые суеверия. Но вот что я тебе скажу, Эбонго! У того старого мошенника должна быть сильная душа. Поохотимся на него, и я тебе уступлю ее. О'кэй, Эбонго?

Долго, очень долго тянулось раздумье, прежде чем прозвучал ответ. Эбонго сделал несколько больших глотков и в упор взглянул

---

[1] Вы правы *(англ.)*.

[2] Брат *(англ.)*.

мне в глаза. Потом встал. Воздел руки и снова замер. Наконец крикнул что-то громким шепотом, поднял левое колено к груди, постоял так немного, вдруг сделал первый шаг — затем второй и третий... Незаметно, но непрерывно он ускорял ритм. Луна уже заходила. Стояла глубокая тишина — приближалась глубокая тьма. Среди все более резких черных теней подпрыгивала крохотная большеголовая фигурка — подпрыгивала, словно пьяный журавль. Газон возле часовни гудел под босыми пятками. Наверное, это было забавное зрелище. Я, однако — до тех пор, пока был в состоянии что-либо различать,— смотрел на Эбонго с уважением. С неподдельным уважением и искренней надеждой смотрел я на его танец — этим танцем он себе и мне отвечал согласием.

Алкоголь бурлил и бесновался в нас обоих. И когда луна скрылась, я запустил пустой жестянкой в стену часовни и присоединился к этому воинственному танцу, которым мы начали долгую свою охоту на старика с побеленным лбом, на леопарда с седым пятном между ушами, на убийцу душ прокаженных из Милосердия Господня. Я хорошо помню: плясал я тогда самый обычный польский оберек. Но так же хорошо помню, что был это воинственный танец и откалывал я его, охваченный ненавистью, гневом, окутанный мраком последнего часа ночи.

Едва забрезжило, мы провели охотничий совет, поделили сферы действия, договорились и о главном: брать живым.

Минуло две недели. Умер Каманте. И сразу же после его смерти еще молодая, но жестоко искалеченная болезнью женщина из племени вакамбо перестала вставать с постели и принимать пищу — подобно Каманте и его предшественникам. Из столярной мастерской брата Роберта снова раздавались звуки пилы, рубанка и песенки о Брюгге: брат Роберт мастерил восемнадцатый гроб сезона. Мы же все еще ничего не знали. Рыскали во мраке и ничего пока на разнюхали.

Лишь в середине третьей недели напали мы на первый след. Я решил проверить сообщение бедного Каманте относительно водопоя у Змеиного ручья. Четыре ночи кряду просидели мы в терновнике, дожидаясь, когда мрак сменится молочно-матовым рассветом. Последний час ночи дышал росой, теменью и тишиной. Стремительный восход солнца мгновенно пронзал его мощными лучами света, голосами птиц, насекомых, растений и зверей. Недурная, наверное, это была картина — возможно, даже прекрасная. Но из четырех этих рассветов я запомнил лишь последний. Едва взошло солнце, как небольшое стадо стремительных антилоп с жемчужными брюшками и изогнутыми рогами, потревоженное кем-то, бросилось врассыпную и исчезло в редких зарослях буша. И лишь немного погодя из-за высоких деревьев показался человек. Был он невысок, худ и стар. Я знал его: у него была легкая походка, тупое лицо и широкий лоб, вымазанный белой краской. Он пил, как это делают животные, погружая лицо в воду. Неудивительно, что страх заставил Каманте увидеть в этой сухой фигурке убийцы людей и коров — сильного, наводящего ужас черного леопарда.

Я же видел только убийцу. Нащупал рукой зарывшийся в траву небольшой камень. Когда-то я умел метать камни. Старик с белым лбом (мне привиделась подле него фигурка несчастной Лори) был слишком далеко, чтобы пытаться поймать его. Эбонго придержал меня за локоть. Считал, что нам не следует выдавать себя. Он был прав, но меня охватила слепая ярость. Я помчался к водопою.

Старик вскочил с легкостью дикой кошки. Но не побежал прочь. Нас разделяла пойма ручья шириной в десятка полтора метров. Он

засмеялся. Поднял руки над головой. Затем стремительным движением простер их ко мне с растопыренными пальцами: наводил чары.

Пришлось остановиться, так как я уже влез в трясину правого берега Змеиного ручья. Старик заорал что-то писклявым голосом. По его жестам я понял, что он продолжает осыпать меня чарами и проклятиями. Но у меня в руке был камень, и я метнул его, как в свои лучшие годы. Я целился в туловище, попал в область сердца. Старик упал, но поднялся. Побежал шатаясь и сумел удрать.

Через два дня стало ясно, что он тоже начал новую охоту. Под окном своей комнаты я обнаружил глиняный, раскрашенный сажей и известью горшок. В горшке лежала приманка: окровавленный кусок печени. А под ним колдун поместил три острых костяных крючка, несколько осколков стекла и пригоршню ядовитых колючек. Намерение его было столь же определенно, как и жестоко: моя проголодавшаяся за ночь душа, съев приманку, должна была напороться на стекло, попасться на крючки и запутаться в колючках.

Не испрашивая ни у одного из отцов позволения, я созвал больных на площадку перед часовней. Приказал привести женщину из племени вакамбо. Хохоча во все горло и по-детски кривляясь, я разбил горшок оземь. Мясо выбросил на помойку, крючки, колючки и стекло растоптал каблуками. Толпа корчилась от страха и возбуждения. А затем в зарослях под пальмами вдруг заверещала незнакомая мне зловещая птица, и больных словно ветром сдуло.

От амбулатории бежали отец Бенедикт и отец Антуан. Прежде чем разразился скандал, я успел заметить на некоторых лицах первые отчетливые тени надежды. Я не ошибся: в тот день женщина вакамбо впервые за три дня съела целую миску супа — и приняла ее из моих рук.

Поэтому я остался безразличен к яростным крикам старого Бенедикта, который обозвал меня глупым шарлатаном и темным язычником. Он чуть было не задохнулся, когда я в свою очередь назвал его просвещенным шарлатаном и глупым ловцом душ. Я заявил также, что действую в целях самозащиты, и уж коли я не мешаю достопочтенному отцу Бенедикту молиться за души из Милосердия Господня, то покорнейше прошу его не мешать мне преследовать их убийцу. А потом произошло событие необыкновенное и прекрасное: маленький фламандец взял мою сторону, и я чмокнул его в руку, как самая кроткая овечка в приходе. Когда все разошлись, я занялся поисками Эбонго. Но тот исчез. Да, он был мудрым охотником. Пошел на птичий крик — распознал в нем человеческий голос.

Эбонго напал на след, и с тех пор мы его больше не теряли.

Не буду описывать здесь подробностей шестинедельной погони, засад, многих неудач и того случая, когда удиравший старикан сознательно навел меня на разъяренного носорога, от которого я едва унес ноги. История охоты на колдуна Н'гару, собственно говоря, выходит за рамки повествования. Можно было бы, конечно, развернуть ее со всею пышностью, на широком экране, в цвете и с музыкальным сопровождением, построенном на криках барабанов кикуйю. Достаточно будет сказать, что женщину вакамбо миновал восемнадцатый гроб сезона и никто из Милосердия в тот год больше не отправился следом за Оль'Акти, за Лори и Каманте (что было делом вполне понятным, ибо после встречи у водопоя Н'гару охотился уже только за моей душой).

Скажу также, что на рассвете восьмого октября мы наконец схватили старого леопарда на тропе, ведущей к его логову на главном кукурузном поле Милосердия. На сей раз ему не удалось удрать, так как он нагрузился сверх меры: тащил два горшка с приманкой, целый

ворох сетей и силков, крючки. Наверное, решил раз и навсегда покончить с моей непослушной душой. Просчитался — излишняя поспешность и неуемная ненависть погубили его самого. Мы крепко связали убийцу — спеленали собственными его сетями, приволокли на площадку к часовне, бросили наземь. Он только раз крикнул, но пронзительно до жути.

Люди сбежались в один миг. Обступили его кольцом. Сначала только смотрели. Но вскоре мужчины стали озираться в поисках камней. Я сделал вид, что не замечаю этого: передо мной снова замаячили горестные глаза Лори. К сожалению, Роберт разбудил отца Антуана, который в тот раз еще защитил убийцу.

Вечером (как я уже упоминал) начался первый осенний дождь, и я сказал отцу Антуану, что уезжаю из Милосердия, попытаюсь пробраться в Испанию. Мы разругались, потом я смягчился. Маленький фламандец погрузился в молитву. Когда он кончил, я прямо сказал ему, что не многих людей в своей жизни любил и уважал так, как его. И все же я решил покинуть Милосердие Господне... Не хочу, говорил я, и не могу последовать его совету, не облачусь в монашеское платье, не буду выслуживать себе вечного блаженства, ибо это не в моих привычках и обычаях и противоречит моим убеждениям. Я признался, что искренне уважаю самаритянский труд Милосердия Господня — и даже злобу Бенедикта и лицемерие Феликса почитаю достойными уважения. Но, продолжал я, одного милосердия мне слишком мало. И тут я разъяснил молчащему попику, что если я когда-нибудь и намеревался добраться до Голгофы, то не для лобзания пробитых ступней сына божьего, а затем, чтобы поднять руку в защиту человека.

Он опять спросил меня, буду ли я убивать. Что я мог ответить ему? Я шел на третью свою войну.

— Антуан,— сказал я.— Отче! Не закрывай глаза на правду. Европе угрожает мор пострашнее проказы.

Не знаю, понял ли он, но просьбу мою выполнил: снабдил меня превосходной трудовой характеристикой (не уточняя, в какой больнице я работал), рассчитался надежной валютой и, наконец, достал хранившийся для особых случаев датский портер. Вдобавок обещал, что сам отвезет меня в Найроби к поезду.

В тиши и умиротворении раскурили мы прощальную сигару. Ночь стала бледнеть — с востока надвинулась высокая волна ветра. Опять запахло дождем. Отец Антуан первый услышал тихий, но злорадный гомон. И раньше меня понял, что происходит. Первым вскочил с места.

Никто из нас, белых, не слышал, как из подвала вытащили убийцу душ. Прошло с тех пор, должно быть, несколько минут, ибо распростертый у задней стены часовни Н'гару был почти завален камнями, истекал кровью и, вероятно, очень страдал. Бросали все больные: мужчины, женщины, дети, даже самые крохотные. Дряхлая, слепая и беспалая Гули плакала от досады, что одна она лишена радости швырять камни.

Они не вняли окрикам маленького священника. Не угомонились тогда, когда он приказывал, а затем умолял. Даже после того, как маленький святой фламандец из Милосердия Господня собственным телом прикрыл убийцу душ, полетело еще несколько увесистых камней. Один из них проломил череп отцу Антуану. Он умер около полудня, так и не придя в сознание.

Похороны состоялись два дня спустя, со всей погребальной торжественностью: с песнопениями и рыданиями, во всем литургическом великолепии черно-серебристых риз и латинских молений, звучавших

над восемнадцатым гробом сезона, у подножия кенийских Белых гор, под проливным осенним дождем.

Двенадцатого октября я отплывал из Момбасы на вполне приличном торговом судне в качестве палубного рабочего. Мы отходили на рассвете, когда лучи восходящего солнца пронзили тучи и зажгли море.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Царь Ирод из года в год призывал нас к себе за двадцать дней до явления Вифлеемской звезды. Мы собирались у него в сумерки, на втором этаже древней башни. Из окна комнаты можно было выйти прямо на широкие бастионы городских стен, воздвигнутых по приказу короля Казимежа Великого. Вал, на котором покоился их фундамент, был каменист, круто обрывался к черной реке.

— Будет так, как я скажу,— предупреждал и предостерегал для начала Ирод.—А кому не нравится... Вон, и дело с концом!

Хочешь не хочешь — соглашались. Ирод был самый старший, самый сильный, самый богатый и лучше всех разбирался в праздничных действах, которыми нам предстояло ежегодно тешить народ в эти разгульные, хмельные и сытые дни от первой звезды в сочельник вплоть до дня поклонения волхвов, с обливанием и валянием по льду под гул верхового ветра, низвергающегося в долины, или в лютую стужу, когда птицы замерзают на лету.

Хочешь не хочешь — соглашались, ибо у Ирода были на то права: он из года в год решал, кто Царь, кто Жид, кто Пастух, кому в чистые, кому в нечистые и кому корону, а кому опять же крыло, хвост, меч, копыта, пейсы или звезду; вот мы и внимали его царским речам с охотой и послушанием, так как Иродов выбор сулил и честь, и забаву, и истинную радость от участия в придуманном им представлении, да и к тому же всем нам удавалось неплохо зашибить. Сам Ирод, как командир святочной роты, а также ее кассир, банкир, автор, костюмер и режиссер, всегда забирал четвертую часть выручки, но и без того каждому из нас в хороший год доставалось примерно столько же, сколько зарабатывал плотницкий подмастерье на стройке двухэтажного каменного дома.

Кое-кто жил этим до марта.

Куба Балица, которого я здесь называю Иродом,— сын каменщика, помышлявший о карьере кадрового унтера,— сформировал свою роту еще в девятьсот восьмом году. Тогда мы были шпаной, такой же жалкой, как и любая другая банда промерзших сопляков, готовая прельститься любым угощением. Куда уж хуже, если в самый день поклонения волхвов нас подняли на смех за фальшивое и нескладное пение у садовника Рокицкого, на младшую дочку которого Ирод уже тогда посматривал плотоядно.

Когда, провожаемые смехом, мы сбежали из дому Рокицких, Ирод собственноручно сломал косу Смерти о спины двух главных виновников и заявил, что со следующего года все будет по-другому. Ему было всего шестнадцать лет, но он кричал на нас воистину по-царски, и все мы боялись его.

Слава о нас загремела, как он и предсказывал, со следующего года. Ирод лето проработал на стройке у своего отца, а весь ноябрь просидел над костюмами, стихами и песнями. Потом он собрал нас в башню и предупредил, что те, кому некогда или неохота репетировать, могут убираться вон, и дело с концом, а кто останется, должны повино-

ваться ему, как царю, господу богу и дьяволу. Он потребовал клятвы. Мы клялись на молитвеннике очень торжественно, а через два года окрестные помещики присылали уже за нами лошадей. Предпоследнего в городе конкурента Ирод сперва припугнул, а затем подкупил, пообещав двойную долю, роль волхва Каспара, плащ красного бархата, золотую державу и самую длинную бороду.

Таким образом, с 1911 года на поле боя остались лишь две роты: наша и Сильвестра Гацы.

Гаца был старше Ирода почти на десять лет и набирал себе шарагу хуже некуда. Однако рота у него была музыкальная, пели они очень красиво, послушно вторя могучему Сильвестрову басу, от которого лопались бутылки и стаканы и млели девицы. Кроме того, вся округа знала, что Гаца зарезал в драке двух сплавщиков и поранил несколько простых парней и забулдыг. Арестовывали его только раз, и он вернулся через неделю. Не нашлось свидетелей против Сильвестра Гацы.

Мы, люди Ирода, уступали дорогу людям Гацы, известного также под кличкой Сильвестр-Нож. Признавали их первенство и устранялись с их пути по недвусмысленному приказу Ирода. Так поступали мы каждый год, три праздничных сезона подряд. А между тем Гацу год от года все более раздражала и бесила наша уступчивость. Ибо пели мы не хуже его роты, все же остальное было у нас в десять раз лучше, интереснее, веселее и праздничнее, чем у него: костюмы в десять раз богаче, тексты смешнее, роли выучены назубок. Короче говоря, вся Иродова рота из шестнадцати человек отличалась от Гацовой как обедня, которую служит епископ, от жалкой заутрени в рождественский пост.

Кроме того, люди Сильвестра быстро напивались и частенько вместо пения колядок скандалили, нагоняли страху, заблевывали сени да перещупывали баб.

Возвращаясь к тому, что Ирод брал себе четвертую часть праздничной выручки, должен сказать, что он — единственный из всей роты — не зарабатывал на рождестве Христовом. Собранные по случаю пришествия господня кроны, гульдены и геллеры он снова вкладывал в державы, крылья, рыцарские щиты, хвосты и разный прочий реквизит, в весь свой декабрьско-январский театр. Следует еще добавить, что Куба Балица, как я теперь думаю, в более подходящее время и при благоприятных условиях наверняка мог бы стать прославленным директором театра, продюсером, драматическим актером или кинозвездой. Таково мое глубокое убеждение, независимо от того, глупое оно или смешное. Ибо, в конце концов, начиная с рождества 1913 года в пределах города, округа и епархии безраздельно властвовали только мы, люди Кубы-Ирода: царь Ирод, Смерть, два Ангела с двумя Ангелочками, Дьявол и два Чудища, три Волхва: Каспар, Мельхиор и Валтазар, Жид, три Пастуха, а также меняющиеся второстепенные персонажи — Цыган, Медведь, Козлище и Баранья Шкура. А все благодаря прелату Паецуну, а также отваге и одержимости самого Ирода.

Еще перед сочельником органист принес Ироду личное послание прелата. Ирод (который в этом, 1913 году готовился к бракосочетанию с младшей дочкой садовника Рокицкого) прочел письмо дрожащим голосом. Впрочем, все мы не чуяли под собой ног: и те, кто еще ходил исповедоваться, и кто уже бросил это дело, те, кто еще побаивался императора Франца-Иосифа, и кто называл его старым хреном. Всем нам было ясно: приглашение с новогодними колядками во дворец епископа было весьма лестным и многообещающим. Мы предвкушали дела необычайные и не ошиблись.

Епископ, в пурпурном одеянии и с пурпурной физиономией, был заметно под мухой и восхищался нашим действом с большим понима-

нием. Он принимал у себя грустную и безобразную, как старая обезьяна, графиню Сальмадь и генерала фон Эберсдорфа вместе со штабом, каковой пьянствовал уже седьмые сутки. И гонорар мы получили неожиданный: сто пятьдесят крон!

Весть об этом чуде облетела всю округу, услыхал о нем и Сильвестр. Когда мы с песней на устах двинулись к купцам в Заречье, он преградил нам путь на мосту (на том самом месте, где два года назад дочка Нухима-портного поразила меня в самое сердце задушевным своим голосом).

Сильвестр был один. Пьяный, но в своем уме и на ногах стоял крепко. Посмеивался тихо и беззаботно.

Только что выпал свежий снежок, и небо искрилось от первого морозца. Воздух был прозрачен. Мы молча смотрели на улыбку Сильвестра Гацы. Ангелы и Чудища, шагавшие впереди, попятились. Я огляделся, ища Смерть, у которой (по приказу Ирода — на всякий случай) коса была настоящая, только тщательно оклеенная холстом и фольгой.

Наконец, Сильвестр перестал смеяться. Швырнул оземь барашковую шапку, топнул ногой. Мост содрогнулся. Вниз по реке плыло все более густевшее сало, и собаки дико выли к морозу.

— Эй вы, щенки! — крикнул Сильвестр.— Где же ваш Ирод?

Ирод бросился вперед как ошпаренный. Сорвал корону, плащ, бросил державу, сорвал черную бороду. Оба потянулись к голенищам — за ножами, отточенными на брусках, поблескивавшими узкими лезвиями.

— У-у-ух! — рявкнул Сильвестр, кидаясь на Ирода.

Но тот встретил его молча, слышался только скрип снега под каблуками, зубовный скрежет да прерывистое сопенье. А потом Ирод вдруг присел, и никто не заметил удара, от которого Сильвестр Гаца, убийца двух сплавщиков, гроза окрестных кабаков, внезапно замер, а затем, уронив нож, схватился обеими руками за живот и тяжело, торопливо дыша, корячась, побрел в сторону города спасать свою жизнь, тогда как мы двинулись дальше с веселыми колядками на устах, не оборачиваясь, не глядя на брошенный посреди моста нож некогда прославленного пьяницы, бабника и головореза.

Гаца выжил. В какой-то мере история эта пошла ему на пользу. Мышцы живота срослись плохо, и на месте раны образовалась небольшая грыжа, которая, однако, была учтена военно-медицинской комиссией. Таким образом, Сильвестр не попал на войну, а только, унаследовав в том же году клочок земли, сменял его на лошадь, пролетку и призванье легкового извозчика. Между тем Ирод — ему с той поры уже не было равных силой во всем Подгорье — стал одним из первых воинов императорской инфантерии, которые отправились из нашего города на величайшую бойню — защищать монарха, монархию и все это обветшалое австро-венгерское лоскутное одеяло, которое начало расползаться на глазах Европы еще задолго до первой мировой войны.

Мобилизованные уезжали в августе, разомлевшие от жары и сивухи, под истошный плач женщин. Долго и со смаком судачили о том, что ни одна из баб не плакала о своем муже так красиво, как Магдалена Балица (урожденная Рокицкая), молоденькая жена Ирода. Они обвенчались на второй день пасхи, а расстались в августе по велению императора и на веки вечные. Но поскольку фельдфебель Балица погиб только на одиннадцатый месяц войны, Магдалена расхаживала осенью тысяча девятьсот четырнадцатого еще гордо и независимо, не вздыхая слишком часто, а также не замечая всех скользящих по ней глаз — мальчишеских, поповских, мужицких, страстных и старчески-бессильных, благо было на что посмотреть.

О, глаза мои! Закрою их и как сейчас вижу жену Ирода. Она возвращается из дальних времен такая же явственная и желанная, словно это было вчера. Весной сорок шестого сказали мне, что она уже давно обратилась в прах, но это сообщение относилось к кому-то совсем другому и ни в коей мере не перечеркивает воспоминания об атласной коже, синих очах, пухлых губах и пепельных волосах.

Снег выпал за три дня до святого Мартина. В тот день жена Ирода и созвала нас в башенку, а мы прибежали и слушали ее так, словно сам он стоял у нее за спиной и напоминал, что те, кому не нравится, могут убираться вон, и дело с концом или нож в брюхо.

Мы поглядывали друг на друга. Их императорское величество, старый хрен Франц-Иосиф забрал от нас на фронт не только нашего начальника Ирода, но также Каспара, Мельхиора и Валтазара, обоих Ангелов, Смерть и Медведя — самых взрослых, высоких, голосистых и наиболее опытных. А значит, все придется начинать сызнова — кто же сможет заменить Ирода?

Магдалена стояла под яркой лампой и смотрела на нас, словно барыня на челядь.

— Куба, мой муж,— говорила она,— прислал письмо и повелел, чтобы вы ходили с колядками, как и в прежние годы. На место призванных в армию возьмите ребят повиднее, только городских, а не из Заречья. Все песни и танцы должны быть по-прежнему разучены и отрепетированы, а присмотрит за этим Франек Кубатый.

Франек потер руки, с достоинством кашлянул. Коренастый крепыш, изображавший Дьявола, он был вторым после Ирода певцом и танцором нашей роты. Уже два года Кубатый ходил при Ироде в личных ассистентах, и никто приказу фельдфебеля Балицы не удивился. И все же, увидав, как Кубатый юлит вокруг Магдалены, расшаркивается перед ней и вертит задом, я вдруг почувствовал, что не выношу этого кривоногого болвана со скуластой мордой и ангельским голоском.

Но тут меня бросило в жар. Магдалена смотрела теперь в мою сторону, продолжая свою речь:

— За прокат костюмов и за то, что снова будете при деле, с вас по-старому причитается четвертая часть выручки. А присмотрит за этим...— И тут, глядя прямо на меня, она заколебалась, словно в этом деле муж предоставил ей полную свободу выбора.

Я расшвырял, как мусор, стоявших впереди и предстал перед ней. Мы встретились взглядами. В то лето я перерос на голову всех ровесников, причем не просто по-мальчишески вытянулся, а сразу же и возмужал. Рос вверх, раздавался в плечах, набирался ума и опыта, и по уму далеко позади оставил узколобого Дьявола — Кубатого. К тому же с октября хаживал ко второй по счету солдатской женке и потому без смущенья и страха мог глядеть в глаза женщине.

— Присмотрю,— сказал я.

И, видимо, побледнел, услыхав ропот. Кубатый от великой злости стукнул себя кулаком в грудь. Но Магдалена подняла руку с письмом и кивнула головой.

— Так велел муж,— сказала она с невозмутимым спокойствием, и, пожалуй, только я уловил, что Магдалена лжет.— Велел, чтобы за деньгами приглядел вот этот.

— Ладно,— обещал я,— пригляжу.

Без Ирода, тройки Волхвов и всех остальных новый состав был жалкой копией прежнего, которому рукоплескали епископ, графиня и генерал. Однако новички старались вовсю, а Франек высекал из них искры таланта угрозой, просьбой и кулаком — и дело пошло не так уж скверно. Тем более что народ, почуявший войну (в нескольких домах

уже надели траур), но еще не придавленный ее тяжестью, гулял по праздникам куда бесшабашней, чем обычно.

В конце декабря забелели снега, заискрились звезды. А перед самым Новым годом наступила оттепель и словно бы запахло ранней весной и великим постом. Но в сочельник снова ударил мороз. Город сковало льдом. Достаточно было в новогоднее утро приостановиться по дороге в костел, чтобы увидеть совершенно необычное представление. Самые достойные граждане и самые чинные старухи плюхались, как мешки с мукой, на обледенелую землю, а нас и других зевак корчило от смеха. Но когда на ледяную дорожку ступила Магдалена Балица, все притихли. Ибо навстречу этой молодой, прекрасной женщине, шуршащей шелковыми юбками и перьями шлемообразной шляпы, бросились новые помощники. А именно: Франек Кубатый и я. То есть Дьявол и Ангел. Вероятно, это было недурное зрелище: в самый новый, 1915 год, на самой середине рыночной площади красивую бабенку подхватывают золотоволосый, в кольчуге поверх белой рубахи и с архангельским мечом Ангел вместе с черно-красным, рогатым и длиннохвостым Дьяволом в овчинном тулупе.

— Пошли прочь! — прошипела она, бледнея от злости.— Кавалеры занюханные!

Она прошла мимо нас легким шагом. А за ней проследовала целая вереница Рокицких и Балицов, из которых почему-то никто не шлепнулся на землю. Разочарованная и присмиревшая толпа постепенно таяла, исчезая в стенах костела. Поэтому мало кто видел, как зазевавшийся Франек вдруг распластался на крутом склоне, точно лягушка под колесом, и проехал на животе по льду несколько метров. Встал с трудом, медленно поволокся назад. А я ржал на всю площадь, поскольку мы оба увидели на пороге костела синее пальто и голубую шляпу Магдалены. Мелькнул ее светлый лик. И смотрела она в нашу сторону.

— Ты! — обратился ко мне Франек.— Ты помнишь, что сделал Ирод на мосту с Сильвестром-Ножом?

— Ну так что?

— А то, что я занесу ей деньги.

— Нет, Франек,— прошептал я.— Этот номер не пройдет.

Деньги я носил в мешочке на груди, откладывая туда лишь Иродову долю, ибо остальные три четверти мы делили между собой каждый вечер. Я все свои гроши отдавал матери (отец уже два месяца был в учебном батальоне, сестра хворала, и в доме становилось голодновато). Раза два меня брало искушение — не запустить ли руку в этот мешочек. Однако останавливала мысль, что Франек наверняка ведет счет деньгам Магдалены и может ей донести. И я к Иродовой доле не прикасался.

Ранним вечером девятого января стало ясно, что празднование рождества Христова нынешней зимой уже закончено и что мы понадобимся только на масленицу. Поэтому мы подвели окончательный итог. Выручка была щедрой, под стать празднику, хоть и закончившемуся преждевременно (поскольку седьмого января пришли четыре новые похоронки в конвертах с черным кантом и еще вернулся сын органиста, желтый, как лимон, с отрезанными до колен ногами), но на удивление разгульному. Все предавались небывалому пьянству и обжорству, и было что вспомнить, ибо ресторатор Хуба наелся в сочельник до заворота кишок, жандарм Хузя две ночи кряду ловил чертей, а к зареченским Кроблам приехали на рождество две дочери-красавицы, постоянно работавшие в лучшем краковском борделе, и в самый праздник поклонения волхвов сплясали на столе канкан, голенькие и розовые, словно херувимчики из главного алтаря, а на следующий день отправились к исповеди, и полгорода сбежалось подслу-

шивать, что эти девицы будут нашептывать сквозь решетку исповедальни, где волею судеб томилась девственная душа викария.

Было на что поглядеть! Сам видел: они продержали его у решетки около часа и на гневный его шепот и восклицания отвечали смиренным всхлипыванием. Обе были голубоглазые и невинные с виду, и викарий в конце концов сник, только слушал, обливался кровавым потом да млел. Отпустил с миром одну грешницу, потом другую. Они смиренно склонились по очереди к руке, к епитрахили и, скромно потупясь, ушли в темную часовню замаливать грехи. А через два дня пополз по городу упорный слух, якобы это была не исповедь, а святотатство, поскольку девки заключили пари: та, которая сумеет договориться с беднягой викарием о свидании, выигрывает пять гульденов. Мужчины смеялись, что выиграли обе, женщины кричали, что никто. И все же с той поры викарий чаще обычного стал ездить по делам прихода в Краков.

Итак, повторяю, хоть первая мировая уже вовсю бушевала в Европе, у нас, небольшом городишке южного Предгорья, первое военное рождество Христово праздновалось с большим размахом. Поэтому, несмотря на уже начавшееся повышение цен, мы заработали колядками почти так же хорошо, как и в 1913 году, если даже не считать гонорара, полученного от епископа.

Девятого января, под вечер, мы покончили с расчетами. Выплатив деньги, я распустил всех новичков, а также большинство старой братвы. Оставил при себе Франека, Баранью Шкуру и еще кого-то третьего и велел этой тройке просмотреть счета, которые вел каждодневно. Велел проверить сумму, ее распределение и, наконец, подтвердить своими подписями, что все было сделано мною аккуратно и без обмана. Франек сперва не хотел подписываться, да не вышло: те двое сразу на него напустились, закричали, что нельзя отказываться. Тогда он заявил, что сам отнесет деньги, но и тут мне не пришлось вмешиваться. Баранья Шкура и тот, безымянный, еще пуще изругали Франека за подлое недоверие и нарушение уговора. Они бы не удивились, если бы за это Франек получил от меня в зубы, коленом под зад или даже ножом в брюхо. Но пока обошлось без драки.

Вечер был тихий. Падал снежок, как всегда к морозу, все более мелкий и густой. Мы были еще в костюмах, та тройка отправилась в пивную. А я (все еще золотоволосый, в белой одежде, с крыльями, в кольчуге и с мечом) обратил взоры свои и шаги к древней, венчавшей крепостную стену башенке, одно из окон которой подмигивало мне и теплилось самым отрадным в мире светом.

Франек догнал меня у каменных ступеней, ведущих в башню Балицов. Он мчался сквозь подсвеченную снегом тьму, словно вселились в него сонмище чертей и свора бешеных собак, мчался прямо на меня, выставив вперед вроде бы и тупые вилы, которые, однако, запросто протыкали грудь или живот.

Серебряным мечом отразил я черные вилы. А потом, не сбросив крыльев и кольчуги, вцепился ему в горло. Схватил не очень удачно — помешали космы овчины, доходившие ему до самого подбородка, но все же быстро свалил Дьявола и прижал коленями к земле, благополучно защищаясь от ответных ударов, благо руки у меня были длиннее. Вероятно, всласть потешились честные христиане, наблюдая, как ангел попирал ногами дьяволову глотку и таскал самого дьявола за вихры так, что эхом отзывались древние стены.

Такие драки не забываются. Тем более что Франек проявил воистину дьявольскую хитрость: вдруг пискнул, как мышонок, придавленный котом, и замер. Я испугался. Отпустил горло. И тогда он громыхнул меня об стену, так что дух захватило. Через секунду Франек уже сидел

на мне. И тогда, впервые за довольно долгое время, я начал призывать на помощь бога. Стонал, завывая: о господи! О боже! Обеими руками отталкивал острие сапожного ножа. Потел, обмирал от страха, пока, наконец, в очередном порыве ангельской ярости, не собрался с силами. И тогда внезапно и беспощадно поддал его коленкой и попал Дьяволу прямо в пах. Франек только тихо охнул и потерял сознание.

Я отобрал у него вилы и нож. Ткнул его черной мордой в снег (в тайной надежде, что не очухается и замерзнет).

Потом поплелся к башне Балицов. Отдал счета, расписки и деньги пани Магдалене — и она вышвырнула меня со скандалом, бранью и криком, поскольку весь дорогой и великолепный наряд Ангела был изничтожен: оба крыла сломаны, кольчуга продырявлена, порвана, парик заметно поредел, рубаха разодрана наискось до пояса.

— Ничего вам нельзя доверить, гайдамаки, щенки, пьяницы! — кричала она своим низким голосом, и глаза ее сверкали.

Франека я уже не нашел в сугробе у крыльца. Подождал часок, пока не пробило десять на башне костела и не погасли последние окна на рыночной площади. А потом уже неделю знакомая и каждый вечер проторяемая дорожка повела меня на обветшалый бастион, откуда я украдкой пробрался к окну башенки. Погашенное для виду, оно оставалось живым и теплым, как руки женщины, которая отворяла на мой тихий стук створку рамы и торопливо, радостно отыскивала меня в темноте под одеждой и бельем, нетерпеливая и задыхающаяся от счастья. По этой причине из всех рождественских праздников, считавшихся праздниками детской чистоты и невинности, ярче всего запомнилось мне это рождество Христово, хмельное и разгульное, которое (после победы над Дьяволом) праздновал я на жарком от перин и любовных игр супружеском ложе царя Ирода, супруга Магды, Магдули, Магдалены Балицы, урожденной Рокицкой. Отмечали мы этот светлый праздничек до самой масленицы и в такой тайне, что ни единая живая душа не дозналась о наших встречах. И вместе с тем так жадно, что пресыщение пришло быстро и безболезненно. Мы расстались великим постом, и уже во время заутрени в страстную субботу я стал позади новой солдатки и дерзко подал ей пригоршню святой воды. Не приняла. Но мы уже знали, что недалек тот час, когда запоем в два голоса аллилуйю. Увидал я также по ту сторону купели независтливую, дружелюбную улыбку пани Магдалены. Вижу ее и сейчас. И лишь одно меня тревожит: действительно ли я пробирался, крадучись темными ночами кошачьей тропой, по гребню старинной стены, или только убедил себя в этом, выдумал небылицу, которую столько раз повторял и пересказывал, что теперь, много лет спустя, уже не разберешь, сколько в ней живой плоти, а сколько наваждения, что померещилось в пьяном бреду, а что приснилось. Я бы предпочел, чтобы эта история была подлинной, и склонен верить в ее истинность. Ведь достаточно закрыть глаза — и Иродова женушка возвращается из далеких времен такая явственная и желанная, словно это было вчера: атласная кожа, синие очи, пухлые губы, пепельные волосы! Gloria in excelsis![1]

Женщину, носившую ее имя и фамилию, застрелили в страстную субботу 1943 года на том же самом крыльце, на котором подстерегал меня когда-то Франек-Дьявол.

Об этом случае рассказал мне легковой извозчик Сильвестр Гаца весной 1946 года, через три дня после моего возвращения на родину.

[1] Вечная слава! *(Лат.)*.

— Жирна была баба на удивленье. Сало ее погубило,— говорил высохший, как щепка, старик в засаленном котелке и черном пальтишке.— Сало, жадность и... откровенно говоря... в первую очередь Мюллер-гестапо. Очень хорошо Мюллер-гестапо знал, что мошна у пани Балицы набита валютой в бумажках и в звонкой монете, золотым ломом и бриллиантами чистой воды. И когда она бросилась бежать прямо из-под дула его пистолета, он, ясное дело: Halt! Halt! Du Alte, du alte Hure, halt!..[1] Вот как он кричал. Я его, уважаемый, до сих пор слышу, словно передают из радиоузла на рынке.

Примерно такими словами Сильвестр Гаца, извозчик, начал свой рассказ о пасхальных праздниках 1943 года, во время которых каратели под руководством штурмфюрера Бенедикта Мюллера уничтожили около восьмидесяти процентов жителей городка и почти половину домов полностью разрушили.

За всю девятисотлетнюю историю этого местечка подобная катастрофа случилась только раз, в 1241 году, во время татарского нашествия. В наши дни, когда в пределах старого города рыли колодцы, всегда на глубине четырех или пяти метров натыкались на черный слой из обуглившегося дерева, костей и пепла. Память об этом событии долго жила в народе, пока оно не превратилось в обычную легенду.

На протяжении последующих семисот лет городишко обходили стороной катаклизмы, армии и банды мародеров, и он привык к своему однообразно-благополучному существованию. Правда, время от времени случались крупные пожары, но это было делом естественным и не слишком удивительным, как и паводки, которые порой смывали несколько домов в Заречье. Более того: первые три года второй мировой тоже прошли здесь в тишине и спокойствии.

— Когда это случилось, пан Гаца? — крикнул я.

Пролетка как раз въехала на мост, и я увидал перед собой на гребне вала закопченный остов башенки Балицов и вереницу черных истуканов — трубы сгоревших домов.

— Как это случилось, пан Гаца? — спросил я уже спокойнее.

Гаца даже не особенно подивился тому, что человек чужой, прибывший из дальних краев, знает его фамилию. Только покачал головой и не проявил никакого любопытства, поскольку и не такие чудеса бывали в те годы.

— Долго рассказывать. А время — деньги, уважаемый,— намекнул он.

Заплатил я ему за часовой рейс, и мы уселись в бывшем ресторанчике Блюма, у окна с видом на рыночную площадь, ратушу, башенку Балицов и выжженный дотла центр города, и вот тогда Сильвестр Гаца рассказал мне о пасхе 1943 года, когда Бенедикт Мюллер, называвшийся некогда в этих местах Мюллер-гестапо, устроил массовое вознесение двум тысячам душ (среди которых оказались и дети, и старики, и бедняки, и богатые — все, кто не успел вовремя ускользнуть от пуль и прикладов людей штурмфюрера).

— По правде говоря,— констатировал во вступительной части Гаца,— все началось с Дьявола.

— С чего?

— Говорю, с Дьявола.

Тут Гаца усмехнулся, сдул пену с жидкого пива и, несколько повременив, пояснил, что речь идет о командире небольшого, но деятельного партизанского отряда. Человек этот (хоть и местный, и христианской веры) взял себе богопротивную кличку Дьявол.

---

[1] Стой! Стой! Ты, старуха, **шлюха старая, стой!..** ***(Нем.)***

Гаца рассказывал спокойно, тусклым голосом. Прежний залихватский бас Сильвестра приглушили водка и астма. Безобразно, тяжко старел этот человек. Видно было также, что воспоминания о пасхе 1943 года достаточно ему приелись. Гаца рассказывал эту историю неоднократно. И даже два раза давал по этому делу показания перед Комиссией по расследованию фашистских злодеяний. Не удивительно, что теперь он не слишком старался. Заплатил я ему немного и не был человеком, представлявшим для него интерес. Правда, Гаца вспомнил, что жил тут когда-то садовник Мартин, но память о его семье и доме уже давно поросла быльем.

— Все получилось из-за того,— вернулся он к основной теме,— что в самое вербное воскресенье Дьявол вышел из лесу, и ему здорово повезло. Охотился он за выручкой маслобойни в Росинах и на одного лысого шпика из Быкувки. А сорвал, уважаемый, крупный куш: три берлинские машины с эсэсовцами. Один настоящий генерал, два полковника, адъютанты, а также три девки в бриллиантах. Ехали к их сиятельству, а тут... Дьявол. Падаль одна от них осталась: четырнадцать штук, сам видел. Чисто было сработано.

Я слушал не удивляясь, не перебивая. Смотрел в черное, выжженное окно Иродовой башенки. На гребне стены расселась стая жирных ворон. Прямо под окном ресторанчика тощая кляча Сильвестра дремала с торбой овса на шее.

— Четырнадцать штук,— повторил задумчиво Гаца,— совсем голых и мертвых, как пить дать, уважаемый.

Из дальнейшего рассказа следовало, что Дьявол перехватил немцев в пяти километрах от города, неподалеку от деревни Быкувки. В ту же ночь Мюллер сжег Быкувку и перебил из ручных пулеметов убегавших от огня жителей.

Вот как началась страстная неделя того года, но округа словно вздохнула с облегчением. Ибо люди полагали, что больше репрессий не будет, а в город эсэсовцы нагрянут лишь за контрибуцией или на следствие по поводу Дьявола. Вот тут и прозвучало имя Магдалены Балицы, несмотря на то что Сильвестр Гаца заговорил о совершенно незнакомой мне, омерзительно чужой женщине, ничем не напоминающей очаровательную Иродову женушку. Ибо начал он говорить о некоей бой-бабе лет пятидесяти, заплывшей жиром и такой жадной, что даже жалким вдовьим грошом не брезговала, хотя, как известно, еще до войны сколотила немалый капитал, а в военное время, благодаря близкому знакомству с Мюллером и его людьми, в ее пухлые лапы потекло рекой (на сей раз еврейское) золото.

На другой день после того как сожгли Быкувку, Магдалена разоралась (обратите внимание!) на всю рыночную площадь. Давно пора, вопила она, покончить с Дьяволом и его бандой, иначе еще один такой фортель, и никто в округе не удержится от смеха. Было это в страстной понедельник. А на следующий день с утра люди ходили к башне Балицов и правда смеялись до упаду. Хоть был великий пост и времена не располагали к веселью, но было над чем посмеяться. Вся дверь и окна первого этажа были вымазаны дерьмом. Тогда кое-кто почуял беду — баба остервенела.

— Сперва хотела, чтобы я свез ее в округ,— с грустью проговорил Гаца.— Жаль...

— Чего жаль? — безразлично спросил я.

— Жаль. Если бы посадил в пролетку и пристукнул по дороге, может, все обернулось бы по-другому,— вздохнул он.

Но тогда Гаца отказался ехать, сославшись на воспаление копыт у лошади. Магдалена нашла другую лошадь и другого извозчика. Поехала утром, воротилась вечером того же дня. Никто уже не смеял-

ся. Все поняли: была у Бенедикта. А в страстной четверг великая тишина сковала город. Из всех окрестных лесов, по ту и эту сторону реки, вышли люди Мюллера, большей частью в черных мундирах под зелеными шинелями.

Сам Мюллер выехал на рыночную площадь в автомобиле. Остановился в ратуше. Магдалена сидела у окна. Смотрела сквозь стекло, как люди Мюллера сгоняют всех на рынок. Часа через четыре возле ратуши сделалось тесновато. Тогда переводчик объявил, что запрещается покидать город без особого разрешения. А штурмфюрер Бенедикт Мюллер стоял рядом с переводчиком, улыбался и добродушно поддакивал его словам, падавшим в толпу. Люди разбрелись по домам торопливо и в молчании. Город пришел в смятение, ибо Мюллер только улыбался, а его стража никого не била и не стреляла, даже не обзывала свиньями и собаками. Именно это всех испугало: откуда у гитлеровцев такая необычная человечность? Кому и что она сулит?

Под вечер «черные» Мюллера задержали у моста возвращавшуюся из леса девушку, которая не могла объяснить, куда и откуда идет и почему у нее золотые дамские часы с выгравированными на корпусе готическими буквами. Гаца стоял с лошадью весь день возле ресторанчика (заведение до войны принадлежало Моисею Блюму, а в сороковом году его за бесценок купила, многозначительно сказал Сильвестр, сама пани Балица) и, таким образом, видел все: как ее вели, как кто-то из солдат заметил, что она пытается что-то бросить в сточную канаву, как поднял с земли блестящую драгоценность и тут же замахнулся на девушку кулаком.

Она свалилась после второго удара, но даже не охнула. Зато немец так страшно раскричался, что сбежались остальные, включая самого Мюллера. Мюллер не кричал.

— Кто была эта девушка?

— Связная.

Но потом извозчик понял, что я спрашивал совсем о другом, и пояснил, кем была девушка, молодая, румяная, веселая брюнетка с ясными очами. Это была Ганка Кубатая, связная и племянница самого Дьявола, то есть Франека Кубатого (который тоже погиб, но в бою, высоко в горах и лишь под конец войны).

Тогда-то, после этих объяснений, я потребовал у официанта две порции котлет и первые пол-литра, хотя поначалу намеревался выслушать все на трезвую голову и в твердом уме. Это оказалось невозможным хотя бы по той причине, что самого Сильвестра донимали голод и жажда и он, прервав рассказ, молчал до тех пор, пока перед нами не появились две дымящиеся тарелки и два граненых стакана.

Мы чокнулись.

— Будем здоровы,— сказал Сильвестр, поддел вилкой четверть котлеты и снова вернулся на рыночную площадь того страстного четверга, во мрак ночи, окружившей город по приказу Мюллера. Ночь была удивительно теплая, и в ратуше не закрывали окон. Поэтому вскоре весь город услыхал, как девушка начала кричать. Она кричала все истошнее и громче до самого рассвета, ибо была упряма не менее, чем Мюллер, который ее допрашивал. Тут к нам кто-то еще подсел, официант подал новый стакан и новую бутылку, с соленых огурцов капал рассол, а Сильвестр Гаца таращил мутные глаза и продолжал рассказывать, время от времени приговаривая: «Будем здоровы».

Он рассказывал, что спокойствие царило до разговенья, значит, до шести часов пополудни страстной субботы ничего еще не произошло, если не считать, что в обеденную пору страстной пятницы где-то между двумя и тремя часами, пожалуй, ближе к трем, вывели племянницу Дьявола из ратуши и поставили у стены храма, правее бокового

входа, там, где теперь доска с молитвой к деве Марии, королевы короны польской («Будем здоровы!»), и все диву давались, что она не только еще жива, но даже держится на ногах, хотя от пояса вверх ничего нельзя было разглядеть, кроме кровавых ошметков и клочьев длинных черных волос. Стала она, значит, к стенке, а супротив нее трое с автоматами. Все же Бенедикт-гестапо разрешил праздновать светлый праздник, и никому не возбранялось идти в костел к плащанице. Только матери заслоняли детям глаза, поскольку ни забрать, ни похоронить Ганку гестаповец не позволил. Так она и лежала у стены, добитая лично штурмфюрером, и теплый апрельский ветер задирал ей подол, обнажая белые колени, пока снова не наступила ночь, а затем страстная суббота: с ней Дьявол и поздравил Бенедикта, прислав ему — на телеге, которой правил придурковатый Феля с хутора Курачки,— двоих его людей, укокошенных по-честному, без всяких пыток («Будем здоровы!»). Город словно бы вздохнул с облегчением, благо Мюллер уже собирал своих эсэсовцев, как перед уходом, и лишь усилил посты на заставах,— а надо сказать, что этот Мюллер, хоть его и огорчило поздравление Дьявола, даже не пристрелил дурачка Фелю, и все еще чуть улыбался горожанам (особенно детям), и в конце концов велел бросить на Фелину повозку уже совсем окоченевшее тельце Ганки Кубатой.

— Будем здоровы! — провозгласил уже кто-то четвертый, и снова забренчало стекло, а повесть Сильвестра Гацы покатила в тартарары, в геенну огненную, огуречный рассол стекал с наших пальцев, точно кровавый пот с чела распятых на Голгофе и кровь с лица связной Ганки. И тут же — как обычно на разговенье — начали стрелять ключи, заряженные бертолетовой солью,— это ребята с двенадцати до двадцати лет от роду открыли свою ежегодную потешную канонаду.

— Будем здоровы! — воскликнул Гаца.

Я представил себе, как у стен костела, совсем как в мое время, загрохотали ключи, и в ту же самую минуту черномундирники Мюллера (дожидавшиеся именно этого момента) начали *свою* пальбу, обходя методично и деловито дом за домом и разя из автоматов все живое — людей, собак, свиней, кошек и коров. На машине Мюллера спустили два колеса, и штурмфюрер пересел в пролетку Сильвестра Гацы. Кружил по рыночной площади и узким улочкам, бил извозчика, когда тот переставал бить лошадь. Каноник умирал в алтаре с простреленным животом. Дочку органиста распяли на кровати викария с помощью четырех тупых штыков. В страстное воскресенье горели уже все дома на рыночной площади со стороны реки, и башня костела занялась багровым пламенем, словно куст можжевельника. Штурмфюрер Бенедикт знал польские обычаи: в понедельник на пасхальной неделе, когда по традиции обливаются водой, эсэсовцы с самого рассвета сталкивали прямо в реку, на черное ее дно, живых, полуживых и мертвых. На разговенье стреляли. В канун пасхи стреляли. В пасхальное воскресенье продолжалось вознесение двух тысяч душ. Магдалена выглядывала из окна первого этажа, потом перебралась на второй, все более бледнея и худея, пока Мюллер, разозленный тем, что ее нет среди мертвых, не начал гонять Гацу вокруг рыночной площади с криком: Wo ist diese Alte Hure? Wo ist diese goldene Alte?[1]

Тогда, наконец, она поняла, что Бенедикт-гестапо давал ей три года зарабатывать лишь для того, чтобы было у кого отнять, и очертя голову, угоревшая от дыма, страха и воплей убиваемых, бросилась к храму, в одном корсете, со шкатулкой в толстых лапах. И погибла вместе с другими.

---

[1] Где эта старая шлюха? Где эта набитая золотом старуха? *(Нем.).*

— Будем здоровы! — рявкнул на прощанье Гаца.

Я расплатился за него, за себя и за всех остальных случайных слушателей. А потом мы оба взгромоздились на козлы, пьяные до бесчувствия, то и дело извергая из себя сивуху и жратву вместе с мерзостью и ужасом тех лет, и приехали в конце концов вместо железнодорожной станции на лесную поляну — чистую, тихую и совершенно идиллическую.

Спустя две недели я шел по другому опустошенному городу, который сожгли, сровняли с землей, разрушили огнем и железом до дна погребов. Шел в первомайской колонне через всю Варшаву, опустив голову, глядя в землю. Был праздник, и я стремился отпраздновать этот светлый день. Но не мог и не желал смотреть в глаза испепеленной пустыне, ибо тогда именно, в час праздничного шествия, потерял всякую веру. Мы — несколько тысяч — двигались с портретами, знаменами, транспарантами к неказистой трибуне, колонна кричала, пела, стучала сапогами о мостовую, а вдоль тротуара стояли разные люди — и те, что нам улыбались, и те, что посмеивались над нами, плебеями, берущими власть в свои руки. Шел я, глядя в землю. Я устал. Меня одолевали неотступные зловредные сомнения. Мне казалось, что мое возвращение на родину — очередная роковая ошибка, и нам не удастся возродить этот огромный край сплошных руин, победить голод и послевоенную разруху, что я напрасно и опрометчиво сюда приехал, вместо того чтобы остаться в обогатившихся на военном бизнесе Штатах, где только и мог рассчитывать на сытое, вольготное существование.

И все-таки я шел в первомайской колонне, нес красный транспарант и держал равнение. Держал равнение, глядел в землю на мостовую, грязную и неприютную, как и вся жизнь, к которой присматривался уже месяц со дня возвращения. Далеко позади остались мудрые слова профессора Альберта о радостной обязанности человека искать истину. Мы брели сквозь зной, предвещающий грозу, и очень глухо звучали наши голоса среди немых стен. Приближались к трибуне, возле которой отбивали такт барабан и литавры военного оркестра. Но я проглядел трибуну, ибо смотрел то под ноги, то вперед, в серую пустоту, перед которой мы были словно кучка ребятишек перед горной лавиной.

Я боялся. Попросту боялся собственной слабости и малодушия.

Шел с коллективом типографии, куда меня приняли с испытательным сроком, хотя я уже почти забыл освоенную в двадцатых годах специальность (пригодились четыре года практики на английском пароходе, где я ежедневно набирал меню и изящные информационные бюллетени для туристов). Нес свой красный транспарант попеременно с человеком, которого знал всего десять дней и который встретил и принял меня как долгожданного брата.

Мы познакомились в варшавском партийном комитете. Я наводил там справки о семье Костецких, о людях, перед которыми остался в великом, неоплатном долгу. Услыхал мой вопрос один из посетителей — человечек тщедушный, суетливый и лысый, который шумел из-за лимита продуктов для столовки при типографии. Он стучал кулаком по столу, горячился. Но едва услышал, что я интересуюсь Костецкими, ринулся ко мне и велел ждать, пока он не закончит свои дела. Лицо у него было сердитое, изможденное и заросшее, один глаз серый, живой и налитый кровью, а другой — чересчур голубой и ясный — явно искусственный. Я дожидался его. В Варшаве я был второй день, а на родине — десятый или пятнадцатый. Не знал, что делать с собою, у кого спрашивать дорогу. Возвращаться на море запретили врачи, я же по-настоящему знал только морское и военное ре-

месло. Ходил, тщетно выспрашивал: на что могу сгодиться? Наконец, в комитете схватил меня этот человечишка, поскольку имя Костецких прозвучало для него как волнующий, знакомый пароль.

Он забрал меня тогда к себе на Черняков, где занимал в полуразрушенном флигельке две комнатушки вместе с женой, двумя дочерьми, мужем младшей дочери и племянником жены. Несколько часов расспрашивал и выпытывал, а я объяснял ему, кем был, кем стал, из каких дальних странствий возвращаюсь и чего ищу в родном краю, которого давно не видывал. Он внимательно выслушал меня, а потом рассказал, как погибли старик Костецкий и оба его сына. Что с Марианной, он не знал, полагал, однако, что и ее не найду среди живых.

Ночь была спокойная и теплая. Мы сидели на кособоких ступеньках крыльца. Когда закончили разговор, над Вислой уже клубился предрассветный весенний туман, и этот недоверчивый, но великой души человек, Теофиль Шимонек, собрат по печатному искусству, сказал, что займется мною и поможет мне найти место под этим небом. Так он и сделал. Я поселился у них. Потом Теофиль отвел меня в свою типографию и усадил на пробу за линотип. Позорная была эта проба, но не последняя. Начало стоило мне — словно ученику — и огромных усилий, и стыда, ибо помнил я уже слишком мало. Но людей было еще меньше. Теофиль не отходил от меня, опекал, приучал, и в конце концов убедил, что и я смогу приносить пользу.

Скорее себе, чем ему, я обещал, что не подведу. Однако не во всем смог ему поверить, ибо Теофиль утверждал, что не ведает никаких сомнений и колебаний. Народ, говорил он, взял власть в свои руки. И только партия рабочего класса сумеет хорошо этой властью распорядиться. Он приказывал мне смотреть на руины и видеть новый, великолепный мир. Землю — крестьянам! — восклицал он взволнованно. Заводы — рабочим!

И вот мы двигались в первомайском, не слишком многолюдном, шествии по пустынному, расстрелянному городу. Я шел плечом к плечу с Теофилем, перед трибуной он отобрал у меня транспарант, сердитым голосом велел шагать бодрей и смотреть вправо. Но я глядел под ноги, на грязную, перепаханную гусеницами танков мостовую. Не кричал и не пел, как другие.

Теофиль раз-другой сердито осведомился, что со мной и не болит ли у меня живот. Я ответил ему каким-то крепким словцом, но когда демонстрация уже расходилась, сразу же обмяк и покорнейше попросил Теофиля пойти со мной на Замковую площадь, к колонне короля Зигмунта, к замку, которого нет, в выжженные руины Краковского Предместья. Он не понял, чего я хочу, но согласился, впрочем продолжая сердиться, не отдал мне транспаранта и не свернул его, хоть мы шли уже не с демонстрацией и позади нас порой раздавались ядовитые смешки.

Замковая площадь уже опустела, и наш разговор состоялся без свидетелей. Солнце припекало все жарче, из-за Вислы долетали первые порывы ветра. Мы уселись на искалеченных ступенях королевского памятника, лицом к реке.

— Чего тебе? — спросил Теофиль, прислоняя к королевской колонне красный транспарант.

Он устал, лицо его было в поту, живой глаз слезился.

Я еще колебался. Не был уверен, поймет ли он. Но все же рассказал ему, зачем, в сущности, пришел сюда и что с собой принес. Я сказал: на этом самом месте, довольно давно, в двенадцатый день ноября 1918 года, состоялся смотр двух батальонов варшавского гарнизона. Мы выстроились и замерли по команде «смирно» лицом к памятнику.

Позади у меня, в ту пору восемнадцатилетнего, были три года войны, а впереди — все это обещанное «свободное» и «независимое» будущее на родной земле. Я стоял четвертым в шеренге второй роты первого батальона. Пыжился, как и все,— так, что дрожала шея,— и, подобно всем, старался дышать поглубже, чтобы не пустить солдатскую слезу ради первого дня независимости на потеху окружавшей нас толпы. Полковник Леон огласил приказ Коменданта. От слов этого приказа мороз подирал по коже. Мы стояли, вытянувшись во фрунт, по-солдатски непоколебимо. Разные были среди нас, очень разные солдаты и люди, совсем не похожие друг на друга легионеры. Успели мы также убедиться, что ни Комендант, ни мы, его воины, отнюдь не являемся любимыми и боготворимыми сынами глупого нашего народа, в связи с чем уже давно пели всяким царско-императорским прихвостням и прочей швали: «Не надо нам от вас признания» или попросту: «Пусть вас собаки...» Частенько певали мы эти слова закрытым окнам, которыми нас приветствовали, и пустынным улицам, отнюдь не выстланным в нашу честь цветами.

Однако в тот день, двенадцатый день ноября 1918 года, совершенно иначе и по-новому мы ощущали свою силу. Мы стояли на широкой Замковой площади и гордо, преданно смотрели в лицо полковнику Леону, который зачитывал приказ Коменданта. Ибо хоть и разные были среди нас солдаты и люди, все мы понимали одно: сегодня впервые за сто двадцать лет зачитывается в Варшаве приказ по Войску Польскому, которое уже было не повстанческой армией, легионом или вспомогательным корпусом того или иного императора либо временного правительства, а полноправной и собственной армией независимого, с собственными законами и беззаконием польского государства.

— Солдаты! — прерывисто гремел над нами знакомый голос полковника, обращавшегося к нам от имени Коменданта.— Я принимаю над вами командование в ту минуту, когда сердце каждого поляка бьется сильнее и горячее, когда дети нашей земли узрели сияние свободы во всем ее великолепии... Вместе с вами я переживаю этот волнующий исторический момент, вместе с вами клянусь, что не пожалею крови и самой жизни для блага отчизны, во имя счастья ее граждан.

Тут голос полковника дрогнул, и темневшая на тротуаре толпа господ — изящные шляпки, цилиндры, котелки, монокли — сразу же забелела батистовыми платочками, поднесенными к глазам, да и у самого бронзового короля Зигмунта лицо было мокрое от тумана и мелкого дождя.

— К чему ты это рассказываешь? — медленно и угрожающим тоном процедил Шимонек.— На прежнее потянуло? Предпочел бы праздновать старорежимный маршальско-барский ноябрь вместо рабочего мая?

Я помолчал с минуту, давая окрепнуть голосу и остыть голове. А потом спокойно и рассудительно заметил, что высказался он как тупой, безмозглый и непонятливый баран. Он обиделся, вскочил, хотел уйти. Но я крепко схватил его и попридержал. Неторопливо и без всякой злости объяснил ему, что тогда — в 1918 году — свято доверял словам Коменданта, верил безгранично в справедливость и силу свободной и независимой отчизны, хотя не с таких бед и развалин, как теперь, начинала она свое существование. Верил тогда одержимо и безотчетно — в свои восемнадцать лет был глуп и будущее видел лишь в радужных тонах. А теперь вот мне сорок шесть, четыре войны за спиной, ограниченная трудоспособность, все тело в шрамах, а главное — великое смятение внутри. И если его, друга, я привел сю-

да, то вовсе не для того, чтобы похваляться прежней своей нелепой наивностью.

Привел я его и пришел с ним сюда, на это давно знакомое место, со своей великой заботой, пришел просить его, чтобы он убедил меня по-человечески и толково, что мое нынешнее поведение и страх необоснованны и малодушны. Ничего мне не надо, говорил я, хочу только поверить ему хотя бы наполовину столь же сильно и искренне, как некогда, очень давно, верил словам полковника.

— Теперь мне сорок шесть, Теофиль,— сказал я, не глядя на него.— Многого мне не требуется. Хватит нескольких твоих слов. Одно только у меня желание: чтобы воздвигнутое народом не рассыпалось снова в прах. Можешь мне дать слово, Теофиль, что такое не случится? Ты в партии, знаешь больше других. И уж наверняка знаешь и понимаешь больше меня, Теофиль. Скажи доброе слово.

С реки подул сильный, порывистый ветер, подымая такую густую кирпичную пыль, что Теофиль заплакал обоими глазами. Ему даже пришлось вынуть свой искусственный невинно-голубой глаз и протереть его платком.

— Янек,— сказал он.— Дружище!

И смолк. Долго тянулось это молчание, пока он собирался с мыслями и, наконец, заговорил резким, сварливым голосом, отвечая на мою просьбу. Объяснял неумело и нескладно, что нельзя терять надежды и уверенности, ибо только этого и дожидаются классовые враги всех мастей. А победить, выкрикивал он мне прямо в лицо, должны мы. Впервые в истории нации народ взял всю власть в свои руки, и победа обеспечена, поскольку рабочий класс, крестьянство и трудовая интеллигенция под руководством партии, пролетарской и коммунистической, никогда и никому власти этой не отдадут. Так оно есть. Так должно быть. Так оно и будет — и хоть он не пророк и не поэт, он клянется мне здесь и обещает...

— Янек,— воскликнул он тонким голосом.— Дружище!

В глубине неба громоздились черные тучи, и ветер принес первый рокот надвигающейся грозы. А Теофиль вцепился обеими руками в древко транспаранта, даже пальцы у него побелели, и снова надолго умолк. Глядел в землю.

— Ты что думаешь? — спросил он наконец.— Если я с партбилетом, то на меня снисходит божественное озарение? Нет, брат. Сам испытай, как иногда бывает горько. Но,— и тут он снова повысил голос,— одно тебе обещаю наверняка: мы выиграли войну, выиграем мир, поскольку, Янек...

Он говорил теперь голосом сильным и суровым. Без всякого сожаления громил мое репатрианское малодушие и трусость. Но мы оба знали, что не только меня Теофиль так корит и порицает. Был он недоволен и собой — и, возможно, прежде всего осуждал себя за слабость души и недостаточную веру. Одной рукой он держал мою руку, а другой стискивал древко транспаранта. Ничего нового и мудрого не сказал он мне. Слова его были слабее и бледнее любой статьи, обещавшей народу светлое будущее. И все-таки он тронул меня за живое своим забавным гневом и криком, я начал верить его словам, ибо сам он был неопровержимой и вернейшей их порукой. Он сам — и вся его жизнь.

Теофиль стоял на верхней ступеньке памятника и бил себя кулаком в грудь. Ветер трепал кумач транспаранта. Со стороны Медзешина слышался все более грозный рокот. А Теофиль клялся мне, что еще при жизни нашего поколения эта каменная пустыня превратится в живой город, и жизнью народа мы будем распоряжаться с умом и по справедливости.

Домой мы возвращались уже под проливным дождем, распевая подходящие для этого дня песни. Я принял от Теофиля тонкое древко и пел во все горло. Мы шли сквозь дождь и грозу, и я не забуду этого дня, этого разговора и обратного пути, пока живу. Теофиль потребовал от меня солидарности. Поручился самим собой. Я принял его ручательство — поверил ему и благодаря этому смог, наконец, поверить и в себя. Понял, что должен был вернуться в Польшу, хотя пока мало умею и еще на меньшее могу рассчитывать, хотя, кроме семейства Шимонеков, у меня не оставалось здесь никого из близких.

Много воды утекло с того дня, первого мая сорок шестого года. С более чем двадцатилетней дистанции я смотрю на него несколько снисходительно. И все же вправе сказать себе, что самое главное из того, в чем мы поклялись тогда друг другу, было выполнено нами по мере наших возможностей. В своей пространной и нескладной речи над гробом Теофиля я попытался отблагодарить его и за то его ручательство, в котором он, в конечном счете, не обманулся. Признаюсь: бывали и такие минуты, когда я, глубоко униженный, с трудом защищал от самого себя свою веру и свои убеждения. Это удавалось, хоть и дорогой ценой.

Самые трудные и тяжелые испытания выпали на мою долю ранней весной 1952 года.

Вызывал меня на допросы упрямый и поистине бессердечный педант. Он хотел сделать из меня свидетеля обвинения против человека, которого я не знал, по делу, в которое не верил. Когда я добивался освобождения из-под стражи — криком и шепотом, умоляя, чтобы проверили мою невиновность,— он даже не смеялся и не скучал.

Я пережил тогда нелегкие часы, о которых не стану здесь вспоминать. Между тем он, наконец, понял, что от меня проку мало. Перестал вызывать на допросы и забыл о бесполезном человеке. Я не успел понять, чего и каким образом избежал, как меня вдруг без всякого повода перевели в провинцию. Тут камера была на двоих с окном на северо-запад, далеко от канализационного стояка, с хорошей вентиляцией, невысоким козырьком в окне и плотно закрывающейся парашей.

Камера на двоих — и в ней лишь один постоялец: мужчина постарше меня со скуластым, умным лицом, белыми руками, усталым голосом и очень веселой улыбкой. Именно такой улыбкой он меня и встретил.

— Мне очень приятно, уважаемый гражданин, принимать вас у себя,— произнес он приятным чистым голосом.— Сегодня хорошая погода.

— Однако ночью может быть дождь,— ответил я, что явно ему понравилось, и мы оба даже довольно весело засмеялись.

Ночью действительно прошел дождь, но следующий день снова выдался погожий, и солнце, в полдень заглянувшее в камеру, припекало так, словно был уже июнь, а не середина апреля. Старожил похвалил меня за точный прогноз и принялся очень внимательно ко мне приглядываться. Ясно было, что он проверяет, не подослали ли ему в моем лице какой-нибудь беды. Мне же еще никак не хотелось открывать перед ним душу. Я устал и едва собирался с силами после пережитого.

Наконец, наступил день, когда первый обитатель этой камеры счел, что не стоит больше терять время на обнюхивание моей совести и выяснение моей роли. Ранним утром он подошел к моей койке, сказал, что, по его мнению, ситуация ясна: нам пора друг другу представиться. Надлежит также сообща заняться каким-нибудь разумным делом, например, гимнастикой, изучением иностранных языков, идеоло-

гической подготовкой, чтением книг и газет и тому подобным. Проговорив это, он щелкнул великолепными зубами верхней вставной челюсти и весело рассмеялся. Затем назвал себя, и я, наконец, понял, откуда знаю это лицо: его фотографии встречались в газетах, случалось мне также набирать его статьи и часть книги, из которой ничего не запомнилось, поскольку была она посвящена истории экономики или экономической истории позднего феодализма.

Я вскочил с койки.

— Профессор! — крикнул я.

А он попотчевал меня улыбкой и решил, что с этой минуты мы будем между собой говорить обо всем и перейдем на «ты».

Через два дня был праздник.

Мы встали в пять тридцать, уже совсем рассвело. Полчаса гимнастики. Завтрак принес лично старший надзиратель, Щепан Стошко.

Мы стали с профессором Франеком во фрунт.

— Поздравляем,— скандировали мы, словно батальон перед полковником,— с праздником Первого мая!

Рыжий, веснушчатый, всегда усталый Щепан отдал честь, поблагодарил, но остался недоволен.

— Предписывается,— заговорил он строго, с виленским акцентом,— чтобы праздничный день отмечался. С понятием и от всего сердца. А вы тут, граждане заключенные, какой-то театр устраиваете? Рапорт мне, что ли, писать в самый праздник?

— Послушай, Щепан,— сказал профессор Франек.— Ты сам понимаешь, что каждый из нас обоих имеет право на этот праздник. Времена трудные и сложные. Но праздник, Щепан, для всех.

— Для всех! — подтвердил я убежденно и с такой же, как Франек, серьезностью.

Щепан Стошко, старший надзиратель, держался по своему обыкновению за левый бок. Глянул в окно, похвалил погоду. Несколько смущенно кашлянул, сказал, что сейчас продолжит обход, но после обеда заглянет по тому делу, которое нам известно, а ему понятно. Франек весело засмеялся, потирая руки, я тоже обрадовался, а около четырех, когда солнечные лучи, просеянные сквозь листву каштана, передвинулись на правую стену камеры, на столе перед нами появились три алюминиевые кружки и две литровые фляги с отменной вишневкой собственного, Щепана Стошко, мастерского изготовления. И пошло дело: первую флягу усидели, не перекрикивая друг друга и не торопясь, за мирной беседой о старшем надзирателе Щепане, о его оставлявшем желать лучшего здоровье и о супруге, лучше которой нет, о двухмесячном внуке и зяте-кладовщике, который горячо любит дочку Щепана, колотит ее редко и не при посторонних, а также о других домашних проблемах этого большого и трудолюбивого семейства.

Когда перешли ко второй фляге, профессор уже основательно разрумянился. Он оперся кулаками о стол, встал, велел нам замолчать и, поглядывая на озаренные солнцем окна верхних этажей, произнес примерно следующее:

— Как справедливо отметил товарищ старший надзиратель, предписывается отмечать праздник радостно, но и серьезно. Это старое и вместе с тем мудрое правило. Поэтому, дорогие сограждане и товарищи, прошу выслушать меня, поскольку нам еще здесь полагается праздничная речь. Речь, которую я решил произнести в полном согласии не только с моей чистой совестью, но и с тем моим жизненным опытом, который, как бы там ни было, является, товарищи, частью великого, великого и коллективного опыта нашей революции. Да!

Лоб Франека блестел от пота, на висках и шее вздулись жилы, он снял запотевшие очки и показал свое словно оголившееся лицо с толстым носом и грустными глазами. Но никто из нас не засмеялся. Мы с уважением дожидались его дальнейших высказываний, из которых мне мало что запомнилось, поскольку наливка ударила тогда в голову и дело это давнее. Однако помню, как вдруг захотелось нарушить эту торжественную тишину и поставить все на свои места.

Но Франек, пожалуй, догадался, что у меня на уме недоброе. Властно положил мне руку на плечо, придержал, шепнул что-то, чего я не расслышал. Но все-таки понял: вопреки всему мы довольно схожи по своему житейскому опыту, который является частицей великого, как заметил профессор, великого коллективного опыта.

Щепан вглядывался в лицо Франека с искренним уважением и желанием понять. Некоторым образом он был здесь вполне на месте и среди своих. Ибо почаще наведываться в нашу камеру, играть в шахматы, беседовать и даже угощать наливкой и тому подобное ему поручило начальство.

Щепан сам рассказал об этом Франеку и отверг предостережения, что игра эта небезопасна для него самого и в случае если дело примет плохой оборот, его могут обвинить в преступном сговоре. Но Щепан в это не верил и только посмеивался (какой же я, голубчики, враг и заговорщик, спрашивал он). Ему нравилось посещать нас еще и потому, что мы с профессором Франеком были единственными в округе шахматистами, которым старший надзиратель не должен был давать форы и сражаясь с которыми он одинаково часто выигрывал и проигрывал. Следовательно, наш совместный праздник был делом куда более простым и естественным, чем это могло бы показаться теперь, пятнадцать лет спустя. И, разумеется, не было никакого шутовства, лжи или пьяного куража в той праздничной речи Франека, которую я слушал вместе со старшим надзирателем, товарищем Щепаном Стошко, погожей предвечерней порой первого мая пятьдесят второго года в опрятной камере провинциальной тюрьмы. Франек снова нацепил очки, выпрямился, и голос его зазвучал сильно и звонко. Он предостерегал нас от малодушия и неверия. Объяснял нам, в какую эпоху довелось жить и умирать нашему поколению — эпоху, которая во всем, и в страданиях, и в надеждах, не имеет себе равных в истории земного шара.

— Человек,— сурово говорил Франек,— всякий человек родится человеком. Но каким человеком сделается, зависит от степени его участия в работе человеческого коллектива и от выбора! От свободного выбора принципов своей человечности. Свободного, говорю. Но свободного в выборе не in abstracto, а определяемого величественным, им же самим созидаемым миром со всеми его противоречиями и закономерностями развития. Поймите, люди: человек может быть человеком только среди людей и благодаря совместным с ними деяниям. Только в зависимости от этого, только так человек, прожив долго и счастливо, может умереть с сознанием своего человеческого достоинства. Понимаешь, Щепан?

Щепан вскочил, щелкнул каблуками, вскинул руку к непокрытой голове — не по уставу, но от всей души.

— Так точно! — крикнул он и тут же сник под строгим взглядом Франека, а второе свое «так точно» произнес робко и растерянно. Франек, тронутый размягченностью старшего надзирателя, похлопал его по плечу, дал знак: вольно, садись, слушай.

— Человек родится человеком,— продолжал он, отбивая такт кулаком по столу,— и стремится познать истину, причем любая истина складывается из суммы истин релятивных, то есть относительных, и

неудержимо стремится к главной цели, то есть истине абсолютной, которая, согласно законам диалектики, чем ближе, тем дальше. Поэтому...

— Выпьем,— робко вставил Щепан.

Франек поддержал это предложение, мы отпили по глотку, стукнули кружками о стол, и профессор вдруг расчувствовался. Вероятно, он искал в себе это неудержимое стремление к истине, которая чем ближе, тем дальше. Он протер очки, потер глаза, голос его уже ломался и дрожал.

— Стремясь к нашей собственной правде,— говорил он, разглядывая отпечатавшиеся на стене контуры листьев каштана,— скажем себе, товарищи, прямо: опыт революции куда более велик и могуществен, чем все, что нас здесь томит и отвращает от надежды. Мы не знаем, доживем ли до поры очищения. Не знаем, воздастся ли каждому из нас по справедливости. Но... Ян, и ты, Щепан... я говорю вам о своей собственной и вместе с тем общей нашей правде: если мы подведем итог историческим событиям эпохи, в которую мы родились и стали людьми, то увидим — ничто не может исказить справедливых законов революции. Говорю вам, товарищи, грянет такое время, такой век, когда с Интернационалом... с Интернационалом...

— Воспрянет род людской! — подхватили мы со Щепаном во всю силу легких, расправляя немолодые наши плечи и твердо веря, что в этих словах или в том, что стоит за ними, слышится та человеческая правда и вместе с тем абсолютная истина, которая чем ближе, тем величественней и дальше. Бодро и голосисто, малость фальшивя, но дружно и четко спели мы припев, а затем второй и третий куплеты. Мы пели единодушно, с одинаковой надеждой и верой, полные искренней солидарности, а наиболее чувствительный из нас, Щепан Стошко, вовсе не стыдился крупных слез, которые текли по его побледневшему лицу. Мы держались за руки в едином порыве и дыша словно одной грудью...

Потом мы помолчали. Щепан угостил нас сигаретами, предупредительно подал огоньку профессору, затем мне, погасил спичку, прикурил у меня. Задумался. Небо за окном наливалось теплым багрянцем.

— Рассказали бы что-нибудь интересное,— вздохнул Щепан.— Из своей жизни, о белом свете, о путешествиях.

Туча в небе над кутузкой была словно огромное дерево с листьями из тусклого золота, дерево, ствол которого в крови и затесах от топора. Я зажмурился, чтобы отчетливей увидеть его: оно стояло у спуска в долину Киапу, пламенеющее в лучах солнца, с крайней ветки скользнула гирлянда маленьких розовых паучков, из дальнего закоулка памяти отозвался голос птицы-лиры, подражающей девичьему смеху.

— На Новой Гвинее,— сказал я Щепану,— есть разные птицы, но одна умнее всех попугаев и скворцов. Называется птица лира, а по-английски: lyre-bird. Учить ее не надо. Сама, по собственной воле повторит все, что ей понравится. Есть там деревья с золотистой листвой, на которых эта птица вьет свои гнезда, и маленькие розовые паучки, и гусеницы, которых не отличишь от сухих веточек.

— Есть там,— добавил Франек,— папуасские племена, быть может, до сих пор занимающиеся каннибальством.

— Что такое каннибальство? — поинтересовался Щепан.

Я пожалел, что затеял этот разговор, но уже поздно было отступать. Стоило, наконец, раз и навсегда избавиться от тяжкого бремени, сбросить с себя память о тех днях.

— Каннибалы, Щепан, это людоеды,— сказал я резко.— Людоеды и охотники за головами. Головорезы, Щепан.

Франек взглянул на меня поверх очков с искренним любопытством.

— Ты был там? — осведомился он.

— Был.

— Так почему же у тебя остались и окорока и голова? — сердито и недоверчиво проворчал Щепан, а потом долго смеялся, упиваясь собственным остроумием.

Меня не трогали ни его смех, ни пробудившееся любопытство профессора. Я еще пытался оттолкнуть от себя эту свою Новую Гвинею, тот месяц, изобиловавший холодными дождями, страхом и бедами, те необычные деревья, птиц, паучков и топоры, дротики и оскалившиеся в вечной улыбке человеческие головы. Почти уже достиг цели, но Щепан, наконец, поверил мне. Проникся серьезностью, вытаращил глаза.

— Погоди ты, погоди! — сказал он строго.— Не обманываешь честной народ? У меня были новогвинейские марки. Красивые, но подпорченные.

— Красивые, говоришь? Эх, вы! — я оглядел их с сожалением и злостью.— Что вы знаете о мокром острове? Ты говоришь: человек родится человеком. Скажи — всюду ли?

Франек протер очки. Вспомнил, что знал о мокром острове: Порт-Морсби, в глубине острова, у подножья горы Давида — группы негроидов, администрация англо-австралийская, первобытнообщинный строй.

— По сей день,— проговорил он профессорским тоном,— некоторые племена живут как на заре человечества.

— Вот красиво-то сказано,— растрогался Щепан.

— Ты думаешь? — спросил я, сжимая кулаки.

Щепан пристально посмотрел мне в глаза. Шумно вздохнул — уважительно и изумленно.

— Профессор! — сказал он.— Профессор! Он правда там был.

— Да,— сказал я.— Да! — крикнул.— Я там был!

Руки мои дрожали, в горле пересохло, пот стекал на глаза. Вся забытая новогвинейская нечисть снова схватила меня за глотку: голод, голод, ядовитые змеи, каменные топоры и ножи, человеческие кости, усыхающие в дыму костра головы, lyre-bird, со смаком подражающая голосу истязуемых. Я ненавидел. Беспредельно и всем естеством ненавидел этих ничегошеньки не знающих болванов, у которых при одном упоминании об экзотическом острове заблестели глазки и в зобу дыханье сперло. Узри собственными глазами пустые глаза Лори, прикоснись к перерезанным глоткам — тогда, возможно, отчасти поймешь, чем, в сущности, была и осталась заря человечества. Я ненавидел, хоть эти двое не были повинны в своем неведении. Вздохнул поглубже, чтобы успокоилось сердце. Пригляделся к ним: они сидели сытые, хмельные и довольные, каждый на свой лад.

— Эх, вы,— повторил я уже тише, с притворной мягкостью.— Что вы знаете о заре человечества...

Франек отвел взгляд, прошептал что-то, зато Щепан, ничего не понимая, пялился на меня наивно и доверчиво, весь обратившись в слух и готовый внимать праздничной байке о новогвинейской заре человечества.

— Когда ты там был? — робко спросил профессор.— Давно?

— Когда «Клеопатра» затонула, мы попали в Порт-Морсби. Там я прикончил эту свинью Казареса, и мне пришлось бежать на юго-восток, а потом на юг, через горы, в Риго.

На свои денежки и взятые у подыхающего Казареса я вполне сносно отъелся на северной окраине Порт-Морсби, в курильне и кабаке для китайских нищих и малайских жуликов. В порт возвращаться боялся, чтобы не спросили, по какой причине убит бывший боцман «Клеопатры». К тому же меня предупредили, что здесь скорая на расправу полиция. Я хотел переждать по крайней мере две недели. И было на что: у Казареса я взял свыше двухсот долларов. Но вдруг начались облавы. Я решил бежать — вдоль берега, на юг, в сторону Риго. Мне советовали: не отходи от берега, не ищи туземцев. Сказавший это китаец улыбнулся, показав мне черные зубы, и провел пальцем по шее.

Я ушел из Порт-Морсби на рассвете в дождь и туман, по приморской дороге, ведущей на юго-восток и юг, но уже под вечер очутился в джунглях. Неожиданно меня окликнул подвижной полицейский патруль, а когда, потеряв голову, я бросился бежать, двинул следом. У полицейских были две собаки, я слышал их лай. На второй день бегства я пошел руслом ручья, сбегавшего крутыми зигзагами с зеленого склона. Собачий лай стих. Я понял: потеряли след. Я был один и свободен. Совсем свободен, но не знал, где нахожусь, во время бегства потерял узелок с сухарями и консервами, а холодный дождь лил как из ведра, словно перед потопом. Охваченный внезапным и смертельным страхом, я принялся кричать полицейским, звать собак: вернитесь, не отопрусь, убил, готов принять наказание.

Но тут неподалеку отозвались барабаны, гремящие под рукой человека барабаны. Стало быть, я снова услышу человеческий голос! Быть может, следовало его бояться, но в ту минуту я попросту услыхал гул барабанов — призывный, не слишком далекий, непонятный, но такой человеческий. И сразу же подул верховой, хлесткий и горячий ветер. Ливень превратился в едва моросящий мелкий дождичек, тучи просветлели.

Наконец, свершилось чудо: небо очистилось.

— Встань и иди! — велел я себе.

И я встал и пошел прямо на голос барабанов, с каждым шагом, с каждой минутой чувствуя себя все уверенней. Пошел навстречу разносящемуся по белу свету человеческому голосу. Солнечное тепло разбудило весь буйный зверинец этой земли: в воздухе замельтешили розовые и зеленые паучки, раздалось веселое верещание молодых обезьян, с лиан падали на меня какие-то насекомые, похожие на сухие веточки, прямо передо мной на поваленном стволе дерева присела полуметровая ящерица и залаяла сердито, по-собачьи.

Но вот деревья расступились. Я побежал. И наконец очутился под открытым небом, которое распахнулось над небольшой поляной, поросшей высокими травами. Я принялся стаскивать с себя мокрое тряпье. И вскрикнул от радости, ибо восходящее солнце показало мне путь на юг, к побережью. Барабаны утихли, зато вокруг поляны громко заверещали птицы. Я расстелил мокрое барахло на обсохшей траве, погрелся на солнышке и вдруг ощутил такую радость, что пустился в пляс, растирая грязное тело и похлопывая себя по отощавшей заднице.

Тогда показались люди. Сперва «хохотун», впереди которого бежала маленькая толстая собачонка, потом охотники. У «хохотуна» из-под всклокоченной шапки волос поблескивали дикие, полные ужаса глаза — и несмотря на это он смеялся. Но смех этот был вымученный, натужный, смех через силу, от которого кривилось лицо, напрягались мышцы шеи и вздрагивала вся его тщедушная и безобразная фигурка. Не замечая меня, он опрометью бежал через поляну.

Потом остановился. Собака бросилась к нему и в ту же секунду над поляной мелькнули две узкие черные тени. «Хохотун» взревел. В спину ему вонзились два копья. Я крикнул вместе с ним, а он, не прерывая смеха, с огромным трудом сделал шаг, другой и, наконец, на третьем очень медленно повалился ничком и застыл на земле. Собачка с радостным визгом вскочила на его вспоротую спину. Но и ее настигло копье.

Я высунул голову из травы. Я ждал их. И увидел.

— Что же дальше? — взволнованно спросил Щепан, когда я надолго умолк.— Дальше что?

Тут я всегда останавливался. И неизменно воцарялась тишина, которую в конце концов нарушал вопрос: что дальше? А я окидывал взглядом лица и глаза — встревоженные, скучающие, недоверчивые, испуганные. Женщины зажмуривались и прижимали руки к груди. Если на столе было угощение, обычно в этот момент кто-либо из слушателей наполнял рюмки или требовал новую бутылку. Я же, немного повременив, объявлял самым обычным тоном, что несколько часов спустя был уже в деревне, насчитывавшей сорок две хижины, а встречали меня как короля и пророка и воздавали почести, словно богу и отцу всех поселений в округе, разбросанных по извилистым долинам среди остроконечных холмов, окутанных теплым туманом, покрытых непроходимыми зарослями. Тут начинался очень складный и поучительный рассказ о том великом и долгом празднике, каким было мое пребывание среди дикарей юго-восточной части этой возвышенности, которая на севере переходила в цепь высоких гор Оуэн-Стэнли.

Всякий раз мой рассказ выглядел несколько иначе, ибо приходилось применяться к аудитории, памятуя, что одни предпочитают пустить слезу, а другие — посмеяться. Но прежде всего следовало заботиться о том, чтобы эта история оставалась исполненной мужества и благородства. И я рассказывал, как настойчиво и плодотворно искоренял обычай обезглавливания пленников и употребления в пищу их мяса. Рассказывал также, как мне посчастливилось примирить два извечно враждовавших и истреблявших друг друга рода. Рассказывал иногда и о том, на какие прекрасные и чистые чувства бывают способны эти люди, живущие словно на заре человечества и едва научившиеся таким мудреным вещам, как постройка хижин, добывание огня и обтесывание камней. Порою вспоминал кое-что и об устраивавшихся время от времени торжествах убоя свиней.

— Что же дальше? Что дальше? — допытывался Щепан.

Я посмотрел на Франека. Тот ни о чем не спрашивал. Глаза у него были закрыты, лицо отсутствующее, словно он дремал или забылся сном.

Я подождал еще с минуту. Хотел испытать самого себя: хватит ли сил выложить правду. Я давно уже ее боялся. Никто еще ее от меня не слышал. Теперь подвернулся удобный случай. Но кому бы я высказал свою правду? Щепану? У него были красные пятна на щеках и благостный взгляд. Ему требовалась какая-нибудь жуткая, но поучительная история с благополучным концом. Не правды дожидался он в эту минуту. А профессор, который наверняка понял бы, почему я рассказываю о чудовищной духовной нищете и скотстве, словно бы отрешился от нее, закрыл глаза и ни о чем не спрашивал, может, даже спал.

Поэтому еще раз и почти без колебаний встал я на уже достаточно проторенный путь лжи и нелепейшего фантазерства. Я улыбнулся Щепану и повел рассказ на старый лад. Что дальше? Что произошло, когда я увидел на опушке убийц «хохотуна»?

Их было трое. Двое держали перед собой пучки дротиков, третий замахивался каменным топором.

Вероятно, по причине малого их роста я посмотрел на них не как на убийц, которые закололи перепуганного уродца и которым, быть может, через секунду взбредет в голову обратить дротики и острый кремень против меня самого. Вышло так (дорогой Щепан!), словно я увидел перед собой трех глупых и зловредных, заслуживающих хорошей порки неразумных сопляков.

— Эй вы! — якобы заорал я тогда.— Проклятые подонки! Пришибу!

Кого увидали они черными своими глазами? Белого господина или белого демона? Тот, что был с топориком (продолжал я), первый вякнул, словно козленок под ножом, и пал ничком. Только один — повыше ростом и, пожалуй, постарше — пустился наутек. Но не успел. Те двое уже лежали на земле в полуобмороке, заслоняя головы трясущимися кулаками. А третьего я схватил за шею и принялся хлестать: по спине, по заднице, по роже, по рукам. Наконец, один за другим получая свою порцию ремня, они начали плакать.

— Будете? — спрашивал я, тыча ремень в их обалдевшие глаза.— Будете?

Они лежали недвижимо. Я плюнул и направился к своим вещам.

Наконец, все трое перестали кричать и плакать. Они явно приходили в себя, но когда я на свою грязную белую кожу принялся натягивать поочередно другие разноцветные кожи: кальсоны, тельняшку и парусиновые штаны — страх снова прижал их к земле. Я подошел к ним одетый и более снисходительный. Парусиновую куртку набросил на плечо, слегка щелкнул ремнем. Но, поскольку они не вставали, наклонился и, довольно добродушно потянув за густые вихры одного, потом другого, придал им вертикальное положение.

— Ну? — спросил я.— Что же дальше?

— Что? — снова заволновался Щепан.— Что дальше-то?

Я врал дальше: как воодушевил этих мальцов и из грозного бога и белого демона превратился в совсем добродушное божество. Милостиво ждал я, чтобы они отвели меня туда, где стучат барабаны, где бы меня напоили, накормили, приютили и приготовили мягкое ложе для отдыха.

Мы двинулись сперва по гребню холма на северо-восток и вскоре начали спускаться в долину по уже вполне заметной тропе. Она вывела нас к краю отвесной скалы. С обрыва открывался вид на длинную и ровную долину, изрезанную извилистым руслом реки, и там, где река разливалась, на довольно пологом склоне холма я увидал цель нашего путешествия: скопище хижин, напоминавших отсюда обезьяньи головки. От нескольких костров подымался вверх бурый дым, дробь барабана раздавалась теперь удивительно близко. Мои ребята, личная моя гвардия, начали возбужденно гикать и выкрикивать: Киапу! Гудпело! Киапу!

Я сосчитал хижины. Их было около сорока. Следовательно, в деревне примерно до двухсот жителей. Многовато. А в моем распоряжении (объяснял я Щепану, и он рьяно поддакивал, показывая, что все понимает) только я сам. Возможно, трое молодых, отважных, покорившихся мне воинов тоже за меня. Возможно, они пожелают защищать величие белого человека. Их явно радовало и наполняло гордостью мое присутствие, однако я не был уверен — воспримет ли вся деревня их радостное преклонение передо мной.

Я следовал за ними большими шагами, пока не оказался в долине и не увидал в каких-нибудь метрах ста перед собой хижины и невзрачных темнокожих человечков, которые высыпали из них и бе-

жали нам навстречу. Но по мере приближения ко мне эта орава замедляла шаг, кричала все неуверенней, тише и, наконец, на полдороге словно выбилась из сил.

И вдруг толпа расступилась. Я вглядывался так напряженно, что слезились глаза. Куда-то неожиданно исчезли два моих воина. А третий, который был с топором, видимо самый преданный, побежал в мою сторону.

Его остановил разгневанный глухой окрик. Я заметил кричавшего: он шел со стороны деревни, коренастый, неповоротливый, довольно крепкий с виду мужичок. Должно быть, богатый, жрец, вождь, колдун и повелитель этой долины, сорока хижин и двухсот душ. Он был разряжен, страшен и ужасно смешон: в заплетенные на макушке косички были натыканы ракушки и перья, носовая перегородка проткнута белым колышком, изогнутым как рог буйвола, а между ног —расписной деревянный футляр, касающийся корявых колен. Его лицо с выставленным вперед подбородком, размалеванное и испещренное шрамами — эта мрачная козлиная морда,— угрожающе скалилось. Он приближался ко мне, не замедляя шага. Я похолодел. Однако он еще не подымал оружия над головой, не обращал его против меня. Только скалил зубы, плевался и бормотал свои заклинания. Наконец, мужичонка остановился на полпути между мною и примолкшей толпой.

— Ну как? — спросил я.

— Что дальше? Что дальше-то? — зачастил Щепан голосом, осипшим от наливки, восторга и тревоги.

И я продолжал рассказывать, привирая все увереннее и краше о том, как этот Черный Козел угрожающе заблеял на меня, а я расхохотался во все горло, ибо уже с близкого расстояния видел, что мужичонка боится. Да (да, Щепан!), он боялся. Боялся в десять раз больше, чем я мог предполагать.

Я оттолкнул копье, вырвал топор из ослабевшей руки. Мужичонка с перепугу испортил воздух (что очень позабавило Щепана), а передо мной вроде бы открывались два пути к победе: то ли нанести смертельный удар этому мужичонке моею рукой и его собственным топором, то ли выказать милосердие, снисхождение и добрую волю, с чем, в сущности, я и шел к этому народу — малочисленному, несчастному и голодному.

И вот (продолжал я уже со смехом), отшвырнув копье и топор, я подхватил Черного Козла под мышки, поднял вверх, обнял, как брата. Толпа завопила громко и радостно, а трое моих воинов снова очутились возле меня, прыгали, кричали, били себя кулаками в грудь. Из деревни снова донесся дружественный голос барабана, отбивавшего бравурный, праздничный ритм. И тогда с радостным и гордым видом, обнимая Гатонума Черного Козла за плечи, я двинулся к центру деревни.

Черный Козел — по имени Гатонум — воздел руки над головой и затянул какую-то песню, а может и гимн, с повторяющимися как припев молитвенными возгласами, барабан зачастил, и вся толпа пустилась в стремительный, разудалый пляс под предводительством Гатонума и трех моих охотников, солнце снова пробилось сквозь тучи — и с этой минуты все поняли, и они и я, что мое пришествие в эту долину, пришествие бога великого и милостивого — великое счастье и величайший праздник для этих душ, обретающихся на заре человечества.

— Таким был, Щепан,— говорил я, не глядя на молчавшего профессора,— таким был этот светлый праздник, сытый и пьяный, веселый и совсем уже не страшный. И скажу тебе даже...

Я рассказал ему даже и о том, как вечерней порой засели мы вместе с Гатонумом за трапезу, а восторженная толпа обступила нас широким кругом.

— Вот какой это был пир, Щепан,— говорил я.

Начал я с тыкв, осушил одну, вторую, третью — до дна. Ел, пил, веселился, снова пил и ел, пил и распевал всевозможные песни, от колядок до строевых песен, а когда из-за холмов выкатилась выщербленная глыба месяца, когда костры начали затухать, Гатонум, хмельной, но исполненный подобострастия, показал мне на сбившихся поблизости в кучку молодых бабенок, которых не трогали мужчины. Осмотревшись повнимательней, я смекнул, какие игры затевает ликующий мой народец. Тогда я встал и возложил руки на хрупкие плечи двух этих бабенок, а мои приближенные охотнички расступились, давая нам проход к отведенной мне огромной хижине — молельне. Женщины не противились, испуганные и счастливые. Я осязал и слышал сердца, стучащие под ребрами, и не скоро уснул, ибо над всей долиной разносились голоса ночных птиц и смех молодых женщин, такой же нежный и призывный, как смех птицы-лиры.

Щепан не без смущения, но все-таки с восторгом внимал тому, что я рассказывал, наперекор своей памяти и вопреки правде.

Я закончил свою сказку в сумерках, усталый и пьяный, поскольку те двое гораздо реже тянулись к фляге во время долгого моего рассказа. Щепан, счастливый и благодарный, обнял меня на прощанье и расцеловал. Между тем профессор помалкивал. Молчал, выглядел сонным, не смотрел на меня и ни о чем не спрашивал, хоть я ждал этого.

Ждал долго и тщетно. Несмотря на то, что наливка была добрая, а из приоткрытого окна тянуло холодком, который усыпляет и благоприятствует крепкому сну, мне не спалось. Я ждал любого вопроса, благодаря которому мог бы избавиться хоть от частицы правды, выговориться и, как бы это ни было стыдно, признаться, наконец, мудрому человеку в том, в чем человек человеку признается лишь в редчайшие минуты жизни. Я ждал хоть одного слова поддержки. Пусть даже сурового и презрительного, лишь бы в нем удалось найти тень понимания и прощения. Однако ничего не дождался. И понял: он знал, что я вру и обманываю, но его самого испугала недосказанная правда. Он наверняка о многом догадывался, чтобы сознательно уклониться от страшной правды и принятия на себя хотя бы частицы ответственности за все, что я мог и хотел рассказать. Ему было достаточно одного факта, неопровержимо свидетельствовавшего против меня,— что я выжил.

Таким образом, пришлось мне в одиночку управляться с собственной памятью. Держать ответ перед своей совестью за вранье, за всю грязь и невообразимое унижение, которые выпали мне на долю. Я не мог уснуть, слыша мерное дыхание Франека, и ненавидел профессора изо всех сил за его трусость и мою ложь. Только рассвет отогнал воспоминания о тех бесконечных днях, когда по приказу трех охотников взвалил я себе на спину труп «хохотуна», а потом, словно вьючный вол, подыхающий с голоду и подгоняемый копьями, тащил его вниз, мимо ликующей толпы, которая, смеясь, швыряла в меня грязью; когда дожидался на коленях и в путах результатов совета, на котором, вероятнее всего, решался вопрос: убивать ли меня сразу или откармливать до праздника полнолуния; когда жрал безропотно все, что давали люди черного Гатонума своему откармливаемому животному; когда страх, голод и полнейшая невозможность объясниться превратили меня в трусливую и покорную скотину,

старающуюся любой ценой избегать ударов и унижений; когда все предшествующие восемнадцать месяцев, на протяжении которых измывался надо мной Казарес, грезились мне утраченным раем, и когда, наконец, я удрал только благодаря тому, что другая деревня напала на мою (быть может, желая отбить откормленного белого раба), и я ускользнул в тумане, среди огня и дыма, воплей и крови, добежал до плоскодонного челна и ринулся на нем вниз по вспученной реке, чтобы после двух дней панического бегства увидеть морской берег, белую полосу пляжа, пену прибоя, а в глубине небольшого залива — светлые дома порта Риго.

Далекий и чистый образ порта Риго принес мне желанную отраду. И тогда я благополучно уснул. А проснувшись, простил и самого себя, и прежде всего Франтишека. Я понял, что он поступил умно. Больше мы об этом даже не заикались. Собственно, Щепан и профессор не были первыми слушателями лживой, нелепо выдуманной истории о белом боге в долине Киапу. Не раз я потчевал ею любопытных. Не единожды справлялся с невзначай нахлынувшей волной воспоминаний о невзгодах и унижениях, которые достались мне в удел на мокром острове.

Следовательно, все было бы вполне сносно. Обычная история. Потрепались за выпивкой, всяк молол свое, а я всех переплюнул и только, сеанс окончен, что было, то сплыло, никто ничего не помнит.

К сожалению, для Щепана сеанс не кончился. Более того: ему явно полюбилась эта красивая и благородная новогвинейская сказочка, которую я, как законченный болван, подал ему на закуску к вишневой наливке погожим первомайским вечером пятьдесят второго года. Она очень ему понравилась. Глубоко взволновала. Он принял за чистую монету самую отъявленную ложь и совершенно неправдоподобные подробности. Благодушной натуре Щепана, жаждавшего узнать побольше о человеческой доброте и человеческом счастье, как нельзя лучше соответствовали сладостные выдумки, которыми я прикрывался от подлинной правды о долине. Он помнил мою историю в общих чертах, но запамятовал некоторые частности, а потому желал услышать новые подробности, более детальные описания долины и людей, Гатонума, харчей, малорослых, тщедушных бабенок. Двух дней не прошло, как он явился за добавкой. Чтобы я снова угостил его басней, якобы благородной и чистой, а по существу, мерзкой и лживой, начиная с первого вопроса: что дальше?

Признаюсь: если бы не было с нами в камере молчаливого, мудрого профессора, я без больших колебаний потешил бы сердце Щепана гораздо щедрее, чем в первый раз. Но Франек хранил тревожное и стыдливое молчание, и я не мог и не хотел повторять сказочку, ради которой пришел Щепан.

Я попытался переменить тему, взять курс на Кению, Атлантику, Принстон, Оксивье, перейти к историям, которые так нравились Цезарю, рассказать об Испании, Тарбагатайских горах. Пробовал поведать о самых невероятных минутах своей жизни. О встрече с лордом-премьером, Комендантом, профессором Альбертом из Института физики в Принстоне. Насчет первого и второго он попросту не поверил. Третий вовсе его не интересовал. Прокаженными Щепан брезговал, морские истории нагоняли на него скуку, о войне он не желал слышать, поскольку сам знал предостаточно. И решительно отвергал какие-либо скабрезные или похабные рассказы о женщинах. Они не на шутку сердили и смущали его, кроме той, как я уже говорил, сцены с кучкой маленьких и хрупких женщин, которые смиренно дожидались праздничной ночи и милостивого внимания белого доброго господина.

Выхода не было: Щепаном владела лишь одна неизбывная страсть и одно необоримое желание — снова услышать о справедливом белом человеке, который разумом своим, добротой и самоотверженностью всего за несколько недель поднял несчастных варваров со дна невежества и духовной нищеты к высотам истинного благородства и человечности.

Раз-другой мне удалось выкрутиться. Сперва ссылался на боль в горле, затем на тяжкую и мучительную головную боль. Щепан в простоте душевной верил, ходил к врачу за таблетками, порошками и полосканьями. Принес даже термометр, что у профессора вызвало искреннюю, хоть и тщательно скрываемую радость.

На третий раз Щепан пришел к убеждению, что дело не обойдется без щедрой взятки.

— Ага! — сказал он с искренним пониманием.— Ясно: голова у тебя чертовски разламывается, а пирамидон не помогает. Ладно. Скажи-ка, а не поможет ли нам зубровочка? Такой травки в спирту, какая есть у меня, сам король Баторий не отказался бы попробовать. Ровно в полночь и в глухой дубраве она собрана. Уже седьмой год настаивается. Ну? Поможет она или не поможет?

В конце концов, очень я его прогневил. В четвертый раз он пришел еще более чинный, с этой стародавней травкой в литровой бутылке. Но когда я снова попытался выкрутиться, Щепан мертвенно побелел, спрятал бутылку в портфель и положил сжатые кулаки на стол.

— Хорошо,— сказал он, учащенно и хрипло дыша.— Хорошо. Я тут прихожу к вам с пониманием и почтением. А нахожу совсем обратное. Пусть будет так. Но, граждане заключенные, советую подумать со всей серьезностью, как бы я вас не допек совсем не по-человечески. А, может, лучше всего будет, если гражданин профессор объяснит коллеге, что я прошу его вполне вежливо. И еще с почтением! До поры до времени!

Он вышел притихший и спокойный, словно ничего не случилось. Дверь за собой затворил с подчеркнутой деликатностью. А мною овладело тихое злорадство. Получилось, будто я вдруг выбыл из игры. Щепан препоручил свою просьбу Франеку и тем самым главную ответственность возложил на него. Значит, не я очутился на первом плане и словно бы не от меня теперь зависело, как и сколько я смогу наврать о себе. Щепан был человеком порядочным. С профессором он подружился без задней мысли, по зову сердца. Но теперь, глубоко уязвленный, был способен и мне, и Франеку отравить существование самым ощутимым образом. Мы оба это понимали, а Франек еще лучше меня.

После ухода Щепана я посмотрел на профессора. Он отвернулся к окну, загляделся на воробьев и облака. И молчал. Ладно, подумал я, подождем. Под вечер мы засели за шахматы, играли безмолвно и азартно. Мне не везло, я проиграл несколько партий подряд. Его это не радовало, а я думал о нем, все более раскаляясь от злости. Сказал себе, что без его вмешательства, без его приказа или просьбы Щепану не уступлю.

В тот вечер я снова не мог уснуть. Ночь была удивительно погожая, городские часы звучно отбивали время. По дыханию Франека я догадался, что и он не спит. Я ждал.

— Расскажешь ему эту сказку? — спросил он наконец.

Мне не хотелось отвечать.

Франек встал, повозился у параши, подошел к окну. Когда я прервал свою историю о «хохотуне» и раздался вопрос: что дальше? — он струсил и не помог мне ни единым словом. Он был по-

своему прав, и я его понял. Но теперь, ночной порой, решил оставить его без всякой поддержки.

— Дурак,— произнес он сурово.— Дурак ты.

Мы закурили. Послушали, как пробило полночь сперва на башне ратуши, потом на башнях костелов. Франек подсел ко мне.

— Ты дурень,— сказал он.— Грызет тебя твоя щепетильная совесть? Сколько раз и кому ты уже рассказывал эти бредни? Ведь не мы первые их слушали? Верно?

— Верно.

Он закашлялся, встал, начал прохаживаться по камере, словно в аудитории.

— Ты расскажешь эту сказку нашему добряку Щепану,— говорил он.— Уверяю тебя, что расскажешь не один раз и ради общего блага всех нас троих.

— Всех троих? — смеялся я, злясь не на шутку.

— Да! — прикрикнул он на меня.— Именно так! И Щепан, и я достаточно насмотрелись собственными глазами на человеческие беды, чтобы еще от тебя выслушивать такие исповеди, от которых тебе не легче, а нам тошно. Да будет тебе известно, что Щепан сидел в Освенциме. Знаю, что работал на разгрузке эшелонов. С тебя достаточно этой информации? Будь уверен, что он повидал там куда больше страданий и гнусности, нежели ты в своей прекрасной Киапу. И я тоже многое видел во время Варшавского восстания. Нечего нас стращать охотниками за головами. Мы видали кое-что похлеще, чем муки белого оболтуса, истязаемого каким-то экзотическим народцем то ли с Новой Гвинеи, то ли из Лондона. В Освенциме некие цивилизованные, кичащиеся своей организованностью европейцы запросто развеяли по ветру не менее четырех миллионов белых людей. Ты не видал этого, так не лезь к нам со своей впечатлительной душой.

Встал и я. Пил воду, курил. В окне показался тонкий серп луны.

— А, во-вторых,— говорил Франек,— Щепану не нужна никакая правда. Ему хватает ее и в будни, и по праздникам. Пойми, что именно небывальщина, экзотическая сказка с благополучным концом необходима ему как сердечный бальзам. Щепан человек простой. Его порядочная натура ищет подтверждения этой порядочности в мире. Пусть это будет притча о снежной королеве, доблестном рыцаре Кмитице[1] или о добродушных племенах Новой Гвинеи — безразлично. Он хочет услышать о веселой и счастливой жизни, ибо горячо стремится к ней. А ты что? Даже в этом ему отказываешь? Причем не только ему, но и мне, которого ни капельки не интересует, до какой гнусности они тебя там довели. Хочешь высказать всю правду? Пожалуйста: подыщи себе этнографа, специалиста по тем краям. И, в-третьих: ты все равно не сможешь высказать всей правды. Сумеешь? Нет! Так уймись и не отравляй существования ни Щепану, ни мне. Понял?

— Понял,— сказал я, не покривив душой.

Вскоре мы уснули, примиренные и даже малость посмеявшись над всей этой липой, а уже на следующий день я рассказывал Щепану о великом празднике в долине Киапу, о доброте сердечной этих затерянных на мокром острове людишек, о разных танцах и пирах, а в заключение (по совету и подсказке Франтишека) выдумал также совершенно новую историю о горячей и чистой моей любви к прекрасной жрице из соседней деревни, к деве нежной и пугливой, как райская птица. Именно это приключение глубоко тронуло сердце

[1] Кмитиц — герой исторической трилогии Г. Сенкевича.

Щепана. Он зачастил к нам, слушал с огромным вниманием и трепетом. Несколько раз даже всплакнул над судьбой этой пугливой, как райская птица, девы. Но главное — приходил не с пустыми руками и кое в чем нам попустительствовал.

Однако тянулось это слишком долго. Не только для меня, но и для самого Франека. Его быстро перестали забавлять очередные выдумки и фантазии, которые и без того давались нам все труднее. Я сказал бы даже, что Франек начал их стыдиться. Быть может, больше, чем я.

Поэтому, когда Щепан, ублаготворенный очередной побасенкой, сердечно прощался и покидал камеру (оставляя после себя очередной довод признательности: пачку хороших сигарет, ком домашнего сыра, банку варенья или кусок сладкого пирога), мы притворялись, что вовсе не было речи о Новой Гвинее. Раза два (так мне кажется) Франеку хотелось узнать правду. Но было слишком поздно к ней возвращаться — прежде всего мне. Поэтому, чтобы заглушить и отбить неприятный привкус, который оставляли мои бредни, Франек принялся в конце концов натаскивать меня по своей специальности. Таким образом, на пятьдесят втором году жизни я прослушал сокращенный, но вполне основательный курс новейшей истории со второй половины XVIII века до второй мировой войны, в котором делался особый упор на освещение роли радикальной польской эмиграции, ее связей с Марксом, ее участия в становлении I и II Интернационалов. Тогда же с огромным интересом и вниманием — и при активной помощи Франека — я прочел большие отрывки из «Избранных произведений» Маркса и Энгельса, а также «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» и «Историю польской демократии». Впервые со времен знакомства с отцом Антуаном я читал так много и первый раз в жизни обнаруживал в книгах, таких сложных и, казалось бы, мне недоступных, столько созвучного моему собственному пониманию мира.

Франтишек учил меня умно, честно, проявляя большое терпение и не скупясь на объяснения.

Однако кончилось все это не наилучшим образом. Ибо настал такой день, когда я категорически потребовал, чтобы он поделился со мной своими знаниями еще об одном фрагменте новейшей истории, а именно: чтобы попытался распутать и некоторые собственные наши проблемы. Те, в которых было очень много мест, темных и непостижимых. Я спрашивал и настаивал: говори. Что привело, спрашивал я, к роспуску КПП? Что было причиной моих собственных скитаний и почему, спрашивал я, мы, и не только мы двое, переступили порог тюрьмы, хотя считаем себя честными и преданными коммунистами и каждый из нас в меру своих сил участвовал в создании такой Польши, которая явится осуществлением человеческих чаяний и надежд?

Тогда впервые за много месяцев я увидал на лице Франека ту отчужденность, которая порождается неприязнью и даже страхом. Но я не допускал, чтобы он в чем-либо меня заподозрил. Не считал это возможным. А ведь было именно так. Он увидел во мне свидетеля обвинения. Заговорил иными словами и иным тоном. Сделался вдруг человеком чужим, очень бдительным и осторожным. Разумеется, по-прежнему улыбался, говорил «мой дорогой», старательно соблюдал весь церемониал. Поэтому я не сразу смекнул, что́, собственно, происходит. Не понял, почему вместо простого «не понимаю» или «не знаю» он начинает длинные проповеди об отсутствии доступа к документам, источникам, об отсутствии объективного подхода к реальному развитию конфликтов и ситуации в целом, об от-

сутствии необходимой для научного анализа информации о предмете. А поскольку не поверил, что Франек способен вдруг шарахнуться от меня и уклоняться от ответа на мои вопросы, то стал нажимать. Начал даже злиться. Собственно, еще в военные годы я начитался на Западе кое-какой отравы именно о том, о чем так искренне и попросту спрашивал. Теперь я полагал, что наша дружба уже давала право на такую откровенность. Ведь он видел: я сбился с курса, знал слишком мало. Наконец, близился триста шестьдесят пятый день моего заключения. Поэтому я просил человека, в ту пору самого близкого, чтобы он пожелал мне помочь. Его знания, осведомленность были неизмеримо шире моих. Он должен был понять, что вся суть моих вопросов сводится к просьбе: помоги — помоги отделить зло от зла, частную несправедливость от общих закономерностей, отдельные ошибки от всеобщей судьбы.

Об этом просил я. От души и со всей искренностью. А он вдруг отпрянул. Прикинулся, будто не понимает. У него было отчужденное лицо и страх в глазах, когда в конце концов он принялся повторять уже знакомые мне слова об измене, грозящей нам изнутри, о необходимости борьбы, жестокой и беспощадной.

Он говорил громко, все больше распаляясь и повышая голос. Однако не осмелился посмотреть мне в глаза. А когда кончил, я вежливо сказал «спасибо». И не задал ни единого вопроса, хотя он явно ждал их. Повернулся к нему спиной, начал решать шахматную задачу: мат в три хода. После этого несколько бесконечно тянувшихся дней мы по-настоящему ненавидели друг друга. Я ему не прощал его слов, он мне — моего молчания. В камере наступило затишье. К тому же Щепан расхворался, а потом ушел в отпуск. Мы снова взялись за шахматы, иначе в камере трудно было бы дышать. Ненависть притупилась, на смену ей пришла муторная мелкотравчатая неприязнь. Как-то поздним вечером Франек попытался возобновить тот злосчастный разговор. Я притворился спящим.

Помирились мы в какой-то степени незадолго перед расставанием.

В одну из августовских ночей меня разбудили его вопли и стоны: лицо Франека было в поту, он корчился от боли, даже не слышал, о чем я его спрашиваю. К счастью, дежурил Щепан, который вызвал врача. Тот впрыснул болеутоляющее, констатировал приступ желчнокаменной болезни и перевел Франека в санчасть.

Он вернулся спустя двое суток, и тут мы кое-как помирились. Но для установления полнейшего согласия не хватило времени. Вскоре последовал второй приступ, за ним третий. По решению начальства Франека перевели в варшавскую больницу, на Раковецкую. Вскоре я узнал от Щепана, что его оперировали и через месяц после операции выпустили. А в день нового, пятьдесят третьего года я получил от него посылку, которая порадовала целых три камеры. В марте меня тоже перевели в Варшаву.

Вышел я в сентябре, то есть вернулся почти через два года. Это был великий праздник, когда впервые после долгого перерыва я снова вошел в линотипный цех, получил для набора легкий и разборчивый текст, поставил возле своего стула бутылку молока и воткнул половину сигареты в стеклянный мундштук. Через два человека от меня сидел старый партиец и знакомый: Теофиль Шимонек. Но все остальные были чужими. Чужой была типография — огромное предприятие, вступившее в строй, пока я отсутствовал. Совсем чужой была машина. Она сразу же омрачила мой праздник. Я очень старался, однако терялся в тексте и клавишах и снова делал не намного боль-

ше, чем прыщавый практикант, потевший в углу над старой машиной и учебным заданием.

Только после двух месяцев напряженного труда начал я выполнять норму и мог уже не стыдиться своей нерасторопности. Познакомился с людьми, с товарищами по работе. Они перестали, наконец, подглядывать, не сияет ли над моим теменем ореол мученика. Принялись — уже запросто — приглашать меня на кружку пива, вытаскивали на футбольные матчи и тому подобное.

Тогда же прочел я проникновенный, хоть и неисчерпывающий некролог, посвященный товарищу профессору Франтишеку З.— члену ПОРП, бывшему члену КСПМ, КПП и ППР [1], академику, кавалеру многих орденов, многократному лауреату, почетному доктору двух зарубежных университетов, ученому и патриоту...— и должен признаться, что Франек устроил мне сюрприз, которого я никак не мог предвидеть. Его последняя книга вышла уже после смерти автора. Я получил один экземпляр с коротким, написанным от руки, письмом дочери покойного. Он оставил ей такое распоряжение — значит, помнил обо мне.

Я промучился с ответным благодарственным посланием как ни с одним письмом в жизни и в конце концов не отправил его. Книжку тоже не смог осилить. Франек куда лучше говорил, чем писал. Однако я очень дорожил ею. Она всегда стояла на почетном, видном месте. Но потом пропала в чужих руках, и один из страшнейших скандалов, какие у меня были с Тадеком, начался именно с того, что он дал книгу Франтишека кому-то из товарищей для подготовки к вступительным экзаменам, не записал кому и потерял ее след. Я попросту взбеленился. Поначалу парнишка даже поджал хвост, попытался извиниться, обещал, что еще попробует найти книгу, и так далее. Но я не мог сдержать потока ругательств, и он, наконец, перестал каяться и словно с цепи сорвался. Подскочил ко мне, весь затрясся.

— В чем дело? — спрашивает.— Эдакое сокровище, а не разрезано и половины страниц. К чему тебе это? Диссертацию хочешь писать? Не знал, что тебя терзает такая жажда знаний.

Я не унимался, а он убежал из дому на всю ночь, как в давние времена.

Когда вернулся, нам обоим стало неловко. Меня мучил стыд. Я попросил прощения. Потом, как обычно, мы делали вид, будто ничего не случилось. Тадек сбегал в кино за билетами, картины не помню. Собственно, я не имел никакого права так на него злиться. Он от меня о том деле ничего не слышал. Понятия не имел, почему мне дорог этот скверно сброшюрованный и крайне небрежно набранный экземпляр узкоспециального исследования (о развитии польской радикально-общественной мысли 1832—1861 годов, после поражения ноябрьского восстания), из предисловия к которому, впрочем, следовало, что в книге преимущественно развивается тема, разработанная автором еще в тридцатых годах, в его кандидатской диссертации.

Несмотря на то что мы поладили, меня мучил стыд. Тадек сказал правду: большая часть книги осталась неразрезанной, а разрезанные страницы, которых никто не касался, сохраняли девственную чистоту. Он был вправе считать, что брошюра мне ни к чему. Ведь я не рассказывал ему о ней до нашей стычки. Да и потом, хоть он пытался вынюхивать и выспрашивать, об очень многом умолчал. Слишком глубок и темен был тот колодец, в который нам пришлось бы заглядывать. Тем более что я сам не ведал, чего ради дочь Франтишека послала мне

[1] КСПМ — Коммунистический союз польской молодежи, КПП — Коммунистическая партия Польши, ППР — Польская рабочая партия.

книгу: хотел ли он подать знак, что даже в последние минуты помнит обо мне и о настоящем конце нашей короткой войны, или же это был попросту любезный жест великого человека, сделанный, правда, поздновато, но не слишком поздно.

В принципе я верю в добрые намерения Франека. Но должен признаться, что в сокрытии того дела от Тадеуша виноват я один! Я не заставлял себя долго упрашивать, если ему хотелось услышать даже о самых тяжелых передрягах на море, о «Death gap», конвоях с Мальты до Суэца, о том, как я вкалывал на «Белой звезде» или «Клеопатре». Он узнал от меня о многих вещах. Поводов было предостаточно. За десять совместно прожитых нами лет Тадек узнал о всех моих четырех войнах, о смерти Собика, о боях на Буге, о косиньерах Оксивья и последних днях испанской трагедии. Даже о моих женщинах: я решил объяснить парню, что надо уметь их любить, иначе не стоит с ними спать.

Иногда я говорил ему больше, чем он мог понять и запомнить, ибо, признаюсь, частенько думал и мечтал, что пробудится в нем способность описывать жизнь людей. Я лелеял в душе такую надежду. Поскольку хоть и перепробовал много профессий, причем лучше всего освоил ремесло моряка, прекрасное и полезное, тем не менее сильней всего (особенно во второй половине своей жизни) полюбил типографское дело, труд, увековечивающий слова, события, человеческие мысли и судьбы. Скажу больше. Ныне мне остались лишь две радости — общение с вечной и умиротворенной природой чистым погожим днем и встреча с интересной, мудрой книгой, которая неторопливо и подробно повествует о человеческом житье-бытье: прежнем, нынешнем и каким быть должно.

Теперь знаю, что ошибся. Тадек выбрал себе работу, в которой я не разбираюсь, и выбрал женщину, которая меня недолюбливает; со временем мы стали далеки друг другу. Но прежде у меня было какое-то право надеяться, что все то, о чем я ему так упорно рассказываю, он хоть отчасти сумеет повторить другим: какой была и какой могла стать моя жизнь. Я рассказывал о ней Тадеку очень много и только трех историй не выставлял перед юными его очами: смерти Френсиса, праздника в долине Киапу и того периода, когда встречался с Цезарем, Франтишеком и еще одним человеком, оказавшимся на моем пути в марте и апреле пятьдесят третьего года.

Относительно последнего дела (пятидесятых годов) я советовался с Шимонеком. Он говорил «нет». Упрямо и убежденно повторял: не надо, не следует. И он вкусил от горечи и тревоги тех лет, но не отрекся от дружбы со мной, хотя на какое-то время лишился партийного билета и, наконец, даже работы. Рассказал он мне об этом в нескольких словах. Потом долго слушал мою исповедь, молча и внешне спокойно. Повторить все это Тадеку я смог бы лишь через много лет. Дело было пересмотрено и предано огласке, поддающиеся исправлению ошибки исправлены. Ну и достаточно, сказал мне Шимонек, когда я советовался с ним, стоит ли знакомить Тадека и с этим фрагментом моей биографии. Я послушался его с явным облегчением. И, в сущности, потому внял совету Теофиля, что самому хотелось поступить именно так: умолчать, предать забвению.

Быть может, мы оба ошиблись. Сам Тадек сказал нам по этому поводу несколько слов, на которые мы с Теофилем не нашли ответа. Началось с глупости, с явной чепухи. Было это после каникул, когда Тадек, студент второго или третьего курса, достиг, наконец, своей мечты: получил проигрыватель и комплект неимоверно оглушительных пластинок. Теофиль попал на один из первых концертов, которые Тадек устраивал себе в кухне, и сопровождавшие эту музыку ино-

язычные вопли глубоко возмутили Шимонека. Когда же Тадек появился в комнате, Теофиль с места в карьер произнес длинную речь о неверных путях и нелепых увлечениях, о недостатках воспитательной работы среди молодежи и прежде всего о поразительной и очевидной идейной незрелости этого поколения крикунов с электрическими гитарами. Он говорил по-своему, сердито и нудно, у меня самого от этой речи уши вяли. Однако это было великолепное зрелище, и я не вмешивался. А пуще всего интересовало меня, попытается ли Тадек и какими именно словами отмести главный упрек: что молодежь не берет и не желает брать примера со старшего поколения, исполненного самопожертвования и идейности, того поколения, которое всю свою жизнь посвятило тому, чтобы над головами у нее (молодежи) было мирное небо, а на столе — хлеб, молоко и книги.

Тадек слушал совершенно спокойно, не отрывая глаз от худощавого строгого лица Шимонека. Даже слегка кивал головой, словно поддакивая, чуточку улыбался. А когда Теофиль умолк, сказал всего-навсего:

— Пожалуй, маловато.

— Что? Чего маловато? — добивался Шимонек со зловещим хрипом в голосе.— Чего маловато: жертв, борьбы, безграничной преданности?

— Пожалуй, маловато о себе говорите,— сказал Тадек, собираясь уходить, поскольку кто-то уже свистел ему снизу.— Маловато по нашему возрасту и больно красиво, на наш вкус.

— Чей «наш»? Чей? — крикнул рассвирепевший Шимонек в уже пустую переднюю. Он долго не мог успокоиться, но разговора не возобновлял. Со злости проиграл подряд четыре партии в шашки, обиделся и на меня — чего, мол, не помог, и ушел восвояси раньше обычного.

Вероятно, Тадек все-таки был прав: в шестидесятых годах было уже поздновато, или рановато, потчевать его такими историями. Значит, не имел я права кричать и подымать руку на парнишку из-за того, что он — решительно ни о чем не зная — отдал в чужие руки книгу Франтишека «О польском радикально-общественном движении 1832—1861 годов». Тем более что вскоре он действительно по-честному и даже превосходно загладил свою вину: отыскал в каком-то букинистическом магазине совсем другой, даже порядком зачитанный экземпляр этой брошюры и молча водрузил его на прежнее место, на полке рядом с «Малой энциклопедией», несколькими собственноручно набранными мною романами и «Польским рабочим движением в годы войны и гитлеровской оккупации» (с дарственной надписью ко дню рождения от Шимонека).

Это было удачное лето: Тадек сперва превосходно сдал экзамены на аттестат зрелости, а потом на высшем уровне — вступительные экзамены в политехнический институт. Так (дословно) сказал мне старший ассистент, к которому — при содействии лектора отдела просвещения — я попал накануне объявления результатов. Боясь сглазить, я делал вид, что ничего не знаю, но на следующий день первый откупорил бутылку, прежде чем мы начали готовить ужин. Сбежалось также несколько товарищей Тадека, и не успел я оглянуться, как они принялись безжалостно разделывать уборную и ванную. А я смеялся, словно на какой-то предельно дурацкой комедии, заваривал крепкий чай и поил их, едва очухавшихся, заквашенным накануне молоком. Тадек держался молодцом, пока я, выпроводив всю орду, не попросил его прочистить забитую макаронами и гуляшом раковину. Целую неделю развлекало меня воспоминание об этой душеспасительной картине — Тадек с бескровным лицом и глазами загнанной лоша-

ди мученически и при последнем издыхании бьет земные поклоны перед унитазом. Мы оба смеялись, ведь важно было только то, что он сдал «на высшем уровне» и наконец выходил на свою собственную дорогу, столь не похожую на мою.

Мне хотелось сразу же после экзамена выставить его из города на лоно природы, но ему вздумалось дожидаться меня. Я впервые получил путевки для нас обоих, на весь августовский заезд, на высокогорный курорт в Закопане, и поэтому он утверждал, что никуда больше не торопится. Кроме того, Тадек уже с января выступал со своей гитарой в музыкальном ансамбле, который на это лето получил несколько приличных предложений, а самое почетное и выгодное — выступить на праздничном гулянье 22 июля в одном из столичных парков.

В тот праздничный день он исчез с утра. Должен был репетировать, собирался также поглядеть на парадное прохождение войск по городу. Я встал поздно. Правда, мы договорились с Шимонеком сходить на парад, но я остался дома. Меня истомила за ночь головная боль, солнце припекало с утра, к тому же я и достаточно повидал за свою жизнь брони, ружейных стволов и пушек.

Из окон повеяло жаром. Я принял ванну, сварил крепкого кофе и почти до полудня хлопотал по дому при включенном радиоприемнике и занавешенных окнах. Потом открыл одну из книжек, исчерченную и испещренную пометками на полях брошюру в десять печатных листов под названием «О польском радикально-общественном движении 1832—1861 годов. Эмиграция». С трудом и неохотно одолел первую главу. Многое из давнишних лекций уже забылось. Я то и дело не понимал, на какие факты, названия и имена ссылается автор. Но вторая глава была написана проще и доступней. Сквозь ее сухие фразы пробивался умный и дружелюбный голос Франека, обращавшегося прямо ко мне. Он рассказывал о людях, которых я начинал понимать. Свыше ста лет назад предпринимали они свои тщетные попытки. Смотрели на Польшу глазами наивных сторонников утопического коммунизма, но стремились не к чистой утопии. Особенно лондонская «Громада». Я сам побывал в Лондоне и неплохо его помню. Пришлось и мне победствовать там целый месяц зимой тридцать первого года. Я читал, с благодарностью воздавая таким образом должное памяти товарища профессора Франтишека З. Читал внимательно и с уважением и даже не заметил, как минул полдень.

В два часа Тадек прибежал на обед, который я обещал приготовить — и о чем совсем забыл во время своей, возобновленной через столько лет, благодаря книге, мирной беседы с Франеком. Тадек только посмеялся над пустыми кастрюлями — подзаправился молоком, хлебом и сыром. А перед уходом в третий раз за два дня пригласил меня (вопреки обыкновению) на выступление ансамбля в парк. При этом смотрел куда-то в сторону и неумело прикидывался, что речь идет о пустяках. И я обещал, что приду непременно.

Шел я в парк дальним, окольным путем, через Королевский тракт и Старе Място — завернул и к Цитадели, к ее кирпичным стенам и газонам у их подножия, подстриженным и прилизанным, словно комментарии в конце книги Франека о радикально-общественном движении, сверстанные куда аккуратней, чем основной текст.

Я остановился. Поглядел по сторонам: где-то здесь, в одиннадцатый день нынешнего века царские жандармы возвели моего родного отца на почетный эшафот. Так действительно было, но в тот день и в те часы все это не укладывалось в сознании. Мне было шестьдесят — тому парню в ту пору едва исполнилось двадцать восемь. Я смотрел: вдоль стены и чистых газонов разгуливали сытые, довольные горожа-

не в белых рубахах и безрукавках, в цветастых платьях, под крик детворы, по-летнему безмятежно и праздно. Иначе и быть не могло, но меня почему-то раздражало их равнодушие и неведенье. Злость эта послужила поводом для покупки сигарет, хотя уже три недели мне удавалось воздерживаться от курения. Затянувшись всласть, я вдруг почувствовал себя плохо. Закружилась голова, на лбу выступил холодный пот. Следовало бы присесть, да все скамейки были заняты. На ближайшей мило щебетали три юные парочки. И я сел на землю, на газон, гораздо быстрей, чем хотелось.

На скамейке захихикали. Капризный девичий голосок осуждающе выкрикнул: «И зачем столько пить? Стыдно».

Я преодолел слабость. С вымученной улыбкой и горечью во рту поплелся дальше. Зато вторая сигарета — после кружечки светлого пива — освежила, как прохладная тень жарким полднем. Я выкурил ее на мосту, глядя на воду, текущую важно и монотонно. До танцплощадки добрался задолго до условленного часа и без всякой видимой причины ощутил страх. Мне знакомы были ребята, из-за которых глохло все окрест. Это был ансамбль Тадека, но его среди них не было. Страх мой был необоснованным, излишним. Но я не знал, как от него избавиться. К счастью, меня заметил с виду ослепший от грохота длинноволосый ударник. Закричал нечто нечленораздельное, засмеялся и, ударив с размаху палочками по тарелке, точно таким же движеньем палочек показал на паркет. Я повел глазами в ту сторону и увидел: Тадек был совсем рядом. Он, оказывается, танцевал на паркете с девушкой в белой блузке, длинноногой, очень привлекательной, гибкой.

Тадек танцевал, как все молодые люди, очень хорошо, очень ловко, но с лицом скучающего лунатика. Меня это позабавило, я засмеялся, приветственно помахал ему рукой. Но он не заметил, поскольку девушка тут же споткнулась. Ее тоненький каблук застрял в щели паркета. К тому же ее толкнула какая-то бешено кружившаяся пара. И Тадек мгновенно проснулся. Я хорошо знал это едва возмужавшее вспушчатое, поцарапанное еще неумелой рукой во время бритья мальчишеское лицо. Но до сих пор не видывал такой кроткой и нежной улыбки, с какой Тадек оберегал девушку от натиска колыхавшейся толпы. Она приняла эту улыбку. Оперлась на его плечо. Обняла Тадека, прикоснулась пальцами к обросшему затылку — и я покачал головой, обрадованный тем, что вижу, но еще не ведая, что тут начинается.

Когда он вывел ее из сутолоки на газон, я пригласил их к своему столику и угостил мороженым. Хотелось присмотреться к снохе, независимо от того, как долго она ею пробудет — одну ночь, неделю или месяц — и независимо от того, захочет ли ею стать.

Я притворялся, что не замечаю, как он стыдится меня и самого себя и как гордится ею. Но, чтобы он перестал стыдиться хотя бы меня, сразу же начал заигрывать и очаровывать, старался ее рассмешить, попотчевать мороженым, найти общий язык, едва не пускался в пляс. Они не слушали меня. Тадек вообще не заметил, что я снова курю, а девушка с первого слова и с первой минуты словно невзлюбила меня. Глядела в сторону и только демонстрировала свою фигуру, руки и ноги, а была она тонка в кости, пожалуй, чересчур поджара, но удивительно белокожа, с голубовато-розовыми тенями на открытых плечах, на чистом, ничем не запятнанном теле. Под тонким полотном блузки безошибочно угадывались большие и красивые груди. Показывала и лицо, темно-голубые глаза, слегка пухлые, очень красные неподкрашенные губы, невинный лоб. Она смотрела на гулянье без улыбки, а на меня как в пустоту. Поэтому я начал пр[illegible]ться. Она

подала мне руку — сухую, теплую, вялую. Я посмотрел ей в глаза наконец так, как ей хотелось: без всякого дружелюбия. Пожелал ей мысленно разных приятных вещей и дал несколько полезных советов.

Тадек догнал меня у самого края газона. Она, ныне его супруга и мать его ребенка, стояла на отшибе, не в толпе, блистательная и даже прекрасная — просто картинка из иллюстрированного журнала на меловой бумаге. Ее светлые волосы впитывали в себя багрянец заката.

— Очень красивая,— сказал я и поинтересовался, давно ли они знакомы.

— Пойдешь к Шимонекам? — ответил вопросом на вопрос запыхавшийся Тадек.— И скажи: когда вернешься? Я хотел бы знать, когда вернешься?

— Поздно! — сказал я.— Желаю удачи и счастья! Будешь один на всем белом свете.

— Ты чего? — спросил он так неуклюже, что я еле удержался от смеха.

— Ничего,— сказал я.— Говорю, что вернусь поздно. После одиннадцати.

Однако я плохо рассчитал время. Тем более что Люция, жена Шимонека, в тот день недомогала, ибо Теофиль в патриотическом порыве затащил ее в самую гущу толпы, теснившейся напротив правительственной трибуны. Грохот танков, тягачей и реактивных самолетов разбередил ее больное сердце, а жара в тот день была как перед грозой. Несмотря на это, она любовалась парадом. За ужином Люция прислуживала нам по-своему, бесшумно, заботливо. Но по окончании последних известий вдруг стала задыхаться, губы ее посинели. Ей пришлось присесть, даже попросить лекарство, и эта редкая для нее просьба пробудила, наконец, бдительность мужа, заглядевшегося на повторный показ телевизионного фильма о параде. Хоть они в два голоса и вполне искренне упрашивали меня остаться, поскольку лекарство помогло и телевидение сулило еще знаменитый фильм и какие-то другие грандиозные развлечения, я все-таки простился, выругал в передней вдруг присмиревшего Шимонека и ушел в шумный, многолюдный праздничный вечер еще до девяти часов, то есть когда домой возвращаться было слишком рано.

Вдобавок с Вислы подул сильный, порывистый ветер. Упали первые редкие капли дождя. На площадках, где гулял народ, началось веселое оживление, кто-то перекликался под визг девчат, которым ветер высоко задирал юбки. С юга докатывалось тяжелое эхо надвигающейся грозы. Со старых лип в аллеях осыпался сладкий цвет, я присел под деревом, глядя, как пустеет веселая улица, и прикидывая, где бы приклонить одинокую свою голову.

В кабак не тянуло. В кино уже опоздал, поздно было также идти с визитом к хорошей и довольно миловидной женщине, к которой — не без ее согласия — усиленно сватали меня Шимонеки.

Ни о чем не думая, я просидел в аллее до тех пор, пока по листьям и асфальту не забарабанил июльский ливень и бежать было уже поздно. Буря захватила левобережную часть города только краем и принесла густой и теплый дождь, словно предвещавший муссон. Еще со времен детства, когда у меня был маленький Деревянный, я совсем не боялся июльских гроз. Они меня радовали, и я сбегал с высокого вала к реке поглядеть, как закипает и вздымается под ветром речная волна, как полыхают молнии над колокольней собора и макушками темного леса.

Я пошел напрямик сквозь стеклянную стену дождя. И вспомнил, как забавлялся, шлепая по лужам и воздвигая запруды на пути ручейков. Но тут же промок до нитки и начал искать укрытия и лекар-

ства от простуды. Из двух захудалых и замызганных баров меня выгнал густой смрад скверного пива и дешевого табака. В дверях третьего заведения загородил дорогу швейцар почти моего возраста, с багровой физиономией и седыми залихватскими усами.

— Извините, уважаемый: без пиджачка и галстучка... нет никакой возможности.

Возможность ради праздника стоила пятьдесят злотых. Я улыбнулся, глядя в его фарфоровые, равнодушные глаза, заплатил с подчеркнутой любезностью, и швейцара словно смело с порога.

— Добро пожаловать, пан директор,— залебезил он.

Я шепнул ему на ухо пару таких слов, что он даже не успел обидеться, и, пожалуй, даже почувствовал угрызения совести — уж не ошибся ли в начале нашего разговора. Чтобы не портить ему праздника, я потрепал его по затылку, а он согнулся, как мыслящий тростник на ветру.

Протолкавшись к табуретам у стойки, я попросил чаю с лимоном. Бармен в профессорских очках молча подал большую рюмку коньяку и нарезанный лимон. Я не запротестовал. Потом попросил принести настоящего чаю с лимоном и таблетку аспирина, что было исполнено с безупречной любезностью. Этим заказом я несколько развлек своих соседей. На трех ближайших табуретах покачивались в такт музыке четверо: двое элегантных мужчин в норме и две девушки, довольно захмелевшие, с туманом в подкрашенных глазах. Та, что была покрасивее, то и дело наклонялась в мою сторону и грациозно засыпала с широко открытыми, невинными глазками. Я узнал одну из самых модных и талантливых молодых актрис. Узнал по голосу, чуточку хриплому и настолько обворожительно-тягучему, что даже меня, когда она просила прикурить, бросало в жар.

Она была прекрасна. Но, разумеется, не так интересна и привлекательна, как невзлюбившая меня недобрая девушка, которую сегодня увел к себе Тадек. Многое ли она ему позволила?

Возле дома я оказался в десять минут двенадцатого. Дождь уже прошел, над городом мерцали звезды. В нашем окне было темно. Я поднялся наверх, но не стал отпирать двери. Сперва проверил, нет ли ключа в замке. Выругался, засмеялся — был. И тогда я ушел прочь от своих дверей на цыпочках, а потом шагал по чистым, пустым улицам: снова Королевским трактом к Замковой площади, к колонне Зигмунта. Присел на гладкие ступени памятника, лицом к реке. Смотрел на отраженные в Висле огни правобережной Варшавы, видел бледную, спокойную луну, стоящую над еще не угомонившимся городом. В эту минуту мне не хватало одного человека: Теофиля Шимонека. Хотелось сказать ему несколько обыкновенных и добрых слов. Может, даже не одно «спасибо». Потом я спустился вниз, к Висле, где компания очень молодых людей танцевала и пела под гитару, и эхо их юных голосов неслось по набережной и по воде к откосам Цитадели.

(Окончание следует)

ДЖОН УЭЙН

Зимой в горах

РОМАН

Перевод с английского Т. КУДРЯВЦЕВОЙ и Т. ОЗЕРСКОЙ

Январь ушел, и пришел февраль с талым снегом. Море поблескивало свинцовой фольгой, каменные очертания замка расплывались в струях шумливого дождя, танцующего в светлом весеннем воздухе. И вопреки враждебной непогоде народившийся год расправлял крылья. А сердце Роджера было как ваза с крокусами на залитом солнцем подоконнике.

И все же воздух был полон угроз. Джеральд Туайфорд не появлялся больше ни у школьных ворот, ни где-либо еще, но его злой, растревоженный дух витал над ménage[1] в отеле.

Однажды утром Дженни, поборов свой страх, отправилась на машине в Нантвич к родителям. Она вернулась далеко за полночь, и Роджер, дожидавшийся ее в номере, видел, укладывая ее в постель, что она совершенно обессилена и близка к нервному расстройству. Роджер старался не задавать ей вопросов, и она не стала ничего ему рассказывать — заметила только, что испытание оказалось ничуть не менее тяжелым, чем она предполагала.

— Но теперь это уже позади,— добавила она.— Я все-таки заставила их понять.

— Они не хотят познакомиться со мной? — спросил Роджер, внутренне ощетиниваясь.

— Успеется,— сказала Дженни.— У нас будет для этого достаточно времени, когда мы станем официально мужем и женой.

День святого Давида близился, его отблеск уже лежал на всем, и Мэдог не один десяток раз за сутки взбегал по ступенькам отеля с каким-нибудь не терпящим отлагательства поручением.

Общее возбуждение передалось и Роджеру — он чувствовал его в своих жилах. День святого Давида, несомненно, станет памятной вехой в их жизни. Примерно так он и сказал однажды вечером Райаннон, которая, сидя за своей стойкой в пустом вестибюле, покрывала от нечего делать лаком ногти и была явно не прочь почесать языком.

— О да, этот день останется в памяти,— сказала она.— Вы не знаете и половины того, что будет.

— Чего же это я не знаю? — спросил он.

— Не один только Мэдог готовится к этому дню,— сказала она.— У Дика Шарпа тоже свои планы.

— Вот как? Ну так расскажите,— нетерпеливо сказал Роджер.

— Скоро сами узнаете,— поддразнивала она его.— Но вам я ска-

Окончание. Начало в №№ 5, 6.

[1] Супружеской четой *(франц.)*.

жу, ладно. Он готовит большой аукцион на это утро, будет распродавать свои автобусы. Все до единого. Он выходит из игры.

— Вы уверены?

Она подняла на него глаза.

— Разве я когда-нибудь ошибалась?

— Нет, Райаннон,— сказал он,— вы никогда не ошибаетесь, вы всегда правы, мудры, добры и прекрасны.

— Ну, я бы этого не сказала,— заметила она и снова занялась своими ногтями.— Но до меня доходит все.

И это действительно было так. Райаннон всегда получала безупречную информацию. Дня через два по всему Карвенаю и во всех близлежащих поселках были расклеены объявления о распродаже. Роджер тщетно пытался понять, случаен ли выбор даты или в этом есть какой-то особый смысл. Но Айво давал совершенно прозаическое объяснение этому факту: день святого Давида приходился на субботу, аукционы же обычно проводятся по субботам в утренние часы, когда народ бывает посвободнее и можно ожидать большого наплыва покупателей.

Весь Карвенай жил теперь в ожидании первого марта. Или почти весь. Одним ветреным вечером Роджер шагал по узенькой улочке, на которую была обращена боковая стена отеля «Палас». Отсюда же был вход в один из трех баров отеля.

Роджер зашел в бар, выпил виски, потом заглянул в вестибюль отеля. Дженни в это время обычно укладывала детей спать, и у Роджера выработалась привычка заходить к ним, чтобы пожелать доброй ночи. В вестибюле Роджер увидел какого-то человека в хорошо сшитом сером деловом костюме; стоя к нему спиной, он разговаривал с Райаннон и, по-видимому, что-то у нее спрашивал. Роджеру показалось, что он уже видел где-то эту спину. Он осторожно приблизился сзади и услышал, как человек спросил:

— В каком она номере? Я поднимусь.

— Я сейчас позвоню, сэр,— с ледяной вежливостью ответила Райаннон.— Если мадам захочет вас принять, она мне скажет. У нас такие правила.

— Не создавайте лишних хлопот себе и другим. В каком она номере? Так или иначе, я все равно поднимусь наверх.

Итак, значит, Туайфорд решил проникнуть к Дженни в ее укрытие! Роджер уже хотел было вмешаться, но тут Райаннон встала с табурета, повернулась и скрылась за дверью. Роджер понял, почему она ушла. В обычных условиях она бы сняла телефонную трубку и попросила телефонистку соединить ее с Дженни. Но Туайфорд маячил возле и услышал бы, как она назовет номер. Поэтому Райаннон ушла, чтобы позвонить с коммутатора. Ей было известно, конечно (как было ей известно вообще все), что Дженни убежала от мужа, и, по-видимому, она отнюдь не собиралась позволить Джеральду Туайфорду вламываться к своей жене и грубо попирать строго соблюдаемые правила отеля.

Нетерпеливо прищелкнув языком, Туайфорд выпрямился, обернулся и встретил устремленный на него взгляд Роджера. Неожиданная встреча не могла быть для него приятной, но всегдашняя обтекаемость помогла ему скрыть свои чувства.

— А, Фэрнивалл,— сказал он,— я так и думал, что наскочу на вас где-нибудь в окрестностях этого отеля.

— Если вам нужна Дженни,— сказал Роджер,— оставьте записку, ей передадут. Если вам нужен я — к вашим услугам.

— Нет уж, конечно, не вы,— с вежливым презрением ответил Туайфорд.— Я хочу нанести визит моей жене и детям.

— Это исключено,— резко сказал Роджер.— После того как она решила оставить вас и забрала детей, вы не должны больше вторгаться в ее жизнь, она этого не хочет. Это выбивает детей из колеи, да и ее тоже.

— К вашему сведению, это мои дети.

— Что вовсе не дает вам права их мучить. Пока они приноравливаются к новому образу жизни, пока он еще не стал для них повседневным и привычным, вам следует оставить их в покое.

— Вы очень меня обяжете, если не будете совать нос не в свое дело,— отрезал Туайфорд.

— Это мое дело. Дженни выйдет за меня замуж, как только освободится от вас.

— Да, я знаю, что вы усиленно распространяете повсюду эти слухи,— сказал Туайфорд, поблескивая очками. Зловещий румянец начал расползаться по его холеному лицу.— Однако я должен услышать это из уст самой Дженни.

— Так позвоните ей. Свяжитесь с ней через вашего адвоката. Делайте что хотите. Но не вторгайтесь сюда силой и не доводите детей до истерики.

— А с какой это стати должен я устраняться и уступать вам дорогу? Вы украли у меня жену, так и несите последствия, черт побери.

— Ваш брак был ошибкой, Туайфорд, почему не взглянуть правде в глаза? А я, может быть, сумею сделать Дженни счастливой.

— Очень великодушно с вашей стороны.

— Великодушие здесь ни при чем, я делаю это ради самого себя и не вижу причин это скрывать. Тем не менее факт остается фактом: я могу сделать Дженни счастливой, а вы нет.

— Я в этом не уверен.

— Возможно, но она уверена, а только это и важно.

— Скажите мне, Фэрнивалл,— произнес Джеральд Туайфорд таким тоном, каким говорят, выступая по телевидению, и, наклонившись к Роджеру, впился в него взглядом: — Вы считаете себя вправе гордиться делом ваших рук?

— При чем тут гордость? Просто одни люди подходят друг другу, а другие нет.

— И вы присваиваете себе право решать, подхожу ли я Дженни?

— Насколько я могу судить, ни вы, ни она не были счастливы в вашем союзе.

Туайфорд сказал, тяжело дыша:

— Ваше лицемерие омерзительно, Фэрнивалл. Почему просто не признаться, что вы встретили Дженни, подумали, что было бы неплохо жениться на ней, а на все остальное вам решительно наплевать.

— Пусть так,— сказал Роджер.— Я встретил Дженни, подумал, что было бы неплохо жениться на ней, а на все остальное мне решительно наплевать. Ну, и что дальше?

Но тут появилась Райаннон, и Туайфорд вопрошающе повернулся к ней.

— Прежде всего, я поднимусь и поговорю с женой,— бросил он Роджеру.

— Она сказала, что спустится вниз через несколько минут, если вы можете обождать,— бесстрастно сообщила Райаннон.

— Вам придется удовольствоваться этим, Туайфорд,— сказал Роджер.

Маска олимпийского спокойствия на лице Туайфорда явно начинала сползать на сторону.

— Перестаньте поучать меня. Я поднимусь наверх и разыщу мою

жену и моих детей. Я буду стучаться в каждую дверь в этом чертовом отеле, пока не найду их.— Голос его уже звучал громко и пронзительно.

— Если вы это сделаете, вас вышвырнут вон.

— Вот как? Кто же это меня вышвырнет?

— Если других охотников не найдется, тогда я,— небрежно сказал Роджер.

— Если вы притронетесь ко мне хоть пальцем, я позвоню в полицию.

— Ну, тогда полицейский и выбросит вас из отеля. Вам известны ваши юридические права. Поскольку ваша жена покинула супружеский кров, вы имеете право требовать развода, и суд в положенное время расторгнет ваш брак. Вас при этом не лишат права участвовать в воспитании детей. Но этим свобода ваших действий и ограничивается. Покинув вас, Дженни поставила себя в невыгодное положение, но и при этом она как личность сохраняет по закону все свои права, и одно из них — быть защищенной от ваших посягательств, если они ей докучают.

— Она не имеет права похищать у меня детей.

— В каком это законе написано, что мать, которая печется о своих детях, кормит их и одевает и даже каждый день возит их все в ту же, привычную для них школу, может быть приравнена к похитителям детей?

Взгляд Туайфорда перебегал с Роджера на Райаннон и обратно. Его решимость, казалось, была на этот раз поколеблена.

— Но по крайней мере,— сказал он наконец,— проявите хотя бы минимальный такт и, когда моя жена спустится вниз, оставьте нас вдвоем. Я не хочу разговаривать с нею в вашем присутствии.

— Я был бы рад оказать вам эту любезность, но не могу. Все, что вы будете говорить Дженни, касается меня. Если вы хотите разговаривать с нею с глазу на глаз, значит, вы намерены играть на ее чувствах и волновать ее. Я должен быть рядом, чтобы этого не допустить.

— А, сбросьте вы свои рыцарские доспехи, Фэрнивалл! С тех пор как вы появились здесь, вы только и делаете, что разыгрываете из себя мессию. У вас комплекс. Вы не только соблазнили чужую жену, нарушив вполне благополучный брак,— и не воображайте, что это вам сойдет с рук,— вы еще развили эту нелепую псевдодеятельность среди местных шоферов. Все это сплошное очковтирательство, фальшивка. Всю зиму вы валяли тут дурака и так ничего и не добились.

— Кое-чего мы добились. Тот, кто терроризировал всех местных владельцев автобусов, сложил оружие и никого больше терроризировать не может.

Туайфорд улыбнулся — к нему уже вернулась его обычная самоуверенность.

— Ах, какая наивность! Как может человек дожить до таких зрелых лет и быть столь умопомрачительно недальновидным?

— Очень даже просто. Надо только ходить по земле и не забивать голову коммерческими махинациями.

— Отдаете ли вы себе отчет в том,— вкрадчиво проговорил Туайфорд,— что в результате всех этих ваших грандиозных усилий мелкие владельцы автобусов получили лишь передышку на... ну скажем, на полтора, от силы на два года? После чего их проглотит более крупный зверь, чем тот, который сейчас за ними охотился.

— Иначе говоря, государственная монополия, если я вас правильно понял,— сказал Роджер.— Да, как ни удивительно, я не такой идиот, чтобы этого не понимать. Я знаю, что весь транспорт будет национализирован.

— И тем не менее вы считаете, что не зря откалывали все эти антраша, не зря тратили время и целую зиму делали себя посмешищем в глазах всех? Чего вы добились? Только того, что эти автобусы отойдут непосредственно к государству, а не к крупной частной фирме сначала и к государству потом?

— Знаете, плотва,— сказал Роджер,— может предпочесть, чтоб ее поймали в сеть и отправили в аквариум, вместо того чтобы быть проглоченной щукой, которую через пять минут тоже поймают в сеть и отправят в тот же аквариум.

— Какое образное мышление! — фыркнул Туайфорд.

— Я люблю мыслить образами. Они открывают мне истину.

Отворился лифт, и из него вышла Дженни. Она надела очки, и вид у нее был собранный, решительный.

— Джеральд,— сказала Дженни,— мне с тобой говорить не о чем, и я вообще никогда, ни при каких обстоятельствах не хочу разговаривать с тобой с глазу на глаз.

Туайфорд побледнел.

— Мне надо поговорить с тобой о Мэри и Робине,— сказал он.

— Хорошо, говори,— сказала Дженни.

— В присутствии этих людей?

— А нам теперь уже нечего скрывать. Годами я должна была скрывать все. Все мои истинные мысли и чувства. Теперь я не буду скрывать ничего. Ты этого не понимал, Джеральд, но всю жизнь я вынуждена была притворяться. А теперь я покончила с этим притворством навсегда — покончила с недомолвками, с ложью. Теперь открыто, перед всем светом, я буду то, что я есть.

— В чем же ты мне лгала? — спросил Туайфорд.

— Я лгала каждым словом, каждым вздохом,— сказала Дженни.— Я была трупом, а притворялась нормальной живой женщиной. А теперь, что бы ни случилось — буду я с Роджером или одна,— я уже не лягу заживо в могилу, теперь я, пока жива, буду жить.

Туайфорд открыл было рот, хотел что-то сказать, но не произнес ни слова и только покачал головой. Потом повернулся и, тяжело шагая, направился к двери, подхватив по дороге брошенное на спинку стула пальто.

Встреча с Джеральдом взбудоражила Дженни и Роджера, и они еще долго говорили — деловито, сухо обсуждали положение вещей. В конце концов было решено, что после знаменательного дня святого Давида они тотчас покинут Карвенай. Со всеми делами здесь будет к тому времени покончено. Потом, когда все наладится и жизнь войдет в колею, они восстановят связи с теми, к кому повлечет их чувство или привычка. Пока же, уехав отсюда, они будут лучше защищены от враждебных действий Туайфорда. А как только Роджер начнет снова получать жалованье, они решат, что им предпринять дальше.

С этого вечера жизнь каждого из них, словно натянувшая тетиву стрела, была нацелена на уже обозначившийся впереди день святого Давида.

Когда Роджер в Великий День приехал одиннадцатичасовым рейсом в Карвенай, он увидел Мэдога, который вышел из муниципалитета и начал быстро спускаться по лестнице.

Заметив Роджера, Мэдог прирос к месту и уставился на него с таким видом, словно не мог поверить своим глазам, потом сказал:

— Слава тебе господи, хоть вы здесь.

— А почему бы мне не быть здесь?

— А потому,— сказал Мэдог,— что никого больше нет.

Роджер внимательно поглядел на Мэдога. Бард сменил свой синий костюм на другой, такого же покроя, только новый, с иголочки и светло-шоколадного цвета в тоненькую, едва приметную полоску. Однако новый костюм его был уже изрядно помят, а волосы всклокочены и взгляд безумен. Великий День едва-едва начинался, а Мэдог, как видно, перенес уже немало испытаний.

— У меня возникли две проблемы,— сказал Мэдог, не сводя неистового взгляда с Роджера.— Проблема первая: ирландцев все еще нет. Проблема вторая и куда более серьезная: шотландцы уже здесь.

— А мне казалось, что из Шотландии прибудет всего один поэт.

— Так оно и есть. Если он вообще существует. Я даже не уверен, что они привезли с собой поэта. Зато я знаю, что прибыл полный автобус шотландских патриотов, и все они в юбочках и все уже пьяны.

— Пьяны?

— Ну да! То ли от пива, то ли от наплыва националистических чувств,— сказал Мэдог.— Определить не берусь.

— А где Дженни?

— Успокаивает бретонцев,— угрюмо сказал Мэдог.— Они боятся объективов телекамер.

— А при чем тут телекамеры?

— О боже! — сказал Мэдог.— Только не говорите мне, что вы якобы тоже ничего не слышали о том, как должна проходить церемония встречи гостей!

— Боюсь, что я действительно не слышал.

— Мы решили это в последнюю минуту. Ребята из телевидения придумали. Они хотят снять на пленку мэра Карвеная, когда он будет приветствовать поэтов, стоя на ступеньках ратуши. Вот на этом самом месте, где я сейчас стою... Дженни! — завопил вдруг Мэдог.

Дженни торопливо сбежала к ним по ступенькам.

— Бретонцы не хотят появляться вместе с шотландцами,— сказала она.— Они говорят, что присутствие шотландцев для них оскорбительно.

Мэдог схватился за голову.

— О боже! Это еще почему?

— Их поэт не говорит по-гэльски. Да и ни один из них, между прочим, тоже не говорит. И когда бретонцы приветствовали их на своем языке, они стали отпускать непристойные шуточки, а один даже запел: «Я из Глазго».

Мэдог облизнул пересохшие губы.

— Что же вы предприняли? — упавшим голосом спросил он.

— Развела их по разным комнатам, подальше друг от друга,— сказала Дженни.

— Ты у меня молодчина,— ободряюще сказал Роджер.

— А, ты здесь, Роджер! Как хорошо. Знаешь, автобусный аукцион уже начался. И они все там,— Дженни кивнула головой в сторону здания на противоположной стороне площади.

— Ну, и как идут дела? — спросил Роджер.

— По-моему, очень быстро. Аукционисту дано указание продавать, сколько бы ни дали. И никто особенно не набивает цен.

— Вы отдаете себе отчет в том,— сказал Мэдог,— что через полчаса мы должны торжественно приветствовать поэтов на ступеньках лестницы, а они все еще никак не могут поладить друг с другом?

— Ну, говоря по правде, это вовсе не поэты не могут поладить,— рассудительно сказала Дженни.— Большинство этих шотландцев просто какие-то прихлебатели. Они явились сюда пображничать и поякриться против англичан.

— Боже милостивый,— сказал Мэдог.— Только этого не хватало. Ну, вот что: они не должны появляться во время торжественной церемонии, когда мэр будет произносить приветственную речь.

— Но оператор телевидения хочет, чтобы они были. Говорит, что без юбочек будет уже не то.

— Ну так он не получит юбочек,— свирепо сказал Мэдог.— Я не потерплю, чтобы в угоду клетчатым юбкам и голым коленкам было испорчено все наше начинание. Скажите этим скалолазам, что у нас здесь не айс-ревю.

И продолжая что-то ворчать себе под нос, он спустился с лестницы.

— Привет, любимая,— шепнул Роджер Дженни.— Я сегодня еще не успел сказать тебе, что я тебя люблю.

— Побереги это до тех пор, когда у меня будет время слушать,— сказала она и легонько чмокнула его в щеку.

Большой зеленый фургон остановился у подъезда ратуши. Узколицый человек с седеющими бакенбардами выскочил из фургона и взбежал по ступенькам.

— Отлично, давайте начинать,— сказал он, обращаясь к Роджеру.— Вы координатор съезда поэтов?

— Нет,— сказала Дженни, решительно выступая вперед.— Координатор я.

— Превосходно.— Узколицый вытащил из кармана кусок мела и принялся быстро рисовать большие кресты на верхней площадке лестницы.— Предположим, что мэр выйдет оттуда и остановится *здесь* — тогда мы можем поставить французов здесь, ирландцев — там, а двухтрех этих сумасшедших в юбочках впереди. Тэрри! — внезапно заорал он.— Питер!

Два молодых человека, увешанные кольцами кабеля, быстро подбежали к нему. Роджер отвернулся, с облегчением предоставив Дженни заниматься этими деятелями и налаживать связь между Мэдогом и субботними телезрителями, которые все равно после полудня будут смотреть футбольный матч по другой программе. Впрочем, попасть в телевизионную программу, даже если ее не будут смотреть,— великая вещь. Это он понимал. Мэдог сможет сообщить ЮНЕСКО, что церемония передавалась по телевидению, и это значительно облегчит ему получение очередной субсидии.

Роджер переходил площадь, когда тяжелая дверь аукционного зала отворилась и оттуда вышел Гэрет. Он раскраснелся, вид у него был озабоченный.

— Ну, как идут дела? — спросил Роджер.

— Здорово,— сказал Гэрет.— На аукцион поступило пятнадцать автобусов, все с запасными частями и дополнительным оборудованием и почти каждый — с гаражом.— Он говорил по-английски и, по-видимому, слово в слово повторял скороговорку аукциониста.— Начали примерно час назад, и уже продано пять машин. Все куплены прежними владельцами. А сейчас Айво и Гито торгуются. Там у них нашелся какой-то конкурент, но он не очень набавляет. Думается, что они получат свою машину обратно. А все-таки волнуешься. Вот я и не выдержал, ушел.

Роджер, снедаемый любопытством, толкнул массивную дверь и на цыпочках, словно в храм, вступил внутрь. В зале было полно народа, преимущественно мужчин, все примерно одного склада — трудовой люд, с обветренными непогодой лицами. Аукционист, коренастый, обильно потеющий мужчина в очках, производил распродажу с лихорадочной быстротой.

— Запасные-части-в-том-числе-покрышки-двести-фунтов, — монотонно выкликал он.— Сама-машина-в-превосходном-состоянии-отлично-содержалась.

— Семьсот пятьдесят за все,— сказал Айво, вскакивая на ноги, с искаженным от напряжения лицом.

— Восемьсот! — крикнул какой-то мужчина из противоположного угла зала.

— Это подрядчик из Портмадока,— шепнул Гито Роджеру.— Он уже приценивался к двум-трем автобусам, но отступился. Восемьсот — это его потолок.

Айво произнес громко, отчеканивая каждый слог:

— Восемьсот двадцать пять.— Напряженно-сосредоточенное лицо его казалось бесстрастным, как маска.

— Восемьсот тридцать! — крикнул человек из угла.

— Продается-за-восемьсот-тридцать-кто-больше-джентльмены, — загнусавил аукционист.

— Набавляйте, можете? — шепнул Роджер Айво.

Айво отрицательно покачал головой.

— Продается, раз,— бесстрастно прогудел аукционист.

— Накиньте немного,— шептал Роджер Айво.— Я вам дам взаймы, сколько не хватает.

— Продается, два,— произнес аукционист. Он поднял вверх свой молоток.

— Восемьсот пятьдесят,— в могильной тишине произнес Айво.

Аукционист поглядел на подрядчика из Портмадока, но тот отрицательно покачал головой.

— Продано,— сказал аукционист.— Продано за восемьсот пятьдесят фунтов.— Он привычным жестом со стуком опустил молоток.— Превосходная машина на ходу, тридцатидвухместная, со всеми запасными частями, плюс комплект колес, две новые покрышки и четыре наваренные. Пошли дальше: машина-номер...— Кратковременное оживление, пробудившее его к жизни в момент завершения сделки, погасло, он снова нудно забубнил привычное.

Гито повернулся к Роджеру. Он улыбался во весь рот; казалось, улыбка едва умещается на его широкоскулом лице.

— Пошли выпьем,— сказал Роджер, хлопнув его по плечу.

— Сейчас, как только подпишем бумаги,— сказал Гито.— Встретимся у Марио.

Роджер вышел на площадь и сообщил Гэрету, что Айво и Гито откупили обратно свой автобус. Он заметил, как глубоко взволновала эта новость Гэрета. По-видимому, распродажа была для него наглядным доказательством того, что в схватке с Диком Шарпом он одержал верх. Не удивительно, если он покинул аукционный зал: напряжение было слишком велико.

«Все становится на свои места,— успокаивающе сказал Роджер.— Все ребята покупают обратно свои машины».

«Я даже сам не знал, только сейчас понял,— сказал Гэрет,— как одинок я был весь этот год. Ужасно одинок. Только моя старуха мать да вы».

На мгновение Роджеру показалось, что Гэрет сейчас заключит его в объятия и сокрушит ему ребра, сдавив его в своих медвежьих лапах. Но это побуждение, если оно и возникло, осталось неосуществленным. Гэрет отвернулся и полез в автобус. Через минуту он высунул голову из окошка:

«Двенадцатичасового сегодня не будет».

«Вы отменили его?» — спросил Роджер.

«Желающих нет,— сказал Гэрет.— Слишком много всяких событий происходит сейчас тут, в городе».

Роджер хотел было что-то сказать, но в этот момент на площадь въехал небольшой автобус и, неуверенно покрутившись, остановился возле него. Из автобуса один за другим начали вылезать усталые люди в зеленых куртках.

— Это что там — муниципалитет? — обратился к Роджеру один из них, по-видимому, руководитель группы.

Особенности его произношения подсказали Роджеру, что это, должно быть, та самая ирландская делегация, которую ждали.

— Да, милости просим! — воскликнул он.

Толпа все прибывала, и они медленно стали прокладывать себе путь через площадь к муниципалитету, где по ступенькам лестницы уже змеились толстые кабели. Огни юпитеров спорили с яркими лучами солнца. Дженни тотчас взяла ирландских поэтов под свою опеку и увела их в отель, чтобы дать им возможность умыться и отдохнуть перед началом церемонии. По дороге они принялись объяснять ей, что провели ночь на пароходе, была сильная качка и бар работал круглосуточно.

Время приближалось к двенадцати. Появился Мэдог в окружении шотландцев в юбочках.

— Только поэт,— продолжал он твердить.— Для остальных у нас не хватит места.

— Но мы же его почетный караул,— возражал огромный чернобородый мужчина, наклоняясь к уху Мэдога, чтобы перекрыть шум.— Джек нигде не появляется без своего почетного караула. Положение не позволяет.

— Да, да, нам обязательно нужно несколько юбочек,— раздраженно сказал человек с седеющими бакенбардами, обращаясь к Мэдогу.— Это впечатляет, понимаете?

«Кто же из них поэт?» — думал Роджер, разглядывая шотландцев. Все они в одинаковой мере были и не похожи и похожи на поэтов. Несколько бретонцев вышли из здания муниципалитета, где они, по-видимому, до этой минуты скрывались. Давка на верхней площадке лестницы все усиливалась, и репортеры телевидения пытались вежливо оттеснить публику за пределы небольшого нарисованного мелом круга — места, отведенного для мэра.

— Где же ирландцы? — растерянно спрашивал Мэдог.

Роджер старался протиснуться к нему с доброй вестью, что Дженни скоро доставит их сюда, но, прежде чем он успел добраться до него, давка внезапно еще усилилась — появилась большая группа исполнителей народных танцев в валлийских костюмах и начала прокладывать себе путь сквозь толпу.

— Пропустите их вперед! — кричал человек с бакенбардами.— Поставьте их вперемежку с юбками! А остроконечные шапки отодвиньте в сторону! Из-за них не будет видно лица мэра.

Роджер издали заметил, как Гэрет, Айво и Гито направляются к пивной Марио, и решил, что пора бы и ему присоединиться к ним. Но, обернувшись, он увидел, что ирландские поэты во главе с Дженни, решительно расталкивая толпу, начинают подниматься по ступенькам. Разные голоса на разных языках звучали одновременно, все старались перекричать друг друга.

— Э, дружище, смотри лучше, кого толкаешь! — Посторонись ты, невежа. Камера! Отодвиньтесь, не закрывайте лица мэра! — Кто здесь Макалистер? — Я же не Макалистер, приятель...— Кому кружку солодового? — Дайте мэру дорогу!

Пока Роджер колебался — его и подмывало убежать от этого ка-

вардака в более нормальную обстановку, и трудно было оторваться от происходившего,— в дверях муниципалитета появился мэр и подошел к микрофону. С достоинством улыбнувшись поочередно — сначала в объектив телевизионной камеры, затем поэтам и наконец собравшимся гражданам,— он звучным голосом начал произносить пышную приветственную речь на академически правильном валлийском языке.

Роджер решил, что теперь он видел достаточно, потихоньку выбрался из толпы и направился к Марио. Здесь ликовали и веселились с размахом, достойным Гаргантюа. Через несколько минут Роджер уже дважды перекрыл свою обычную дневную порцию пива и узнал, что не только Айво и Гито выкупили свой автобус, но и Юан, и Сэредиг, и Туим — все вернули свои автобусы и что Туим вошел в компанию со своим двоюродным братом Седриком и купил не только свой автобус, но еще и автобус Элфеда, поскольку Элфед успел за это время перебраться в другие края. Куда ни глянь — всюду поднятые вверх кружки, широко улыбающиеся лица, квадратные плечи. Совсем особая атмосфера царила в пивной: эти люди принесли с собой запахи бензина и тарахтенье моторов, но вместе с ними ворвался сюда и ветер горных дорог, и дух товарищества, выпестованный долголетней привычкой, прижавшись спиной к стене под секущим шквальным дождем, плечом к плечу со случайным соседом, терпеливо ждать автобуса, как спасательную шлюпку в шторм.

Роджер был так увлечен этим зрелищем, что Мэдог, войдя в пивную, долго дергал его за рукав, прежде чем он обратил на него внимание. Обернувшись, Роджер увидел, что костюм у Мэдога еще больше измят, волосы еще больше взлохмачены, глаза совсем безумные, а за спиной у него стоят шотландцы.

— Роджер,— проговорил Мэдог, почти не разжимая губ,— помогите мне управиться с этой сворой.

Шотландцы тем временем разместились вдоль стойки и принялись ублажать себя пивом.

— А что нужно? — спросил Роджер.

— Избавиться от них,— сказал Мэдог.— Если не навсегда, то хоть на время. По счастью, у нас есть для этого хороший предлог. Они не забронировали себе номеров в гостинице. Для Макалистера мы, конечно, приготовили номер, но для остальных свободных мест нет, а если их предоставить самим себе, то они, скорее всего, будут спать в канаве. Поэтому Дженни обзвонила отели и выяснила, что ближайший отель, где есть свободные номера, находится в Беддгелерте.

— Очень хорошо. Это достаточно далеко, чтобы они не могли притащиться оттуда пешком, если мы их туда доставим.

— Вот именно. Ну, я и подумал, не можете ли вы с Гэретом отвезти их туда на автобусе.

— Гэрет! — крикнул Роджер.— ЮНЕСКО хочет зафрахтовать у нас автобус. До Беддгелерта и обратно.

— Вот с этой компанией? — проявляя догадливость, спросил Гэрет и ткнул большим пальцем в сторону широких, облаченных в юбочки задов, выстроившихся в ряд вдоль стойки.

«Христом богом молю,— быстро проговорил Мэдог по-валлийски,— отвезите их в Беддгелерт и оставьте там».

— Дружище,— произнес огромный бородатый шотландец, отворачиваясь от стойки и заключая Мэдога в братские объятия,— о чем это вы тут толкуете на вашем малюсеньком, никому не понятном языке?

— Да вот... Стараюсь разместить вас получше,— сказал Мэдог, продолжая глазами умолять Гэрета.

— Мы хотим отвезти всю вашу группу в такой отель, где можно достать хорошие номера,— сказал Гэрет.

— Но только не сейчас,— сказал шотландец.— Нам пока хорошо и здесь.

«Этого я и боялся»,— пробормотал Мэдог в сторону.

— Лучше говорите по-английски, предупреждаю,— сказал бородатый.

Марио, уловив эти слова среди шума и гама, наклонился над стойкой и вкрадчиво, с угрозой произнес:

— Сегодня день Santo Davido, мистер. В моей пивной всякий, кто хочет говорить по-валлийски, может говорить по-валлийски, когда ему вздумается, а в день святого Давида здесь вообще *никто не говорит по-английски!* — Он постучал по стойке.— У нас не английская колония. Недалек тот день, когда мы вовсе прогоним англичан.

Роджер стоял в стороне, опасаясь, что дело дойдет до кулаков, но, к его удивлению, бородач расцвел в улыбке и сгреб руку Марио в свою лапищу.

— Да будет так, мой маленький дружочек,— сказал он добродушно.— Да здравствует день святого Давида и долой англичан!

Тут Макалистер, шотландский поэт, официальный глава всего их клана, начал держать речь. Разобрать, что он говорил, было нелегко, так как никто из местных посетителей бара не пожелал прервать своего разговора, но когда Макалистер начал читать вслух по обрывку засаленной бумажки резюме своего выступления, голос его зазвучал звонко и был слышен во всех углах зала.

— Переплавим нашу ненависть к английским угнетателям,— вещал Макалистер,— в ненависть к вульгарному материализму,— (одобрительные возгласы),— ибо он — источник всей скверны, которой питается Англия,— (возгласы: «Только этим она вся и пропитана!»),— и которую она стремится навязать нам...— Буря аплодисментов заглушила его заключительные слова, и он, очень довольный, спрыгнул со стула.

Его речь привела Марио в восторг.

— Risorgimento! [1] — восклицал он.— Да здравствует день liberazione [2]!

Среди этого горластого сборища Роджер приметил короткую стрижку и роговые очки Андре, канадского приятеля Мэдога. Поставив на стойку маленький портативный магнитофон, он с довольным видом наблюдал, как вращаются катушки, записывая всю эту высокую риторику для потомства. Протолкавшись поближе, Роджер крикнул в микрофон:

— Ливерпулю статут доминиона! Англофилы, убирайтесь вон!

Андре нахмурился и выключил магнитофон.

Тем временем и Мэдогу, и Гэрету удалось значительно преуспеть, сгоняя в кучу шотландских приспешников барда и понемногу продвигая их подальше от стойки, поближе к автобусу.

— Даровое виски в конце поездки! — громким скрипучим голосом не уставал возвещать Гэрет.— Как же! Держи карман шире! — проворчал он вполголоса, проходя мимо Роджера.

И так, мало-помалу они оттеснили воинственных, пестро разряженных весельчаков от стойки и загнали в автобус. Когда шотландцы увидели, что Макалистера с ними нет, разразилась буря протеста, но Мэдог утихомирил всех: каждый поэт, выступающий вечером с чтением стихов, разъяснил он, должен явиться на репетицию, и Макалистер сам велел сказать своим верным оруженосцам, чтобы они оставили его в покое часа на два.

---

[1] Возрождение *(итал.)*.

[2] Освобождения *(итал.)*.

После того как шотландцев водворили в автобус Гэрета, путешествие в Беддгелерт протекало спокойно, без всяких приключений. Выгрузив всю ораву у подъезда отеля, согласившегося принять ее под свой кров, Роджер и Гэрет, проследив, как шотландцы один за другим скрываются в баре, поспешно забрались обратно в автобус и покатили назад в Карвенай. Было около двух часов, когда Роджер вошел в отель «Палас» в надежде хоть и с опозданием, но съесть обед и несколько минут провести с Дженни.

Она весело приветствовала его, но уделить ему времени не могла.

— Все налаживается, слава тебе господи. Народные танцы прошли очень успешно. Рискованно было затевать их на открытом воздухе, но солнышко пошло нам навстречу. И сейчас у всех поднялось настроение.

— Прекрасно. А ты можешь хоть немного отдохнуть? И где Мэри и Робин?

— Я попросила тут одну девушку, чтобы она повела их погулять и напоила чаем. Это тебе ответ на второй вопрос. А теперь на первый: нет, не могу. После заключительного выступления поэтов здесь будет большой ужин а-ля-фуршет. Пригласили абсолютно всех. Решено израсходовать все, что осталось на нашем счету в банке. Будет выпивка и сандвичи. Надеюсь, ты придешь?

— Приду.

— Советую сначала хорошенько подзаправиться,— сказала Дженни.— Вино потечет рекой...

Дженни поцеловала Роджера и убежала. Роджер, зная, что он пока не нужен Гэрету и, по-видимому, ничем не может помочь Дженни, решил воспользоваться свободной минутой, сел в голубую малолитражку и поехал к часовне. Он ехал туда в последний раз, чтобы забрать вещи и распрощаться со своей обителью навсегда. Медленно взбираясь на машине в гору, он размышлял над тем, насколько тщательно надо замести за собой все следы, чтобы фрейлейн Инга, возвратясь, не заметила, что в часовне кто-то без нее побывал. Однако, сворачивая на перекрестке в Лланкрвисе, он решил, что едва ли это удастся. Он слишком долго жил в часовне, какие-то следы его пребывания неизбежно должны остаться, и потребовались бы недели систематического труда, чтобы полностью их уничтожить. Взять хотя бы окно, которое он разбил, чтобы проникнуть внутрь в тот первый день, когда Райаннон привела его туда,— ведь он так и не вставил стекла. Сам он этого сделать не умел, а позвать стекольщика боялся— не хотел никого пускать в свой тайник.

Все, конечно, и так знали, что он, никого не спросясь, поселился в часовне. Но одно дело знать по слухам, а другое дело знать, так сказать, доподлинно, со слов человека, который имел туда доступ.

По той же причине Роджер никогда не вызывал к себе фургон для вывозки мусора. Спасался он тем, что одинокими зимними вечерами складывал огромный костер на склоне горы, и весь скопившийся у него мусор уносился к небу стремительными черными завитками дыма. А все, что не поддавалось уничтожению огнем, он закапывал на своем болотистом участке, оставляя в наследство археологам далекого будущего. В разбитое же окно он старательно вставил кусок толстого белого картона, хорошо укрепив его клейкой лентой.

Добравшись до часовни, Роджер сложил свои пожитки и погрузил их в малолитражку. Потом он зашел напоследок в часовню и повесил запасной ключ на гвоздь, с которого когда-то одним воскресным утром сняла его Райаннон. Оставалось только уйти. И, как бы отдавая печурке последнюю дань, он опустился на колени и подбросил в нее топлива, чтобы огонь не угасал еще восемь часов после его ухо-

да. Такой перелом произошел в его жизни среди этих стен, что и балки эти, и камни, и даже скалы, на которых покоится фундамент часовни, казалось, навечно впитали в себя его мысли и чувства. Они были свидетелями его окончательного запоздалого возмужания; они были свидетелями его освобождения; здесь началась страница его жизни, в которую вписана Дженни, и здесь от него отлетел умиротворенный дух Джеффри — они распрощались в обоюдной любви и доброте.

Убедившись, что пламя хорошо занялось, Роджер прикрыл дверцу, поднялся, быстро вышел за дверь и захлопнул ее за собой. Прежде чем забраться в малолитражку, он окинул все последним прощальным взглядом, проверяя, не позабыл ли чего. Если не считать аккуратного белого квадрата картона, вставленного вместо разбитого стекла, и дыма, деловито поднимавшегося над трубой, все здесь выглядело совершенно так же, как в тот день, когда он впервые увидел эту часовню.

Роджер запустил мотор и поехал в Карвенай, в отель «Палас».

Съезд поэтов тем временем мало-помалу принимал уже более упорядоченную форму. Поэты читали с подъемом, публика слушала внимательно, все торжественно и единодушно отдавали дань музам. Маленький магнитофон Андре работал безостановочно, представители ЮНЕСКО улыбались, и если еще недавно в глазах Мэдога появлялось временами затравленное выражение, то теперь глаза его пылали пророческим жаром и огнем административного ража. И даже Дженни словно бы немного успокоилась, хотя ей и приходилось то мчаться со всех ног в муниципалитет (чтобы утихомирить поэтов), то бежать обратно в отель (чтобы воодушевить отряды добровольцев, готовивших гигантский ужин а-ля-фуршет).

Роджер сопровождал Гэрета в его четырехчасовом рейсе в поселок, в пятичасовом рейсе в город и в шестичасовом — снова в поселок.

Когда они подъезжали к поселку, уже смеркалось. В фиолетовой тишине, окутавшей горы, последние пассажиры разбредались по домам. Роджер и Гэрет остановились возле автобуса.

«У вас сейчас, до следующего рейса, есть тут какие-нибудь дела?» — спросил Гэрет.

«Нет».

«В часовню не пойдете?»

«Нет. Я перебрался оттуда. Сегодня ночую в отеле».

«А утром что?»

«Утром думаю уехать».

Гэрет не шелохнулся. Темное горбатое облако медленно таяло на фоне тускнеющего заката.

«Ну, тогда,— промолвил наконец Гэрет,— зайдемте к нам, выпьем по чашке чая».

Они молча шагали по каменистой тропинке к дому, но их молчание не было отягощено печалью. В окнах горел свет: две женщины из поселка пришли проведать мать, и все три под веселый звон чайной посуды и громыханье кочерги в камине усаживались за стол провести вечерок. Роджер был рад присутствию этих женщин: они создавали вокруг матери атмосферу уюта и сплетен, и хотя она знала, что Роджер здесь и два-три раза даже обращалась к нему, но что это его последний визит, по-видимому, не поняла, и все обошлось без торжественного прощания.

Когда они перед семичасовым рейсом в город шли к автобусу, Гэрет первым нарушил молчание.

«Вовек мне не забыть, как в тот вечер я пришел сюда под проливным дождем и увидел, что моя машина исчезла».

Роджер усмехнулся.

«Я пытался возместить убытки чем мог».

«И неплохо возместили,— сказал Гэрет.— Если бы в тот вечер я мог заглянуть в будущее и увидеть, как все повернется, на седьмом бы небе был от радости».

«Да, все повернулось не так уж плохо для нас обоих,— сказал Роджер.— Нам обоим тогда очень нужно было, чтобы счастье переменилось, и так оно и вышло».

Они подошли к автобусу. Первые пассажиры уже занимали места. Гэрет включил свет, и автобус опять стал тем, чем он был для Роджера в тот первый дождливый вечер — приютом радости и света на темном склоне горы.

Поглощенные каждый своим делом, Роджер и Гэрет больше не разговаривали.

Часа три спустя Дженни и Роджер сидели бок о бок в зале карвенайского муниципалитета. Главные события этого дня близились к концу. Для Дженни это было радостным окончанием долгой, изнурительной страды. Чтение проходило гладко: бретонские, ирландские, валлийские поэты в установленном порядке появлялись перед публикой и читали свои творения; даже шотландец, лишенный привычной свиты, не вышел из рамок и прочел то, что было оговорено. А теперь на авансцене стоял Мэдог и читал отрывки из поэмы «Гвилим чероки», а остальные поэты, уже выступавшие, слушали его из зала, и Мэдог был все тот же Мэдог и вместе с тем кто-то другой — это был ученый, влюбленный в свой язык, тот Мэдог, который запомнился Роджеру с их первой встречи, но это был и Мэдог-бард, одержимый менестрель, и язык его был жгуч, когда он пел о невзгодах своего народа, это был Мэдог-чероки, Мэдог — певец Гвинедды, Мэдог — клерк из заурядной конторы, сплетавший свои словесные узоры, руководствуясь инстинктом, как птица, и памятью, как слон, и любовью, радостью и тревогой, как человек, и Роджер, сидя рядом с Дженни и слушая Мэдога, чьи темные, вдохновенные видения стали ему теперь доступны благодаря знанию валлийского языка, понял вдруг, что и поэма Мэдога, и желтый автобус Гэрета — это одно, единое, и что эти стихи и этот автобус носили его, Роджера Фэрнивалла, здесь по горам и вынесли туда, где он обрел самого себя.

Мэдог читал минут двадцать и рос на глазах, каждым мгновением вознаграждая себя за все бесцветные годы, замкнутые в унылый треугольник: контора, пивная Марио и домашний насест в маленьком полуособнячке на безликой окраине Карвеная, города, который он любил больше всего на свете и который был для него и отчим домом, и центром вселенной. Голос поэта креп и рос — двадцать строк взмыли ввысь на гребне волны высокого эпического повествования, как на одном дыхании, и когда волна, упав, разбилась среди грома и брызг пены и на мгновение воцарилась тишина, Роджер продолжел сидеть оглушенный, а потом, очнувшись от шума рукоплесканий, с удивлением поглядел по сторонам: стены зала были незыблемы, ряды деревянных кресел стояли такие же чопорно неподвижные... и над головой были все те же балки потолка, а не унизанный звездами купол неба.

А затем все кончилось. Председательствующий, человек-кариатида с квадратной челюстью, приглашенный из местного университетского колледжа, произнес несколько заключительных банальностей,

и все потянулись к выходу. Роджер и Дженни, как было заранее условлено, направились к Марио, чтобы встретиться там с Мэдогом.

Выбор места был не случаен. Владельцы автобусов, возглавляемые Айво и Гито, сразу же после закрытия аукциона успели наскоро устроить здесь небольшую пирушку, после чего Марио закрыл свое заведение на дневной перерыв и, надо сказать, весьма кстати, так как это дало возможность новоявленным владельцам в достаточно трезвом состоянии явиться в контору аукциониста, где им предстояло завершить сделки и после выполнения необходимых формальностей узаконить свои права. Вечером же, когда пивная открылась, они снова возвратились туда; это были все те же люди, но в них произошла перемена: распрямились плечи, быстрее бежала по жилам кровь. Великое несбыточное свершилось: они снова были сами себе хозяева.

Роджер и Дженни, войдя, задержались на минуту в дверях, окидывая взглядом зал — шумный, теплый, прокуренный, многоголосый, гудящий валлийской речью. Все больше поднятых в воздух пинтовых кружек, все шире улыбки на лицах. Марио едва поспевает разливать пиво, отпускать пироги; лицо его блестит от пота, руки мелькают все быстрее и быстрее, он кричит то по-валлийски, то по-итальянски.

— А, вы уже здесь!— воскликнул Мэдог, входя следом за ними в пивную.— Тут у меня одно маленькое дельце, после чего мы начнем наше празднество.

— Мне кажется, оно уже началось,— сказал Роджер.— Мэдог, вы были поистине великолепны. Ваша поэма завоюет мировое признание.

— Моя поэма? — повторил Мэдог.— Это просто след дыхания на оконном стекле. Сгусток моей жизни и жизни этих людей, что тут перед вами. Я за этим и пришел.

— За чем именно?

— Созвать всех чероки на пир,— сказал Мэдог.— Обождите минутку.— Резко повернувшись, он протолкался к стойке и что-то шепнул Марио на ухо. Марио выслушал, кивнул. Мэдог вскочил на стул, со стула — на стойку.

«Джентльмены! — крикнул он.— Я хочу сказать вам несколько слов!»

Все лица обратились к нему, и стало ясно, что каждый из присутствующих понимает валлийскую речь.

«Сегодня вечер торжества и победы,— сказал Мэдог.— Для вас, для меня, для всех нас. Я присвоил себе высокую честь пригласить вас без лишних церемоний присоединиться ко мне и моим друзьям в отеле «Палас», где нас ждет бесплатное угощение, и притом в неисчерпаемом количестве».

«Когда?» — крикнуло несколько голосов.

«Немедленно!» — Мэдог улыбнулся и соскочил со стойки под взрыв аплодисментов.

«Теперь слушайте меня! — крикнул Марио.— Заведение закрывается. Через пять минут все должны очистить помещение. Я хочу попасть на пир. Допивайте и пошли!»

«Каждый имеет право спокойно допить свое пиво!» — крикнул какой-то бесцветный старикашка из угла.

«Я не даю вам этого права! — крикнул Марио.— Допивайте на тротуаре. И пошли туда, где пьют бесплатно!»

Он исчез за дверью позади стойки и через минуту появился снова в клетчатом пальто очень яркой расцветки и тирольской шляпе, за ленту которой была засунута кисточка для бритья. Без долгих разговоров он выключил все лампы, оставив лишь одну немощную лампочку над стойкой, чтобы в этом тусклом свете каждый мог добраться до наружной двери.

— Пошли, ребятки, мы ведь умеем с полуслова понять деликатный намек,— словно сигнал военной трубы, прозвучал голос Айво, перешедшего на свой пародийно-английский язык.— Время нам всем податься в отель. Мы с вами неплохо проведем там вечерок. Черная икра и коньяк бесплатно. И выбросьте на сегодня из головы все ваши заботы.

Разве может истинный кельт допустить, чтобы какой-то выходец из Италии сумел отозваться живее, чем он, на широкий жест гостеприимства? Все сразу высыпали на тротуар и, взявшись за руки, зашагали под предводительством Марио и Мэдога к отелю. Говорливая, смеющаяся, колыхающаяся, распевающая песни ватага понесла уцепившихся друг за друга Дженни и Роджера. До отеля «Палас» добрались без происшествий; когда поток людей, взмыв по ступеням, хлынул через вращающуюся дверь в вестибюль, перед Роджером мелькнуло испуганное лицо главного администратора, но под уничтожающим взглядом Мэдога он мигом стушевался.

— В каком зале собираются, приятель? — спросил Мэдог, выдержав внушительную паузу.

— Собираются? — заикаясь, переспросил администратор.

— Где будет прием? — вежливо пояснил Марио.

— Это наверху! — крикнула Дженни из толпы.— В главном банкетном зале.

— Отлично,— сказал Мэдог и, повернувшись к гостям (Роджер не сомневался, что в эту минуту все они представлялись Мэдогу в образе краснокожих в великолепных праздничных уборах из перьев), крикнул звонко: — Джентльмены, милости просим подняться наверх в главный банкетный зал! — И простер руку в сторону лестницы.

Главный администратор, схватившись за голову, прислонился к колонне. Роджер слышал, как он простонал:

— И ни на одном из них нет галстука!

Шумная ватага со смехом и шутками начала подниматься по лестнице. Роджер понимал, какие муки выпали на долю главного администратора. Двадцать лет он был блюстителем достоинства отеля, ограждая его от посягательств тех, кто мог своими джинсами или отсутствием галстука запятнать его безупречную буржуазную репутацию; бдительно следил он за тем, чтобы в тщательно пропылесосенные коридоры и мягко освещенные номера допускались лишь мужчины в хорошо сшитых пиджачных парах (это уж на худой конец) и дамы в добротных комплектах из джерси (юбка, джемпер, жакет) и с жемчугом на шее, по моде этого года, или в чем-то соответствующем джерси и жемчугу, если мода изменилась, и вот сегодня эти правила уже рухнули однажды под натиском съезда кельтских поэтов, участники которого — валлийцы, бретонцы, ирландцы и один очень шумный шотландец — каких-нибудь десять минут назад явились сюда прямо из муниципалитета. Администратор не был уполномочен преградить доступ этой орде, чьи представления о приличном мужском гардеробе втаптывали в грязь все те священные принципы, которые он отстаивал грудью всю жизнь, и теперь это новое вторжение опрокинуло на обе лопатки человека, уже поставленного на колени. Он еще мог бы оправиться от удара, получи он сейчас поддержку со стороны управляющего, но управляющий, зная о надвигавшейся беде, предпочел на полсуток впасть в нервное расстройство и, запершись в своем кабинете, сидел перед экраном телевизора, ожидая, когда снотворные погрузят его в спасительное забытье.

А в главном банкетном зале — смех, шутки, дружелюбное многонациональное веселье шло своим чередом. На длинных столах, накрытых белоснежными скатертями, напитки и закуски гостеприимно

манили к себе. И никто не мог пожаловаться на отсутствие аппетита или желания пропустить стаканчик.

Не успели Роджер и Дженни войти в зал, как один из корнуэльских поэтов принялся объяснять им свой план создания торгового объединения кельтских племен, экономически независимого от всего остального мира.

Дженни под каким-то предлогом тихо ускользнула. Неподалеку Мэдог раскрывал двум ирландцам основную идею своей поэмы, в то время как те в свою очередь пытались раскрыть идею своих творений Мэдогу и одновременно друг другу. Гэрет за спиной у Мэдога ел сандвичи и усмехался. Оглушительный рев, внезапно донесшийся с лестницы, возвестил возвращение шотландцев, которые больше половины пути от Беддгелерта проделали пешком, и дорога возбудила в них отличную жажду.

— Роджер,— сказала Дженни, неожиданно вырастая за его плечом,— ты знаешь, что Дик Шарп здесь?

— Дик Шарп? — Роджер оглянулся по сторонам. Следом за шотландцами в зал входила еще группа людей; один из вновь прибывших нес в руках большую картонную коробку. А в центре этой группы и вправду находился Дик Шарп.

— Я думал, что никогда уже больше его не увижу,— заметил Роджер.

Он увидел, что Дик Шарп заметил его и, не спеша, но очень решительно прокладывая себе путь в толпе, направляется к нему. Мускулы его невольно напряглись. Уж не собирается ли этот тип пустить в ход кулаки? Но Дик Шарп улыбался — правда, чуть настороженно.

— Выпьем шампанского? — предложил он Роджеру.— Мне глубоко жаль этих бедняг.

— Вам жаль их?

— Да, дружище! — вскричал Дик Шарп.— Это же такие жалкие идиоты, черт бы их побрал! Им нянька нужна носы вытирать. А ведь в конце-то концов они мои соотечественники. И когда я вижу, какие они беспомощные и глупые, мне, черт побери, хочется плакать.

Бесстыдство этого заявления ошеломило Роджера, хотя он и мог ждать от Дика Шарпа любого бесстыдства.

— Их радость так иллюзорна,— продолжал Дик Шарп.— Для них куда полезнее было бы взглянуть в лицо фактам. Послушайте, господин англичанин, вы знаете, почему я продал сегодня эти автобусы? Ведь борьба только начинается. Я мог бы в два счета вышвырнуть отсюда и вас, и Гэрета Джонса, как двух сорок из гнезда. Но я получил кое-какую информацию.— Дик Шарп наклонился, почти вплотную приблизив свое лицо к лицу Роджера, но глаза его продолжали бегать по сторонам.— Кое-какую информацию, которая сразу убедила меня, что заниматься сейчас автобусами — это пустая трата времени и денег.

— Стойте, не говорите мне больше ничего, я попробую догадаться: все это скоро перейдет в руки правительства. Управляющий автобусной компанией «Дженерал» выбросился из окна своей конторы на пятнадцатом этаже. Проездные билеты на автобусы будут продаваться только в почтовых отделениях, и всякая попытка использовать автобус в целях личной наживы будет караться каторжными работами на Гебридских островах.

— Очень остроумно,— сказал Дик Шарп, презрительно покачивая головой.— Очень остроумно и, черт побери, почти правильно. Поглядите на этих молодцов: как они распетушились оттого, что получили обратно эти свои дурацкие автобусы! Ну, так вот: меньше чем

через год им снова придется их продать, хотят они того или нет. Все автобусы национализируют. Все попадет в одни руки, и всякой конкуренции будет положен конец.

— А я полагал, что это всем и каждому давно известно.

— Да, это носилось в воздухе уже давно,— сказал Дик Шарп.— Но сейчас правительство так часто вмешивается решительно во все — что-то поощряет, что-то запрещает и тут же делает все наоборот,— что никто уже ни во что не верит, пока сам не убедится. Так вот я убедился. Я осведомлен. У меня есть связи, и через них я слежу.

— Ну понятно,— сказал Роджер.— У вас есть связи. Как это я забыл...

— И когда вы узнаете, кого я имею в виду, вас это может очень удивить,— сказал Дик Шарп.— Я плачу им хорошие деньги, этим моим консультантам, за то, чтобы они держали меня в курсе дел Сто— двести фунтов в квартал на карманные расходы, понимаете? Но если проходит квартал и я не получаю нужной информации, выплата прекращается.

Только тут Роджер заметил, что Дик Шарп слегка пьян. Он находился на той стадии опьянения, когда реальность и мечты начинают сплавляться воедино в парах алкоголя. Может быть, все эти россказни о платных консультантах — просто выдумка? То, чего он лишь мечтает достичь, когда станет по-настоящему крупным воротилой?

— Вы, кажется, не верите мне? — сказал Дик Шарп. Лицо его приняло обиженное выражение, как часто бывает у захмелевших людей.— Я понимаю, что вам очень хочется думать, будто вы одержали великую победу, будто вы сбили меня с ног. Так вот, имейте в виду: я не даю сбивать себя с ног. Я это вам докажу.— Он внезапно вцепился в рукав Роджера.— Пойдемте вон туда. Там есть один знакомый вам человек. Можете спросить *его.*

Роджер поглядел в сторону входной двери, где расположилась пришедшая вместе с Диком Шарпом кучка людей. Там появился небольшой столик, и на нем выстроилась дюжина бутылок шампанского. Тяжеловесная красавица блондинка, жена Дика Шарпа, стояла к Роджеру в профиль и, запрокинув голову, пила шампанское. Позади нее Роджер увидел потное лицо Дональда Фишера. Затиснув в угол канадца Андре, он, по-видимому, яростно его обрабатывал. Vive l'opportunisme! [1] Неподалеку от Дональда Фишера, лицом к нему и спиной к Роджеру, стоял еще один мужчина; посадка его головы, линия плеч, затылка показались Роджеру знакомыми. Ну, конечно же, это Джеральд Туайфорд!

— Мне кажется, вы знакомы с этим господином, мистер Туайфорд,— сказал Дик Шарп, подталкивая вперед Роджера.

Голос его звучал небрежно, лицо было бесстрастно, но Роджер сразу увидел, что сводил он их друг с другом не без злого умысла. Конечно, он не мог не слышать сплетен. Вполне возможно, что ему хотелось стравить их, разжечь скандал, чтобы испортить вечер.

Но Туайфорд поглядел на Роджера равнодушно, почти сонно. И произнес только:

— Да, я его знаю.

— Я хочу, чтобы вы подтвердили то, что я все время пытаюсь ему втолковать,— с пьяным упрямством продолжал Дик Шарп.— Мне он не верит. Он все думает, что у них и вправду есть причина для веселья.

— Для веселья? — повторил Туайфорд и пожал плечами.— Так ведь они же лягушки под плугом. Плуг на минуту приостановился, перед тем как изменить направление. Уж не потому ли они веселятся?

[1] Да здравствует приспособленчество! *(Франц.).*

— Еще никогда в жизни не пичкали меня так зоологическими метафорами,— сказал Роджер.— Когда в этом самом отеле я впервые познакомился с Диком... с вашим приятелем.— Роджер только тут понял, что он даже не знает настоящего имени Дика Шарпа. Действительно ли его фамилия Шарп[1]? Верно, это прозвище, а фамилия у него, как у всех здесь, конечно, Джонс.— Так вот, при нашей первой встрече он сказал мне, что Гэрет — это еж, раздавленный автомобилем. Теперь вы говорите мне, что все эти люди — лягушки под плугом. Вероятно, сравнения можно продолжить: они — птицы на живой изгороди под струей ядовитых химикалий, они — форель, умирающая в отравленной реке, они — чайки со слипшимися крыльями, попавшие в кильватер прохудившегося нефтеналивного судна.

— А вы — доблестный заготовитель консервов, который старается облегчить им последние минуты,— сказал Туайфорд, блестя очками и излучая сарказм.

— Скажите ему,— надоедливо бубнил Дик Шарп,— скажите ему то, что вы сказали мне насчет нового государственного проекта.

— Так очень же просто: этому хаосу будет положен конец,— сказал Туайфорд.— Во всю эту путаницу и неразбериху необходимо внести крупицу здравого экономического смысла. Конечно, если руководящий центр будет находиться в Англии, националисты, как всегда, могут поднять шум, и, возможно, тут пойдут на уступки, и тогда управление поместят в Рэксхеме или еще где-либо. Но так или иначе, через год всем им придется расстаться со своими автобусами, а сейчас следовало бы поджать хвост.

— Я с вами не согласен,— сказал Роджер,— но не думаю, чтобы вас это могло интересовать.

— Откровенно говоря,— сказал Туайфорд,— вы для меня просто не существуете. Вы — не больше как дыра, в которую случайно провалилась моя жена и мои дети. А я сейчас готовлю снасть, чтобы вытащить их оттуда.

— Валяйте, потешьте свое самолюбие,— сказал Роджер и отошел от них. В эту минуту мимо него, направляясь к столику, где стояли быстро опустошаемые бутылки с шампанским, стремительно прошла молодая женщина. Глаза Роджера скользнули по этой особе, не запечатлев ее образа в памяти. Он никогда не видел этой женщины раньше, но в таком большом сборище встречалось немало незнакомых ему лиц. Женщина была невысокая, рыжеволосая, с капризной гримаской на очень пухлых губах. Вероятно, приятельница какого-нибудь из приезжих поэтов, а быть может, и местная жительница, узнавшая, что тут можно выпить дарового шампанского. Она промелькнула в поле зрения Роджера, не оставив после себя следа.

Роджер направился было к Дженни. Но тут на его пути вырос массивный торс Гэрета.

На Гэрете была его неизменная, лоснившаяся от времени кожаная куртка. Лицо его раскраснелось, а в глубоко посаженных глазах, словно на дне двух тихих глубоких колодцев, мерцали искорки света. Гэрет был счастлив.

«Гэрет! — сказал Роджер. Он положил руку на его большое плечо. Плечо было твердое, как камни его гор.— Уже пробило десять».

«Сегодня рейс откладывается,— сказал Гэрет,— и вообще, Роджер, все это теперь уже позади». И он протянул Роджеру свою большую жесткую лапу.

Роджер вложил свою руку в его костедробилку.

---

[1] Шарп — по-английски: острый.

«Никогда это не будет позади, Гэрет,— сказал он.— Мы всегда будем напарниками».

Когда пальцы Гэрета стиснули руку Роджера, боль выжгла из его мозга все другие мысли. Ему казалось, что прошло не меньше пяти минут, пока пальцы начали наконец разжиматься, после чего последовал медленный кивок, и Гэрет отвернулся. Роджер стоял, глядя, как мощная кривобокая фигура в знакомой кожаной куртке продвигается к двери. А там, на продуваемой всеми ветрами площади, стоит автобус, ждет.

Но вот Гэрет скрылся за дверью, и вместе с ним ушел, чтобы никогда не повториться, большой кусок жизни Роджера.

А Роджер подошел к Дженни. Она сняла очки и спрятала их в сумочку. Роджер уже знал, что этот ее жест был знаком того, что владевшее ею внутреннее напряжение ослабло. Она подняла глаза на Роджера и заметила, что он наблюдает за ней.

— О чем ты думаешь? — спросила она, мягко кладя ему руку на плечо.

— Ты закатишь мне пощечину, если я тебе признаюсь.

Она улыбнулась.

— А какие у вас планы на вечер, после окончания празднества, мистер Фэрнивалл?

Он ответил без обиняков:

— Я останусь здесь. Часовню я запер. Мой villeggiatura[1] в Лланкрвисе окончен. Я пытался снять номер в отеле, но Райаннон сказала мне, что здесь нет даже свободной ванны, где бы можно было переспать. Отель трещит по всем швам. Так что я плюхнусь в кресло в вестибюле или еще где-нибудь. Если конечно...

— Если?

— Если одна добрая госпожа не разрешит мне прикорнуть на коврике в ее апартаментах.

— Попробуйте повторить эту просьбу снова, когда придет время,— сказала Дженни.— Быть может, я придумаю что-нибудь получше коврика.

И когда время пришло, Роджер повторил свою просьбу. А еще позже, когда они засыпали в объятиях друг друга, он прошептал ей на ухо:

— А как же ребятишки?

— Что — как же ребятишки? — пробурчала она в подушку.

— Утром они ворвутся сюда и увидят нас.

— Ну и что? — сказала она, сладко зевнула и теснее прижалась к нему.— Им придется к этому привыкать. С этого дня они будут видеть нас вместе каждое утро.

А на другое утро после завтрака Роджер с двумя чемоданами в руках вышел из лифта в отеле «Палас». Они покидали отель. Дженни еще подбирала кое-какие детские вещички, и Роджер спустился вниз, чтобы установить чемоданы на крыше малолитражки.

Он вышел через боковую дверь отеля во двор, где под рифленой крышей навеса оставил малолитражку. В эту минуту ему припомнился первый вечер, проведенный им здесь. Одинокий, безутешный, стоял он, глядя на исхлестанный дождем двор, и думал, хватит ли у него сил выдержать это одиночество и скуку. И сейчас ему казалось, что он снова слышит тарахтенье мотороллера Беверли, подкатившего к отелю под завесой косого дождя. Будь благословенна эта девчонка!

[1] Отдых *(итал.)*.

В конце концов, если бы не она, он мог бы никогда не встретиться с Гэретом.

Надежно прикрутив чемоданы к сетке, он вернулся в отель — к Дженни и ребятишкам. В эту минуту невысокая рыжеволосая молодая женщина, которую он заметил накануне вечером во время пирушки, торопливо вышла из отеля и открыла дверцу «порша», стоявшего рядом с малолитражкой. Она бросила на сиденье чемодан, обошла машину с другой стороны, отперла переднюю дверцу и села за баранку. Элегантный автомобиль приковал к себе внимание Роджера; он смотрел, как эта молодая особа вывела машину на середину двора, ловко развернула ее и выехала за ворота. Автомобиль был новый, сверкающий. В выхлопной трубе раза два чихнуло, когда рыжеволосая переключала передачу, а затем «порш» затерялся среди других машин.

Рыжеволосую звали фрейлейн Инга. Если Роджер не узнал ее, в этом не было ничего удивительного, так как он всегда представлял себе фрейлейн Ингу высокой, гибкой блондинкой с тонкими губами и капризным выражением лица. Подлинная фрейлейн Инга изо всех этих отличительных признаков обладала только последним.

Фрейлейн Инга была в хорошем расположении духа. Дела ее за последнее время стали налаживаться. В Марокко она поссорилась с мистером Робертсоном и, решив про себя, что придется его покинуть, постаралась загладить ссору, дабы не вызвать раньше времени ненужных подозрений. Этой зимой в прокаленной солнцем Северной Африке она встретила человека, куда лучше отвечавшего ее запросам. Ее новый избранник обладал небольшим, но вполне пристойным доходом и пописывал небольшие, но вполне пристойные критические заметки об искусстве в небольших, но вполне пристойных газетках. Он, по той или иной причине, дал высокую оценку живописному дару фрейлейн Инги, и знакомство их стало развиваться быстро и весьма успешно. Человек этот жил в Лондоне, точнее — на Баронс-Корт, где у него была небольшая, но вполне пристойная квартирка. В этой квартирке фрейлейн Инга собиралась соединиться с ним, следуя его настоятельному приглашению. Приглашение это не обусловливало длительность будущего союза, но фрейлейн Инга чувствовала, что она ничего не будет иметь против, если окажется, что союз этот — до гробовой доски. Во всяком случае, как здравомыслящая европейка, она была готова, если потребуется, сжечь за собой мосты.

Фрейлейн Инга была лихим автомобилистом, и ее «порш» резво срезал углы, когда она на изрядной скорости закладывала крутые виражи там, где автобус Гэрета полз обычно на первой передаче. Алчная акулья морда автомобиля глотала километры; фрейлейн Инга, положив локоть на опущенное стекло окна, мурлыкала песенку. «Порш» был подарком мистера Робертсона. Когда она возвратилась в Англию, этот подарок уже поджидал ее, и если фрейлейн Инга постаралась держать мистера Робертсона в неведении относительно своих намерений, это объяснялось вполне естественным желанием не расстраивать его ничем, пока «порш» не будет ей вручен. А как прощальный подарок это выглядело очень мило. В общем, весеннее солнце ярко озаряло своими лучами фрейлейн Ингу. Зима прошла весьма успешно, наступал новый сезон. Два-три дня, ну, от силы — неделю фрейлейн Инга намеревалась пожить в часовне: нужно было привести в порядок вещи, запаковать холсты, в коротенькой записке дать отставку мистеру Робертсону, а затем — здравствуй, ослепительный мир европейских космополитов на улице Баронс-Корт!

Когда автомобиль фрейлейн Инги подъезжал к перекрестку в центре Лланкрвиса, Роджер выходил из номера отеля, который

Мэдог снял для Дженни. Мэри и Робин суетились возле, каждый с пестрым бумажным пакетом с игрушками в руках. Дженни с огромной охапкой каких-то коробок замыкала шествие.

— Мы поедем на длинном-длинном поезде? — спрашивал Робин.

— Конечно, глупенький,— сказала Мэри.— Коротенькие поезда не ходят в Лондон.

— А когда же мы будем обедать? — сказал Робин. Его нижняя губа начала плаксиво выпячиваться вперед.— Я умру с голода. Мы же будем ехать в поезде целый день. Сами вы говорили.

— А у меня на этот счет хорошие новости,— сказал Роджер.— В этих длинных поездах есть специальный вагон, где можно пообедать. Там стоят столы, накрытые скатертями, на них разложены ножи, вилки, поставлены стаканы, и приходят добрые официанты и спрашивают, чего бы ты хотел поесть.

Робин задумался.

— А это холодное или горячее? То, что у них там едят.

— И то и другое, но больше горячее.

— А где же они все это греют? На паровозе?

— Нет,— сказал Роджер. Он нажал кнопку, вызывая лифт.— У них есть плита. У них там, в этом вагоне, есть даже настоящая кухня. Я покажу тебе. Пока поезд идет, они готовят кушанья, а когда все готово, звонят в колокольчик, и ты можешь прийти и поесть. Ты сам все увидишь. Это очень интересно.

— А пирог у них есть? — спросил Робин.

— Есть.

— А сыр? А пирожки с рыбой? А картошка? А...

Робин и Мэри принялись наперебой перечислять всякую вкусную снедь, какая им только приходила на ум, их тоненькие голоса выводили это, словно песенку. А Роджер кивал в ответ и приговаривал:

— Да, да...

Дженни с охапкой вещей подошла и остановилась возле.

— Ты считаешь, что тебе под силу справиться с ними?

— Я прекрасно сумею с ними справиться. И я хочу увеличить нашу упряжку. По меньшей мере до шестерых.

— После сегодняшней ночи,— сказала она, прижимаясь к нему,— боюсь, как бы ты не получил всех шестерых сразу.

Подошел лифт. Роджер внезапно почувствовал, как что-то сжалось у него внутри. Он знал: лишь только дверь лифта откроется и они все войдут туда, для каждого из них начнется совсем другая жизнь.

— Вы получите все, чего захотите,— сказал он детям.

— И мороженое?

— И мороженое, если только сначала хорошенько заправитесь чем-нибудь более существенным.— Внезапно он наклонился и поцеловал их.— Когда вы будете жить со мной,— сказал он,— я уж послежу за тем, чтобы у вас было все, что вам полезно.

— И у меня тоже? — спросила Дженни.

— И у тебя тоже,— пообещал Роджер.

Дверь лифта отворилась. Все трое вошли в кабину, и Роджер нажал кнопку.

Высоко в горах фрейлейн Инга отомкнула дверь пустой часовни.

Критика

В. ВОЛЖАНИН

КИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

Поверят ли наши потомки, что во второй половине двадцатого века многомиллионный народ долгое время жил без литературы? Что новые произведения не создавались, а старые были запрещены, изъяты, уничтожены? Что на полках книжных магазинов — лишь либретто нескольких объявленных образцовыми спектаклей да тощие сборнички пропагандистских стишков и очерков? Им будет трудно понять, как такое могло случиться. Нелегко и нам, но необходимо. Вернемся же мысленно на два десятка лет назад.

В одном из залов Пекина, еще именовавшегося Бейпином, на первый съезд работников литературы и искусства страны собралось 650 писателей, кинематографистов, актеров, художников. Здесь были и признанные мастера, и пришедшая с полей освободительной войны молодежь. Рядом с бывшими подпольщиками-коммунистами сидели лучшие представители получившей буржуазное воспитание интеллигенции. Шел июль 1949 года.

«6 июля в 7 часов 20 минут...— читаем мы в материалах съезда,— Председатель Мао неожиданно лично прибыл в помещение, где проходил Всекитайский съезд работников литературы и искусства, и появился в президиуме... «Товарищи, я пришел приветствовать вас. Съезд, который вы проводите,— очень хороший съезд, нужный революции съезд, на него возлагает надежды народ всей страны. Ибо все вы – нужные народу люди, вы — народные литераторы, народные художники... Вы полезны народу, полезны революции».

Кто мог подозревать, что пройдет неполных два десятилетия, и этот же человек назовет участников съезда «черной бандой», «демонами и нечистью». И что одни из них лишатся жизни, другие — свободы, третьих заставят предать анафеме все, ими написанное, а всех вместе подвергнут оскорблениям и унижению. Они не могли знать, что в государстве, называемом по-прежнему «народной республикой», запретят читать выпущенную в связи с работой съезда «Библиотеку народной литературы» — около двухсот произведений, отразивших величие побед, одержанных народом под руководством партии коммунистов. Они не могли предвидеть, до каких невиданных размеров будет раздут культ Мао и какие бедствия он принесет стране, в частности ее культуре.

Неправильно было бы из широко известных фактов уничтожения книг и культурных ценностей, расправ над писателями и художниками и прочих характерных черт «культурной революции» сделать вывод, будто Мао Цзэ-дун недооценивает роль литературы и искусства. Совсем наоборот. Он воспринял от старой, конфуцианской традиции убеждение в могуществе слова, несущего поучение, он хотел бы использовать все средства духовного воздействия на людей. Все дело в том, что он хотел, чтобы литература и искусство несли только его слово, рисовали только угодные ему образы, пропагандировали только его «идеи». И потому было решено: все, что не несет на себе явно маоцзэдуновского клейма, уничтожить или запретить во имя «унификации мыслей всей страны», как с солдатской прямотой выразился бывший «боевой соратник и продолжатель» Линь Бяо.

Таков на сегодня итог. Предпосылки для его достижения создавались исподволь. Вернемся же к первому съезду работников литературы и искусства Китая.

Съезд проходил в дни, когда все ощуща-

ли близость победы революции, в которую внесли свой весомый вклад и прогрессивные деятели культуры. На съезде было высказано немало правильных и важных положений о роли писателя в обновлении общества, о борьбе с буржуазной и феодальной идеологией, о необходимости повышения идейного уровня художника для глубокого проникновения в суть происходящего. Но как мыслилось «повышение идейного уровня»?

Разъяснение не заставило себя ждать: его сделал Чэнь Бо-да, до своего недавнего падения — глава группы по делам «культурной революции», а тогда занимавший среднее положение между секретарем Мао и его лейб-теоретиком (любившим именовать себя «маленьким, очень маленьким человеком»!). Он заявил участникам съезда, что их творчество должно отражать «руководящую роль идей Председателя Мао», поскольку-де «маоцзэдуновские идеи представляют собой наилучшее сочетание марксизма-ленинизма с китайской революционной практикой». «Работники литературы и искусства должны изучать маоцзэдуновские идеи» — таков был вердикт Чэнь Бо-да.

В действительности «маоцзэдуновские идеи» применительно к литературе и искусству означают не только «адаптацию» марксизма, сколько его вульгаризацию, прагматическое использование отдельных положений марксистско-ленинской эстетики в интересах своей политики, чем дальше, тем больше отходившей от принципов научного социализма. Излагая эти положения, Мао Цзэ-дун в своих яньаньских выступлениях 1942 года и других высказываниях по проблемам культуры сплошь и рядом «упрощает», «выпрямляет» их, смещает акценты либо же дает нарочито двусмысленные формулировки. Всемерно подчеркивая пропагандистскую и дидактическую функции литературы, он почти не уделяет внимания эстетической и познавательным сторонам. Упоминая в относящихся к 40-м годам высказываниях о реализме, он ни словом не затрагивает краеугольное требование реалистического метода — правдивое изображение действительности.

Литература должна служить рабочим, крестьянам и солдатам — провозглашает Мао Цзэ-дун. Это аксиома, скажем мы, вопрос в том, как служить. Приноравливаться ли к весьма низкому в условиях Китая культурному уровню масс, в большинстве своем неграмотных, или всемерно стараться поднять его, приобщать миллионы людей к подлинному, большому искусству? Мао ставит акцент на первом, предопределяя этим практику. Еще одно «высочайшее указание»: «Из культуры прошлого нужно брать все полезное и удалять все отбросы». Но что полезно и что является отбросами? Ответ дается в самой общей форме, допускающей самые различные толкования. И вообще для рассуждений Мао характерна абстрактность, оторванность от реальной художественной практики и от истории культуры. За исключением Лу Синя, он в своих опубликованных выступлениях не упоминает — в положительном плане — ни одного имени современного художника, ни одного произведения. Подобная предусмотрительность пошла на руку хунвэйбинам: ни одна из их жертв не могла сослаться на одобрение председателя...

Говоря о концепциях Мао, следует иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, в большинстве своем они были обнародованы в разгар войны с Японией, в Яньани — центре одного из самых бедных и культурно отсталых районов страны. В тех условиях некоторые его установки могли быть оправданы, но их — не без участия автора — абсолютизировали, объявили единственно верными сначала для всего Китая, а теперь и всего мира. Во-вторых, суть его высказываний обычно закамуфлирована привлекательной терминологией — «революция», «народ», «пролетариат» — и ссылками на классиков марксизма. Все это давало повод думать, что хотя в них есть упрощения и вульгаризация, но практика строительства новой культуры и воздействие мирового социалистического опыта помогут устранить эти недостатки. Лишь в ходе подготовки и осуществления «культурной революции» до конца раскрылся смысл красивых слов и нарочито двусмысленных высказываний Мао.

Но это произошло позже, а тогда, в первые годы КНР, определяющим было искреннее стремление большинства работников культуры посвятить себя делу строительства социалистического Китая, запечатлеть величие побед народа и грандиозность стоящих перед ним задач, идти вперед рука об руку со всеми друзьями китайской революции.

Второй съезд работников литературы и искусства, подводя в 1953 году первые итоги развития культуры в освобожденной стране, отметил значительные успехи. О них свидетельствовали и быстрое увеличение числа учебных заведений, преподавание в которых перестраивалось на основе советского опыта; и тяга людей к печатному слову, вызвавшая невиданный рост тиражей книг и журналов; и приход в литературу и искусство талантливой молодежи, выросшей в революционных бурях.

Выступивший на съезде с докладом о литературе Мао Дунь говорил о росте политической сознательности писателей, расширении тематики их произведений, появлении новых, вышедших из толщи народа героев. Но он не мог не отметить одновременно, что вновь созданным произведениям недостает глубоких и ярких характеров, что существует «боязнь смелого показа жизненных противоречий и конфликтов». В докладе ощущалась неудовлетворенность положением дел в литературе, хотя в нем и были соблюдены «должные» пропорции между похвалами и порицаниями. И действительно: сравнивая результаты художественного творчества первых лет КНР с тем, что было создано теми же писателями в предшествую-

---

В. ВОЛЖАНИН

КИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

щие годы, трудно не ощутить известного разочарования. Произведений, достойных встать рядом с такими яркими книгами 1945—1949 гг., как «Перемены в Лицзячжуане» Чжоу Шу-ли, «Солнце над рекой Сангань» Дин Лин, как поэмы «Ван Гуй и Ли Сян-сян» Ли Цзи или «Возница» Тянь Цзяня, в последующие четыре-пять лет создано не было.

Приходилось признать, что многие произведения заметно уступают тем, с которыми эти писатели триумфально вошли в большую литературу. Сколько ни делать скидок на новизну проблем, оставалось фактом, что «Локомотив» (1951) Цао Мин написан слабее, чем ее «Движущая сила» (1947), а повесть «Сталь хлынула» (1954) Чжоу Ли-бо не имела и доли того общественного резонанса, который породил его «Ураган» (1947—1948).

Конечно, можно назвать несколько относительно удачных произведений в прозе и стихах, но сам факт, что эти в большинстве своем непритязательные работы молодых авторов привлекли к себе в то время большое внимание, свидетельствовал о том, что недоставало произведений более масштабных и зрелых, написанных более опытной рукой.

В самом деле, после 1949 г. как-то вдруг прекращается или почти прекращается художественное творчество значительной части писателей старшего поколения. Мастера слова, в тридцатые и сороковые годы с завидной регулярностью создававшие романы и драмы, сборники рассказов и публицистику, теперь выступают в печати почти исключительно как авторы критических статей, заметок на случай и особенно выступлений на всевозможных собраниях и митингах. Мао Дунь, например, за все годы существования КНР не создал ни одного романа или хотя бы рассказа. Плодовитый некогда Ба Цзинь выпустил лишь книжки очерков о Корее и Вьетнаме. Почти десять лет молчал Тянь Хань, ранее публиковавший по нескольку пьес в год.

Исключение составил Лао Шэ. После провозглашения КНР этот пользовавшийся международной известностью писатель сразу же покинул Соединенные Штаты, не закончив там курса лечения, и с молодой энергией окунулся в творчество. Первыми его плодами стали пьесы «Фан Чжэнь-чжу» и «Лунсюйгоу», вызвавшие заслуженные похвалы. В пьесах есть и характерное для Лао Шэ превосходное знание быта пекинских «низов», и как всегда сочный язык, есть и новые черты — бóльшая четкость социальных характеристик, более светлый общий колорит, хотя финалы грешат умозрительностью и облегченностью решений. Несколько последующих работ писателя, созданных на злободневном материале—повесть «Безымянная высота обрела имя», а также пьесы «Весенние цветы, осенние плоды» и «Ударная бригада»,— оказались явно слабыми.

В чем же причина этого? Уж конечно не в том, что эти писатели — и коммунисты и беспартийные демократы — вдруг утратили интерес к новой действительности, к судьбе народа, борьбе за счастье которого они посвятили себя смолоду. Сами они обычно жаловались на перегруженность административной и общественной работой, на трудность овладения новой тематикой. Но была и другая сторона дела, о которой вслух не говорилось,— сковывавшая творческие силы боязнь оказаться повинным в одном из многочисленных «уклонов», на изобретение которых так щедра малоквалифицированная, но очень шумная китайская критика.

Пищу этой критике давали все те же яньаньские выступления Мао. В них с четкостью полевого устава регламентировалось, кого и как следует изображать в произведениях литературы и искусства. Существуют три категории людей — враги, союзники и друзья, причем это деление строго совпадает с делением по классовой принадлежности. В отношении первых допустимо лишь обличение, вторых следует критиковать «во имя сплочения», людей из своего лагеря нужно прославлять. Правда, говорится и о том, что народные массы «тоже не лишены недостатков», что следует обличать и ту «отвратительную печать, которую угнетатели накладывают на народ». Однако общий вывод рассуждений таков: «Произведения, прославляющие светлые стороны буржуазии, едва ли могут быть выдающимися, а произведения, рисующие ее темные стороны, едва ли могут быть ничтожными; произведения, прославляющие светлые стороны пролетариата, едва ли могут быть незначительными, но произведения, рисующие так называемые «темные стороны» пролетариата, обязательно ничтожны».

Так вырабатывались схемы, заслонявшие собой все реальное многообразие жизненных связей, неожиданные повороты в судьбах людей, столь характерные для периодов революционных потрясений. Страх перед возможными ошибками и стремление к некой «абсолютной» типизации (исходящее из представления о том, будто каждую жизненную ситуацию можно охватить одной типической формулой) существовали не только у писателей, но и особенно у тех, кто направлял их творчество. Отсюда многократные обсуждения и переделки уже готовых произведений, в результате которых от первоначального, основанного на реальном материале замысла порой ничего не оставалось, а возникало нечто весьма далекое от жизни.

Нужно, однако, подчеркнуть, что распространение вульгаризаторских схем и догм не происходило беспрепятственно. Не один из литераторов, большей частью коммунистов старшего поколения, знакомившихся с марксистско-ленинской эстетикой задолго до того, как были канонизированы яньаньские выступления Мао Цзэдуна, имевших достаточное представление о советской и мировой прогрессивной литературе, выступал против догм или противопоставлял им позитивное изложение своих взглядов. Особенно существенна в этом от-

ношении большая работа видного критика-коммуниста Фэн Сюэ-фэна о проблемах критического и пролетарского (так еще называли тогда социалистический) реализма. На большом фактическом материале автор показал и новаторский характер нового метода, и его преемственную связь с творчеством классиков реализма, ратовал за глубину постижения противоречий действительности и правдивость их отображения.

Спустя два года Фэн Сюэ-фэн стал объектом кампании, развернутой по прямому указанию Мао Цзэ-дуна, и был снят с поста главного редактора «Вэньи бао» — ведущего литературно-критического и теоретического журнала. Предлогом для снятия послужило «неправильное» отношение к статье двух молодых авторов, в котором усмотрели «преклонение перед буржуазными авторитетами». Прошло еще три года, и он был объявлен одним из главных «антипартийных правых элементов» — он, подпольщик с 20-х годов, узник гоминьдановского концлагеря. Вряд ли можно сомневаться, что получившая широкий резонанс работа о реализме, в которой слишком многое шло от советской литературной теории и слишком мало — от маоистских концепций, послужила не последним основанием для травли этого литератора-коммуниста.

С самых первых месяцев существования КНР массовые идеологические кампании стали характернейшей чертой общественной жизни страны. Все они развивались по заранее разработанному сценарию, причем в самой постановке подлежащих обсуждению вопросов уже содержался искомый результат. Застрельщиком и главным режиссером наиболее важных кампаний неизменно выступал сам Мао. По форме они носили характер обсуждения проблем, выяснения истины, многие из них официально именовались «большими дискуссиями». На деле же те, против кого данная кампания была направлена, лишались права высказывать мнение — они могли лишь признавать свою вину и просить о снисхождении. От кампании к кампании рос их накал, все более серьезными становились обвинения, все более жестокими наказания. Долгие недели и месяцы отнимались от творческой работы бесконечными заседаниями, в ходе которых людей вынуждали каяться в вольных и невольных прегрешениях, клясться в верности Мао Цзэ-дуну и его «идеям».

Писательскую общественность особенно затронули две кампании, развернувшиеся почти одновременно в 1954—1955 гг. Первую принято именовать дискуссией об исследованиях романа «Сон в красном тереме», поскольку непосредственным поводом к ней послужила критика историко-литературных работ об этом великом творении классической китайской прозы, принадлежавших перу эрудита старой школы Юй Пин-бо. Но вскоре главным объектом ниспровержения стал видный буржуазный ученый Ху Ши — в молодости участник «движения 4 мая», а в последний период жизни (умер в 1962 г.) связавший свою судьбу с чанкайшистским охвостьем на Тайване. Полемика касалась весьма широкого круга вопросов — философских, исторических, литературоведческих.

Среди бесчисленного множества статей, появившихся в ходе кампании, есть известное число серьезных работ с дельными замечаниями по конкретным вопросам истории китайской литературы. Но значительной части критических материалов недостает аргументированности, правильные политические оценки не всегда сопровождались научным анализом, что снижало эффективность полемики.

Еще более ожесточенный характер носила кампания, направленная против известного литературоведа и поэта Ху Фэна, а также группы его единомышленников. Ху Фэн, который был близок к Лу Синю в последние годы жизни основоположника современной китайской литературы, еще до победы революции вступал в спор по проблемам литературной теории и критики с такими деятелями, как Линь Мо-хань, Хэ Ци-фан и Шао Цюань-линь (тогда они выступали как официальные истолкователи «идей» Мао, ныне же стали жертвами «культурной революции»). Летом 1954 г. он направил руководству объемистый документ («Мнение») с изложением своих идейно-теоретических позиций и практических предложений по улучшению руководства литературой и искусством. Вокруг этого документа и разгорелась спустя несколько месяцев ожесточенная баталия.

Оппоненты обвинили Ху Фэна прежде всего в отступничестве от марксизма, в проповеди буржуазного идеализма. Нет нужды впадать в другую крайность и представлять Ху Фэна законченным марксистом. Среди его высказываний, тем более относящихся к 40-м годам, есть немало нечетких, спорных, наконец, явно неприемлемых. Однако основные тезисы его «Мнения» свидетельствуют по крайней мере о трех вещах: заинтересованности автора в развитии революционной литературы в Китае, об испытанном им — главным образом через посредство советского литературоведения — влиянии марксистской эстетики, неприятии им многих установок Мао Цзэдуна. Само собой разумеется, что неприятие маскировалось борьбой «за правильное истолкование» этих установок. Но этот маневр не обманул маоистских ортодоксов, подчеркивавших позднее, что если Ху Ши выступал против марксизма, то Ху Фэн «направил острие борьбы против маоцзэдуновских идей».

Раздувая ошибки, неудачные формулировки Ху Фэна, в том числе те, от которых он давно отошел, оппоненты представили его как противника идейного воспитания писателей (тогда как он выступал против кампанейского метода «перевоспитания», отор-

---

ванного от творческой практики). Его выступления против некоторых конкретных руководителей писательских организаций были расценены как отказ от партийного руководства вообще. Его обвинили в национальном нигилизме, в то время как он ратовал за усвоение достижений мировой литературы нового времени и не соглашался с отождествлением понятий «национальная форма» и «старая форма». На Ху Фэна и его группу обрушился удар такой силы, что уже вскоре после начала кампании он оказался вынужденным написать покаянное письмо.

К весне 1955 г. характер кампании против группы Ху Фэна резко изменился. Полемика по вопросам теории и истории литературы почти прекратилась, на смену ей пришли политические обвинения, раз от разу несправедливее. Создавалось впечатление, что частичная публикация «Мнения» Ху Фэна, вместо того чтобы дискредитировать его в глазах общественности, породила симпатии к его концепциям, дотоле известным главным образом по односторонним пересказам его противников. Поэтому-то и было решено изобразить Ху Фэна и его сторонников активными контрреволюционерами, агентами гоминьдана. В «Жэньминь жибао» появилось несколько подборок их частных писем, якобы содержавших «крамолу». Они сопровождались «примечаниями от редакции» — как позже выяснилось, написанными Мао Цзэ-дуном,— полными угроз по адресу тех, кто сомневается в обоснованности антихуфэновской кампании, и хотя в опубликованных письмах нет серьезных доказательств предъявленных авторам обвинений, кара не заставила себя ждать: летом того же года Ху Фэн и члены его группы были арестованы и бесследно исчезли.

Прямым результатом кампании против Ху Ши и особенно Ху Фэна было снижение творческой активности писателей, широко распространившаяся боязнь быть обвиненным в той или иной ереси. Между тем первые экономические и политические успехи КНР дали новую пищу претензиям Мао Цзэ-дуна. Ему не терпится поскорее увидеть Китай ведущей мировой державой. Начинает созревать замысел: максимально, ни с чем не считаясь, ускорить темпы развития страны. Показалось заманчивым вовлечь интеллигенцию в осуществление подобных планов.

Первые симптомы перемены в отношении к творческой интеллигенции ощущались уже на расширенном пленуме Союза китайских писателей в марте 1956 г. Они стали более явными в мае, когда общественности сообщили о (до сих пор в открытых изданиях не опубликованной) речи Мао, в которой провозглашался курс «пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ». Были декларированы отмена всевозможных административных ограничений, свобода соревнования различных творческих методов, течений и научных направлений, говорилось даже о «свободе распространения идеалистической философии». Впоследствии, когда — всего год спустя — от «курса» осталось одно название, китайские пропагандисты охотно давали понять, будто с самого начала целью новой политики в отношении интеллигенции было выпудить разного рода инакомыслящих поверить обещаниям и разоблачить себя. В подобном объяснении явно сквозит желание доказать непогрешимость инициатора курса.

Между тем ознакомление с выступлениями Мао тех лет, пока что известными по хунвэйбиновским изданиям свидетельствует о серьезности его намерений. Переоценивая результаты предшествовавших идеологических кампаний, он рассчитывал с помощью привлекательных лозунгов сплотить вокруг своих националистических авантюристских установок самые широкие слои работников культуры и науки. Ради этого он готов был пойти на определенные издержки. Однако издержки оказались куда большими, нежели предполагалось.

Первые месяцы большинство писателей с понятной опаской отнеслось к широковещательным заявлениям о «ста цветах». Большинство, но не все. Ряд литераторов, преимущественно молодых, поспешил воспользоваться ситуацией, чтобы отойти от привычных штампов и воссоздать более широкую картину действительности с ее противоречиями. В очерках Лю Бин-яня («На строительстве моста», «Внутренняя информация») были вскрыты такие, получившие определенное распространение недостатки, как беспринципность, бездумное следование указаниям, нежелание говорить с массами языком правды. В остро-гротескном фарсе «Покупка обезьяны» Хэ Чи высмеял безответственность и бюрократизм. Наконец, Ван Мэн в вызвавшем горячие споры рассказе «Молодой новичок в орготделе» противопоставил друг другу несколько типов работников партийного аппарата — тех, кто полон энергии и убежденности, и тех, кто думает лишь о карьере или о собственном спокойствии. При этом борьба между ними — вопреки утвердившимся канонам — не кончается автоматической победой молодых сил над бюрократами и консерваторами. Борьба в рассказе, как и в породившей его жизни, только развертывалась.

Непосредственными результатами изменений в культурной политике стала отмена запрета на значительную часть традиционного репертуара театра, более широкая информация о творческой жизни за рубежом. Китайские читатели познакомились с новыми произведениями ряда зарубежных писателей — Э. Хемингуэя, А. Моравиа и других, с новыми книгами М. Шолохова, Г. Николаевой, узнали о дискуссиях в советской литературе, о новых течениях в европейском театре и кино.

В несомненной связи с общим оживлением в области культуры находится и тот подъем, который пережил в эти годы жанр романа. Дело не только в количественном росте, который сам по себе говорил о тяге

писателей к более полному охвату явлений действительности, к отображению целых исторических пластов жизни народа. Речь идет и о стремлении более глубоко осмыслить жизнь, об усилении реалистических тенденций, о многообразии форм и стилей. Пусть далеко не все из появившихся в то время произведений крупных форм достигли хотя бы относительно высокого художественного уровня — сама тенденция радовала и обнадеживала.

Остановимся на некоторых из этих романов, созданных в годы подъема жанра. У Цян в «Красном солнце» показал идейное и нравственное превосходство армии революции над чанкайшистским воинством, в изображении которого ему удалось избежать привычного для других произведений на сходную тему окарикатуривания (это послужило поводом для нападок на писателя в годину «культурной революции»). Ян Мо в «Песне молодости» рассказала во многом автобиографическую историю прихода в революцию юной студентки, ее энтузиазма и сомнений, промахов и первых успехов. Чуть ли не впервые со времени ранних романов Мао Дуня, Е Шэн-тао и Ба Цзиня интеллигенты стали предметом сочувственного, хотя и далекого от идеализации, изображения, а не просто «перевоспитания». Вдумчивым анализом социальных отношений в китайской деревне был отмечен роман Цинь Чжао-яна «Вперед, на поля!», в котором автор выявлял новые конфликты, возникшие на селе уже после аграрной реформы.

Спустя три года появилось едва ли не наиболее сильное произведение о строительстве новой китайской деревни — «Начало» Лю Цина. Психологизм лучших страниц романа заслуживает быть отмеченным еще и потому, что его так недоставало многим произведениям из числа названных выше. Нельзя не пожалеть, что вышла лишь первая часть этой интересно начатой работы.

Особого упоминания заслуживает роман «Горькие травы» (в русском переводе — «Цветы осота»), созданный совсем еще молодым тогда Фэн Дэ-ином. Рассказывая о судьбе жителей одной из деревень партизанского края в годы войны с японцами, писатель поднимается порой до подлинного трагизма, просветленного ощущением неизбежности конечной победы правого дела. Кровь и слезы, голод и пожары — и рядом детские игры, внезапно нахлынувшая любовь... И как лейтмотив повествования — «горькая и счастливая улыбка» героини, матери, все испытавшей и все перенесшей вместе с детьми, вместе с народом.

Оживление в творческой жизни 1956—1957 гг. сопровождалось активизацией дискуссий по проблемам литературной теории и по животрепещущим вопросам писательской практики. В центре обсуждения встали такие темы, как понимание сущности социалистического реализма, ответственность художника перед обществом, поиски новых методов руководства литературно-художественным процессом. И чем дальше развертывалась дискуссия, тем яснее становилось, что она идет не по задуманному руслу. Настойчиво звучали голоса против «дешевых восклицаний и пустых славословий», в защиту изображения «людей из всех сфер жизни, со всей глубиной их душ». Выступавшие связывали очевидные слабости развития литературы с «догматическим, механистическим и односторонним» методом руководства и с акцентированием — в ущерб эстетической — дидактической функции литературы, что вытекало из маоцзэдуновских концепций. Много говорилось и о необходимости всемерного расширения творческих связей с прогрессивной мировой, в первую очередь советской, литературой и о более активном использовании ее опыта.

Безусловно, отдельные статьи и заметки содержали поспешные, незрелые суждения, были и явно враждебные высказывания. Однако большинство выступлений было, несомненно, продиктовано стремлением обеспечить благоприятные условия для успешного развития социалистической литературы и искусства в Китае, действенно помогающего партии в перестройке жизни на новых началах, правдиво воссоздающего действительность с ее свершениями и трудностями. Не этого ожидало от «ста цветов» маоистское руководство. И курс был изменен на сто восемьдесят градусов.

Несмотря на то что само руководство весной 1957 г. с настойчивостью — на сей раз действительно подозрительной — призывало интеллигенцию безбоязненно критиковать все аспекты положения дел в стране, последовавшие этому призыву были зачислены в «правые элементы» и подвергались разного рода репрессиям. Обвинения в «антипартийной и антисоциалистической деятельности» с особой щедростью адресовались авторитетным литераторам, старым коммунистам, в тех или иных вопросах разошедшимся с маоистским курсом. В их числе — талантливейший поэт Ай Цин, ведущие литературоведы Фэн Сюэ-фэн и Ба Жэнь, драматург У Цзу-гуан, романист Цинь Чжао-ян и, наконец, пользовавшаяся международной репутацией Дин Лин. В ту же категорию были зачислены и многие представители интеллигенции, воспитанные в Освобожденных районах или пришедшие в литературу уже после создания КНР.

Точное число пострадавших — отправленных на «трудовое перевоспитание», снятых с должностей, отстраненных от творческой деятельности, неизвестно. С части людей обвинение было позднее формально снято, но практически никому не удалось вернуться к творчеству.

Итак, писатели не оправдали чаяний Мао. Поэтому намеченный на следующий, 1958 г. «большой скачок» было решено проводить без, а по существу против интеллигенции, обвиненной в консерватизме, преклонении перед иностранными шаблонами,

---

В. ВОЛЖАНИН
КИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:
ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

непонимании специфики китайской действительности, в которой будто бы были заложены все условия для беспрецедентного рывка вперед. Катастрофические последствия «скачка» в экономике и политике общеизвестны. В литературе и искусстве «скачок» проявился прежде всего в возвышении массового самодеятельного творчества за счет произведений писателей и художников-профессионалов. Ярчайшим проявлением стала кампания за создание «новых народных песен», проведенная с таким же размахом, как плавка чугуна в кустарных печах или истребление воробьев. Провинции рапортовали о десятках миллионов «поэтических» произведений, созданных за каких-нибудь два месяца. Разумеется, в основной своей массе это были трафаретные славословия, худосочные имитации подлинного фольклора. Это не помешало, однако, Чжоу Яну, фактически направлявшему — до «культурной революции» — литературу и искусство КНР, заявить: «Опыт старых писателей мало чем может нам помочь... Стихи, написанные массами, лучше, чем написанные поэтами». Нужно ли оговаривать что сами создатели подобных «народных песен» никоим образом не повинны в спекуляциях, затеянных вокруг их бесхитростных творений?

Нечто похожее происходило и в области истории и теории литературы, только там роль «революционных масс» была возложена на студентов. Им было предложено, опять-таки в кратчайшие сроки, создать новые труды и учебные пособия, которые заменили бы работы специалистов, сплошь обвиненных в распространении «буржуазной идеологии». Теоретической основой студенческих опусов должны были, конечно, стать высказывания Мао. Результатом авральной работы студентов явились книги, которые сразу после окончания «скачка» пришлось переделывать под руководством тех же обруганных профессоров.

Стараясь как-то «реабилитировать» себя, профессиональные литераторы стали составлять «индивидуальные планы скачка». Так, Ба Цзинь обязался создать за год один роман, три повести и перевести несколько книг. Тянь Хань пообещал написать за тот же срок 14 (!) пьес. Как и следовало ожидать, эти планы были реализованы лишь в самой малой степени.

Наконец, тот же Чжоу Ян от имени Мао Цзэ-дуна возвестил, что отныне ведущим в китайской литературе будет новый творческий метод, а именно «сочетание революционного реализма и революционного романтизма». Некоторые писатели, в частности Мао Дунь, заявили, что речь идет о конкретизации метода социалистического реализма применительно к китайским условиям. Им сразу же разъяснили, что новый метод выдвинут взамен социалистического реализма, который-де слишком «приземлен» и не может отразить бурную китайскую действительность. Го Мо-жо без обиняков провозгласил, что «сочетание» — «более совершенный творческий метод, чем социалистический реализм». Авторы нового метода предписывали художникам меньше обращать внимания на реальное положение дел и рисовать «прекрасное будущее», якобы уже стоящее у порога. В социалистическом реализме их не устраивал прежде всего реализм, но немалое значение имела и начинавшаяся в это время борьба с влиянием советской идеологии, на первых порах подававшаяся как «китаизация» литературной теории.

Образцом претворения в жизнь нового метода были объявлены стихи Мао Цзэ-дуна. Других общепризнанных «образцов» так и не появилось. Хотя некоторые художники, подчиняясь призыву, и попытались нарисовать «прекрасное будущее» (например, Тянь Хань в «Шисаньлинской фантазии»), их надуманные произведения были забыты сразу же, как наступило горькое похмелье после провала «скачка».

В обстановке усугубляющихся хозяйственных трудностей и распространившегося в обществе разочарования маоисты начали медленное и, по обычаю, прикрываемое словесной трескотней отступление. Было как бы восстановлено в правах профессиональное творчество, более спокойным стал тон критических статей, поутих шум вокруг «метода сочетания». Спустили на тормозах полемику против видного поэта и литературоведа Хэ Ци-фана, осмелившегося возражать против канонизации только китайских традиционных поэтических форм и отстаивавшего связанные с европейской поэзией приемы стихотворной техники. В прессе была дана отповедь первым вульгаризаторским наскокам на советскую литературу и искусство — в частности на фильм «Коммунист».

Однако отступление это было чисто тактическим маневром, накапливанием сил перед новым броском. Об этом свидетельствуют хотя бы материалы третьего съезда работников литературы и искусства КНР, который состоялся летом 1960 г. В обширном докладе, представленном Чжоу Яном, содержатся — пусть не в столь обнаженном виде, как в период «культурной революции» — все основные маоистские тезисы. Здесь и ниспровержение «ревизионизма» (эпитет «советский» официально еще не употреблялся), и брань по адресу «буржуазного гуманизма» Ромена Роллана, и недооценка классики, и утверждение «метода сочетания» в качестве столбовой дороги китайской литературы. Продолжалось безудержное возвеличивание Мао и его концепций. В 1961 г. Линь Мо-хань в статье «Высоко поднимем знамя идей Мао Цзэ-дуна» заявил, будто Мао впервые в истории создал целостную марксистскую эстетическую систему, так как классики марксизма якобы оставили лишь отдельные замечания по отдельным вопросам, а развитие литературной теории в СССР Линь вообще игнорировал. С большой помпой было отмечено в следующем году двадцатилетие яньаньских выступлений. Одновременно происходило быстрое свертывание литературных связей с СССР и другими социалистическими странами, предпринима-

лись попытки перетянуть на сторону маоизма писателей «третьего мира».

Положение китайской литературы в начале 60-х годов можно уподобить состоянию узника китайской тюрьмы, который приговорен к смертной казни, но с отсрочкой исполнения. Писатели старались не упустить все оставшиеся у них скромные возможности для творчества. Если трудно и опасно писать о современности, значит, остается уйти в историческую и историко-литературную тематику. При этом одни (Го Мо-жо, Цао Юй) использовали исторические сюжеты для косвенной поддержки тезисов Мао Цзэ-дуна. Зато в пьесах У Ханя, Тянь Ханя и некоторых других прославлялись честные сановники, болевшие за народ и не стеснявшиеся говорить императору правду. Конечно, не были случайными вытекающие из них аналогии с положением в Китае после «скачка» и с судьбой возглавлявшихся Пэн Дэ-хуаем противников маоистских авантюр.

Наиболее заметные достижения прозы этих лет относятся к жанру историко-революционной эпопеи. Это «Лучшие люди эпохи» Оуян Шаня (вышло два тома из задуманных пяти) и «Красный утес», написанные Ло Гуан-бинем и Ян И-янем. Эти произведения не свободны от недостатков, но они воспевали рядовых героев революции, не сглаживали трудностей борьбы и почти не содержали славословий по адресу «великого кормчего». На закрытых совещаниях творческих работников, которые состоялись весной и летом 1962 г. в Пекине, Гуанчжоу и Дальнем, многие ратовали за то, что необходимо писать правду о положении в стране и, в частности, в деревне после «скачка».

На сей раз с литераторами в той или иной мере солидаризировались не только руководители писательской организации по и такие видные партийные деятели, как Тао Чжу, первый секретарь Центрально-Южного бюро ЦК, который призывал больше доверять писателям, позволять им смелее вторгаться в жизнь. Секретарь парторганизации Союза китайских писателей Шао Цюань-линь стал развивать тезис о том, что литература должна уделять внимание «среднему герою», то есть рядовому труженику, а не только безусловным передовикам или заведомым врагам. Такие видные писатели, как Чжао Шу-ли и Ша Тин, опубликовали несколько рассказов, содержавших осторожную критику отдельных явлений, связанных с последствиями «скачка». А группа публицистов во главе с видным партийным деятелем Дэн То позволила себе и более резкие выпады против Мао и его курса, хотя и облеченные в форму иносказаний.

Мао и его окружение усмотрели в этом определенную угрозу их дальнейшему господству, тем более что значительная часть партийных и государственных работников перестала слепо следовать за авантюристическими планами маоистов во внешней и особенно внутренней политике, стояла за возвращение к оправдавшим себя социалистическим принципам 50-х годов. Начиная с десятого пленума ЦК (сентябрь 1962 г.) маоисты переходят в наступление, размахивая для устрашения инакомыслящих жупелом «обострения классовой борьбы». В нескольких своих записках — обнародованных, как уже повелось, позднее — Мао Цзэ-дун в самом черном свете представил положение дел в области культуры. Он утверждал, будто кто-то ведет «антипартийную деятельность» с помощью романов и рассказов, будто партийная интеллигенция почти сплошь стоит на «буржуазных позициях», понимая при этом под «буржуазными» все взгляды, хотя бы на йоту расходящиеся с его собственными. Дело, конечно, не ограничилось одними инвективами.

С одной стороны, Мао возложил на свою супругу миссию по «революционизированию» китайского традиционного театра. Цзян Цин, несмотря на противодействие честных театральных деятелей, выполнила свою задачу настолько «успешно», что вскоре было наложено вето на весь прежний репертуар — как классику, так и произведения современников. С тех пор китайскому зрителю было разрешено смотреть только девять представлений, подготовленных под наблюдением Цзян Цин, почти сплошь живописующих войну. С 1964 г. набирала темпы кампания, направленная против творческой интеллигенции, причем мишенями для нападок избирались, как правило, авторитетные художники, старые члены партии — такие, как Ся Янь, Тянь Хань, Ян Хань-шэн. Ст месяца к месяцу возрастал критический накал, все более серьезными становились политические обвинения. Одновременно взвинчивалась и беспардонная клеветническая кампания против советской литературы и искусства.

С другой стороны, официальная пропаганда стала уделять большое внимание созданию образа идеального героя «маоцзэдуновской эпохи» — бездумного «винтика», фанатичного исполнителя воли «кормчего», лишенного личной жизни, собственных взглядов и чувств. Сначала им был Лэй Фэн, затем Ван Цзе, потом другие — почти без исключения солдаты, воспитанные в армии, руководство которой уже не жалело сил для вящего прославления кормчего; почти все возведенные в ранг героев посмертно — ибо надо учить народ «не бояться смерти», «смотреть на смерть как на возвращение» (согласно возрожденной древнекитайской формуле). Этих образцовых солдат славили в стихах и пьесах, в очерках и кинофильмах. Широко популяризировались их дневники (почти у каждого погибшего «обнаруживался» дневник, заполненный правоверными сентенциями и клятвами в верности председателю). О художественном уровне литературы этого сорта говорить не приходится. Но и остальное было немногим лучше. Даже в драматургии, считавшейся в начале 60-х годов отно-

---

В. ВОЛЖАНИН
КИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:
ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

сительно преуспевающим жанром, живых людей вытеснили плоскостные фигуры, с серьезным видом дебатировавшие проблему: утратит ли классовую природу рабочий, надевший шерстяной костюм.

Наконец, в 1965 году появилась «Песнь об Оуян Хае». Об этом «романе», больше смахивающем на житие святого, «Иностранная литература» уже писала (см. № 12 за 1968 г.). Поначалу его окрестили «духовной атомной бомбой» и «первым образцом литературы социализма» (все, что до этого было создано в Китае, СССР и других странах,—не в счет). Правда, потом восторгов заметно поубавилось, а имя автора книги, армейского политработника Цзинь Цзинмая, весьма активного в начале «культурной революции», перестало фигурировать в прессе. Даже в этом напичканном маоизмом «романе» бдительные критики усмотрели изъяны и ересь.

Не случайно на щит была поднята книга, написанная непрофессионалом: как и при «скачке», но с еще большей настойчивостью самодеятельное творчество выдвигалось на первый план. Имена сколько-нибудь известных литераторов и художников к этому времени исчезли со страниц журналов. Пытаясь несмотря ни на что удержаться «в седле», руководство культурным фронтом всячески демонстрировало свое рвение и, в частности, провело в конце 1965 г. всекитайское совещание писателей-непрофессионалов. Чжоу Ян в своем докладе превозносил самодеятельное искусство и обрушивался на зараженное «ревизионизмом» и «буржуазными идеями» творчество профессионалов. Но коль скоро ненужными и даже вредными оказались литераторы, не сумевшие или не захотевшие «перевоспитаться» в маоистскую веру, зачем сохранять руководство, не обеспечившее выполнения предначертаний «кормчего»? К тому же Мао подозревал своих бывших оруженосцев в том, что они ведут двойную игру, солидаризируясь по определенным вопросам с Лю Шао-ци и другими инакомыслящими.

Отсрочка кончилась, приговор приводился в исполнение. Об этом возвестил «Протокол» совещания армейских работников пропаганды, проведенного Цзян Цин «по поручению Линь Бяо» в начале 1966 года. Летом по стране прокатилась волна репрессий и погромов творческой интеллигенции, закрылись журналы и библиотеки, сборники Мао Цзэ-дуна заменили собой почти всю литературу. Началась «культурная революция», в числе первых жертв которой оказались почти все руководители творческих организаций, подавляющее большинство видных писателей и художников.

Судьба таких людей, как Чжоу Ян, Линь Мо-хань, Лу Дин-и и прочих руководителей ведомства культуры, поучительна. Конечно, издевательства, которым их подвергли науськиваемые сверху хунвэйбины, вызывают возмущение. Нельзя сбрасывать со счета и того, что в целом ряде их выступлений содержались верные мысли и разумные предложения. Это относится, в частности, к подготовленному ими в 1961 г. документу, получившему название «10 пунктов по литературе и искусству», который — если бы его осуществление не было сорвано в канун «культурной революции» — мог вернуть развитие культуры Китая на подлинно социалистический путь. Но разве они не приложили руку к воспитанию именно такой молодежи, фанатичной и невежественной, для которой вся классика — «феодальная рухлядь», а все советское — «ревизионизм»? Разве не они, расправляясь в свое время с такими писателями, как Дин Лин, Ай Цин, Ху Фэн, ослабляли сопротивление маоизму здоровых сил интеллигенции? И если они — как заявляют сейчас маоисты — делали это неискренне, подчиняясь нажиму сверху, все равно доля ответственности за происшедшее лежит и на них.

Таким был скорбный путь китайской литературы. Так великий народ был оставлен без писателей — репрессированных, отправленных на «трудовое перевоспитание», обреченных на молчание, без книг — сожженных, упрятанных под замок, перемолотых на бумагу для «цитатников». Литературы в подлинном смысле слова в Китае сейчас нет.

Нельзя же в самом деле считать литературой кое-как зарифмованный набор лозунгов или «очерки», вроде того, в котором с умилением рассказывается о трех слепых, попросивших показать им место, на котором сидел Мао во время праздничного фейерверка. «Эти трое слепых запрыгали от радости и все трогали, трогали то место, на котором сидел председатель Мао. Не в силах сдержать свои чувства, они лили горячие слезы и говорили: «Председатель Мао, о, Председатель Мао!.. Прикоснуться к месту, на котором вы сидели,— величайшее счастье в нашей жизни!» («Перед воротами Тяньаньмынь», опубликовано в центральной газете «Гуанмин жибао» 29 октября 1968 года.)

В последние месяцы со страниц пекинской прессы раздаются призывы «развивать творчество». Призывы носят директивный характер и несомненно возымеют действие. Уже появляются и первые образчики. Как и можно было ожидать, они немногим отличаются от поделок предыдущих лет. Далекие от жизни, от подлинных потребностей китайского народа, они представляют собой грубо намалеванные иллюстрации к заранее заданным тезисам. Считать их признаками возрождения китайской литературы не приходится, тем более что на тех же страницах газет подчеркивается: цели «культурной революции» в области надстройки еще не достигнуты. Значит, китайскую культуру и ее творцов ждут новые испытания.

Несмотря ни на что, однако, китайская литература существует — в сердцах ее честных тружеников, в благодарной памяти читателей, в неистребимой тяге людей к правде и добру. В многотысячелетней истории ее и раньше бывали трудные времена. Великий народ всегда находил в себе силы возродить погубленное и создать новое.

Э. КАРХУ

ТРЕВОГИ И ЗАБОТЫ «РАЗОЧАРОВАННЫХ»

(Заметки о финской литературе шестидесятых годов)

Еще до того как наступил 1970 год и с ним начало нового десятилетия, в финских журналах и газетах различного направления стало появляться немало статей, подводящих итог шестидесятым годам.

Финляндия становится страной индустриальной и урбанистической — вот один из исходных факторов, о котором говорят политики и экономисты, социологи и публицисты, а в последнее время все чаще напоминает и литературная критика.

Как же реагирует на процесс урбанизации литература? Ведь еще до недавнего времени в ней, особенно в прозе, преобладала сельская тематика, которую считали даже национальной чертой финской литературы и признаком ее народности. Правда, с некоторых пор часть критиков стала усматривать в приверженности литературы селу свидетельство ее «отсталости», «провинциальности» и т. д. Но с этим не все соглашаются. Например, Вяйне Линна, сам «крестьянский писатель», резонно заметил в одной из статей, что критерием развитости литературы является скорее не «сельская» или «городская» тематика, а способ изображения, авторский взгляд на мир.

Линна полагает, что преобладание сельской тематики в финской литературе было не ее «пороком», а выражением социальной обусловленности ее развития и. если угодно, ее «ангажированности», ее связи с обществом, в котором крестьянство преобладало.

Линна высказывает убеждение, что за послевоенное двадцатилетие образ жизни финского народа изменился в большей степени, чем за предшествующие два века. А вместе с тем изменяются представления финнов о самих себе, о своей родине. «Прежняя родина,— пишет В. Линна,— была связана с природой и ее видами. Желая обрисовать родину, указывали на озерный берег и восклицали: вот она!» В поэзии нередко воспевалась суровая и гордая бедность финской земли, любовь к ней была жертвенно-аскетической, с нерассуждающей готовностью к лишениям. «Теперь мы живем в такое время, когда понятие родины включает в себя и проблему распределения доходов, и договоры о найме, и все те острые вопросы, которыми изобилует наша будничная жизнь. Родине теперь *задают вопросы*, и если бы сегодня седой ветеран прапорщик Столь из баллады Рунеберга подвел к озерному берегу современного молодого человека и спросил, готов ли он отдать жизнь за эту землю, ответ мог бы, пожалуй, быть и таким: сперва посмотрим, что мне принесет рождественский дед-мороз».

Аналогичные, хотя и более глубинные, явления в финской поэзии подметил Кай Лайтинен в предисловии к антологии «Финская лирика сегодня» (1969):

«Впервые после двадцатых годов в финскую лирику снова вошел город, но уже не как декоративное, подсвеченное рекламными огнями модное новшество, а как буднично-житейское окружение, обязательное и неизбежное, предъявляющее свои требования. Такие поэты, как Роберт Алфтан, Клас Андерссон, Ансельм Холло, Вяйне Кирстиня, Мориц Нюлунд, Пентти Саарикоски, окончательно «переселились» в город и приняли его». Уже поэты пятидесятых годов, по словам критика, «воспринимали общество как нечто враждебное и сковывающее, однако непосредственное

окружение еще оставалось для них чем-то близким и утешительным. Поэты шестидесятых годов выражают как раз свою отчужденность от ближайшего окружения... Нашу поэзию шестидесятых годов называли поэзией «участвующей», «завербованной», «ангажированной», «социальной»,— и хотя эти термины столь же широки, как и неопределенны, однако направление развития они безусловно указывают. Поэт шестидесятых годов с болью осознает царящую в мире несправедливость и неустроенность».

Своеобразное соответствие этой социальной «обращенности вовне» К. Лайтинен находит и в образной структуре современной финской поэзии. Если в лирике предшествующего десятилетия преобладали зрительные образы, то теперь пришел черед «аудитивного» стиха, рассчитанного на слуховое восприятие, на публичную декламацию перед широкой аудиторией. Поэзия стала «не целью, а средством», средством общественного воздействия, и поэтов не беспокоит быстрое «старение» стихов по мере убывания их политической актуальности.

Поворот к социальной проблематике как характерная черта литературы шестидесятых годов отмечается и другими финскими критиками. Так, П. Алхониеми пишет, что в шестидесятые годы финская литература «с самого начала избрала социальное направление».

Юхан Врэде, опубликовавший в том же журнале «Финск тидскрифт» обзор шведоязычной поэзии Финляндии, даже полагает, что будущие историки литературы назовут шестидесятые годы периодом «политического пробуждения» писателей.

В обзоре Ю. Врэде заслуживает внимания попытка дифференцированного подхода к вопросу о писательской «ангажированности». Интерес писателя к тому, что происходит в обществе и в мире, может быть различным. Есть и такая чуткость к «болям века», которая равносильна отчаянию. Писатель как бы упивается всем безотрадным в мире, смакует зло, причем это «мазохистское» влечение к страданию нередко выдает себя за «больную совесть» человечества, отважившуюся высказать «всю правду», но от этого отчаяние не перестает быть отчаянием. Подобные пессимистические тенденции критик отмечает в творчестве Класа Андерссона, которого он считает одним из наиболее значительных финско-шведских поэтов. В то же время автор обзора подчеркивает, что в новых стихах поэта наблюдается отрадное стремление к конструктивному общественному идеалу. Он остро сознает гибельность индивидуализма. Капитализм разъединяет людей, превращает их в «разрозненные молекулы», и поэт настойчиво подчеркивает идею человеческой солидарности.

Во власти пессимизма оказались в последнее время и некоторые авторы из числа так называемых «культурных радикалов», причисляющие себя к «левым» и эпизодически сотрудничавшие в печатных органах Демократического союза народа Финляндии. К концу шестидесятых годов в Финляндии явно активизировались правые силы, ряд тревожных симптомов наблюдается и в области культуры. В частности, правые резко усилили давление на финское радиовещание и телевидение.

Все это явилось для некоторых «культурных радикалов» тем большей неожиданностью, что еще недавно они были преисполнены чисто либеральных иллюзий относительно развития финского общества. Теперь они повержены в глубокое уныние и с тоской вспоминают о том, каким «левым» было начало шестидесятых годов и каким «правым» стал их конец. Один из «разочарованных» авторов, Ханну Таанила, опубликовал в журнале «Парнассо» (№ 5, 1969) статью, в которой описывает свой первоначальный оптимизм в таких, например, выражениях: дескать, начало шестидесятых годов обещало Финляндии «новую эпоху просвещения», появилась надежда, что «современный образ мышления» охватит «молодое поколение» и породит «новую интеллигенцию», которая в своем стремлении к «свободе» и станет, по мнению автора, во главе прогресса.

В том же «Парнассо» (№ 7, 1969) была напечатана ответная статья Рауно Сетеля, выступающего с марксистских позиций. Она озаглавлена весьма характерно: «Либерал перед классовым водоразделом». Р. Сетеля уличает своего оппонента в том, что его представления об «идеальном финском обществе» не выходят за рамки весьма ординарной буржуазно-либеральной фразеологии, хотя Х. Таанила и стремится подновить «старомодно-традиционный» либерализм более современными теориями, включая маркузеанство, критику «потребительской идеологии» и т. д.

Впрочем, наряду с «разочарованными» и «отчаявшимися» в финской литературе есть и другое, тоже по-своему крайнее, направление, к которому принадлежит, например, прозаик Антти Хюрю, весьма плодовитый автор. Если «разочарованные» склонны любой частный факт повернуть таким образом, чтобы в нем непременно отразились абсурдность и трагизм мира, то Хюрю описанием частного факта и ограничивается, ни до каких мировых проблем ему, кажется, нет дела. Факты он избирает предельно будничные, социально нейтральные, не возбуждающие никаких страстей: как человек проехал ночь в поезде и ничего особого с ним не случилось, как другой герой построил на летней даче колодец, как для ремонта дома потребовались новые доски и как они были приобретены — все эти эпизоды составляют основу сюжета его новелл, подчас весьма объемных. Они написаны с несомненным талантом, автор выработал свой стиль и строго придерживается его. Примитивизму событий соответствует целенаправленный языковой примитивизм, не допускающий отвлеченных описаний, придаточных предложений, подчас даже местоимений: все должно быть конкретно, и поскольку у героя есть имя, у предмета название, незачем заменять их. Герои Хюрю

не любят думать о мире в целом, но в них живет молчаливая уверенность, что если бы каждый делал свое дело так же хорошо, как они, то и мир был бы хороший. Только изредка, приглушенно, у них возникает мысль, что в мире не все благополучно, но почему это так, их не интересует.

В произведениях, к которым мы теперь обратимся, как говорится, «все наоборот». В них недовольство миром, метания и жалобы «разочарованных», то совершенно безутешные, то с проблесками надежды, запечатлелись в наиболее характерных выражениях. В этих метаниях можно увидеть своеобразное отражение тех изменений в финском обществе, о которых говорилось выше. Финляндия в известном смысле как бы «уравнялась» в своем развитии со странами буржуазного Запада, и возникает вопрос: что же дальше? Ждет ли Финляндию общий для Запада затяжной социальный кризис (даже при относительном экономическом прогрессе) или развитие пойдет по новому социальному руслу? Было бы, конечно, упрощением полагать, будто эти вопросы только с шестидесятых годов стали занимать финских писателей. Это скорее центральные проблемы всей финской литературы XX века, но факт сложившегося «индустриального общества» чрезвычайно заострил их, поставил их перед каждым мыслящим человеком.

Герои современных книг финских писателей зачастую принадлежат к интеллигенции — отчасти, видимо, потому, что она особенно чувствительна к некоторым современным контрастам, к материальному и духовному порабощению личности. Встревоженная мысль «интеллектуалов» способна, кажется, без конца блуждать от одной крайности к другой, и наиболее прозорливые из них, расставшись с позицией «одиноких отрицателей», приходят к пониманию действительно революционных сил современного мира.

Начнем с пьесы «Новогодняя ночь» (1965) Евы-Лийсы Маннер, известной поэтессы, успешно выступающей также в драматургии. В литературном отношении это едва ли не наиболее зрелое из произведений, о которых у нас пойдет речь; на пьесе лежит печать высокого профессионализма, сценической изобретательности, своеобразного изящества. И в то же время это и самый печальный взгляд на мир, далекий от комедийного веселья, хотя автор и назвал пьесу «комедией». Но это, видимо, не столько литературно-жанровая ее характеристика, сколько философская, подразумевающая трагикомизм самой жизни. Новогодний вечер в доме ученого-биохимика Атоса кончается его самоубийством, в котором момент случайности лишь подчеркивает общую запутанность бытия.

Герои пьесы знакомы между собою, отчасти связаны даже родственными узами, они беседуют за праздничным столом запросто, без околичностей, и все же в их отношениях то и дело проступает внутренняя отчужденность, даже равнодушие и жестокость. Их объединяет, пожалуй, только одно: все эти образованные, интеллигентные люди не знают, как жить; каждый из них либо уже давно опустошен духовно и махнул на все рукой, либо пытается создать себе еще одну, последнюю иллюзию, которую, однако, другие собеседники тут же развеивают, доказывая ее несостоятельность. Все герои — по-своему неудачники в жизни. Если в новеллах Антти Хюрю человек всецело сосредоточен на конкретном деле, уверен в удаче и в самом себе и если эта уверенность позволяет ему попросту не думать об остальном мире, не мучиться его проблемами, то герои пьесы Маннер даже лично «не состоялись», не говоря уже о том, что и мир им представляется сплошь «несостоявшимся». Хозяин дома Атос потерпел неудачу на ученой стезе, вынужденный когда-то забросить из-за нехватки средств перспективные исследования рака, и собирается теперь уехать в Индию обычным врачом. Его кузен Эген, недовольный нынешним положением церкви, намерен оставить священнический сан и уединиться в сельской глуши. Также и для автора детективных романов Кауханена, в прошлом медика, перемена занятий явилась лишь внешним выражением внутреннего краха, еще более опустошительного, чем у других героев.

В отличие от Атоса и Эгена, сохранивших определенные нравственные принципы, в Кауханене сидит бес цинизма и мизантропического острословия. Эген называет его воплощением «интеллектуального бесстыдства». Всякое упоминание об идеалах, позитивных ценностях вызывает у Кауханена злую насмешку. «Знаете, почему этот мир наихудший из всех возможных? — спрашивает он.— Потому что его кроили по мерке идеалистов». Человек обезличен — и на вопрос, кто он такой, Кауханен, прежде чем ответить, подходит к вешалке, читает на подкладке шляпы свою фамилию и только после этого, фиглярски расшаркиваясь, рекомендуется: «Я Кауханен, если не перепутал шляпу».

Впрочем, мизантропией страдает и священник Эген, хотя крайний цинизм Кауханена и выводит его из себя. В споре с Атосом, отстаивающим гуманистический взгляд на человека и утверждающим, что «мир прекрасен», священник возражает: «Мир был бы прекрасен, если бы в нем не было людей. Люди всегда только портили тот мир, который был возможен от бога». Эта модифицированная религия, когда «бог есть возможность», однажды предоставленная человеку, но не использованная им, означает отрицание всей практической деятельности человечества, всей его истории. С точки зрения запрограммированной свыше идеальной возможности реально творимая людьми история есть сплошная неудача. Люди, говорит Эген, всегда только «ограничивали» бога, мешали ему, выступали вечным его антиподом. А философы-

материалисты сделали «испорченный» мир еще более безутешным, связав его законами детерминизма, придав «порче» характер неизбежности.

Но, с другой стороны, Эген недоволен и церковью, которую он обвиняет в компромиссе с обществом. Церковь не устояла перед современными поветриями, она обмирщилась, стала прагматической в своем стремлении приспособиться к утилитарно-практическому веку. Религия преподносится как некий «социальный рецепт», пастыри говорят в своих проповедях об общественных реформах, о молодежных проблемах, и дело дошло до того, что в погоне за популярностью иные проповедники опускаются до жаргона уличных подростков. Между тем церковь, по мнению Эгена, должна воплощать как раз враждебное прагматизму высшее духовное начало. А так как идеалу практика не соответствует, Эген не желает быть к ней причастным.

«Я хочу тишины, одиночества, покоя сельской жизни»,— говорит Эген, но Атос называет это «бегством в минувший век». Воспетая поэтами сельская Финляндия может быть прекрасной в мечтах, «но жить в ней невозможно — уже невозможно» (и в этом мы слышим признание необратимости современных процессов). Да и самому Эгену его будущая сельская жизнь предстает отнюдь не идиллией, не обретением душевной гармонии, а отшельничеством и самоотречением. В споре с Кауханеном он вынужден признать: «Нужно быть либо аскетом, либо героем, чтобы вынести жизнь. Я аскет, но не по внутреннему влечению, а из чувства отвращения».

Сознавая уязвимость собственной позиции, Эген не щадит и других. Ведь намерение Атоса уехать в Индию, говорит он, тоже бегство. В чем конечная, общесоциальная цель усилий таких людей, как Атос, когда от неустроенности «западного общества» они едут на Восток? Уж не возникновению ли копии этого общества они там способствуют?

Вопрос Эгена по-своему резонен, Атос чувствует это и страдает от бессилия ответить ему по существу, хотя и согласиться с ним не может. Согласиться и поступить как Эген — значит махнуть на все рукой, самоотстраниться, а отсюда недалеко и до цинизма Кауханена.

В том «абсолютном неприятии», которое исповедует Эген, Атоса более всего смущает социальная глухота, безразличие к человеческим страданиям. Человеку дано жить все-таки не в «возможностном», а в реальном мире, который нельзя просто отвергать, ибо отвергать все — значит оставлять все по-прежнему. У Атоса нет «общей идеи», он не знает, как изменить мир к лучшему, но в своей специальной области ученого-медика и в своих человеческих качествах он не может не испытывать сострадания, желая быть там, где люди более всего несчастливы. «Я имею в виду больных,— говорит он.— Я практик и думаю, что им надо помочь».

Атос в пьесе Евы-Лийсы Маннер воплощает гуманистическое начало, мятущуюся человеческую совесть, жгучее сострадание. И все же одной способности сострадать недостаточно. Не случайно человеколюбие Атоса подвергается в пьесе многократному испытанию. Люди с неустроенной судьбой есть всюду, они рядом, за ними не надо ехать в Индию. За всем этим стоит все тот же немой вопрос: как быть с «западным обществом», где выход из кризиса? И когда уставшая от невзгод женщина просит Атоса взять ее с собой, ему лишь яснее становится, что при отсутствии «общей идеи» никакая поездка не может ее заменить, это будет лишь иллюзия, которая не даст душевного равновесия. Зыбкость этой иллюзии подчеркивается в пьесе и тем, что именно Атос, самый человечный и совестливый, оказывается жертвой слепого случая. Во время нелепо жестокой «игры в судьбу», предложенной одним из персонажей в довершение новогоднего пира, единственный патрон в старом револьвере стреляет именно тогда, когда на спуск нажимает Атос. Он делает это как бы сам по себе, уже вне «игры», когда другие утратили к ней интерес и забыли о нем. Для Атоса жизнь кажется лишенной смысла.

Обостренное нравственное чувство и пафос социальных исканий пронизывают и роман Кристера Чилмана «Голубая мать» (1963). Кристер Чилман пишет по-шведски и является одним из наиболее значительных шведоязычных финских прозаиков среднего поколения. Его книги известны не только в Финляндии (где они переведены также на финский язык), но и в скандинавских странах (первоначально роман был издан в Стокгольме).

Роман «Голубая мать» не свободен от влияния литературных поветрий, автор заплатил изрядную дань модному увлечению сексуальной проблематикой. Но все же это серьезный социально-психологический роман, решительно отличающийся от тех полупорнографических книг, которые стали, к сожалению, столь частым явлением в финской литературе последних лет. Даже в некоторых произведениях таких бесспорно талантливых прозаиков, как Тимо Мукка или Ханну Салама, сексуальные отношения становятся как бы самоцелью, образуют замкнутый круг, выдаются за единственное содержание человеческой жизни. В романе Кристера Чилмана ничего похожего нет. Сама эротическая извращенность персонажей возникает в романе обычно как обличительный контраст, как художественная антитеза их внешней благопристойности и ханжеского «целомудрия». Отчетливей всего это проявляется в образе пастора-гомосексуалиста Винберга, приблизившего к себе юного Бенно, одного из членов семейства Линдерманнов, о судьбах которых повествуется в романе. В продолжительных беседах с Бенно пастор сетует на «бездуховность века», на всеобщее падение нравов, на угрожающую обществу и стране «опасность со стороны красных». Развивая активность среди опекаемых церковью молодежных организаций, Винберг печется об их

«сопротивляемости коммунизму», о том, чтобы молодежи своевременно была сделана, как он выражается, «мощная инъекция крови Христовой». Бенно, намеревающийся посвятить себя духовной карьере, и прежде был восприимчив к консерватизму клерикалов, а теперь Винберг, на правах нежного и заботливого друга, и вовсе внушил ему глубоко антидемократические взгляды, взбудоражив его болезненное воображение всевозможными страхами. «Раньше,— размышляет Бенно в главе-исповеди,— я никогда не думал о политике, а теперь стал думать, и чем больше я думал, тем отчаяннее казалось мне наше положение. Все труднее было встретить на улице рабочего без того, чтобы не испытывать страха перед ним, не заподозрить в нем коммуниста и предателя, и скоро мне стало казаться, что ужасное множество таких людей расхаживает по улицам со спрятанными под одеждой автоматами. Это было как в 1918 году во время гражданской войны, о которой рассказывал отец. И отчего они так ненавидели нас, образованных, хотя за многое должны были бы благодарить? И мне уже невмоготу было сдержать ответную ненависть, я боялся рабочих...»

Автор романа идет на условный прием с целью нагляднее показать опасность антидемократических тенденций. В одной из глав о Бенно возникает, словно кинематографический наплыв, гитлеровский концлагерь Освенцим, где бесчинствует врач-садист Бернхард Линдерманн, «немец и хороший верноподданный». Гитлеровца зовут так же, как и финского юношу Бенно (Бенно — уменьшительное от Бернхарда). Читатель сам волен сделать сопоставления. По вине пастора Винберга бедняга Бенно стал жертвой галлюцинаций, сошел с ума и кончил самоубийством. В сцене об Освенциме изображена иная ступень, иной масштаб того же антикоммунистического безумия.

Тема виновности обретает в романе Чилмана много звучаний. Своеобразную нравственную вину за собой чувствует и Раф Линдерманн, брат Бенно. В годы войны, когда фашизм совершал свои злодеяния, Раф был еще подростком, мировые события не слишком заботили его. Даже Нюрнбергский процесс прошел как-то мимо его сознания. «Нет, мы жили слишком защищенными»,— говорит он, подразумевая черствость души, «защищенность» от человеческих горестей.

Размышлять о прошлом, связывать его с настоящим, аккумулировать в себе человеческие страдания Рафа обязывает и его профессиональное призвание: он писатель (и его образ во многом выражает авторское «я»). Прошлое для Рафа Линдерманна не безмолвно, оно стучится в его сердце тем тревожней, чем упорнее стараются некоторые о нем забыть.

Церковь говорит о «всепрощении», но именно церкви, в том числе финской, не может простить Раф ее непосредственной причастности к прошлым трагедиям. В романе есть особая глава под необычным заглавием «Симпозиум», в которой Раф беседует на эту тему со своим другом и родственником Фредом. Фред напоминает о «фашиствующих пасторах», выходцах из так называемого «Карельского академического общества», которые даже хотели создать для инакомыслящих концентрационный лагерь в финской Лапландии. «Нет, их никогда нельзя будет простить,— соглашается с Рафом Фред,— потому что они проповедовали, они распространяли свое учение, совершая преступление против морали, вводя в соблазн тех, кто доверял им... Нет, всему есть свой предел. Терпимость, терпящая все, есть уже не терпимость, а равнодушие, немощность, человеческое падение... Я понимаю тебя». Обобщая, Раф идет дальше и видит то же равнодушие к страдающему человечеству во враждебном отношении церкви к социализму. «Подумай, сколько лет в наших церквах читаются проповеди против социализма, хотя он единственно смог избавить нищих и бесправных людей от худших страданий и невзгод. Живой церкви следовало бы быть заодно с социализмом, если она действительно печется о своей пастве, а не о своей власти, покоящейся на антигуманистических традициях». Раф с особым сочувствием вспоминает слова Минны Кант, писательницы конца XIX века, о том, что «в наше время Христос был бы социалистом».

Раф остро сознает разрыв между своим положением обеспеченного буржуа и своими социалистическими идеалами, в его жизни есть нечто искусственное; в пылу семейных ссор жена называет его снобом, «салонным социалистом». Также и Фред, во многом разделяющий взгляды Рафа, все же его социализма всерьез принять не может. «Ты пришел к социализму романтическим путем, через кровоточащую совесть барина, представителя господствующего класса,— говорит он ему.— Прости, Раф, об этом больно говорить, но твой социализм — это прекраснодушный социализм».

Но Фреду недоступна та острота восприятия социального неблагополучия общества, какая присуща Рафу.

Позиция Рафа привлекательна своим гуманизмом и демократичностью. Нередко она выражает себя в предельном нравственном максимализме, в крайнем заострении проблемы. Например, во время поездки в Рим, созерцая знаменитые памятники искусства, наблюдая за толпами восторженных туристов, Раф не может избавиться от преследующей его мысли о безмерных страданиях миллионов людей, к которым эта великая культура была по существу равнодушна, она веками существовала *помимо них*, хотя и создавалась их потом и кровью. С этой точки зрения вся «западная культура», равно как и религия, кажется Рафу кощунственным «предательством человека», он чувствует себя «варваром» среди красот «вечного города», и в соборе святого Петра ему хочется не умиляться от восторга, а

Э. КАРХУ
ТРЕВОГИ И ЗАБОТЫ «РАЗОЧАРОВАННЫХ»

плеваться, ибо он жаждет «иной эстетики, эстетики голодающих людей и революционных ценностей». Раф размышляет в соборе, что если уж говорить о «божьей воле», то и богу, верно, угодно было не это, не мраморные громады храмов, а то, чтобы люди облегчали друг другу жизнь.

В эпилоге романа мысль о моральном участии в жизни других людей выражена с особой поэтической силой. Сцена прогулки Рафа с детьми в яркий солнечный день превращается в апофеоз жизни, ее ликующей красоты. После всех пережитых невзгод, тоски и одиночества Раф испытывает невыразимое наслаждение от вещей простых и обыденных, от встреч с прохожими на воскресной улице, от того, что может много раз сказать им «здравствуйте» и услышать то же в ответ, от ласково-оберегающей и одновременно серьезной беседы с маленьким сыном, который при виде свежей могилы на кладбище впервые встревожен непосильной и противоестественной для него мыслью о конечности человеческой жизни. И вот уже в потоке радости и света все сильнее начинает звучать тема скорби. Раф до рези в глазах смотрит на ослепительное солнце и думает, что под этим же вечным солнцем, вероятно столь же знойным и палящим, ожидали своего последнего часа тысячи обреченных в фашистских лагерях смерти и встревоженные дети так же не хотели умирать, так же естественно тянулись к жизни, как и его маленький сын Юкке. На вопрос сына, отчего у него слезы на глазах, Раф отвечает: «Это от солнца». Но для отца солнце над финским городком — это одновременно и «солнце над Освенцимом» (так называется глава-эпилог), судьба человечества для него неразделима, он чувствует себя в ответе за все происходящее в мире.

В результате напряженной духовной работы Раф Линдерманн все дальше отходит от привычных представлений своего класса, и процесс этого отхода и составляет, по существу, содержание романа.

Но к чему он приведет, каким может быть конечный исход начавшегося процесса? На этот вопрос роман не дает ответа, да это и не входило, видимо, в намерения автора. Критическое сознание Рафа Линдерманна, в силу особенностей его биографии и «покаянных» моментов его психологии, занято прежде всего выяснением отношений с буржуазными классами. Но положение в корне меняется, когда некоторые «левые» авторы берутся с позиции отвлеченных идеалов судить о рабочем и коммунистическом движении, причем настолько увлекаются критическим изображением отдельных сторон практической борьбы, что совершенно извращается ее общий смысл. Главным для их «разочарованных» героев тогда становится разочарование в коммунизме, а это неизбежно приводит к компромиссу с буржуазным обществом. Характерным примером может служить роман Ласси Синкконена «Красильный пульверизатор» (1968).

В книге повествуется о рабочих авторемонтного завода, причем это не обычное в Финляндии предприятие. Для автора и избранного им сюжета очень важна исходная ситуация: завод является концессионным предприятием одной из социалистических стран, а его руководящий технический персонал состоит из коммунистов. Представители руководства в идеологическом отношении изображаются как некая косная сила, утратившая классово-революционный заряд. Бунтарско-наступательная функция передана в романе маляру Хейнонену, он спорит с начальством, организует рабочих, добиваясь некоторых уступок. Хейнонен критикует и компартию в целом, отказывая ей в революционности. «Революционность» самого Хейнонена такого рода, что она легко уживается с идеологическими и нравственными компромиссами, в большом и малом. В конце романа он получает повышение по службе, с обещанием еще более ощутимых материальных благ в будущем, и даже вступает по совету «руководства» в коммунистическую партию, но опять-таки по расчету, отнюдь не по убеждению. Истинная цена этого «революционного максимализма» выявляется особенно наглядно в беседах Хейнонена с его товарищем по работе Але.

Але интересуется литературой, пробует писать сам, и они много говорят о жизни, искусстве, политике, коммунизме. Из признаний Але следует, что некогда он «слепо верил в коммунизм», но теперь его одолевают сомнения. Бесспорно, говорит он, что «коммунизм улучшил условия жизни для миллионов людей, но всех внутренних человеческих проблем он решить не может». Але полагает, что «идея коммунизма еще недостаточно развита», и вокруг себя он не видит «настоящих коммунистов». Казалось бы, его идеал, при всей своей неопределенности, претендует на некую головокружительную высоту и уж никак не совместим с компромиссами. Но это только кажется. На деле же, увы,— пошлый релятивизм, идейное капитулянтство, готовность признать «относительно лучшими» буржуазные порядки. После всех упреков в адрес коммунистов Але приходит к малоутешительному выводу, что «рая на земле вообще быть не может, и все, что нам остается, это выбрать относительно лучшее общество. Я свое общество выбрал — или оно выбрало меня. И если подумать, то из нашего финского строя может развиться сносное государство...». Как видим, никакой головокружительной высоты в этом выборе нет, скорее отступничество, что так или иначе осознают и сами герои. Але сетует на одиночество, душевную неустроенность, много пьет; несчастный случай на заводе трагически обрывает его жизнь. Хейнонена после его компромиссного решения преследует гадкое чувство сделки с совестью, в его отношениях с людьми появляется все больше цинизма, откровенной расчетливости; от рабочей среды он оторвался, а начальство презирает; оказавшись в духовной изоляции, он решает «жить для семьи» и находит слабое утешение в том, что «каждый

из нас на свой собственный лад страдает от одиночества».

Одиночество — чаще всего «интеллигентский» недуг, и если в романе Ласси Синкконена им заболевают духовно порвавшие со своим классом рабочие, то в некоторых «интеллектуальных романах» герои ищут спасения от преследующего их одиночества как раз в установлении контактов с рабочим движением. Такого рода проблематика занимает центральное место, например, в романе Марьи-Лены Миккола «Искатель» (1967), вызвавшем разноречивые отклики в критике.

Автор написал роман-спор, роман-диалог, полемически сталкивающий различные жизненные позиции. В книге повествуется о двух журналистах, мужчине и женщине, которых судьба свела вместе и временно соединила интимными узами, при всем различии их натур. Сюжет разворачивается таким образом, что журналисты Лотта и Яска совершают совместную поездку в фабричный город, посещают предприятия, общаются с рабочей средой. Правда, поводы для поездки у них разные. Для Лотты, сотрудницы рабочей газеты, это деловая поездка, ей надо написать статью о жизни фабричных работниц. У Яски определенной цели нет, Лотта настояла на его поездке из «оздоровительных» соображений, ибо Яска болен как раз «интеллигентской» болезнью одиночества, утратой идеалов и веры в людей, отчего для него крайне затруднены человеческие контакты, проявления естественного интереса к жизни.

Внутренняя опустошенность Яски лишь подчеркивается его внешним преуспеянием. В газетном мире он своего рода «аристократ», у него есть имя и вес, и ему нет надобности потакать каждому, кто хотел бы прибегнуть к услугам его пера. Яска держится с достоинством и горд своим положением «независимого левого», стоящего, в отличие от Лотты, вне политических партий и массовых политических движений. Но эта «независимость» одновременно и тяготит его, у него бывают минуты, когда он испытывает мучительную тоску и по человеческому общению. Его влечет именно к людям из «низов», он хотел бы понять их сердцем, их нужды и интересы, ощутить человеческую близость, быть равным среди них. В этом желании тоже есть нечто «покаянное» и нервически взвинченное, Яске хочется непременно «личностного» общения с представителями массы, в обход собраний и митингов, минуя партийные программы и лозунги. И тогда его жажда «слияния с массой» удовлетворяется довольно странным образом: он идет в «демократические» питейные заведения, в дешевые портовые кабаки. Несмотря на ложную многозначительность этих минутных жестов, для Яски это все же не просто разгул, но и душевный порыв к взаимопониманию. Подобные же порывы бывают у него и в газетной работе, и тогда он одержим желанием изъясниться с «человеком улицы» предельно просто и ясно. Но подобно тому как питейные вылазки кончаются заурядным похмельем, так же и Яску-журналиста обычно постигает горькое разочарование. Взаимопонимания не наступает, и после каждой неудачной попытки «плечи его кажутся еще более сутулыми, в его усмешке — еще больше иронии».

Лотта в спорах говорит, что душевная усталость Яски показательна именно для «независимых», она своего рода их «профессиональная болезнь». Это не усталость от работы, а результат самоизоляции от людей, от рабочих масс. Даже когда такие «интеллектуалы» встречаются друг с другом, их объединяет не общий труд и не общие социальные цели, а чаще всего хандра и алкоголь. Когда же они делают попытки сблизиться с рабочими, их может отпугнуть самое поверхностное и случайное. Они, встретив среди рабочих людей с мелкобуржуазными наклонностями, мечтающих «открыть дело», могут тут же прийти в отчаяние. Беда «независимых», по словам Лотты, в том и состоит, что они, с одной стороны, сами так или иначе внушают рабочим мелкобуржуазные представления «среднего класса», а с другой — то и дело впадают в истерическое обличительство, уверяя, что честных и бескорыстных людей в «массе» вообще нет — «все, выходит, буржуи, кроме вас, левых».

В упреках Лотты много справедливого. И надо сказать, что нынешние «левые» и «культурные радикалы», проявляющие такую неуравновешенность, так легко впадающие в крайности, в значительной степени повторяют ошибки, уже встречавшиеся прежде и имевшие подчас трагический исход. Из крупных имен можно вспомнить об Иоэле Лехтонене, финском писателе первой трети XX века, которого нередко называют «разочарованным идеалистом», имея в виду специфическую эволюцию его творчества и трагизм его личной судьбы. Лехтонен начал с яростного бунта против буржуазности, с восторженных похвал «безумству храбрых» и симпатий к ранним горьковским образам, к машинисту Нилу из «Мещан», а кончил тяжелой формой мизантропии и всеохватным пессимизмом. Немалую роль в этом сыграло то, что «буржуазность» абсолютизировалась Лехтоненом, распространялась на все классы общества, на каждого человека, коль скоро он был причастен к практической жизни, а не становился в позу анархистского бунтаря и всеотрицателя.

Абсолютизация «буржуазности» имеет среди современных «левых» самое широкое хождение, и, так же как у Лехтонена, она оборачивается все новыми «иеремиадами» о ничтожности и бессилии человека. Например, Тойни Вирисало, одна из авторов журнала «Парнассо», уверяет, что современный мир населен исключительно «женщинами-неврастеничками и мужчинами, алчущими денег и власти». После такой генерализации оказывается, что человек

попросту «перестал быть интересным, героев больше нет. Есть инфляция Человека. Голые обезьяны уже познали самих себя. И никакими усилиями мы никуда не сдвинемся».

Вот почему Лотта в упомянутом романе Марьи-Лены Миккола с такой настойчивостью советует «разочарованным левым» оглянуться вокруг и увидеть «по-настоящему честных, простых людей», в революционную силу которых она верит. Где их искать? Лотта считает, что лучше всего — в рядах организованного рабочего движения. Влиться в эти ряды она советует и Яске. Можно посетовать на то, что в художественном отношении процесс «выздоровления» Яски, после того как он окунулся в «практическую политическую работу» среди масс и обрел «новых друзей», показан в романе несколько прямолинейно и скороговоркой на самых последних страницах. Но никак нельзя согласиться с теми рецензентами романа, которые принципиально отвергают такой поворот в духовной эволюции героя, квалифицируя его как «измену радикализму», предосудительный отказ от «интеллектуальной независимости» и даже как «уступку новому консерватизму». К подобным выражениям прибегнул в своей рецензии, например, Лео Линдстен, полагающий, что единственно плодотворной и единственно приличествующей для «левых интеллектуалов» является «независимая критическая» позиция, в том числе по отношению к рабочему движению, дабы уберечь его от «нового консерватизма».

Мы уже говорили о том, что даже критика «буржуазности» далеко не всегда эффективна, когда за нею нет позитивной «общей идеи», подлинно революционной программы. Иначе бунтарство угрожает выродиться в те полуанекдотические казусы, которые с сатирическим заострением изображает иногда Мартти Ларни. Что «критический радикал» и процветающий буржуа скоро привыкают друг к другу — над этим подчас иронизируют сами «независимые». Например, Иоко Тююри пишет в «Парнассо» (№ 8, 1969), что радикал является для буржуа чем-то вроде зубочистки и не только безопасен, но и оказывает ему услуги, заблаговременно обнаруживая в обществе дефекты и предотвращая чрезмерную запущенность разрушительного процесса. И получается, как пишет автор, что «истинному радикалу хорошо только в обществе буржуа, да и буржуа уже не может исповедоваться никому другому, кроме как радикалу... И платят радикалу, так сказать, за гигиену души, он выполняет функцию церковного душеспасителя».

«Независимо-критическая» позиция «левых радикалов» не выдерживает испытания жизнью и оказывается явно недостаточной для успешного противодействия наступлению правых. Печать сообщает все новые факты этого наступления. Комментаторы пишут, например, о «настоящей издательской войне», в ходе которой из книгоиздательств уже устранены десятки служащих левых убеждений. Реакции удалось добиться увольнения ряда прогрессивных режиссеров в театрах и на телевидении, она подняла демагогический шум вокруг высшей Театральной школы, усмотрев в ней опасный очаг «инфильтрации левых», для которых, дескать, «политика важнее искусства» и которым нужны «не актеры, а классовые борцы». Известный прогрессивный поэт Арво Туртиайнен ответил на эту демагогию ироническим замечанием; выступая перед студентами, он напомнил об аналогичной тактике правых в предвоенные годы: «Если поэт подымал красное знамя — это была «политика» и «агитация». Но если он подымал сине-черный флаг реакции, это был всего лишь благонамеренный, от сердца идущий патриотизм и, конечно же, это была поэзия».

В обстановке обострившейся классовой борьбы в Финляндии повышается интерес к марксистской эстетике, наблюдается стремление связать искусство с политическими задачами рабочего движения, идут поиски наиболее действенных его форм — сегодня в Финляндии все чаще говорят о «борющемся искусстве», «борющейся литературе».

Публицистика

БОЛЬ И ГНЕВ ОЛЬСТЕРА

Развертывая свежий номер газеты, включая телевизор или радиоприемник, мы вот уже на протяжении ряда лет чуть ли не ежедневно читаем и слышим об арестах, обысках, взрывах, пожарах, вооруженных стычках и жертвах в Северной Ирландии. Сообщения, поступающие оттуда, напоминают фронтовые сводки. «Северная Ирландия становится Вьетнамом»,— заявил в феврале этого года американский сенатор Эдвард Кеннеди. Французская газета «Орор» в свою очередь констатировала: «Никогда еще ненависть к английским войскам не была столь открытой. Войска же, со своей стороны, хотят заставить дорого заплатить за ту почти всеобщую поддержку, которую католики оказывают Ирландской республиканской армии (ИРА)».

Проблема Ольстера — одна из животрепещущих проблем современной международной политической жизни. Она не раз была предметом обсуждения в Совете Безопасности и на Генеральной Ассамблее ООН. Преступные действия английского империализма в Северной Ирландии были осуждены на XXIV съезде Коммунистической партии Советского Союза в Отчетном докладе Центрального Комитета, с которым выступил товарищ Л. И. Брежнев, в речах делегатов и зарубежных гостей.

Публикуемые журналом отрывки из книги «Цена моей души», написанной известной ирландской патриоткой, членом английского парламента Бернадеттой Девлин, из документальной брошюры «Белфаст, август 1971 года», авторами которой являются журналисты и социологи Денни Кеннели и Эрик Престон, а также репортаж Джона Хейлперна из английской газеты «Обсервер» дают возможность взглянуть на североирландскую обстановку как бы изнутри, увидеть ее такой, какой ее представляют сами ирландцы.

Бернадетта Девлин описывает один из маршей борцов за гражданские права. Воспроизводимые ею картины расправ, которым подверглись юноши и девушки на пути из Белфаста в Дерри (Лондондерри) со стороны протестантских экстремистов и полиции, дают представление об удушливой атмосфере юнионистского режима, о ситуации, предшествовавшей оккупации Ольстера английскими войсками в августе 1969 года.

Денни Кеннели и Эрик Престон, опираясь, словно судебные обвинители, на строго проверенные факты, показания жертв и свидетелей, рассказывают о том, что произошло в Северной Ирландии уже после того, как посланные Лондоном карательные войска стали фактическими хозяевами в Ольстере, оттеснив на второй план местное правительство этой псевдоавтономной провинции. В большинстве свидетельств, собранных ими в Белфасте, Дерри и других городах Северной Ирландии, фигурирует дата — 9 августа 1971 года. Она не случайна. Именно в этот день, названный ирландцами «черным понедельником», вступило в действие секретное решение о «кардинальных мерах» в Ольстере, подготовленное в Лондоне министром обороны лордом Каррингтоном и министром внутренних дел Модлингом и одобренное главой правительства тори Эдвардом Хитом. Суть его состояла в том, чтобы внезапным ударом обезглавить движение борцов за гражданские права в Ольстере.

В ночь с 8 на 9 августа 1971 года тысячи английских солдат и полицейских внезапно вторглись в католические кварталы североирландских городов и поселков, устроили массовые облавы на людей. Многочисленные показания жертв и свидетелей, приведенные в брошюре и составляющие ее главную ценность, обличают этот ничем не оправданный произвол английской военщины на ирландской земле. Сотни людей, многие из которых даже не имели никакого отношения ни к Ирландской республиканской армии, ни к Ассоциации борьбы за гражданские права, были брошены в застенки белфастской тюрьмы «Крамлин-роуд», корабля «Мейдстоун», превращенного в плавучую тюрьму, и за колючую проволоку концлагеря Лонг-Кеш.

Выслуживаясь перед лондонскими хозяевами, правительство юнионистов пыталось было оправдать эту акцию местным, так называемым «законом о чрезвычайных полномочиях». Однако вскоре стало ясно, что даже этот драконовский закон не давал никакого юридического основания английским военным производить аресты в Ольс-

тере. Вот почему правительство тори было вынуждено впоследствии протащить через Вестминстер специальный акт, «узаконивающий» задним числом этот произвол.

Ценность репортажа специального корреспондента «Обсервер» Джона Хейлперна состоит в том, что его автор первым из журналистов, пишущих об Ольстере, затронул актуальную тему морального плана — психологическое влияние происходящих в Северной Ирландии событий на подрастающее поколение.

Мне дважды приходилось бывать в Северной Ирландии: первый раз — в сентябре 1969 года, несколько недель спустя после того, как там появились английские оккупационные войска, и второй раз — в январе 1972 года. Даже самое поверхностное сопоставление увиденного и услышанного за два визита позволяет сделать вывод о том, насколько усилилась за этот сравнительно короткий период ненависть ирландцев к английской армии и как следствие — к самой Англии. Если во время первого посещения я еще встречал среди католиков людей, которые под влиянием официальной лондонской пропаганды надеялись на то, что английские войска наведут в Ольстере порядок и уж во всяком случае оградят католические кварталы от диких погромов со стороны отрядов Бантинга и Пейсли, то к январю 1972 года от этих наивных иллюзий не осталось никакого следа.

Жизнь преподала суровый урок и тем, кто смотрел на английскую армию глазами времен второй мировой войны, когда она вела справедливую борьбу против общего врага человечества — гитлеровского фашизма, заставила людей, которые были вначале не прочь побаловать английских солдат яблочным пирогом и традиционным чаем, вспомнить иные «подвиги» Лондона, а именно — на Кипре, в Малайе, Адене, где развернувшемуся после второй мировой войны национально-освободительному движению Англия противопоставила самолеты, бомбы, пулеметы, тюрьмы и казни.

Все более отчетливой становится для ирландцев роль английской армии как военно-политического механизма классовой политики британского империализма. В итоге обстановка в Ольстере накалилась еще больше, чем в 1969 году, а ряды подпольно действующей ИРА значительно возросли за счет молодежи.

Брошюра «Белфаст, август 1971 года» хронологически доведена до ноября прошлого года. С тех пор календарь преступлений английской военщины в Северной Ирландии пополнился более позорной, чем «черный понедельник», датой — «кровавым воскресеньем». 30 января 1972 года среди бела дня в Дерри английские парашютисты открыли огонь по участникам мирной демонстрации. Это было преднамеренное, хладнокровное убийство ни в чем не повинных людей. Откликнувшись на призыв Ассоциации борьбы за гражданские права, тысячи жителей Дерри, в том числе женщины и дети, двигались в Богсайд — католический район города, чтобы завершить свое шествие массовым митингом. На импровизированной трибуне, которой служил кузов грузовика, их ждали ораторы — известный английский общественный деятель лорд Брокуэй и уже знакомая нам Бернадетта Девлин. Шквал горячего свинца преградил путь демонстрантам. Тринадцать убитых наповал, трое скончавшихся от ран, десятки раненых — таков итог ничем не спровоцированной зверской расправы над безоружными людьми.

Мировая прогрессивная общественность выразила гневное возмущение этим злодеянием английского империализма. Демонстрации и митинги протеста прокатились по всем странам, в том числе и в Англии (Коммунистическая партия Англии уже давно выступает в поддержку справедливой борьбы североирландских трудящихся).

Многие из нынешних проблем Северной Ирландии уходят своими корнями в глубокую историю, к тому далекому XII веку, когда на берегах Ирландии высадились войска короля Генриха II и Англия начала покорение этого острова. Ирландии выпала доля стать первой колонией Британской империи, тяжелыми страданиями заплатить за географическое соседство с Англией.

В. И. Ленин, хорошо знавший историю Ирландии и всей душой революционера сочувствовавший ее борьбе за независимость, писал, что Англия веками порабощала Ирландию, доводила ирландских крестьян до неслыханных мучений, вымирания от голода, сгоняла их с земли, заставляла их сотнями тысяч и миллионами покидать родину: за 130 лет численность населения Ирландии сократилась почти вдвое. Около 16 миллионов лиц ирландского происхождения живут сейчас за пределами острова — в Соединенных Штатах, Австралии, Новой Зеландии, Канаде и других странах.

Причина массовой эмиграции ирландцев заключается в том, что, оказавшись под английским колониальным гнетом, они были низведены до положения рабов, лишенных не только своей земли и природных богатств, но и права пользоваться родным языком, национальной культурой (в середине XVII века более 100 тысяч мужчин, женщин и детей было вывезено из Ирландии в Вест-Индию и продано там владельцам табачных плантаций).

До английского завоевания Ирландия была страной католической религии, которая начала там распространяться еще с V века. После того как протестантство одержало верх в самой Англии, оно стало усиленно насаждаться Лондоном и в Ирландии, особенно в ее северной части — Ольстере — за счет переселенцев из Шотландии и Англии.

История Ирландии отмечена многочисленными, порой крупными вооруженными выступлениями против английского господства. В Дублине я посетил бывшую английскую тюрьму Килмайнем, построенную еще в 1796 году. Эта ирландская Бастилия превращена ныне в музей. Я видел сырые каменные казематы, где в кандалах томились ирландские патриоты мно-

гих поколений. Среди них были и католики, и протестанты. Вероисповедание не имело значения, когда затрагивались интересы английских захватчиков. Мне особенно запомнился глухой двор, окруженный со всех сторон высокой каменной стеной. В 1916 году там были казнены 16 руководителей национального восстания, в том числе члены первого правительства Ирландской республики и среди них выдающийся ирландский марксист, любимец народа Джеймс Конноли. Он был привезен из госпиталя тяжелораненым, не мог стоять, и английские каратели расстреляли его, привязав веревками к походному стулу. Джеймс Конноли погиб 15 мая. (По призыву Всемирного Совета Мира этот день был объявлен в 1972 году Днем солидарности с борцами Северной Ирландии за свои права, свободу и независимость.)

Великая Октябрьская социалистическая революция оказала влияние и на борьбу ирландцев. В 1919—1921 годах весь остров был охвачен восстанием. Британские карательные войска, посланные в Ирландию, фактически потерпели поражение. Лондон тогда понял, что террором больше не удастся сломить сопротивление ирландского народа, и пошел на политический маневр. Страна была разделена на Ирландскую республику, получившую независимость (со столицей Дублин), и Северную Ирландию, оставленную в качестве автономной провинции Соединенного королевства (со столицей Белфаст).

Северную Ирландию в обиходе часто называют Ольстером. Это не совсем точно: Ольстер шире, чем Северная Ирландия. Он насчитывает девять графств, в то время как Северная Ирландия — только шесть из них.

Почему именно шесть графств, а не весь Ольстер, были включены Лондоном в состав Соединенного королевства? Это было сделано только для того, чтобы юнионистская партия (название происходит от английского слова «юнион», то есть «союз», в данном случае с Англией) могла использовать в своих целях большинство протестантского населения в шести графствах и имела бы перевес голосов в местном парламенте. Так оно и получилось. На протяжении вот уже более полувека юнионисты безраздельно правили в Северной Ирландии. В масштабах всей провинции Ольстер юнионисты не имели бы такой возможности.

Юнионисты представляют интересы североирландских промышленных и земельных магнатов, тесно связаны с английскими монополиями и по существу ничем не отличаются от британских консерваторов. По меткому выражению Генерального секретаря Коммунистической партии Ирландии товарища Майкла О'Риордана, они являются самыми искусными подручными Лондона по части сеяния раздоров среди населения Северной Ирландии. Вся их политика носит антинародный, антидемократический характер и направлена против трудящихся Северной Ирландии. Действуя излюбленным империалистическим методом «разделяй и властвуй», проводя дискриминацию католического меньшинства, они всегда стремились расколоть рабочий класс, разжигать в его рядах религиозную рознь. В этих целях они используют различные экстремистские организации протестантов — от полузаконспирированного религиозного ордена оранжистов до вооруженных банд майора Бантинга.

Именно эти организации при поддержке специальных полицейских сил учинили летом 1969 года погромы в пролетарских католических кварталах Белфаста и Дерри, в результате чего резко накалилась обстановка в Северной Ирландии и на подмогу юнионистам были переброшены из Англии войска. Эта вооруженная провокация привела к крупным человеческим жертвам, сожжению сотен домов, к появлению баррикад как единственного средства защиты католического населения. Я видел эти пострадавшие районы, где словно после бомбежки торчали лишь печные трубы да редкие железобетонные остовы зданий. Трудно было поверить, что все это происходит в Европе во второй половине XX века. Это был настоящий шабаш реакции, невольно воскрешающий в памяти самые мрачные времена средневековья.

Следует отметить, что Северная Ирландия, будучи захолустьем Соединенного королевства, всегда первой расплачивалась за экономическую политику английского империализма. Сейчас, как известно, официальное число безработных в Англии перевалило за один миллион человек. И Северная Ирландия находится в особенно бедственном положении. В Дерри, например, безработицей охвачено до 20—25 процентов трудоспособного населения, разумеется, в первую очередь католического.

Таким образом, в Северной Ирландии в один сложный узел сплелись противоречия исторического, политического и социально-экономического характера. Глубокие социально-политические причины, оставленные в наследство многовековым английским господством и разделом Ирландии, определяют суть кризиса в Ольстере.

Католики составляют почти 40 процентов жителей Северной Ирландии, наиболее угнетенных и дискриминируемых богатой протестантской верхушкой. Именно католические трудящиеся больше всего страдают в Северной Ирландии от политического и социального бесправия, от безработицы, острой нехватки жилья и других язв капиталистического общества. Вот почему они и оказались в первых рядах борцов против юнионистского режима, принимают наиболее активное участие в деятельности Ассоциации борьбы за гражданские права, пополняют ряды ИРА.

Говоря о протестантах, нередко имеют в виду сторонников юнионистского режима, но это далеко не всегда соответствует действительности. Среди почти 60 процентов населения Северной Ирландии, которое считается протестантским, основную массу составляют трудящиеся, являющиеся фактически столь же бесправными, как и

их католические собратья по классу. Однако юнионисты, действуя методом «разделяй и властвуй», разжигая религиозные предрассудки, сумели в немалой степени отравить сознание части протестантского населения неприязнью к католикам. Не случайно в налетах экстремистских банд майора Бантинга и пастора Пейсли на католические кварталы принимают участие и рядовые рабочие-протестанты.

Перед лицом полного банкротства юнионистского режима Лондон в марте этого года распустил Стормонт (местный североирландский парламент), а функции юнионистского правительства передал своему специальному эмиссару Уайтлоу, наделив его рангом министра английского правительства и неограниченными полномочиями. Введение прямого управления Ольстером из Лондона не решает и не может решить проблемы Ольстера, поскольку тори не намерены покушаться на привилегии своих ставленников — юнионистов, не собираются вводить какие-либо кардинальные демократические реформы.

Коммунистическая партия Ирландии, Ассоциация борьбы за гражданские права и другие демократические организаций как на севере, так и юге Ирландии видят единственную возможность выхода из ольстерской трагедии в глубоких социально-политических преобразованиях. Они требуют освобождения всех политзаключенных из концлагерей и тюрем, прекращения репрессий, вывода английских войск, запрещения всех форм дискриминации, гарантирования справедливой избирательной системы, проведения свободных выборов на основе пропорционального представительства.

Осуществление этих мер создаст условия, необходимые для восстановления гражданского мира в Северной Ирландии, и предоставит ее населению возможность свободно решать свою судьбу.

Ю. ЯСНЕВ

БЕРНАДЕТТА ДЕВЛИН

МАРШ В ДЕРРИ

Мы должны были выступить от ратуши в девять часов утра в день Нового года. Естественно, многие проспали, и наш семидесятитрехмильный марш начала лишь жалкая горстка — человек двадцать пять, не больше,— но зато с опозданием всего на пятнадцать минут. К тому времени, когда мы достигли окраины Белфаста, ряды наши удвоились, так как многие успели нас нагнать. Рядом, во главе веселой компании под английским и ольстерским флагами, шагал Рональд Бантинг, самочинный командир протестантских волонтеров Ольстера,— он устроил нечто вроде своей собственной небольшой сепаратной контрдемонстрации. Прохожие на тротуарах провожали нас приветствиями или ругательствами в зависимости от цвета своих убеждений. За городской чертой майор Бантинг отделился от процессии (у самых ворот зоопарка, а потому все мы принялись упражняться в остроумии) и с каменным лицом стоял под своими флагами, пока мы проходили мимо, выкрикивая все, что взбредало в голову. Каждую минуту к нам присоединялись все новые и новые люди. Проезжая мимо, шоферы кидали нам сигареты и подбадривали нас. Погода стояла вполне приличная, и мы добрались до Темплпатрика к обеду в прекрасном настроении. Там мы устроили небольшое совещание.

Беда была в том, что знамен у нас оказалось больше, чем мы рассчитывали. Мы все заранее договорились, что понесем голубое знамя борьбы за гражданские права и черное знамя протеста против нищеты. Но теперь мы обнаружили, что у нас имеется еще анархистское знамя и знамя республиканского клуба. Анархистское знамя оказалось экзотическим — огромное черно-красное полотнище. Но анархист у нас был только один — дюжий толстяк Джон Макгаффин, размерами почти не уступающий своему знамени, которое он хотел обязательно нести развернутым, так как, по его словам, из Англии намеревалось приехать сто анархистов, чтобы присоединиться к нашему маршу в знак сочувствия к нам. Но их все не было, и Джону приходилось одному тащить свое знамя — он держал одно древко, а второе волочилось по земле. Наши недоброжелатели называли нас кучкой анархистов, на самом же деле никто из нас не взялся за это древко, чтобы подсобить Джону. Членов республиканского клуба мы попросили знамени не нести — во-первых, оно было больше знамени борьбы за гражданские права, а во-вторых, идти под ним было недипломатично. Однако мы сказали, что препятствовать не будем — ведь мы, как-никак, стоим за свободу. В конце концов республиканцы пошли на компромисс: из принципа они несли свое знамя до самого Дерри, правда, в свернутом виде.

Мы пошли дальше, распевая подряд все песни, какие знали, чтобы легче было шагать в ногу, и настроение на этом переходе было у всех самое веселое и добродушное. Наш анархист Джон Макгаффин к этому времени уже покинул ряды и ехал в микроавтобусе, который вез припасы,— его комплекция дала о себе знать.

Время от времени нас обгоняли машины с пейслеевцами, которые кричали: «В Ноклогриме мы вам покажем!» (речь шла о селении дальше по дороге,

известном гнезде экстремистов),— и название это скоро превратилось у нас в присловье. Уставая. мы говорили: «А ну, прибавим шагу — скоро уже Ноклогрим!» (Впрочем, Ноклогрима мы так и не увидели — полиция не пустила нас туда, как и во многие другие городки и деревни.) Но с пейслеевцами мы встретились гораздо раньше. Они поджидали нас в Антриме за полицейским кордоном, перекрывшим антримский мост,— первым кордоном на нашем пути. Позади цепи полицейских мы разглядели майора Бантинга и его огромные барабаны, которые гремели басовито и глухо.

Полицейский инспектор, говоривший с итоно-оксфордским акцентом, высказал убеждение, что умнее всего нам было бы «отправиться по домам». Мы объяснили, что собираемся пройти через Антрим и переночевать в клубе на том конце города. Едва услышав это, инспектор побежал за кордон и сообщил майору Бантингу. Вернувшись, он объявил, что нам придется отказаться от своего намерения: пейслеевцы против. Пейслеевцы преградили нам дорогу совершенно противозаконно, и полицейские, которых было вдвое больше, легко могли бы с ними разделаться, но инспектор явно предпочитал бездействие. Переливание из пустого в порожнее продолжалось, и у обоих концов моста уже выстроился длиннейший хвост машин.

Наконец мы согласились послушать, что скажет нам майор Бантинг. Я всегда жалела Бантинга: в свое время он активно участвовал в предвыборной кампании кандидата-республиканца и выступал на стороне арендаторов против муниципальных юнионистских властей. Потом у него случился сердечный приступ, и преподобный Иен Пейсли явился к нему, точно ангел господен. Тут Бантинг сподобился прозреть и стал последователем Пейсли. Он возглавляет военную организацию, мечтает о видном положении и мнит себя благородным бойцом за правое дело. Время от времени у него сдают нервы, и он готов все бросить, но рвение преподобного Пейсли удерживает его в постромках.

Бантинг прошел сквозь оцепление и произнес перед нами прекрасную речь о гражданских правах, прочитал стишок и вернулся блокировать дорогу, на чем дружеская интермедия и закончилась.

Мы заявили полицейским, что сойдем с дороги и пропустим машины, а потом пойдем за ними следом. Если блюстители порядка сумеют отогнать пейслеевцев и очистить дорогу для грузовиков, сказали мы, то мы сможем беспрепятственно пройти по ней. В ответ полицейские вызвали подкрепление и силой оттеснили нас прямо на колючую живую изгородь.

В конце концов мы согласились оставшуюся часть пути до клуба проехать в полицейских фургонах и пошли назад по шоссе под торжествующие вопли пейслеевцев, которые вообразили, будто мы отправились домой. Мы намеревались поужинать в Антриме, но городок был для нас закрыт, и надо было что-то спешно придумать. Теперь участников марша было уже сто двадцать, и всех их требовалось накормить, а потому я вызвалась сварить для них суп, используя те нагревательные приборы и посуду, которые найдутся в клубе. Выяснилось, что там имеются две газовые горелки, чайник и кастрюля, размерами напоминавшая бак для белья.

В Белфасте доброжелатели снабдили нас множеством пакетиков супа, который варится по принципу «добавьте три четверти пинты воды», причем супы все были разные. Не совсем ясно представляя себе, какое количество супа требуется, чтобы накормить сто двадцать человек, я налила кастрюлю водой до краев, а когда она миллион часов спустя закипела, принялась высыпать в нее один четырехпорционный пакет за другим, приговаривая: «Итого четыре, итого восемь, итого двенадцать...» Затем я сообразила, что не знаю, сколько воды вмещает кастрюля и, следовательно, считать не имеет ни малейшего смысла. К этому времени я уже бросила подбирать их по вкусу — куриные, томатные, овощные и деликатесные супы летели в кастрюлю как попало. Я только сыпала их и перемешивала. Мешать тоже было нелегко: в клубе нашлась одна десертная ложечка, которая то и дело падала на дно, и ее приходилось выуживать.

Сварившись, мой суп оказался густым серым комкастым месивом и консистенцией больше всего напоминал еще не застывший цемент. Выход оставался один: кипятить чайник за чайником, зачерпывать ложку месива, разводить его кипятком и давать кому-нибудь выпить. В довершение катастрофы наша единственная посуда — пластмассовые стаканчики для кофе — не выдержала соприкосновения с кипятком. «Куда хуже тюремной бурды»,— говорили ужинающие, но допивали свою порцию.

Во второй день Большого марша мы встали в шесть и затемно вышли в Рэндалстаун. Мы надеялись пройти через город, прежде чем пейслеевцы успеют собраться там, как намеревались. И все-таки мы опоздали: нас вновь остановил полицейский кордон, и вновь за оцеплением стояла толпа пейслеевцев. Но на этот раз они были вооружены — кирками, серпами, пилами-ножовками. Создавалось впечатление, что каждый участник марша, который прорвется в Рэндалстаун, тут же лишится головы.

Нас с Фредом Тэггертом послали звонить Гарольду Вильсону. Эта попытка

поговорить с премьером по телефону оказалась одним из самых веселых эпизодов в эпопее этого марша. Мы прекрасно понимали, что Гарольд и не подумает подойти к телефону — уж скорее он приехал бы сюда, чтобы лично проводить нас через Рэндалстаун. Но это был отличный жест. В конце концов нас соединили с каким-то помощником заместителя помощника младшего секретаря. Переговоры начал Фред.

— Я хочу поговорить с премьер-министром.

— Это невозможно.

— Тогда с личным секретарем премьер-министра.

— А мне вы не можете объяснить, в чем дело?

— Могу,— ответил Фред.— Дело в том, что мы организовали марш в Дерри. Всего нас около ста пятидесяти человек, и полиция преграждает нам дорогу.

— Я убежден, что у полиции есть для этого основания.

— Нет, кроме того, на дороге стоит толпа с серпами и ножовками.

Его собеседник ахнул в трубку.

— Вот так! — продолжал Фред.— И будут человеческие жертвы. По вине Гарольда Вильсона.

— Но послушайте! Вы не можете возлагать ответственность за это на премьер-министра!

— Мой звонок ставит его в известность о происходящем, и он уже не сможет ссылаться на то, что ему ничего не было известно. Если он не примет никаких мер, вся ответственность за дальнейшее падет на него.

— Так чего же вы хотите?

— Я хочу, чтобы премьер-министр отдал распоряжение открыть нам дорогу.

— Об этом вам надо говорить не со мной. Сейчас я вас соединю.

Мы поднялись ступенькой выше. На этот раз говорила я, затем — еще с одним чиновником — Фред, затем — опять я.

В конце концов Фред швырнул трубку, и мы вернулись к своим. Гарольд, разумеется, никаких мер не принял.

На дороге все оставалось в прежнем положении, но уже было договорено, что полицейские проводят нас по свободному шоссе за Рэндалстаун. Но вместо того чтобы вывести нас на основное шоссе, они принялись кружить по всей Северной Ирландии, и только когда мы пригрозили, что дальше пойдем сами, они свернули к Туму — следующему городу на нашем пути. Примерно в миле от Тума мы построились и так вошли в город — первый город, где мы встретили самую широкую поддержку. Чуть ли не все жители встали в наши ряды, мы все вместе вышли из города и... снова наткнулись на полицейский кордон, за которым стояла очередная банда пейслеевцев, но на этот раз в их числе были братья Чичестер-Кларк: Робин, представлявший Дерри в английском парламенте, и Джеймс Даусон, тогда министр сельского хозяйства, а позже — премьер-министр Северной Ирландии. Мы все еще сохраняли терпение и не собирались вступать в споры с полицией, а потому, когда они указали нам другое шоссе, мы кротко свернули на него, но для того лишь, чтобы вскоре наткнуться еще на один кордон и еще на одну толпу пейслеевцев. Мы предложили полицейским за двадцать минут разогнать пейслеевцев, иначе мы все равно пойдем вперед. К нашим рядам примкнул еще почти весь город Тум, таким образом, мы далеко превосходили по численности полицию и пейслеевцев, вместе взятых, а потому на этот раз добились своего.

Второй день марша мы наметили закончить так: пройти строем через деревню Галледаф и город Махеру и добраться до Бракагрейли, где нам предстояло переночевать. Переход был большим — нам еще оставалось пройти двадцать миль, а из-за всех этих остановок мы совсем выбились из расписания. Мы зашагали быстрее и перекусили на ходу, но все равно уже смеркалось, когда мы достигли Галледафа. Вся деревня высыпала нам навстречу и проводила нас до муниципалитета, где были приготовлены суп и огромное количество бутербродов. Галледафцы уговаривали нас остаться переночевать у них: дальше по дороге пейслеевцы устроили засаду, а в темноте с ними лучше было не связываться. К этому времени в марше участвовало уже свыше шестисот человек, и студенческое ядро значительно уступало численностью местным жителям, которые присоединились к нам. Некоторые из этих последних были не прочь сойтись с пейслеевцами лицом к лицу, и мы начали уже опасаться, сумеем ли убедить их не прибегать к насилию, чего требовала наша дисциплина. В конце концов большинство проголосовало за то, чтобы отправиться в Бракагрейли на автомобилях, и галледафцы отвезли нас туда на своих машинах, объехав стороной Махеру, где, по их сведениям, должно было собраться больше всего пейслеевцев. Позже мы узнали, что, так и не дождавшись нас, пейслеевцы устроили в Махере беспорядки: грабили, били окна.

Мы находились теперь милях в сорока от Белфаста — половина пути до Дерри осталась позади. Пресса, радио и телевидение подробно освещали наш марш, и он начал привлекать всеобщее внимание, а потому существовала вполне реальная опасность, что банда пейслеевцев нападет на нас, пока мы будем спать

в Бракагрейли. Полиция отказалась принять какие-бы то ни было меры, но у нас нашлась гораздо более надежная охрана. Когда мы устраивались на ночлег, кто-то из местных сказал мне:

— Устраивайте себе постели и ложитесь. Только чтобы ночью никто не выходил наружу! Мы гарантируем вам полную безопасность.

На первый взгляд могло показаться, что мы спим без всякой охраны, на самом же деле пятьдесят вооруженных людей всю ночь посменно патрулировали снаружи.

На третий день предстоял самый длинный переход, включавший Гленшейнский перевал,— надо было основательно набраться сил. Но это оказался лучший из всех дней марша. Поднимаясь к перевалу, видишь горы и дышишь настоящим воздухом свободы. Путь был свободен, мы находились в дружественной области и знали, что можем идти вперед беспрепятственно. Все забыли про усталость, забыли про Рэндалстаун и Антрим. Чудесная гора, чудесный день, упоительное ощущение свободы — мы шли к перевалу, как по ровной земле. Сообщения по радио о нашем продвижении состояли из восклицаний. Сначала сообщалось: «Студенты подходят к Гленшейнскому перевалу. К вечеру они его, вероятно, пройдут». Следующая сводка гласила: «Господи, студенты уже на перевале! Они просто бегут в гору! Трудности словно придают этой молодежи еще больше решимости!»

Мы весело спустились с перевала на улицы городка Дангивена, где нас встретил волынщик. В этот день Дангивен бросил все свои дела. Женщины наготовили бесчисленные бутерброды, торговцы тоже позаботились о еде, священник обеспечил запас сигарет, врач перевязывал стертые ноги, а в замке, принадлежащем муниципалитету, можно было умыться и привести себя в порядок. Мы строем промаршировали по всем улицам городка — как будто еще не находились досыта! — а толпы на тротуарах выкрикивали приветствия.

За Дангивеном шоссе разветвляется, но и правое, и левое шоссе одинаково ведут в Дерри. Мы намеревались свернуть влево и пройти через городки Фини и Клоди, но полиция настаивала, чтобы мы держались правого, более прямого шоссе и обошли стороной Фини, где, по их утверждению, нас ожидал враждебный прием. К этому времени нам порядком надоело выслушивать полицейские предупреждения о толпах пейслеевцев, которые поджидают нас в дороге, и мы пришли к выводу, что они очень ловко не допускают нас в населенные пункты, расположенные на нашем пути. А потому двое наших поехали в машине вперед по шоссе Фини — Клоди, выглядывая пейслеевцев, но не обнаружили ни одного.

Нашу колонну, насчитывающую теперь более тысячи человек, они нашли у очередного кордона и сообщили, что не видели на шоссе никого, кроме трех детей, возвращавшихся из школы. Мы поставили на обсуждение — соглашаться ли нам еще раз идти в обход. Наши пацифисты предложили: «Давайте сядем и будем сидеть, пока кордон не снимут». Наиболее воинственные из нас заявили: «Великие мира сего кажутся великими только потому, что мы стоим на коленях, так поднимемся же с колен!» А большинство требовало: «Давайте пойдем через кордон».

Мы уговорились, как это сделать: взяться под руки, головы опустить, шагать в ногу — раз-два, раз-два! — и идти вперед, что бы ни происходило. Если сосед упадет, не выпускать его руки, а тянуть за собой, пока он не встанет на ноги. Если сосед потеряет сознание, все равно продолжать его поддерживать. Так мы и пошли: взявшись под руки, опустив головы — раз-два! раз-два! — и мы оказались у самой цепи. Полицейские тоже взялись под руки и принялись нас отталкивать. Тут же находился радиокомментатор: «Сейчас участники марша приближаются к цепи полицейских. Полиция вынуждает их отступить. Нет! Участники марша продвигаются вперед. Да-да! Полицейские пятятся. Нет, цепь стоит неподвижно! Да! Участники марша пятятся! Продвигаются вперед! Пятятся! Продвигаются вперед! Пятятся! Бог мой! Они прорвались. Они все прорвались. Полицейские отброшены в канаву! Участники марша устремляются в прорыв, они бегут дальше по шоссе. Они прорвались!»

Ну, точно передача о регби!

По правде говоря, полицейских там было немного — не больше полутораста человек, и никто особого жара в свои действия не вкладывал. Нас, девушек, в передней шеренге было трое, и мы оказались перед тремя дюжими полицейскими. Один из них сказал:

— Послушайте, девочки, тут для вас не место. Отойдите-ка куда-нибудь назад — с девушками драться не хотим.

— Но мы же и не будем драться! — ответила я.— Но вот что: вы нажимаете и мы нажимаем, и тот, кто нажмет сильнее, выйдет победителем в этой игре, которую вы затеяли.

— Я с женщинами не дерусь! — сказал он и разорвал цепь.

Возможно, он думал, что нам будет стыдно от него отстать и мы тоже выйдем из нашей шеренги, но мы просто двинулись вперед, к следующему ряду полицейских, и столкнули их всех в канаву. Я растянула мышцу на ноге, выдержи-

вая на плече вес полицейского, пока остальные прорывались вперед. Наша шеренга сбросила их в канаву, и этот полицейский сидел в довольно нелепой позе на ком-то из своих товарищей и все время пытался встать. Чтобы помешать ему, я уперлась ногами в край канавы, а головой и плечом — ему в грудь. Но серьезно не пострадал никто.

Прорвав цепь, мы пошли по шоссе к Фини, опасаясь, что полицейские бросятся нас догонять или что дальше по шоссе нам предстоит встреча с еще одним кордоном. В конце концов полицейские действительно появились, но только чтобы сопровождать нас. Значит, нас все-таки стали принимать всерьез. Мы прошли через Фини и добрались до Клоди, совсем измученные, но гордые — до Дерри оставалось всего десять миль. Был устроен митинг, правда, я о нем ничего не знаю, так как отправилась в клуб, где нам предстояло ночевать, отыскала свои два одеяла, завернулась в них тут же на месте — у самой двери — и уснула, и об меня всю ночь то и дело кто-то спотыкался.

В этот вечер в Дерри начались беспорядки. Пейслеевцы устроили митинг в городской ратуше, а вокруг нее собрались жители Дерри, которых полиция разгоняла дубинками. Автомобиль майора Бантинга был перевернут и подожжен.

На следующее утро мы вышли довольно поздно. События в Дерри показывали, как велико напряжение, и мы опасались, что не сможем удержать в берегах страсти нестуденческого большинства участников Большого марша. Мы устроили митинг. Выступил Майкл Фаррел. «Мы доказали,— говорил он,— что способны, не прибегая к насилию, настоять на своем, а потому я прошу тех, кто понимает, хотя бы и с полными на то основаниями, что не может следовать принципам ненасилия, покинуть наши ряды». Фаррел выразился так: «Ответные меры применяться не должны, если только не возникнет непосредственная опасность для жизни или здоровья». Это прозвучало очень внушительно, и все согласились: применять силу только в том случае, если голова будет лететь с плеч. Мы отправились дальше, радуясь, что уже почти добрались до цели, и одновременно испытывая некоторое разочарование. На перекрестке у Камбера нас ждала полиция.

Как обычно, где-то впереди нас подстерегали пейслеевцы, но теперь нас эскортировала полиция. По мнению полицейских, ярдов через триста мы могли ожидать града камней, так что гарантировать нам безопасность они не брались, хотя и обещали оказать помощь в случае, если мы все-таки решим идти вперед.

Нас задержали, а полицейские отправились на разведку. Вернулись они без всяких новостей. Возможно, просто уходили, чтобы сообщить пейслеевцам, сколько нас и что мы намерены делать. Затем полицейские надели шлемы, подняли воротники и достали дубинки. Большинство из них ехало в фургонах. Остальные шли по сторонам нашей колонны. Мы прикрыли головы чем могли, взялись под руки — на случай, если придется тянуть потерявшего сознание,— и пошли по правой стороне шоссе, опустив головы, ровным шагом, ожидая первых камней. Одна девушка в моей шеренге сначала шла выпрямившись и твердила, что никакие пейслеевцы не заставят ее опустить головы. Но мы настаивали: «Послушай, дело же не в гордости, а в здравом смысле. Если ты будешь идти, опустив голову, ты пройдешь дальше. Задирай голову — и после первого же камня можешь остаться без глаза!»

Триста ярдов. И — ничего. Четыреста, пятьсот, шестьсот ярдов — ни одного камня. Мы шли вдоль живой изгороди, за которой круто поднимался склон холма. В просветах между кустами были видны сложенные через равные промежутки аккуратные кучки камней или стройные ряды бутылок. Кроме того, мы видели за кустами полицейских и пейслеевцев. Полицейские, сопровождавшие нас, были экипированы для схватки, но полицейские по ту сторону изгороди были в форме регулировщиков и дружески переговаривались с людьми, которых не допускали на дорогу. Мы продолжали идти вперед. Полмили. Три четверти мили. Из-за изгороди вылетел камень.

Тут мы подошли к Бернтоллетскому мосту, и с проселков по обе стороны шоссе полетело сразу столько кирпичей, бутылок и камней, что наша колонна остановилась. На шоссе рванулись орды вопящих людей. Они размахивали досками, бутылками, железными прутьями, ломами, самодельными дубинками, усаженными гвоздями. Они врезались в нашу колонну, колотя всех, кто попадал под руку.

Я поступила умно — грусость делает человека очень умным. Против такого нападения наша тактика опущенных голов и сомкнутого строя была бесполезна, а потому многие бросились бежать в панике. Я вспомнила Дерри 15 октября — бежать было бесполезно. Вдруг я увидела, что на мое лицо опускается плоская деревяшка, похожая на доску от ящика из-под апельсинов. В ней торчали два больших гвоздя. Инстинктивно рванувшись, моя рука опередила доску и успела загородить лицо — два гвоздя тотчас впились в нее. Затем доска ударила меня под коленями, и я упала. Мой мозг лихорадочно заработал. «Ну, Бернадетта,— сказала я себе,— что следует предпринять? Если ты растопыришь ноги и руки, их тебе переломают. Кроме того, тебе могут раскроить череп или изуродовать лицо». А потому я сжалась в комок. Подобрала под себя колени и локти, одной

ладонью прикрыла лицо, а другой затылок. В щелки между пальцами я видела вокруг себя ноги: человек шесть усердно старались вбить меня в землю. На спину и голову сыпались тупые удары. Затем эти люди, нечленораздельно пробормотав что-то вроде «хватит», бросились через поле за кем-то еще.

Секунд через пять, ничего больше не чувствуя, я решила, что пора уже приподнять голову. Я огляделась, снова прижалась к земле, когда пробегавший мимо пейслеевец замахнулся на меня, а потом поднялась на ноги. От стройной колонны не осталось и следа. В момент нападения первые несколько шеренг бросились вперед. Остальные рассеялись. Нападавшие гнали участников марша в канавы и дальше, в реку. Из воды вытаскивали людей, потерявших сознание. Другие бежали к лесу, а пейслеевцы их преследовали. Третьи так и остались на шоссе, где их зверски избивали. Когда я, пошатываясь, встала, то увидела, что пятеро пейслеевцев колотят какого-то юношу, а полицейский равнодушно смотрит на них. Он занимался тем, что отгонял раненых, которые пытались пробиться к первым шеренгам.

— Чего же вы стоите, чтоб вас! — закричала я на него, а он изо всех сил толкнул меня и скомандовал:

— Иди туда к своим дружкам, дура-девка! (Полицейские постоянно называют меня «дура-девка», но я не согласна, что я дура.)

Я еще плохо держалась на ногах и от его толчка свалилась прямо на Мориса Кинена и еще одного полицейского. Морис помог мне встать, приговаривая:

— Легче, легче!

И даже второй полицейский огрызнулся на первого:

— Хватит швырять этих ребят, им и так досталось.

Потом он вежливо сказал мне:

— Идите-ка к колонне, а мы соберем остальных ваших друзей.

Я повернулась — два участника марша несли к полицейскому фургону девушку с разбитой головой. Она была без сознания. Констебль в фургоне оттолкнул ее ногой.

— Ее нужно отвезти в больницу,— говорили участники марша, кладя девушку на пол фургона.

— Ну и везите,— отвечал констебль, сталкивая ее им на руки.

Тут подошли двое других полицейских и вышвырнули из фургона его самого.

— Черт тебя подери, дай ее уложить! — сказали они.

Кое-кто из полицейских действительно пытался воспрепятствовать тому, чтобы нас поубивали, но остальные были очень довольны, что мы, как они считали, получаем по заслугам.

По воле случая, убитых, правда, не было, но восемьдесят семь человек пришлось увезти в больницу, и еще многие были ранены, хотя не так серьезно. И никого никогда не привлекли за все это к ответу и никогда не привлекут. Расследование вели частные лица, а не полиция, которая не усмотрела для него причин. Имена некоторых участников нападения известны, но майор Чичестер-Кларк, став премьером, объявил амнистию, и те, кто напал на нас у Бернтоллетского моста, могут больше ни о чем не беспокоиться.

А мы продолжили наш марш. Это был самый волнующий момент за все эти дни: на лугах равнодушно паслись коровы, вокруг царила мирная деревенская тишина, а мы, все в синяках, в разорванной одежде шли вперед по шоссе и пели: «Мы победим — настанет день». Но эта песня слишком уж пассивна, а потому мы запели «Интернационал». В этом была наша сила: мы выдержали нападение, не ответив тем же, и вышли из этого испытания с песней.

Около Дерри нас встретили члены Союза студентов-радикалов. Они стояли по стойке «смирно», пока мы проходили мимо, и пели с нами «Интернационал», а потом организованно пошли позади нашей колонны. Кроме них, этого не сделал никто: остальные сочувствующие втискивались в наши шеренги, но студенты-радикалы хотели подчеркнуть свое уважение к тем, кто прошел весь путь от Белфаста.

Полиция предупреждала нас, что возможны новые неприятности прежде, чем мы доберемся до центра города, а потому, когда показались первые дома Дерри, Имон Макканн взобрался на возвышение и закричал в рупор:

— Помните, мы прошли семьдесят три мили. Так постарайтесь не омрачить насилием заключительный этап марша. Если на нас нападут, продолжайте идти вперед!

Колонна прошла мимо, а к Имону подбежал пейслеевец и стукнул его. Имон, разумеется, бросился наутек и догнал колонну. Мы поравнялись с Олтнегелвинской больницей, и все наши, кто был способен ковылять, вышли к нам в своих повязках, встали в передние шеренги и захромали в ногу с нами. Вот так все мы, две тысячи человек, обогнули угол и спустились с холма к старинным стенам Дерри.

На Айриш-стрит был разведен большой костер, чтобы сжечь те наши знамена, которые уцелели после Бернтоллетского моста. Вновь нашу колонну встретил град камней, бутылок, кирпичей, горящих головней из костра и бензиновых

бомб. К счастью, пейслеевцы не умеют делать бензиновые бомбы — почти ни одна из них не взорвалась.

Я чувствовала, как от моей головы отскакивают камни, по-видимому, не причиняя особого вреда, я видела, как в Майкла Фаррела угодило четыре булыжника, прежде чем он упал. Дальше по улице пейслеевцы натаскали на крыши камни из соседней каменоломни и теперь швыряли их вниз. Полицейские рекомендовали нам подождать, пока боезапасы противника не истощатся, но ждать нам пришлось бы очень долго — этих камней им явно хватило бы лет на десять. Участники марша прижались к стенам, так как камни падали на середину мостовой, а при перелете били стекла в домах напротив. Едва наступало затишье, несколько человек стремглав пробегали опасное место, и таким образом мало-помалу проскочили мы все.

Это была последняя засада — теперь мы вошли в Дерри, и тротуары заполняли толпы, которые приветствовали нас. На площади перед ратушей была построена эстрада, и люди требовали, чтобы мы все стояли на ней одновременно, но каждый раз, когда с одной стороны на нее втаскивали еще несколько человек, с другой стороны двое-трое спрыгивали вниз, потому что их сталкивали. Но собравшиеся хотели слышать нас всех. Вот тогда-то я и назвала Дерри «столицей беззакония» — звонкая фраза, она облетела всю Ирландию. Передать словами царившую там атмосферу невозможно, но, наверное, такое же чувство испытывали все в 1945 году, в день победы — война кончилась, и мы победили. Мы никого и пальцем не тронули, но мы победили!

ДЕННИ КЕННЕЛИ, ЭРИК ПРЕСТОН

СОВРЕМЕННАЯ ХРОНИКА

Вступление

«Полнейший хаос и неразбериха!» Так охарактеризовал нынешнюю ситуацию глава Комиссии по внутренним отношениям в Северной Ирландии, когда мы беседовали с ним во время нашего визита туда. Мы должны были провести обследование условий, в которых оказалась значительная часть населения, и составить доклад о его результатах. Вот это и есть наш доклад. Слова главы комиссии соответствуют тому, с чем пришлось нам столкнуться, но далеко не исчерпывают происходящего, так как то, что творится сейчас в Северной Ирландии, описать крайне сложно. В иных районах, например в фешенебельных кварталах Белфаста, обстановка на первый взгляд кажется вполне нормальной, и только некоторые признаки присутствия армии нарушают это впечатление. И наоборот, в рабочих районах, окружающих центр города,— совсем другая атмосфера — многие кварталы, где живут католики, напоминают оккупированные территории в дни войны. Внешне местные жители как будто приспособились к этим условиям, но приезжий долго не может привыкнуть к виду баррикад, полицейских и армейских патрулей, колючей проволоки поперек улиц, орудий и броневиков «Сарацин».

В стенах своих жилищ, которые уже не служат надежным укрытием, люди становятся откровеннее и говорят о своих бедах, тревогах и страхах. Довольно часто нам приходилось прерывать расспросы потому, что нашему собеседнику или нашей собеседнице было слишком тяжело продолжать. Многим из них пришлось пройти через самые невероятные испытания.

В большинстве случаев мы нашли, что ирландцы утратили всякое доверие к любым органам власти. Они привыкли не ждать справедливости и перестали искать защиты у полиции или армии. Они привыкли бояться и ненавидеть английских солдат, так как убедились, что солдаты эти не столько охраняют, сколько нападают. Нам часто рассказывали, как вначале местные жители братались с солдатами, «пекли для них яблочные пироги, угощали чаем». «И внезапно все переменилось» — почему, никто объяснить не мог, но каждый знал, что это так.

Некоторые из тех, с кем мы беседовали, во время второй мировой войны сами служили в английской армии, и они наотрез отказывались верить, что в Северной Ирландии действуют обычные армейские части. Бывший капитан английской армии, а теперь хирург в Белфасте, отослал все свои военные награды министру обороны лорду Каррингтону, написав, что чувство глубочайшего стыда и отвращения побуждает его порвать все связи с английской армией из-за ее действий в Северной Ирландии. Он особо подчеркнул жестокое обращение с задержанными лицами, применение пыток и добавил, что, хотя сам лично не был свидетелем этого, но может судить по состоянию некоторых его пациентов.

Те, с кем мы беседовали, рассказывали, что многие семьи лишились не только крова над головой, но и всего имущества. Католиков вынуждали перебираться в перенаселенные трущобные районы вроде Фоллс-роуд или, что даже еще хуже, селиться в полуразрушенных домах без электричества, водопровода и канализации.

Именно в таких условиях люди — мужчины, женщины, дети — пытаются как-то наладить жизнь, часто не имея ни денег, ни одежды, ни мебели, ни посуды, ни работы или хотя бы надежды на нее. На стене, разделяющей районы Фоллс и Баллимерфи, метровыми буквами выведен вопрос: «Есть ли жизнь до смерти?» Дальше на той же улице мы увидели полуразложившийся труп собаки, которую, как нам сказали, несколько дней назад застрелили солдаты. Эта надпись и эта собака как бы символизируют увиденную нами обстановку в Северной Ирландии.

Объединенные мирные комитеты, состоявшие из католиков и протестантов, почти всюду исчезали, а еще сохранявшиеся контакты быстро сходят на нет.

Запугивание и выселения

Помимо бесед с выселенными мы ознакомились с материалами, находящимися в распоряжении Центрального комитета по защите граждан и Ассоциации борьбы за подлинное правосудие. Всего мы изучили 150 случаев, причем в 142 случаях речь шла о супружеских парах, 127 из которых имели детей. В профессиональном отношении выселенные включали разнообразных представителей трудящейся части населения. Это были докеры, сборщики, складские сторожа, чернорабочие, пекари, шоферы грузовиков, моряки, машинисты, кочегары, пожарные, водители автобусов, мелкие чиновники, лавочники, клерки, официанты, бухгалтеры, продавцы, монтеры, почтальоны, штукатуры, носильщики, мясники и т. д. Почти все сообщали, что их запугивали шайки, вооруженные пистолетами или бомбами. Многие указывали, что обращались за помощью к армии и полиции, но те либо не принимали никаких мер, либо помогали запугивающим.

Приведем несколько выбранных наугад случаев запугивания и выселения.

Винсент Кэрли, пекарь. Жена и двое детей (трех и полутора лет).

С утра понедельника — угрожающие крики, ругань, обещания сжечь дом. Так без перерыва продолжалось до утра вторника. В ночь на вторник в дом были брошены две бензиновые бомбы, повредившие мебель. Обращался в полицию, в охране дома отказано.

Лайем Бернс, металлург. Жена и ребенок (трех лет).

Толпа из сорока человек подошла к дому, стучала в дверь, выкрикивала его фамилию, угрожая: «Сейчас мы тебя отсюда выкурим!» Семья спаслась через черный ход. Дом заняло протестантское семейство, вселенное туда ОВ (ольстерскими волонтерами). Обращался за помощью в местный полицейский участок, но помощи не получил. Ему было заявлено: «Мы ничего не желаем об этом знать» — и предложено «убраться вон» с добавлением непечатного ругательства.

Джозеф Томпсон, чернорабочий. Семья состоит из матери и трех мужчин (двадцати восьми лет, тридцати одного года и тридцати лет).

На улице собралась враждебно настроенная толпа. В соседний дом брошена бомба. Здание между ними уже сожжено раньше. Вынужден был уйти из своего дома, так как начался пожар, а кроме того, боялся толпы, которая осыпала семью угрозами. Мать, страдающую сердечным заболеванием, пришлось увезти в больницу для оказания первой помощи. В доме обгорел и грозит обрушиться потолок, окна разбиты, двери выломаны, стены повреждены. Электрическая проводка и газовое оборудование сорваны, водопровод испорчен.

Генри Беннет, рабочий. Жена и двое детей (трех и двух лет).

В дом явилось четверо мужчин, когда там были только жена и дети. Сказали ей, что бар «Примроуз» взорван и что они намерены застрелить ее мужа, а дом сжечь. Сорвали со стены газовый счетчик, разбили трубы, выломали половицы, ободрали электропроводку, вышибли двери и оконные рамы, сделав дом непригодным для проживания. Переехали в дом на Брайсон-стрит, но через шесть дней были вынуждены вместе с остальными жителями этой улицы искать приюта еще где-нибудь, так как им угрожали вооруженные банды, приехавшие на нескольких грузовиках.

Джордж Джилспай, механик. Трое детей (восьми, семи и пяти лет).

Еще накануне жаловался местной полиции на запугивание — ему в окна бросали бутылки. Предупрежденный соседями-католиками, уехал из дома, иначе не успел бы вывезти мебель. Кроме них его предупреждал и сосед-протестант, дружески к нему расположенный. По улице, когда люди покидали свои дома, бродило человек двести протестантов с палками и железными прутьями. Полиция была предупреждена. При ее появлении протестанты начали собираться на Марч-

стрит. Прибыли солдаты, ни во что не вмешивались, но дали католикам время (в обрез) собрать вещи. Это разъярило протестантов. Семья Джилспая еще выносила мебель, когда протестанты ворвались в дом и начали бить окна. Потом солдаты разгромили дом в поисках оружия.

Ночные аресты

Расследуя эту сторону деятельности армии, мы опросили ряд людей, которые были жертвами или свидетелями ночных налетов, устраиваемых армией.

Миссис К., находящаяся на четвертом месяце беременности, рассказала нам, как после полуночи ее разбудил звон бьющегося стекла. Когда солдаты ворвались в дом, она с мужем была наверху. Муж, что-то накинув на себя, взял на руки их десятимесячного ребенка. Солдаты поднялись по лестнице, крича во все горло: «Фении, сволочи!» — и вырвали ребенка из рук мужа, а когда она попыталась подойти к нему, ее вышвырнули за дверь так, что она упала на свою дочь девяти лет. Мужу велели идти с ними, а когда он попросил разрешения надеть ботинки, солдат грязно выругался и ударил его прикладом по голове так, что он упал с лестницы. Внизу его заставили пройти босыми ногами по битому стеклу. Какой-то солдат вбежал в кухню с руганью и принялся ломать кухонную мебель.

Ее мужа увезли, а затем ему и еще пятидесяти трем арестованным было предъявлено обвинение в устройстве уличных беспорядков. Позже дело против них было прекращено как необоснованное.

Миссис К. и ее маленький ребенок получили серьезные ушибы, и она должна была обратиться к врачу. От нервного потрясения ребенок покрылся сыпью и теперь при попытке спустить его на пол начинает кричать и плакать.

Миссис Гленалина Парк рассказала нам, что 11 августа солдаты в 4.30 утра появились на их улице, воя во всю глотку. Они входили в дома, били окна прикладами винтовок. В ее дверь какой-то солдат пустил резиновую пулю.

Тех, кого солдаты вытаскивали из домов, они заставляли ложиться ничком на землю, раздвинув ноги, и лежать так, пока их не увозили. Она же рассказала, что накануне солдаты разломали палисадник у дома напротив, а один из них плюнул на ее ребенка.

Мистер и миссис Р. также рассказали нам, что их разбудили в половине пятого утра. «Мы с мужем выглянули в окно,— сказала миссис Р.,— и увидели, что через забор из соседнего двора к нам прыгнул солдат. Он ударил прикладом по двери, сломал замок, вошел в дом и навел на нас винтовку — мы все спустились вниз (у Р. шестеро детей),— затем скомандовал: «Все мужчины и мальчики — на улицу!» Моего мужа вывели на улицу, заставили лечь ничком на землю. Так он пролежал полчаса, а потом его вместе с другими куда-то увезли. Я видела, как солдат избивал старика, который пытался надеть рубашку. Я открыла окно и крикнула солдату, чтобы он его не трогал. Тогда он подошел и разбил окно прикладом. А в дверь выстрелили резиновыми пулями и сломали решетку для вьющихся растений».

Мистер Р. сказал нам, что оставался под арестом примерно 31 час. В десять минут шестого солдат велел ему выйти из дома и перелезть через ограду, а когда он влез на перекладину, ударил его прикладом в спину. Затем ему было велено лечь на живот, раздвинуть ноги, а руки положить на шею, причем его предупредили, что его застрелят, если он пошевелится. С другими арестованными обходились точно так же. Некоторое время спустя их втолкнули в военный фургон. Их увезли на пустырь и передали в руки военной полиции, после чего начались настоящие пытки. Их непрерывно избивали дубинками, потом, не прекращая избиения, поставили у стены и сфотографировали. Затем их построили, приказав смотреть прямо перед собой. Тех, кто пробовал пошевельнуться, избивали дубинками. Затем их погнали к грузовику и приказали лечь ничком в кузове. Их увезли в Гердвудские казармы, где прогнали сквозь две шеренги солдат, бивших их дубинками и прикладами. На заднем дворе им было приказано встать у стены, подняв руки и расставив ноги, а солдаты и полицейские били их дубинками. Арестованных заставили петь «Королеву», а те, кто отказывался петь, подвергались новому избиению. Двое не знали слов, и их били по ногам. После этого их обыскали: военный полицейский у них за спиной называл вслух каждый предмет, извлекавшийся из их карманов. После обыска простоял лицом к стене почти восемнадцать часов, считая кирпичи. После этого его повели на допрос, который производили полицейские в штатском. Его спросили, состоит ли он в ИРА, а также знает ли он каких-нибудь членов ИРА или лиц, занимающихся подрывной деятельностью. Они сказали, что он облегчит свое положение, если сообщит им сведения о таких людях.

Около семи вечера его вызвали к армейскому офицеру и какому-то поли-

цейскому чину. Военный полицейский, вводя его к ним, заломил ему руку за спину. Офицер передал полицейскому сержанту какой-то лист, и мистера Р. вывели во двор и посадили в джип. Шофер-полицейский сказал ему, что полиция тут ни при чем,— виновата армия.

Дело против них было прекращено за отсутствием улик.

Насколько нам известно, так же кончились дела всех, кто был арестован одновременно с ним.

И мистера и миссис Р. очень тревожила огласка, которую получил его арест. Он сказал, что газеты указывали фамилии и его, и всех, кто был арестован вместе с ним, называли их «зачинщиками беспорядков», и теперь к ним относятся с подозрением. В результате один из них побоялся вернуться на работу. И мистер и миссис Р. считают, что жалоба властям не только не имеет смысла, но и может навлечь на них неприятности. Мистер Р., который во время второй мировой войны служил во флоте, сначала никак не мог поверить, что это — действительно английские войска. В самом начале отношение к солдатам было дружеским: хозяйки угощали их чаем, мужчины заводили разговоры с ними. Как-то мистер Р., болтая с солдатом, выяснил, что отец этого солдата служил на том же корабле, что и он.

В 1965 году мистер Р. перенес тяжелую операцию: у него была удалена часть желудка.

Далее мы приводим примеры показаний жителей Белфаста и его окрестностей, которые жаловались на поведение солдат во время ареста.

Джон Джозеф Кэрри, 44 года, банщик. Жена и семеро детей в возрасте от восьми до девятнадцати лет. (Из показаний его дочери Мэри.)

Примерно в половине пятого утра 9 августа пятеро солдат арестовали мистера Кэрри. На вопрос, зачем они пришли, солдаты ответили: «За Шоном Кэрри». Мистер Кэрри сказал, что он — Шон Кэрри, и они объявили, что его должны допросить в особом отделе. Он был полураздет, но ему не позволили одеться. На улице солдаты избили его. Никаких обвинений ему предъявлено не было. Когда миссис Кэрри спросила, надолго ли будет задержан ее муж, ей сказали, что она может считать себя счастливой, если вообще когда-нибудь снова увидит его. Полиция при аресте не присутствовала. Мистер Кэрри страдает нервным расстройством.

Александер Паттерсон, 30 лет, докер. Жена и шестеро детей в возрасте от двенадцати недель до девяти лет.

Миссис Паттерсон показала, что 9 августа к ним в дверь постучали. Ее муж сказал, что пришли солдаты. Они взломали дверь и вытащили ее мужа из дома.

Миссис Паттерсон лишилась средств к существованию (заработка мужа). О том, где он находится, ей удалось узнать только 13 августа. Ее восьмилетний ребенок тяжело болен.

Джозеф Хьюз, 45 лет. Отец десятерых детей в возрасте от трех до девятнадцати лет.

Девятого августа семьдесят первого года около четырех часов утра моя жена услышала крики и треск взламываемой двери. Возле дома было восемь солдат. Она разбудила меня, первая сбежала по лестнице, и ее ударили прикладом в живот. Мою дочь Джеральдину (шестнадцати лет) ударили по голове дубинкой. Офицер все время повторял: «Хью Джозеф Хьюз» (не мое имя).

Меня вытащили на улицу за волосы, били палками по голове и пинали ногами. Мне пришлось пробежать босиком четыреста ярдов до грузовика. Дети наверху кричали от страха. Жену, когда она начала протестовать, опять ударили прикладом. В грузовике мне велели лечь ничком в кузове. Там уже было много задержанных. Многие лежали друг на друге.

Грузовик еще долго разъезжал, собирая новых задержанных. Около семи утра нас привезли в Гердвудские казармы. Меня столкнули с грузовика на землю, отвели в помещение и начали допрашивать — фамилия, адрес, политические взгляды и прочее. Все утро солдаты били задержанных на глазах у полицейских.

Около полудня меня отвезли в тюрьму и поместили в камеру еще с двумя задержанными. Меня продержали там до позднего вечера следующего дня.

Не считая телесных повреждений, которые получил я сам (синяки и ушибы от избиения дубинками, повреждение желудка от удара прикладом в грузовике, пузыри и ссадины на ногах от принудительных упражнений на полосе препятствий, повреждение руки за то, что я отказался петь «Королеву», раны и ссадины на руках и ногах от пинков), все это тяжелейшим образом сказалось на моих детях. Мою жену и дочь Джеральдину били прикладами, и с тех пор их мучат кошмары.

Джордж Шеннон, 45 лет. сторож. Жена и двое детей. Лечится от язвы желудка. (Показания миссис Шеннон.)

Моего мужа арестовали в половине пятого утра в понедельник, девятого августа семьдесят первого года. В дверь постучали. Я спросила, кто там. Они ответили: «Армия». Я открыла дверь. Они сказали, что им нужен Джордж Шен-

нон, а я спросила зачем. Офицер сказал: «Это я скажу ему самому» — и тут же крикнул: «Даю вам две минуты, чтобы одеться!» Я сказала: «Объясните мне, я ведь его жена», но тут спустился мой муж. Он был совсем одет. «Я арестую вас на основании закона об особом положении»,— сказал офицер. Я хотела выбежать на улицу, и тогда он сказал: «Если вы поднимете шум, кто-нибудь получит пулю». Я выбежала на улицу и стала бить в старое ведро. И тут вдруг я увидела, что Томаса и Шона Мейджиллов ведут мимо на веревке, а руки у них связаны за спиной. Они были без пиджаков. Я начала кричать: «Отпустите их, они ничего плохого не делали, они ничего не делали». Солдаты обернулись и навели на меня свои винтовки. Я побежала по улице, крича: «Они арестовывают!» И тут словно ад с цепи сорвался. Люди высыпали на улицы и начали строить баррикады. Я позвонила в Спрингфилдский полицейский участок, но там мне ничего не сказали. Утром я позвонила в Крамлинскую тюрьму, и они дали мне телефон Каслриджских казарм. Сказали, что он может быть там. Я позвонила в Каслриджские казармы, и мне ответили, что он там. До меня дошли слухи, что моего мужа увезли в военный госпиталь, и я обратилась к советнику Непиру, а он позвонил начальнику Крамлинской тюрьмы и спросил, в госпитале ли мой муж. Начальник сказал, что нет, что он в Крамлинской тюрьме. Я поговорила с моей золовкой — ее мужа тоже увезли, и мы решили попробовать отнести им передачу. Она сказала: «Билли-то там — я разговаривала с миссис Кеннеди, тюремным инспектором, но твой Джорджи не там. Он в Мейдстоуне». Миссис Кеннеди дала нам телефон Мейдстоуна, но я была в таком состоянии, что туда позвонила моя золовка, и ей сказали, что его там нет. Мы еще раз позвонили миссис Кеннеди утром в пятницу часов в десять, и она сказала, что у нее списки заключенных в Крамлине и чтобы мы позвонили ей после обеда, но в списках его нет. Я позвонила миссис Кеннеди еще часов в двенадцать, и она сказала, что он тут. Я увиделась с ним семнадцатого августа. Я перепугалась, до того он исхудал. Он выглядел совсем стариком. Он рассказал, что его заставляли бегать по битому стеклу и таскали за руки и за ноги так долго, что «у него желудок совсем ничего не принимает». Он сказал, что молодых ребят пытали: прижигали сигаретами и еще по-всякому (при детях он об этом говорить не хотел). Все это произошло в Гердвуде, когда солдаты его туда привезли. Он сказал, что три дня им совсем не давали есть, а потом дали вот столько — тут он раздвинул большой и указательный пальцы. Его допрашивали в особом отделе. После допросов он три дня пролежал в госпитале, и там, стоило ему голову повернуть, как на него наставляли винтовку. Потом его снова отвезли в Гердвуд для новых допросов, а оттуда в Крамлинскую тюрьму.

Кристофер Макдоннел. (Показания Джервин Куигг, его невесты.)

Кристофер Макдоннел возвращался после исповеди в сопровождении своей невесты Джервин Куигг. На перекрестке они прошли мимо двух бронированных фургонов, стоявших перед светофором. Когда они перешли на другую сторону, то услышали позади себя шаги. Человек шесть солдат схватили Кристофера Макдоннела и швырнули его к стене. Они пинками заставили его расставить ноги, обыскали и затолкнули в фургон. Все это время Макдоннел спрашивал: «Что я сделал?» Но солдаты не отвечали. Его невеста спросила, куда его везут, но они отказались ответить. Какой-то солдат в другой машине сказал ей, что Кристофера увезут на Гастингс-стрит. Она обратилась в Комитет защиты граждан, оттуда позвонили на Гастингс-стрит, и им сказали, что мистер Макдоннел был только что освобожден, так как арестовали его по ошибке.

Задержанные

Мы ознакомились с материалами о людях, задержанных на основании закона об особом положении. Было взято выборочно 45 дел. Подавляющее большинство оказались католиками (сорок человек), четверо не указали своей религии, а один был протестантом, женатым на католичке. Возраст задержанных не выявил никакой закономерности и колебался от 16 до 64 лет.

Профессии были представлены крайне широко: кровельщик, учитель, истопник, штукатур, сельскохозяйственный рабочий, токарь по металлу, шофер грузовика, сварщик, клерк, студент, механик на пенсии, грузчик и др.

Из сообщений задержанных о том, как с ними обращались: девятнадцать жаловались на словесные оскорбления, пятнадцать — на то, что их «прогнали сквозь строй», трое — что их травили собаками, девятерым не давали спать, шестерых морили голодом. Двенадцать рассказывали, что их пытались подкупить, восьмерым грозили дальнейшими избиениями.

Задержанным выбривали головы, держали их голыми, прижигали сигаретами, надевали на голову мешок и оставляли так на несколько часов с веревкой на шее, прижимали дуло винтовки к голове, волокли по земле за волосы, заставляли бежать за фургоном босиком, привязывали к радиаторам грузовиков и избивали дубинками.

Обращение с арестованными

Джон Метир (задержан 22 августа 1971 года).

Меня зовут Джон Метир. Мне восемнадцать лет, я безработный мойщик окон. Примерно в четыре часа утра двадцать второго августа ко мне домой явились солдаты. Они постучали, и им открыл мой отец. Солдаты оттолкнули его и ворвались ко мне в спальню. Они были с винтовками и дубинками. Один из них сказал: «А ну вставай, ирландский выродок!» Я спросил зачем. Они сказали: «Ты поедешь с нами».

Они дали мне надеть ботинки и пиджак, вывели меня на улицу, заставили упереться руками в джип и раздвинули пинком ноги. Солдат начал меня обыскивать и ударил кулаком между ног. Я упал. Они приказали мне встать и лезть в фургон.

Мне было велено лечь в фургоне на спину. Меня отвезли в казармы на Гастингс-стрит. Там меня снова обыскали.

Мне велели сесть на землю не прислоняясь к стене, вытянуть ноги и скрестить руки. В такой позе я просидел минут пятнадцать. Потом мне велели встать и снова обыскали. Потом меня сфотографировали. Меня ударили в живот прикладом за то, что я стоял недостаточно прямо.

Потом они записали в книгу сведения о моей семье. Я около часа простоял в холле. Военные полицейские толкали меня и наступали мне на ноги. Потом они вывели меня наружу, подтолкнули к джипу и снова обыскали. При этом они меня щипали. Потом велели влезть в джип, сесть на ладони и поджать ноги. Меня увезли в Холивуд и опять обыскали.

Во время допроса меня били по животу палкой, таскали за волосы и швыряли спиной на пол. Допрашивали меня около часа, а потом отвели назад в большую комнату вместе с другими и снова приказали сидеть в той же позе, что и раньше. Встать мне не позволили.

Я начал задремывать, но военный полицейский ударил меня по затылку дубинкой.

Меня еще три раза водили на допрос. Один раз меня ударили по голове телефонной книгой и каждый раз уводили назад в большую комнату. Там меня неоднократно били и толкали полицейские. Потом мне сказали, что меня увезут в Крамлинскую тюрьму, увезли меня в Масгрейвский полицейский участок, и военный полицейский ударил меня ногой в живот. Они сказали, что вернутся за мной в ту же ночь.

Шон Драмм, 20 лет, рабочий (ученик). Сильно заикается.

Девятого августа семьдесят первого года примерно без четверти четыре утра солдаты парашютной части увели моего отца (пятидесяти лет) и меня из нашего дома. Мне позволили только надеть брюки и свитер поверх пижамы. В джипе нас отвезли ярдов на четыреста от дома, там с меня сняли ботинки, а руки связали за спиной. Меня посадили в грузовик вместе с семью другими, среди которых был мой отец, а также три солдата. Нас отвезли в Гердвудские казармы. Там мне развязали руки. Вместе со ста пятьюдесятью другими задержанными я около получаса сидел на полу в гимнастическом зале.

Потом меня и примерно семь восьмых всех прочих вывели наружу. Нас прогнали сквозь две шеренги военных полицейских. Меня били, пинали, сшибли на землю, топтали ногами, а потом втащили в холл. После этого болело все тело. Через час меня допросил человек из особого отдела. Он спрашивал про мою семью, состою ли я в тайных организациях, бывал ли на митингах, а также про мои политические взгляды и про моего отца. Меня обещали сразу выпустить, если я дам сведения об отце. Мне сказали, что было бы лучше жениться мне и жить в Англии. Потом меня увели еще в один зал, примерно такой же величины, как первый, где было много народу. Я просидел там на полу до половины пятого вечера. Меня не трогали, но тех, кто засыпал, били.

Потом меня и еще двух человек увели во двор, засыпанный острыми камнями, битым стеклом, мусором и сучьями. Заставили пробежать через него в Крамлинскую тюрьму и били палками у одного и другого его конца. В тюрьме меня посадили в камеру, где было еще двое, и дали тюремный обед. Вернули ботинки. Потом еще два раза допрашивали. Если я отвечал не сразу, следователи из особого отдела били меня кулаками по голове.

Десятого августа примерно в половине двенадцатого ночи меня и еще двадцать человек вышвырнули из тюрьмы. Городской транспорт не работал, а на улицах стреляли. Я спал в подъезде напротив тюрьмы до пяти часов утра еще с одним человеком. Его фамилию я забыл. Домой я шел очень медленно, потому что болело все тело, и добрался туда в половине девятого.

Все это очень меня напугало, я боюсь выходить на улицу, если можно ожидать беспорядков. У меня такое ощущение, что я в тюрьме. Я с двумя сестрами живу у родственников, потому что мы боимся, что солдаты снова придут к нам в дом. Мои сестры боялись оставаться дома, пока нас с отцом не было.

Патрик Шиверс; 40 лет, штукатур. Жена и пятеро детей в возрасте от десяти недель до восьми лет. (Из показаний жены.)

Девятого августа в четыре часа пятьдесят пять минут утра к нам в дверь постучали. Мы с мужем спустились вниз. Нам крикнули, чтобы мы открыли дверь, мы поняли, что это солдаты. Они арестовали Патрика на основании закона об особом положении. Мужу дали пять минут, чтобы одеться, а потом его увели. Восемнадцатого я получила разрешение на свидание с ним. Я виделась с Патриком в Крамлинской тюрьме сегодня, девятнадцатого августа, с четверти третьего до половины третьего.

Он сам рассказал мне, что произошло: десятого августа его увезли из Магиллигенского лагеря, в котором он сперва находился. Ему на голову надели мешок и отправили на вертолете — он не знает куда. Целую неделю не давали еды, не позволяли спать и непрерывно допрашивали. Его часами заставляли стоять, расставив ноги и вытянув руки вперед, и он несколько раз падал в обморок. Его пинали ногами и толкали, а когда он терял сознание, его приводили в себя и все начиналось сначала. Время от времени его осматривал доктор и измерял кровяное давление. Он много раз терял сознание и не сомневался, что умирает. Его многократно фотографировали без одежды в разных позах. Допрос продолжался непрерывно. Восемнадцатого августа его доставили в Крамлинскую тюрьму. За эту неделю он потерял в весе семь килограммов.

Мой муж подчеркивает, что он не имеет ни малейшего представления, кто его допрашивал, потому что мешка с его головы не снимали. Единственная организация, с которой муж был связан, это Ассоциация борьбы за гражданские права, и в нашем районе все знают, что он — принципиальный противник всякого насилия.

Макклин, известный деятель Ассоциации борьбы за гражданские права в Северной Ирландии.

Мистер Макклин был арестован в половине пятого утра у себя дома. Сначала его увезли в Магиллигенский лагерь, где вместе с другими заключенными продержали полдня в запертом фургоне. 11 августа его и других заключенных разбудили в 4 часа утра. Им дали завтрак, а затем надели наручники, а на голову — мешки. Их отвели к вертолету. Полет продолжался около часа. После приземления их отвели, как выразился мистер Макклин, в камеру пыток.

У него забрали всю одежду и выдали взамен армейский комбинезон. Его поставили у стены и приказали раздвинуть ноги и раскинуть руки. Он стоял так, пока не упал. После этого он отказался снова встать так, тогда его схватили за руки и за ноги и начали раскачивать вверх и вниз и бить спиной об пол.

Его били по животу, заламывали руки, оттягивали руки назад под прямым углом и били ногой в спину, раздвигали ноги и били между ног. Засовывали руки за трубы, и была сделана попытка втиснуть за трубы его самого. Его били затылком об пол, пока он не впал в полуобморочное состояние. Били кулаком за ушами, выщипывали волосы на груди, зажимали нос и рот и сдавливали горло, пока он не начал задыхаться. Его перегибали через стол. Наступали каблуками на пальцы. Положили на пол, пригнули ноги к лицу, и на них сел какой-то человек. Подвесили на наручниках так, что ноги только чуть касались пола. Сколько он провисел в таком положении, он не знает. Мистер Макклин считает, что всем этим пыткам его подвергали с целью заставить дать сведения об Ассоциации борьбы за гражданские права.

Его допрашивали около восьми раз и заявляли ему, что он не говорит ни слова правды. На голове его все время был надет мешок. Он слышал свист сжатого воздуха, вырывающегося наружу, стоны других заключенных и выстрелы. Время от времени ему давали выпить глоток воды и насильно засовывали в рот черствый хлеб.

Мистер Макклин не имеет ни малейшего представления, где он все это время находился. 17 августа мистер Макклин был отправлен в Крамлинскую тюрьму, где он несколько дней пролежал в лазарете.

Жалобы на армию

В сто тридцать одной жалобе на действия армии, с которыми мы ознакомились (помимо рассказов арестованных и пострадавших во время выселения), речь идет о самых разнообразных неправомочных действиях -- от хулиганского битья стекол, грязной ругани и противозаконного применения газа «си-эс» до стрельбы и нанесения ран. Сюда относятся «разнузданное поведение» в домах, убийство собак, избиения, кражи, стрельба резиновыми пулями.

Ниже приводим несколько примеров этих жалоб.

Маргарет Барр, домохозяйка.

Миссис Барр в своей жалобе указывает, что 11 августа 1971 года в начале второго человек пятнадцать солдат подъехали к ее дому и начали бросать газовые гранаты, а также стрелять из винтовок без видимого повода. Солдаты начали швырять в дом бутылками и сильно повредили входную дверь,

окна. Пятеро детей в возрасте от 4 месяцев до 13 лет подверглись воздействию газа и были напуганы бутылками. Входная дверь, кроме того, была повреждена прикладами, был разбит телевизор, а внутренняя дверь была пробита насквозь ударом приклада.

Дж. Гленнон, пенсионер.

Я шел по улице и увидел войска и грузовики. Солдаты схватили молодых людей, которые шли впереди меня. Они били их головой об стену. Потом били их по спине, и один потерял сознание. Кто-то из солдат сказал: «Что от него толку»,— и они швырнули его на колючую проволоку. Юношу увезли в больницу «Мейтер».

У него на голове была глубокая рана, которую пришлось зашивать. Кроме того, он жаловался на боли в спине.

Патрик Маккаллем, безработный.

Солдаты помешали мистеру Маккаллему и его шурину войти в дом, в котором уже начинался пожар. Майор Рейкет заломил левую руку мистера Маккаллема за спину, и какой-то лоялист ударил его кирпичом по лицу. Лоялиста никто не остановил. Толпа лоялистов преследовала мистера Маккаллема и его шурина, так что они вынуждены были покинуть улицу. Перед тем как лоялисты подожгли дома, они сделали пять выстрелов. Рот мистера Маккаллема был разбит, а глаз заплыл. Его дом и все имущество погибли в огне на глазах у солдат, которые смотрели на это с полным равнодушием.

Диклен Шерри, инженер, постоянное место жительства — Лондон.

11 августа 1971 года Шерри в половине одиннадцатого вечера вышел из бара и свернул в боковую улицу, так как на Нью-Лодж-роуд в это время происходили беспорядки. Солдаты арестовали Диклена на Эрл-стрит. Его ударили по ногам дубинкой и повалили на землю. Солдаты забрали у него часы, топтали его, пинали, били каблуками, а потом поставили к стене, молотя дубинками по ребрам. Диклен потерял сознание.

Показання Патрика Т. о ранении Эдварда Б.

Я находился в доме мистера и миссис М. Снаружи по зданию дома велась интенсивная стрельба. Около девяти часов я услышал отчаянный крик ребенка. Я и дочь мистера М. вышли посмотреть, откуда доносятся крики. Нам показалось, что они слышны с соседнего пустыря, отделенного от дома проволочной изгородью. Мы подошли к изгороди, и я крикнул: «Тут кто-нибудь есть? Вы ранены?» Мне ответил какой-то голос: «Мистер, в меня попала пуля». Я не мог перебраться через изгородь и велел ему ползти вдоль нее. Он сказал, что не может пошевельнуться, но я его уговорил, и он пополз туда, где я стоял. Я протащил его под проволокой и отнес в дом. Я посадил его на диван, разул и раздел. Он, казалось, потерял много крови. Губа у него была разорвана пулей. Я спросил его, может ли он пошевелить ногой. Он ответил, что нет. Я поднял его ногу и увидел сквозную рану на внутренней стороне бедра. Я, как сумел, перебинтовал ему рану. Мальчик плакал, звал мать и говорил, что умрет. Потом он сказал мне, что боится за своего брата. Я спросил его, где этот брат, и он ответил, что на пустыре, еще с одним мальчиком. Я попытался выйти через заднюю дверь, но по дому опять начали стрелять, пуля разбила кухонное окно, пробила шкаф и засела в стене.

Я вернулся в дом и сказал раненому мальчику (Эдварду Б.), что его брат скоро придет. Мы открыли парадную дверь и начали кричать, что ранен мальчик и нужно прислать машину «скорой помощи». Потом прошли к задней двери и крикнули солдатам: «Перестаньте стрелять, ранен ребенок!» Но стрельба по дому не прекратилась. Мы вернулись в дом, и тут пришли санитары. Они сделали носилки, а мы сказали им, что на пустыре еще двое ребят, и они прошли к задней двери. Тут все начали кричать на солдат. Они ответили в рупор, что дают нам две минуты, чтобы очистить пустырь. Мы побежали к изгороди, позвали ребят, перетащили их через изгородь и взяли в дом мистера М.

Ранение миссис К.

Миссис К. услышала шум перед дверью. Она уже легла спать, но теперь спустилась вниз, набросила пальто и приоткрыла дверь. Она не простояла у двери и двух минут, как была ранена. Пуля оторвала средний палец, фалангу указательного пальца и перебила мизинец и безымянный. Кроме того, пуля разорвала кожу от запястья до локтя. Мистер К. вызвал машину «скорой помощи», а когда она прибыла, в дом вошли трое солдат и оставались там, пока миссис К. увозили в больницу. Один из санитаров пожаловался, что его ударили винтовкой. Он был очень бледен. В двери дома мистера К. засела пуля.

Мистер Джозеф Г. показал, что он видел, как была ранена миссис К. после того, как солдаты прорвались через баррикаду. Он увидел, как солдат, опустившись на колено, прицелился. Раздалась команда: «Давай!» — и солдаты дали залп, а потом побежали через улицы. Он услышал, как какой-то солдат крикнул: «Уходи в дом, уходи в дом, эй, ты!» Потом он сказал: «Входи, последний раз тебе говорю» — и трижды выстрелил. После этого я услышал, как миссис К. закричала — два раза.

Наша точка зрения на роль армии

Роль армии в том, что происходит в Северной Ирландии с 1969 года, была решающей.

Когда армия была направлена в Северную Ирландию в августе 1969 года, католическое население Дерри и Белфаста, несомненно, было радо ее появлению, так как видело в солдатах своих защитников.

Следует сказать, что вначале армия действовала более или менее в соответствии с той миротворческой ролью, какую она, казалось, должна была играть,— использование силы было минимальным и направлено на поддержание закона и порядка, причем с полной беспристрастностью. Изменение этой роли можно обнаружить в обысках, уличных волнениях и введении затем комендантского часа в районе Фоллса 3, 4 и 5 июля 1970 года. Во время этой операции было убито по меньшей мере четыре гражданских лица и многие ранены.

Если внимательно рассмотреть эту изменившуюся стратегию армии, можно обнаружить ряд новых факторов. Например, превращение ее сдерживающей функции в «тотальную» — то есть в районах, где она действует, армия, вместо того чтобы ограничиваться борьбой с зачинщиками уличных беспорядков, пытается подчинить своей власти все остальное население — стариков и молодых, мужчин и женщин,— используя для этого комендантский час, запугивание, террор и беспричинные, ничем не прикрытые издевательства.

Теперь при взгляде на прошлое становится ясно, что обыски для обнаружения спрятанного оружия, интенсивное патрулирование и другие действия армии затрагивали католическую часть населения гораздо больше, чем протестантскую. Эта тактика, по-видимому, не принесла богатых плодов в том, что касалось обнаружения тайных складов оружия и взрывчатых веществ, но зато сопряженный с нею материальный ущерб и обращение с подозреваемыми и их семьями возмутили и озлобили католиков. Все это, без сомнения, непосредственно способствовало усилению напряжения, и без того существовавшего между католиками и протестантами.

Нарастанию конфликта с армией, несомненно, содействовали заявления некоторых политических деятелей, которые называли нынешнее положение попросту войной с ИРА и намекали на возможность создания «третьей силы».

Кульминация наступила 9 августа, когда начались массовые превентивные аресты. Как выразился один журналист, весь католический рабочий класс вышел на улицы.

Пока мы готовили этот доклад, нынешняя волна беспорядков приводила ко все большему числу смертных случаев, ущерб, наносимый имуществу населения, достигает миллионов фунтов, тысячи людей остались без крова, и дружный отклик на кампанию гражданского неповиновения и отказа платить налоги и вносить квартирную плату ясно демонстрирует, насколько режим Стормонта стал неприемлемым для католического населения.

Мы лично убеждены, что лондонское правительство допустило, чтобы его, как и армию, использовали в попытке восстановить господство юнионистов над католическим меньшинством. Ведь когда армия осуществляет закон об особом положении, она действует от имени министра внутренних дел Северной Ирландии Брайана Фолкнера.

Члены лондонского правительства и правительства Стормонта — Фолкнер, Тейлор, Хит и Модлинг — могут сколько угодно говорить о злодеях из ИРА, о «лишенных человеческого облика дикарях» и так далее, однако надеемся, мы доказали, что их руки тоже обагрены кровью. Вина и ответственность за нынешнее положение в Ольстере лежит и на них, так как оно могло сложиться только благодаря их действиям и бездействию.

ДЕТИ ОЛЬСТЕРА — свидетельства без цензуры

(Репортаж из Лондондерри корреспондента «Обсервер» Джона Хейлперна)

Класс шел на площадку для игр мимо баррикад, и школьники изображали бойцов ИРА, готовых вступить в бой с регулярными войсками. Один из них объявил:

— Мы хотим, чтобы армия убралась вон. Мы будем гнать их камнями, жечь их, убивать, мазать дегтем и вываливать в перьях. Они гестаповцы. Они свиньи. В Англии не найти копченой свинины, потому что все их свиньи здесь. Мы устроим этим сволочам дешевую стрижку. Мы перетопим их на резиновые пули. Мы взорвем их. Вы что, не слышите? Мы взорвем сволочных англичашек.

Кем он хочет стать, когда вырастет?

— Бойцом ИРА.

Сейчас ему восемь лет.

Учитель, сопровождавший класс, сказал:

— Армия может арестовать всех, кто стреляет в Ольстере и устраивает беспорядки, но их все равно не станет меньше, потому что часть из них — здесь,— и он указал на своих учеников, которые гоняли по площадке футбольный мяч.

■

В Дерри почти каждый вечер происходят беспорядки на Уильям-стрит, которую местные жители предпочитают называть «Аггро-стрит». Эта разбомбленная улица ведет прямо от торгового центра города в католическое гетто Богсайд. Когда армейские части пытаются разгонять юных бунтарей, немедленно собирается толпа и раздаются крики: «Гестаповцы!» или «Вот явилась папочкина армия!» И в этой толпе всегда много школьников.

Шестилетний малыш, вцепившись в руку матери, смотрит, как рвутся бомбы, начиненные гвоздями. Его мнение:

— Как по-моему? По-моему, это здорово!

Пятнадцатилетняя школьница вместе с подругами следит за уличной схваткой:

— Они обозвали меня ирландской шлюхой. Мне влепили в голову резиновую пулю. А ведь я ничего не делала. Я просто шла по улице, когда это началось. Считается, что они стреляют по ногам. А они устраивают вон какие штуки и еще называют нас шлюхами. Вы спрашиваете, какой смысл бросать камни в солдат? А так мы им показываем, что ненавидим их и все, что они делают. Так мы показываем, что мы существуем и что у нас есть права. Так мы мстим за наших мертвых.

■

Тринадцатилетняя протестантская школьница:

— Я больше не могу выносить весь этот кошмар. Мне просто плохо становится — ни о чем другом не слышишь, ни о чем другом не говорят. Когда я увидела фотографию девушки, которую вымазали дегтем и вываляли в перьях, меня стошнило. Я просто больше не могу. Я ненавижу все это. Я ненавижу, когда людей называют протестантами и католиками. Всех создал бог. И только бог может положить конец всему этому. И я молюсь, чтобы он это сделал.

Четырнадцатилетний школьник, католик:

— Не знаю, что делать, кому верить, да и вообще, что происходит.

Семнадцатилетний школьник, сын сварщика:

— В полночь мать увидела, что идут солдаты. Она выбежала в сад, чтобы поднять тревогу. У забора стоит старый мотоцикл, она влезла на него, чтобы взглянуть через забор. Поднялась тревога. Они пустили в ход газ и два раза выстрелили.

Я был на улице. Я не знал, что моя мать убита. Я гонялся за солдатами и примерно через час пошел домой. Внутри собралось много народу. Кто-то сказал, что в мою мать стреляли. Я бросился к двери. Я не понял — я думал, что она осталась жива. Я хотел погнаться за солдатами, но меня втащили назад в дом. Отец плакал. Он стоял на коленях, молился и плакал. Когда он увидел меня, он притянул меня к себе и обнял. Кто-то увел меня в другую комнату и сказал, что мама умерла.

Всю ночь отец то и дело повторял: «Она умерла. Они ее застрелили. Что нам теперь делать?» Больше он ничего не говорил. Часов в семь утра я заснул. Когда я проснулся, отец все еще сидел рядом и все еще плакал. Мои братья только потому не вступили в ИРА, что отец не вынесет, если с ними что-нибудь случится. Я хотел бы уйти из дома и драться, но я не могу. Я не думаю, что жизнь моей матери была прожита напрасно. Я верю, что ее смысл еще станет ясным.

Представители армии заявили, что мать этого мальчика погибла в перестрелке.

■

Шестьдесят пять процентов детей школьного возраста в Лондондерри посещают школы, находящиеся либо в самом центре района беспорядков, либо на его периферии. Сорокалетний учитель начальной школы в самом сердце Богсайда считает, что в мироощущении его учеников с момента начала беспорядков произошли две коренные перемены. Их возраст колеблется от семи до одиннадцати лет. Учитель, как и почти все, просил, чтобы его имя не было названо.

— Во-первых, даже у семилетних появился внутренний протест против любых действий вышестоящих, которого прежде не было. Хотя он еще не возобладал над всем, но когда их наказываешь, у них такие глаза, словно они готовы плюнуть тебе в лицо. Однако куда более важно, что насилие становится основой их игр. Теперь все их игры строятся на насилии. Если мы не будем их контролировать, они бросят футбол и начнут играть в войну между двумя гангстерскими шайками. Это может перейти в мини-бунт в буквальном смысле слова. Если насилие пре-

кратится, по моему мнению, необратимого воздействия оно на них не окажет. Но что касается тех, кто старше, кому уже больше пятнадцати, боюсь, это будет слишком поздно. А если насилие не прекратится? Тогда будет поздно и для моих ребятишек.

Один из его мальчиков. Ему десять лет. Бросал ли он бензиновые бомбы?

— Я бросил штуки две, а сделал — десять.

Как он их изготовляет?

— Есть два способа — с мукой или с сахаром.

А что, если бы они кого-нибудь убили?

— Не было бы армии, не было бы и мишеней.

В него когда-нибудь попадали резиновые пули?

— Да. Три раза.

И что он чувствовал при этом?

— Очень больно.

■

Джон Молтсед, директор школы св. Иосифа (где сейчас прогуливают занятия двадцать процентов учеников), бывший председатель Ассоциации школьных директоров Северной Ирландии:

— Больше всего меня тревожит то, что с тех пор, как два года назад начались беспорядки, мальчики, которые приходят к нам из начальной школы, словно никогда не были детьми. Прежде, когда была нормальная жизнь, они стеснялись, робели, приходя в новую школу. А теперь они держатся с уверенностью выпускников. Они не стали более развитыми, но они стали старше. Пять лет назад я считал, что моя обязанность как директора — исподволь вводить их в школьную жизнь. Теперь мне уже не нужно этого делать. У них отнято детство.

Один из его учеников, пятнадцати лет:

— По ночам в нашем районе фонари не горят. И в любой момент ты можешь получить пулю во время перестрелки. По дороге домой мне приходится идти мимо армейского поста. Я много раз кидался на землю. Я очень боюсь. Я не могу спать. От звуков стрельбы и бомб. По вечерам я не выхожу из дома. Я слишком напуган всеми этими беспорядками.

Что он намеревается делать на рождество?

— Непохоже, чтобы оно когда-нибудь настало.

■

Четырнадцатилетний мальчик:

— После взрыва меня минут двадцать трясет. Я никак не могу унять эту дрожь. А отец с матерью говорят только, что если это не рядом с тобой, то бояться нечего.

Пятнадцатилетняя девочка:

— Я видела пять уличных схваток. Я не то чтобы испугалась. Мне было стыдно.

Одиннадцатилетний мальчик, подумав несколько минут:

— Я просто голову теряю от ужаса.

■

Врач, имеющий около восьми тысяч пациентов, по большей части в районе Богсайда:

— У многих детей в возрасте от четырех до семи лет появились реакции тревоги, которых я никогда прежде не наблюдал. За последние шесть месяцев мне пришлось столкнуться с двадцатью пятью такими случаями. Маленькие дети, которые ни за что не подойдут к окну; при малейшем шуме они бегут к матерям, не спят или просыпаются с криком. И, вероятно, таких детей на самом деле гораздо больше. Но матери обычно сами пытаются помочь им. А большинство не видит в этом ничего ненормального. На самом же деле это результат непрерывного психического напряжения, длящегося неделями и месяцами. Я колебался, давать или не давать по вечерам маленькие дозы транквилизаторов даже четырехлетним и пятилетним детям, и в конце концов решил давать.

Кроме того, мне приходится видеть подростков в возрасте от одиннадцати до пятнадцати лет, которые до последнего времени были совершенно здоровы. Теперь они становятся агрессивными и все меньше поддаются контролю. И это — не обычное бунтарство переходного возраста. Они — «против них», и насколько я могу судить, это «против них» не включает родителей. Единственное, что я могу сделать,— побеседовать с таким ребенком, постараться, чтобы он откровенно высказал все, что его тревожит. И помните, тот факт, что родители обратились ко мне, означает, что эти дети — из спокойных семей, из семей, старающихся избегать неприятностей.

Самая большая категория и самая трудная — это юноши от пятнадцати до двадцати лет, полностью отвергающие всякий авторитет родителей. В этих случаях матери часто говорят: «Если я пробую образумить его, он отвечает, что я на сто-

роне англичан, и уходит из дома». Эти юноши не возвращаются домой до поздней ночи, не разговаривают со своими родителями и в конце концов заявляют, что хотят вступить в ИРА. Как правило, они отказываются со мной разговаривать. С их точки зрения, у них все нормально.

■

Четырнадцатилетний член отряда самообороны, охраняющего одну из улиц в Богсайде, возле костра с несколькими взрослыми:

— Я сижу здесь, чтобы подать сигнал тревоги, когда придут солдаты. Я дежурю каждую ночь примерно до двух часов. Солдаты — убийцы. Я счастлив, когда солдата убивают. Я буду бросать камни в этих сволочей, если они придут. Я радуюсь, когда в них стреляют,— так им и надо. Что они делают с нашими?

В половине четвертого утра воинское подразделение вошло в Богсайд, а мальчик все еще был на своем посту. По улицам разнеслись звуки горна. Когда он услышал их, он схватил крышку с мусорного бака и ударил ею об стену. Подав сигнал тревоги, он убежал, чтобы следить за солдатами издалека.

■

Четверо ребят, прогуливающих занятия, в возрасте от девяти до двенадцати лет:

— А мы не любим ходить в школу. Мы вместо этого солдат пугаем. Мы выставляем их дураками. Бах! Бах! Бах!

Раздался хлопок автомобильного глушителя, и ребятишки кинулись в укрытие.

■

Как-то утром в Богсайде двое мальчишек крикнули, чтобы мы остановились. Они стояли, сунув руки в карманы, точно держали там пистолеты наготове. Пришлось остановиться. Они обвинили нас в том, что мы полицейские шпионы. Мы предъявили удостоверения личности и другие документы, которые они тщательно проверили. Одному из ребят в этот день исполнилось пятнадцать лет, но он никак не отмечал этого события.

— Ладно, я вам посодействую. Скажу одно: не ходите по этой улице, не то останетесь без головы.

И мы не пошли по этой улице.

■

Шестнадцатилетняя девочка, сестра человека, интернированного в Лонг-Кеш:

— Я гостила у брата и его жены. Я спала в соседней комнате. Часа в четыре утра я услышала возле дома голоса. Говорили по-английски. Я сразу подумала, что это солдаты. И тут же услышала, как разбили стекло парадной двери. Они распахнули дверь моей комнаты и назвали имя моего брата. Я оцепенела от страха.

Тогда они вошли в соседнюю комнату, где спали брат и его жена. Она была беременна — на седьмом месяце, а они стояли над ними, держа дубинки у самых их глаз. Они спросили, тот ли мой брат человек, которого они ищут, и тут же стащили его с кровати, поволокли в прихожую — в одной пижаме, по осколкам стекла — и начали избивать. Его жена плакала и спрашивала, что случилось и куда они его тащат. А они отвечали только: «Прочтешь в газетах, детка».

Они затолкали его в «лендровер», колотя дубинками по голове и плечам, и больше я ничего не видела.

■

Отец Колтер, директор колледжа св. Колумба на окраине Богсайда:

— Меня страшно тревожит, что большинство наших мальчиков, судя по всему, впадает в отчаяние, хотя они гораздо оптимистичнее меня. Сопротивляемость у детей гораздо выше, чем у взрослых. Но я чувствую, что они теряют надежду. Будет ли этому конец?

Один из его учеников, шестнадцати лет:

— Мне предлагал пистолет один из ИРА. Я отказался, но с тех пор много раз об этом жалел. Может быть, я бы сам из него застрелился. Один мой дед был в ИРА, другой служил в английской армии. А я — результат.

■

Если не считать трех паник из-за бомб, лондондеррийская средняя школа для девочек, расположенная на окраине города, не сталкивалась с проблемами, характерными для школ в пределах Богсайда.

Семнадцатилетняя ученица:

— Я не хожу в город в школьной форме — лучше быть живой трусихой, чем мертвой героиней. Тем не менее я убеждена, что никто не придет к нам домой, чтобы застрелить нас. Мы ведь даже не члены ордена оранжистов. Мы нико-

му ничего плохого не сделали. Ресторан моей матери взорвали двумя бомбами. Она из-за этого не так уж убивается. Мы с этим смирились. Я с этим смирилась, мне кажется, потому, что знаю: в конце концов мы победим. То есть я имею в виду не протестантов, а просто всех людей, которые хотят мира.

Шестнадцатилетняя:

— Положение здесь — это клубок не шерсти, а колючей проволоки, потому что страдают все и никто не может выпутаться.

Как же распутать этот клубок?

— Нужно построить мост к единству.

А как построить такой мост?

Она сжала ладонями виски.

■

Детская песенка:

Жгите, жгите, жгите солдат,
Жгите, жгите солдат,
Жгите, жгите, жгите сволочей
Рано поутру.

■

Джон Хьюм, один из основателей движения за гражданские права в Северной Ирландии, бывший учитель, теперь — заместитель лидера социал-демократической лейбористской партии. Из окон его дома виден Богсайд. Пока он говорил, город сотрясли два взрыва.

— В Лондондерри один из каждых пяти жителей — безработный. А в районе Богсайда, примерно говоря,— один из трех. Это уже само по себе является важнейшим фактором в сложившейся ситуации: большинству молодых людей, принимающих участие в беспорядках, нечего терять. Они никогда ни на что не надеялись. Их семьи из поколения в поколение жили в нищете и отчаянии. И вот теперь мы живем в такой ситуации, когда взрывы бомб и насилие становятся частью повседневной жизни.

Большинство людей вне пределов Северной Ирландии считает, что прекращение насилия и беспорядков было бы решением проблемы. На самом же деле в этом случае мы просто вернемся к тому, с чего все началось. И я боюсь, что к прежним проблемам тогда добавится еще одна: традиция обращения к оружию.

Прежде такой традиции не существовало. И можно только удивляться, насколько спокойным был этот город до начала нынешних беспорядков. Несмотря на безработицу и социальные лишения, уровень преступности в Лондондерри был одним из самых низких в стране. В Богсайде и Креггане живет 30 000 человек, но во всем этом районе не было ни одного полицейского участка. Прежде там был один участок, но его закрыли. Городские власти не видели в нем необходимости, и патрулировался этот район не слишком серьезно, в этом никогда не было нужды. Потому что Дерри всегда был мирным городом, который оберегал покой своих граждан.

■

Десятилетний:

— Мне никогда не получить работы. Я католик.

Пятнадцатилетний:

— Я ненавижу солдат, но я их не виню.

Двенадцатилетний:

— Они застрелили моего друга. Они подонки.

Пятнадцатилетняя:

— Какие-то мужчины в городе обозвали меня протестантской сукой. Что я им сделала?

Одиннадцатилетний:

— Я хотел бы, чтобы люди были счастливы.

Пятилетний:

— Я хотел бы, чтобы это поскорее кончилось.

Ребенок двух с половиной лет сам себе:

— Не надо, чтоб солдаты меня застрелили, нет. Не надо, чтоб солдаты меня застрелили, нет.

Турист в Лондондерри:

— А где же уличные схватки?

Перевод с английского И. ГУРОВОЙ

В. ТУРЧИН

МАСТЕР НАТЮРМОРТА

Итальянский художник Джорджо Моранди

Каждый век выдвигает своих мастеров изображения мертвой натуры. XVII век прославился натюрмортами голландских художников, XVIII — произведениями Шардена, XIX — Сезанна. Безусловно, и нынешнее столетие воспитало своего певца вещей и цветов, который выразил новые отношения между человеком и его предметным окружением.

Итальянец Джорджо Моранди (1890—1964) посвятил свою жизнь натюрморту, такому, казалось, далекому от современных социальных и духовных потрясений жанру живописи, но воплотившему традиционные ценности бытия: поэтичность, внимание к вещам, связанным с деятельностью человека, теплоту жизни.

Моранди творил, сохраняя большую дистанцию, отделявшую его от всего внешнего, крикливого, лживого. Это спасло его искусство от влияния венского модерна, от манифестаций футуризма, от практики фашистского неоклассицизма. Его кумиры — Джотто и Пьеро делла Франческа. В годы футуристического призыва к уничтожению памятников прошлого Моранди едет изучать фрески кватроченто. Стремясь найти художников, близких ему по духу и в послевозрожденческое время, он присматривается к классическому искусству Франции. Моранди ценит живопись французского классицизма, колористов XVIII века, произведения Коро и Сезанна. Пожалуй, никто в пределах Италии не проникся в то время французской художественной культурой столь глубоко. Живя далеко от Парижа, никогда не покидая своей родины, Моранди неожиданно оказался близок к такому явлению в искусстве XX века, как «парижская школа» (Кислинг, Модильяни, Сутин).

Творчество Моранди мало изменялось, при этом «однообразность» его кажущаяся: в стиле его много скрытых поворотов, убыстрений и замедлений развития.

Моранди начал с переложения в черно-белые отношения опытов Сезанна. Эти уроки в дальнейшем пригодились: интерес к неярким краскам был ему органически присущ. Внимание к пластическим ценностям живописи, к классическому наследию, «духовности» вещей ненадолго привело Моранди к союзу с Карра и Де Кирико. Став членом группы «Валори пластичи», художник отдал известную дань страсти к интеллектуальной игре в геометрию, формулу, знак. В новой художественной системе он искал своего — постоянного и прочного. Его натюрморты, выдержанные в гамме черно-коричневых и бежевых тонов, чрезвычайно конструктивны и внутренне значительны. Гармония, а не мистика — направление его поиска в отличие от коллег из Феррары.

Творческая зрелость пришла к Моранди в 30-е годы, когда закончился «метафизический» эпизод его искусства. Порой в его натюрмортах появляется обостренное чувство дома и уюта, что сказывается в любовном отношении к простым вещам, привычным предметам хозяйства: керамическим сосудам, бутылкам, подсвечникам. Порой появляется акцент драматичности. Нервно вспыхивают красные, коричневые и синие краски. Предметы, словно боясь одиночества, стоят близко друг от друга, образуя единый объемный блок. Моранди виртуозно пользуется пространством, создавая сложные живописные структуры из предметов и интервалов между ними: поверхность холста, закрытая слоем краски, словно вибрирует, создавая эффект живописного разнообразия.

В середине 50-х годов начинается период синтеза предшествующих этапов развития,

главное, к чему стремится художник,— грация, изысканная красочность и поэтичность. Моранди нашел своеобразный компромисс между формой и цветом, между объемом и пятном. Тончайшие модуляции краски создают и пространственные ощущения. Серебристый тон освежает тонкие, почти хрупкие сочетания голубого, серого и розового. Основной мотив — цветы.

Среди множества натюрмортов вкраплены отдельные произведения других жанров, в частности, пейзаж, портрет. Моранди пишет виды Грицциаы, знакомые профили деревьев, тусклые пятна краски на фасадах домов. Он предлагает рассматривать дом за домом, чувство за чувством. В портрете художник стремится передать через пластику человеческого тела эмоциональное состояние изображенного.

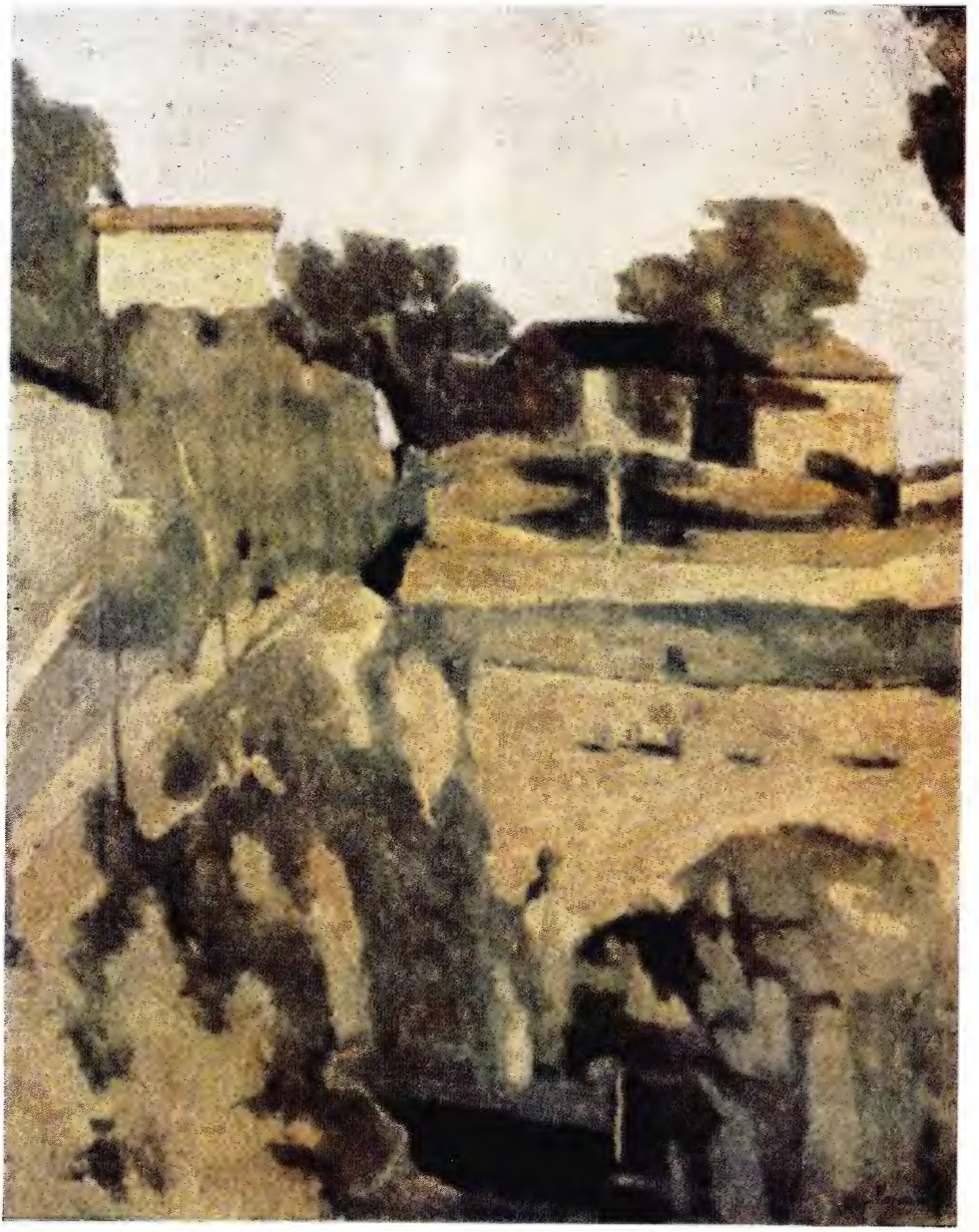
Моранди получил сперва известность как мастер офорта. Тонкая паутина штрихов рисует незатейливые узоры раковин, бутылок, цветов, далекие холмы и одинокие дома среди деревьев. Все тот же знакомый мир: предметы на кухонном столе, Апеннины, Болонья.

Моранди умер недавно. Тем, кто знал его, все еще кажется, что вот его сутулая фигура мелькнет среди тенистых портиков Болоньи. Но человек уходит из мира быстрее, чем художник. Мир Моранди остается с нами. Слава его искусства давно перешагнула границы Италии.

Изобразительное искусство за рубежом

Натюрморт. 1930 г.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ХУДОЖНИК ДЖОРДЖО МОРАНДИ



Пейзаж. 1940 г.

Натюрморт. 1943 г.

Цветы. 1950 г.

Заметки на полях

«НЕУЖЕЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПИСАТЬ О ЧЕМ-НИБУДЬ ДРУГОМ?»

С таким вопросом нередко обращаются к южноафриканским писателям вполне доброжелательные европейцы, которым кажется, что те просто «помешались на апартеиде». И еще: «Когда же, наконец, вы создадите Великий Африканский Роман?» Уже в самом покровительственном тоне этих вопросов легко угадываются и снисходительная ирония, и нежелание понять положение художника в Южной Африке, где расизм процветает в наиболее разнузданных формах, где проводится в жизнь пресловутая политика «раздельного развития рас». В литературных салонах Лондона, Иоганнесбурга, Парижа считают, что современные южноафриканские писатели слишком сузили круг своих интересов, лишив себя тем самым возможности создавать литературные шедевры общечеловеческой значимости. Поэтому они советуют африканцам переключиться на более «универсальные» темы.

Против подобных взглядов и советов решительно высказался недавно в своем выступлении на парижском симпозиуме о проблемах культуры ЮАР южноафриканский новеллист Артур Меймане. Он заявил, что тема расизма, расовой ненависти в такой же мере «универсальна», как тема любви. «Цветной барьер» и апартеид, утверждает Меймане, в той или иной форме существуют во всех частях света и воздействуют на психологию и поведение человека независимо от цвета его кожи. А в Южной Африке это стало органической частью общественной жизни.

«Чтобы правильно ответить на сложный вопрос о том, какие темы универсальны, а какие нет,— говорит А. Меймане,— надо помнить, что художник, родившийся и выросший в определенной среде, не может — или не хочет — писать ни о чем другом... Те, кто пробовал сменить тему своего творчества, как правило, терпели неудачу просто потому, что для работы над новой темой у них не было ни вдохновения, ни призвания. Как известно, любому писателю, чтобы сделать максимум того, на что он способен, необходимы сильные эмоциональные стимулы — будь то художественные, политические или сугубо финансовые. В Южной Африке, если вы черный, вами руководит лишь одно сильное чувство — чувство ненависти к апартеиду. И для этого, кстати, не нужно быть художником. Нужно просто сознавать, что́ делает данная система с вами как с личностью и что она делает с вашим народом. Поэтому главное, что каждый из нас, кто может писать — хочет писать, испытывает настоятельную необходимость писать о результатах воздействия расизма на нас и на самих расистов».

Разумеется, африканского художника должна интересовать судьба не только черного, но и белого человека в обществе, разделенном на «высших» и «низших»; и вот тут-то, считает Меймане, возникает первая трудность: как может африканец нарисовать правдивый образ белого, если его отношения с ним построены на принципе «слуга — господин»? У него нет никакого представления о простейших механизмах бытия белого человека, живущего в одном с ним городе. С той же грудностью сталкивается и белый

писатель, который, как и вообще все белые люди, не имеет понятия о жизни по ту сторону цветного барьера.

«Однако, как ни странно,— продолжает Меймане,— это обстоятельство создает больше проблем для африканских писателей, чем для белых: если африканец хочет, чтобы его рассказ, роман или пьеса увидели свет, он должен постоянно заботиться о том, чтобы они были понятны белому читателю и зрителю,— ведь хозяева издательств и театров — белые... Но при этом он не может, например, просто написать: «Джеймс сказал жене, что она ведет себя как Алиса в стране чудес» Если он хочет, чтобы его герои выглядели подлинными африканцами, он должен заменить образ Алисы равнозначным образом из какой-нибудь народной сказки. А как это сделать, не объясняя смысла данной сказки?

Объяснения... Вот основная проблема для африканского писателя».

Как бы автор ни старался быть лаконичным и ненавязчивым в своих объяснениях, рассказывает Меймане, приговор издателя скорее всего будет: «Не пойдет — слишком много дидактики». Роман, в общем-то, неплохой, скажет он, только слишком нравоучителен. А романы должны прежде всего развлекать: даже, может быть, информировать, но не поучать.

«Спорить с таким издателем бесполезно, и нет смысла напоминать ему, что все пьесы Бернарда Шоу тоже дидактичны, ибо на это он скажет: «Так ведь то — Шоу! Да и давно уж это было». И, конечно, все мы знаем немало африканских писателей, таких как Чинуа Ачебе, которые ухитряются все объяснить, не становясь при этом ни дидактичными, ни скучными».

Рассуждение Меймане о «дидактичности» драматургии Шоу и «недидактичности» романов Ачебе нуждается, пожалуй, в некотором уточнении. Если под термином «дидактика» понимать наличие у автора определенной идеи, которую он хочет внушить читателю, то дидактизм присущ и нигерийцу Ачебе. Еще Горький писал, что он не знает искусства, лишенного дидактики, и не считает, что дидактизм способен понижать силу воздействия искусства на воображение, на разум и на волю читателя. А то, что романы Ачебе не кажутся читателю «скучными», объясняется, очевидно, талантом писателя, исключительной откровенностью и искренностью в оценке исторического прошлого и настоящего своего народа: он открыто говорит то, что многие его коллеги прикрывали иносказаниями и легендами.

Однако упреки в дидактике, продолжает Меймане,— это еще сравнительно мелкие возражения со стороны издателей и критиков. Хуже бывает, когда от африканского писателя требуют так называемого «внутреннего огня», то есть, попросту говоря, «клубнички», которая якобы органически присуща африканскому искусству. Ну и, наконец, часто европейские издательства отвергают роман африканца, потому что членам редакционного совета кажется, будто автор слишком сгустил краски, описывая бедственное положение черных жителей Южной Африки. Эти редакторы не могут поверить, что апартеид и в самом деле такой, каким он изображен в романе, то есть они считают, что белые не могут быть такими ужасными, какими их представляют африканские писатели.

«Как видите, надеяться нам не на что,— с горечью констатирует Меймане.— Но тогда возникает вопрос: стоит ли стараться, стоит ли ставить себя в зависимость от белых издателей и даже белых читателей? Но дело-то все в том, что других издателей у нас нет. Мы в тупике...»

Положение южноафриканского писателя действительно сложное. С одной стороны, он не желает приспосабливаться ко вкусам европейской читающей публики, не хочет поддаваться диктату издательств; с другой стороны, он понимает, что вынужден нести свою рукопись людям, которые, хотя и исказят в какой-то мере авторский замысел, все же могут напечатать книгу, пусть по чисто коммерческим соображениям.

Расизм существует в Южной Африке более трех столетий, он глубоко проник в сознание всего народа, и не только черные, но и белые писатели связывают свое творчество с этой темой. Роль прогрессивных белых писателей в развитии южноафриканской литературы неоспорима, это подтверждают сами темнокожие африканцы. Первым литературным протестом против ограбления и унижения африканцев явилась вышедшая еще в XIX веке книга Оливии Шрайнер «История одной африканской фермы», которая имела такой же общественный резонанс, как «Хижина дяди Тома». С той поры немало белых писателей (Уильям Пломер, Ингрид Йонкер, Джек Коуп, Надин Гордимер, Алан Пейтон, Дорис Лессинг и многие другие) выступало в защиту человеческих прав негров и цветных, против политики апартеида.

Но, разумеется, признания черного жителя Африки всего лишь «человеческим существом» мало. Африканцы решительно отказываются от диалога хозяина и раба, даже от диалога хозяина и вольноотпущенника. Они не могут примириться с темными силами, противящимися национальному культурному возрождению народа.

Жозеф Ки-Зербо, известный ученый и общественный деятель из Верхней Вольты, в статье, озаглавленной «Состояние и перспективы новой африканской культуры» («Иностранная литература» № 10, 1970 г.), справедливо считает, что африканская куль-

тура не должна и не может отделять себя от культур неафриканских, принесших в Африку языки, технику, религию, одежду и т. п. Но она не должна и копировать их.

«Как ни полезно плавание в Универсальном,— предупреждает он,— надо быть осторожным, чтобы не утонуть в нем... Нам следует остерегаться определенного толкования Универсального, которое в устах некоторых неафриканцев является не чем иным, как маской гуманиста на лице конкистадора».

Конечно, среди идеологов буржуазной культуры и сейчас еще немало таких, которые хотели бы видеть искусство оторванным от действительности, от реальных общественных отношений,— однако весьма сомнительно, чтобы эти надежды были осуществлены в Южной Африке. Здесь искусство «вне политики» просто немыслимо. Об этом говорил, в частности, другой участник парижского симпозиума, известный прозаик и публицист Алекс Ла Гума.

«Концепция «искусства во имя самого искусства» не находит почвы в условиях расизма, насилия и жестокой эксплуатации, вошедших в повседневную жизнь южноафриканского народа. Считается, что в странах высокой технической, научной и индустриальной организации граждане пользуются большей свободой в области культуры. Но в Южной Африке дело обстоит иначе...

Расистская идеология... связана корнями с историей эксплуатации человека человеком, и то и другое существовало бок о бок на протяжении всей истории человечества. В разные времена в разных странах расизм прикрывался различными личинами, но какими бы ни были эти личины, общий знаменатель всегда был одним и тем же: признание существования высшей расы... Представители низшей расы лишь внешне напоминают людей, они годятся только для роли слуг, рабов, дровосеков и водоносов, и их предназначение — удовлетворять желания и требования господина».

Алекс Ла Гума убежден, что в нынешних условиях нельзя даже заложить основу большой литературы в Южной Африке, поскольку литература и искусство белого меньшинства продолжают развиваться в рамках его представлений об «исключительности» своего положения. Трайбализм, в котором обвиняют негритянскую литературу, характерен и для литературы белого меньшинства.

Порядки, установленные расистским режимом в Южной Африке, практически исключают существование свободной литературы. Девяносто процентов писателей, не родившихся белыми, либо покинули родину и живут в изгнании, либо находятся под домашним арестом, либо сидят в тюрьмах. Это же, по свидетельству Ла Гумы, относится и к прогрессивным белым писателям. Перед ними стоит суровый выбор: выступать против режима и никогда не видеть своих книг — или вообще молчать.

Сказанного выше, мы полагаем, достаточно, чтобы составить представление о препятствиях, стоящих на пути южноафриканской культуры. Однако Алекс Ла Гума далек от пессимизма.

«Сомневаться в том, что такое положение когда-нибудь все же кончится,— говорит он,— значит, сомневаться в неизбежности прогресса человечества и в том, что терпение африканского народа имеет свой предел. Дух демократизма, присущий всякой подлинной культуре, дает себя чувствовать и в нашей стране. В борьбе против гнета рождается демократическое движение, отзвуки которого мы слышим в песнях, стихах, в боевой литературе сопротивления... Африканская интеллигенция сумела преодолеть комплекс расовой и национальной ограниченности и эгоизм... Несмотря на огромные трудности, несмотря на давление, которое на нас оказывают, мы не страшимся будущего, мы уверены в том, что истинные идеалы человечества в конце концов восторжествуют».

Писатели, которые продолжают жить в Южной Африке и не хотят молчать, пытаются издавать свои произведения за границей. Их книги — обличение фашистского режима и свидетельство борьбы, которая ведется у них на родине во имя свободы и прогресса. Так что вопросы о том, скоро ли появится «Великий Африканский Роман» и может ли южноафриканский художник «писать о чем-нибудь другом», являются, в сущности, вопросами риторическими. Для настоящего художника не существует дилеммы «искусство или политика?» так же, как ее не существовало, скажем, для Брехта, когда он писал в годы фашизма: «Как я могу выключить из моего творчества то, что так сильно воздействует на мою жизнь? И также на мое творчество? Ведь я сижу здесь как изгнанник, у меня отняли прежде всего моих читателей и слушателей, на чьем языке я пишу, и это не только люди, которым я вручаю свои произведения, но люди, представляющие для меня глубочайший интерес... И теперь этих людей подвергают несказанным страданиям. Как я могу выключить это из моего творчества?»

Соединять красивые слова — это еще не искусство, говорит Брехт. Искусство должно волновать людей, но оно не будет их волновать, не откроет их сердца, если художник отвернется от людского горя и не укажет дорогу, выводящую из страданий.

И. ЧУГУНОВ

ПОЭЗИЯ И «МАССОВОСТЬ»

Среди коллизий, волнующих современный мир, есть одна, особенно болезненная для деятеля духовной культуры. Многие делают вид, что ее нет, смеются над нею или прямо отрицают ее; но она есть, и внутренне все это знают.

Эта коллизия — соотношение так называемой массовости и высокого духовного потенциала, культуры «массовой» и культуры высокой, глубокой.

Традиционная для буржуазного общества ситуация, когда гений, создавший шедевр, умирает или под забором, от голода, или на улице, побитый каменьями, а ловкие подражатели, эпигоны, духовные ростовщики растаскивают его наследие на клочки, на капли, пускают в промышленность, в производство, срывают аплодисменты, обретают лавры и капитал,— эта ситуация в середине XX века получает особый смысл, оборот, остроту. Сплошь и рядом ныне встает наивный вопрос, нужны ли вообще художественные и прочие духовные гении, вообще крупные таланты. Блок чуть не семьдесят лет назад предупреждал, что XX век погибнет на популяризациях, и вот мы сталкиваемся с проблематикой, которая все же и Блоку еще показалась бы просто смешной, шизофренически-дилетантской: нужна ли вообще высокая, глубокая новая культура, духовная культура, как таковая? К тому же, мол, человечество за свои туманные тысячелетия столько наработало по этой части, что только для того, чтоб как-то приобщить массы к уже достигнутому, потребуются новые тысячелетия... да и нужно ли, нужно ли приобщать?

Нужно ли приобщать, когда любое развлекательное телерево имеет успех, а серьезные книги не расходятся? Когда детектив-бестселлер непрерывно дает новые миллионные тиражи, а серьезный поэт валяется на прилавках количеством в три тысячи?

Что живо, то и право; а живы явно ревю и детектив; так долой «мертвое»?

Для России эти речи не новы; их слышали еще в десятые, двадцатые годы от футуристов, от лефов. Всем известно, что из этого вышло... Со своей стороны, тот же Блок с тревогой писал еще в 1909 году: «Кажется, никогда еще не приходилось писателям попадать в такое ложное положение, как теперь. Последнее и единственное оправдание для писателя — голос публики, неподкупное мнение читателя. Что бы ни говорила «литературная среда» и критика, как бы ни захваливала, как бы ни злобствовала,— всегда должна оставаться надежда, что в самый нужный момент раздастся голос читателя, ободряющий или осуждающий. Это даже не слово, даже не голос, а как бы легкое дуновение души народной, не отдельных душ, а именно — коллективной души. Без такой последней надежды едва ли можно даже слушать как следует голос критики: не все ли равно, что говорит обо мне такой-то, когда я не знаю и никогда не узнаю, что думают обо мне «все»? Если у нас и есть надежда услышать когда-нибудь это чудодейственное дуновение всеобщей души,— то это слабая, еле мерцающая надежда».

Во многих странах Запада «левые» интеллектуалы с торжеством неофитов сейчас возвещают об этой проблеме.

Долгие годы там шли толки о смерти романа; теперь, когда оказалось, что роман не только жив, но и набирает новые силы, участились разговоры о смерти поэзии, которая, конечно же, опять-таки выступает как символ искусства вообще, как олицетворение гибели и устарелости художественных ценностей. В качестве курьеза можно напомнить, что когда обсуждалась «смерть романа», Джон Апдайк в свое оправдание как романиста ссылался на поэзию: живет же, мол, поэзия, не пристают же к ней.

> «Озабочены мы будущим стихотворчества? — писал он в журнале «Букс энд букмен».— К удивлению, нет. А ведь стих, сравнительно с повествовательной прозой, должен бы казаться более хрупким механизмом, гораздо более уязвимым от крикливого соперничества телевидения, кино и грохота транспорта... На деле поэзия выжила».

Но теперь «дошло» и до поэзии.

Внутренняя психология этих разговоров предельно проста; она идет от некоего комплекса неполноценности, вообще присущего интеллигенту в классово-антагонистическом обществе.

Раз так, раз «массам не нужна» высокая, серьезная поэзия, значит, она и вообще не нужна; приобщимся к примитиву, нивелируем свои сложные, несчастные, эгоистические души — рассуждают одни.

Раз так, раз «массам не нужна» высокая, серьезная поэзия, значит, уйдем подальше от масс, запрем дверь и опустим шторы и погрузимся в тайны своей души — рассуждают другие...

Это одно и то же, только с разных концов.

Это сдача на милость проблемы, а не попытка решения.

Горько сказал об этом перед смертью греческий поэт Сеферис:

> «Быть поэтом вообще нелегко. Это искусство исчезает, так же как и искусство ремесленников» (ответ на вопрос газеты «Монд» «Легко ли быть греческим поэтом?»).

Есть и такие, кто, задумываясь о проблеме, мучаясь ею, пытается найти пути к позитивным решениям.

Вообще, в зависимости от социальных условий, «одни и те же» коллизии, связанные с приобщением искусства к массам и масс к искусству, выглядят по-разному; разные намечаются и выводы.

Для Запада, особенно для Европы, одной из типичных является, в последние годы, позиция Ганса Магнуса Энценсбергера. «Иностранная литература» уже писала о новых его суждениях по части искусства и общества (№ 10, 1971). Ныне интересно взглянуть на отношение Энценсбергера собственно к поэзии.

На вопрос журнала «Ваймарер байтреге» (ГДР), почему он, всеми признанный поэт, отказывается от поэтического творчества, уходит в иные сферы, Г. М. Энценсбергер дает ответы, в которых видно большое желание стать «массовым» деятелем, приобрести авторитет и влияние в широких кругах населения.

Понятен внутренний импульс художника: его недовольство элитарным своим положением, его, говоря «устарелым» языком, стремление преодолеть отрыв от народа, взять барьер, отгораживающий от живой народной души («не все ли равно, что говорит обо мне такой-то, когда я не знаю... что думают обо мне «все»?).

Но в этой ситуации Энценсбергер, как представляется, выбирает путь наименьшего сопротивления, и это-то вызывает особые раздумья.

> «Я вижу для поэзии только очень незначительные и очень ограниченные возможности. Я считаю, что нельзя переоценивать ее важность для политической работы... В лучшем случае стихи могут подготовить к настоящему восприятию текста... Поэтому я лично предпочел бы писать тексты для эстрадных джазов. Это может иметь политический эффект, воздействовать на широкую аудиторию, кое-что может запасть в память. К сожалению, в Германии нет таких традиций, как в Англии или в США. В наших условиях поэзия все еще остается искусством для избранных и носит характер монолога...»

На естественно возникший при этом вопрос, как он относится к практике Маяковского, который смело шел на сближение профессиональной поэзии с массами и с политикой и достиг на этом поприще явных успехов, Г. М. Энценсбергер дает не лишенный остроумия ответ; смысл его сводится к тому, что если бы Маяковский имел дело с телевидением, он не возился бы со всякими там стихами. Он выступал бы перед миллионами зрителей с текстами, действующими прямо и недвусмысленно. Ответ свидетельствует о том, что Г. М. Энценсбергер специально думал об этой проблеме, но все же такой ответ не может нас «успокоить». Не может ни по существу (слишком он внешний, этот ответ!), ни по следствиям. Ибо Г. М. Энценсбергер пользуется здесь предлогом, чтобы совершенно решительно расправиться вообще с поэзией как «жанром»:

> «Я не могу понять, почему интеллигенты каждый раз морщат носы, когда речь заходит о «шоу», вместо того чтобы попытаться самим сделать что-нибудь в этом роде. Я, во всяком случае, хочу попытаться это сделать так, чтобы это было и политическим, и развлекательным зрелищем,— ведь одно другого не исключает. Я хотел бы сделать еще и фильм, и телевизионную оперу. У меня возникла однажды даже мысль сделать оперетту — это очень популярная и действенная форма».
>
> «...Я перестал читать. Литература никогда не была и, надеюсь, никогда не станет для меня самым главным в жизни».

Энценсбергер сознательно идет на то, что философы назвали бы взаимоподменой «слоев» жизни, пробрасыванием звеньев связи между различными пластами действительности, духовной деятельности. Известно, что жизнь являет собою некую целостность, но это не значит, что все «внутри» этой целостности монолитно, равномерно, равноправно — равнофункционально: есть разные уровни этой целостности, она тайно и явно динамична, диалектична. Да, серьезная поэзия — это такой «слой», такой уровень жизни, который не сразу и не прямо, а через многие «промежуточные» слои, уровни, пласты целостности действует на состояние общества, на политическую атмосферу. Непонимание этого приводит к отрицанию или самой поэзии, или участия поэта в социальной жизни, что одинаково плохо. Ибо жизнь «как целостность» в конечном итоге немыслима и без того, и без этого, как немыслим магнит без его полюсов, влияющих друг на друга. Сталкивание лбами того и этого чревато разрывом единого процесса, в последнем счете — поражением и в самой массовой работе, о которой заботится Энценсбергер. Желание любым способом, но как можно быстрее «овладеть массами», прорваться к широкой, большой аудитории так сильно у поэта, что он жертвует главным в себе — поэзией.

Не он первый, не он последний; но деятельность духовная имеет свои законы, и она связана с экономикой, социологией, с «массовым сознанием» прочно, только не лобовым способом. Стремления упростить эту проблему, взять ее одним ударом, обойти, а не решить ее — это то, что у нас еще сорок лет назад называли вульгарным социологизмом в гносеологии, а не диалектикой (а ведь Г. М. Энценсбергер говорит о

диалектике). Поэзия имеет свою специфику, «и ни в зуб ногой», как сказал Маяковский; она полезна и нужна, но полезность ее иного рода, чем та, о которой сейчас мечтает Г. М. Энценсбергер, уставший от интеллекта и поэтических успехов в узком кругу ценителей. Он не может не знать в душе, что, отрицая поэзию, он и не достигнет искомого внутреннего покоя, и массами не овладеет.

Есть иной взгляд на проблему.

Вот менее громкое, но тоже достаточно серьезное имя: ливанский поэт Адонис. Послушаем его.

> «...Сущность стихотворения — в его противоречивости, а не в гармонии. Она и в многообразии, которое охватывает мир и обогащает его... Культура сегодня не сводится к совокупности памятников и ценностей, установившихся критериев и осуществленных достижений. Она является процессом формирования, она заставляет творчество двигаться по направлению к будущему. Это — действенная культура, творящая и утверждающая человека, который, в свою очередь, творит и утверждает ее самое. Культура — это не то, что мы уже создали, но то, что мы созидаем... Стихотворение не является ответом, оно — вопрос в вопросе или один вопрос, переходящий в другой...»

Через все это выступление Адониса, опубликованное в журнале «Мавакыф», проходит то подспудная, то явная мысль об активности, о динамизме культуры, о диалектике (сказали бы мы) как способе мышления и художественного «действия» у поэта. В своих формулировках Адонис несколько абстрактен, он «не снисходит» до прямых социологических выкладок, соображений; но внутренний пафос его социологичен. Адонис считает, что истинная культура должна проявлять волю, отстаивать себя от вульгарных наскоков; при этом он несколько теряет чувство меры — проявляет тот самый комплекс, который является оборотной стороной энценсбергеровского. В его суждениях проскальзывает мысль, что культура, преследуя свои цели, вообще не должна обращать внимания на толпу. С этим последним тезисом, конечно, нельзя согласиться; однако же сам пафос активности культуры, активности поэзии любопытен.

В иной конкретной атмосфере и ракурсе прошла дискуссия о поэзии в Польше. Участников прежде всего волновали конструктивные вещи, связанные с молодой поэзией Польши, с ее общественным бытием, с ее внутренними задачами. Интересно посмотреть, как в этой ситуации ставился вопрос о массовости поэзии — а он ставился, и неоднократно, порой — во главу угла.

В этом плане более всего привлекает выступление критика С. Бальбуса:

> «Современная ситуация в общих чертах решительным образом отличается от прежних... царит огромный диапазон эстетических привычек, уровня знаний, интересов, степени участия в литературной традиции и т. д. Этих фактов не может не учитывать не только поэзия, но и вся литература... Из сказанного мною, казалось бы, следует, что я требую от поэзии, чтобы она стала массовым искусством, чтобы она приспосабливалась ко вкусам публики. Ничего подобного! Проблема значительно сложнее. Зарождается принципиально новая общественно-культурная ситуация. Происходят важные перемены, чреватые последствиями как для будущей духовной жизни общества, так и для будущей литературы».

Далее С. Бальбус говорит о необходимости эстетического воспитания масс, о том, что сама общественная активность искусства, без которой оно невозможно как искусство, в свою очередь, невозможна без духовного воспитания, совершенствования массового читателя: это — взаимообусловленные факторы.

Проблема, о которой идет речь,— сложная. В том или ином виде она стоит перед всеми деятелями культуры. И решают ее по-разному. Естественно, нам ближе конструктивный пафос в поисках решений. Важно только принять верную исходную позицию.

Думая обо всех этих вещах, так и хочется вдруг сказать громко:

— Духовная культура! Не сдавай позиций! Не сдавайся на милость «победителей» — вульгаризаторов, а им несть числа; умей расслышать за «воем» псевдоискусства, псевдопророков «легкое дуновение души народной...»

Вл. ГУСЕВ

Наши гости

ПО ДОЛГУ СОВЕСТИ

(Гость из Израиля — Рут Левин)

Рут Левин, писательница и журналистка, сотрудник еженедельника «Зу гадерех» — органа Коммунистической партии Израиля, выходящего в Тель-Авиве,— посетила редакцию «Иностранной литературы». Мы публикуем ответы писательницы на наши вопросы.

— Как называется ваша последняя книга и чему посвящена?

— «Его преследуют сквозняки». Я пыталась в ней рассказать о поколении, которое в 1949 году было полно иллюзий и веры в будущее. Но потом, в 50—60-е годы, почувствовало себя глубоко разочарованным и обманутым в своих надеждах.

Недавно я кончила работать над новой книгой. Называется она «Осень самоотчета». Это лирико-публицистическая книга о личных и общественных потрясениях, связанных с войной и оккупацией арабских земель.

— Когда эта книга выйдет в свет?

— О, на этот вопрос ответить очень трудно. Дело в том, что у нас все издательства, театры, кинопромышленность находятся в руках частных компаний и все они существуют по законам «свободного рынка», где «культурная» политика определяется коммерческим успехом. Зачастую авторам приходится издавать книги за свой счет. К тому же тиражи у нас очень низки.

— Вы можете привести какие-нибудь цифры?

— Вам, советским людям, эти цифры покажутся смехотворными. Для нас тысяча экземпляров — это уже большой тираж. Поэтические сборники выходят в количестве пятисот экземпляров. По сведениям, опубликованным недавно, продажа книг за один только год сократилась на 50 процентов.

— Чем вы это объясняете?

— Видите ли, до конца 50-х годов израильская литература и театр развивались по пути реалистического осмысления процессов, происходящих в израильском обществе в рамках молодого государства. Большое число писателей шло за рабочими партиями, у которых были свои издательства. Война 1956 года привела к сдвигу вправо, что затронуло и социал-демократические партии. Все активнее стали раздаваться голоса буржуазных критиков, которые вскоре объявили настоящую войну реализму. С Запада в Израиль стали проникать идеи авангардизма и литературы абсурда, все, что не соответствовало этим идеям, объявлялось натурализмом. В результате молодая, неокрепшая израильская литература впала в острый кризис. Издание книг на иврите резко сократилось, и это несмотря на то, что в 60-х годах у нас уже было два-три поколения, для которых иврит был родным языком.

Израильская драматургия — тоже еще очень молодая — не смогла конкурировать с пьесами Ионеско, Беккета, которые буквально заполонили израильские театры, а наряду с ними для коммерческого успеха начали ставиться пошлые, низкопробные комедии. И такие театры, как «Габима» и даже «Гакамери», очень популярные в прошлом благодаря своему репертуару, составлявшемуся из реалистических пьес израильских и иностранных авторов, стали терять своего основного зрителя.

Конечно, все это было результатом общей кризисной обстановки в стране. Нельзя также забывать, что массовый читатель у нас — как и вообще на Западе — потребляет главным образом развлекательную, детективную, шпионскую продукцию. Кроме того, кино и телевидение многим заме-

нили литературу и театр. Серьезная читательская аудитория — это в основном израильская интеллигенция и учащаяся молодежь, которые читают и на европейских языках.

— Отражается ли в литературе тема войны?

— Да, и очень широко. Книги о войне выпускаются в большом количестве. Они прославляют силу израильского оружия, израильскую экспансию. Издается множество красочных альбомов о Даяне. Однако было бы неверно говорить, что военная тематика является ведущей в израильской литературе. Военный психоз раздувается официальными кругами. В то же время в Израиле есть писатели, которые всеми силами стараются противостоять этому. Война, оккупация чужих земель и разрушительное влияние захватнической политики на души людей, и в первую очередь на души молодых, не могут не волновать всех честных, мыслящих людей. Растет движение протеста против продолжающейся оккупации и отказа от мирных предложений.

— Какие круги оно охватывает?

— Главным образом круги интеллигенции и часть молодежи. Политическое сознание рабочего класса развито еще очень слабо. Наряду с коммунистами и левыми группами весьма активно выступают профессора университетов, артисты, художники и, конечно, все прогрессивные писатели. Нередко эти выступления носят характер открытого протеста. Например, уже через неделю после окончания июньской войны, когда казалось, что только коммунисты понимают, каковы размеры ее несправедливости, подлости и несчастья, когда шовинисты всех мастей были пьяны от военных побед, из рук в руки стало передаваться открытое письмо писателя и журналиста Амоса Кинана. В нем рассказывалось о том, что писатель увидел и пережил в последние дни войны, как в районе Латрун израильские войска сровняли с землей несколько арабских деревень. Письмо, конечно, не было напечатано.

— Коль скоро выпускаются милитаристские книги, значит, есть писатели, поддерживающие официальную политику?

— Несомненно. Среди них можно назвать недавно умершего Н. Альтермана, а также М. Шамира, У. Ц. Гринберга, которые после войны присоединились к самым правым кругам, требующим аннексии всех захваченных территорий. Гринберг в своих стихах просто «захлебывается» от шовинизма. Моше Шамир, перейдя в правое крыло, ликвидировал себя как писатель, его популярность среди интеллигенции упала до нуля.

Именно против такого рода писателей была направлена статья «К поэтам аннексии», принадлежащая перу лучшего прозаика пятидесятых годов С. Изхара. В этой полной боли и разочарования статье отражается глубочайшее смятение писателя, который всю жизнь верил в «либеральный, гуманный сионизм». Особенно знаменитыми в свое время были рассказы С. Изхара «Хирбат Хиза» и «Пленный», написанные в защиту человеческих прав арабов, против расизма. Но сейчас С. Изхар ничего не публикует и вообще отошел от общественной жизни.

Надо сказать, что, когда все надежды на создание справедливого государства рухнули, многие писатели либерального толка замкнулись в себе, стали все чаще обращаться к герметической поэзии, к литературе абсурда. Один из ведущих поэтов И. Амихай углубился в символизм и только один раз, в 1968 году, в ответ на откровенно милитаристские стихи У. Ц. Гринберга опубликовал небольшое полемическое стихотворение, где есть, в частности, строки о том, что «человек не лошадь, а кровь человеческая не древние камни». Но те писатели, которым совесть не позволяет уйти от действительности, нашли новые формы выражения своих взглядов и новые синтетические жанры.

— Не можете ли вы остановиться на этом подробнее?

— В последние годы многие писатели поняли несколько очевидных истин: израильское правительство отвергает все мирные предложения и укрепляет свое господство на захваченных землях. Оккупация с каждым годом становится все более жестокой, война невероятно обогатила капиталистов и определенную категорию высших государственных чиновников, коррупция в их кругах стала чудовищной, а огромная масса трудящихся живет в ужасающей нищете; по официальным данным, 20 процентов населения, то есть 600 тысяч человек, пребывают за гранью нищеты, среди молодежи растет отчаяние, недоверие к правящим кругам, увлечение наркотиками. Можно ли сейчас замкнуться в высокомерном молчании или засесть за эпический роман? Конечно, нет. И многие писатели ищут способы выразить свое отношение к происходящему.

Так, писатель Э. Бен-Эзер опубликовал после войны роман «Содомские люди», который по всем признакам был написан еще до войны. Но в нем есть совершенно самостоятельная глава, где с беспощадной правдивостью анализируется процесс превращения обыкновенного израильского юноши в бездушного милитариста.

Другой писатель, И. Орпаз, написал, казалось бы, символическую, модернистскую повесть «Путешествие Даниэля». Но первые ее главы совершенно реалистические. Это полный горечи и отвращения рассказ о захвате чужого города Рамаллы во время июньской войны.

А. Б. Йехошуа, опубликовавший в 60-х годах два сборника сюрреалистических новелл, выступил в 1971 году с рассказом «Раннее лето 1971 года» о судьбе старого преподавателя Библии, который получает извещение о гибели единственного сына. Рассказ пронизан отчаянием и чувством протеста против того, что творится в Израиле.

Многие писатели занимаются сейчас журналистикой: газета дает возможность выступать со статьями, очерками, фельетонами,

в которых писатель может время от времени высказывать свое отношение к происходящему. Поэтому публицистика стала у нас одним из ведущих жанров. Владельцы газет предоставляют место таким материалам, так как знают, что по пятницам многие покупают их газеты только потому, что надеются прочесть в них стихи, рассказы, очерки писателей протеста. Вы можете спросить, почему их разрешают печатать. Дело в том, что наши правящие круги проводят в этом смысле явную демагогическую политику, они хотят, чтобы перед всем миром государство Израиль выглядело демократическим.

Гражданская поэзия, поднимающая голос против войны и эксплуатации, резко осуждающая политику правительства, пользуется сегодня у молодежи Израиля большой популярностью. Примером могут служить стихи и песни Якова Ротблита, бывшего офицера-десантника израильской армии, вернувшегося с войны 1967 года искалеченным. Поэт обращается к людям с призывом: «Перестаньте молиться шепотом. Выходите на площадь! Кричите: «Мир! Мы не хотим войны!» Интересно, что даже сын Даяна, известный киноактер, включился в борьбу за мир и заявил: «Отдайте арабам все их земли!» А бывший генерал, участник июньской войны, ныне профессор Тель-Авивского университета Мати Пелед заявил в марте этого года, что разговоры о спасительности июньской войны были полнейшей ложью.

Целую бурю подняло музыкальное представление двадцатисемилетнего Ханоха Левина «Королева ванной комнаты» — очень резкая сатира на политику правящих кругов. В прологе хор поет:

Мы одинокие,
Мы смелые,
Молчаливые,
Сильные
И фанатичные.
Самое чудесное, что мы правы,
Всегда правы.
До слез правы.
Чудесно надевать правоту,
Как кальсоны,—
И никто не знает, как ты
Выглядишь без них.

В одной из сцен правящие круги Израиля уподобляются библейскому патриарху, готовому принести в жертву своего сына. А вот, например, отрывок из «Песни Даяна»:

Я обещаю вам кровь и слезы,
А когда я обещаю,
Я исполняю.
И если я обещаю вам кровь и слезы,
Так это будут кровь и слезы,
Я не говорю уже о поте...
Будете жить без капли надежды,
И если я обещаю,
Я исполняю.
И если я говорю, что будете жить,
То некоторые из вас будут жить,
Только не спрашивайте зачем.

Под давлением правоэкстремистских кругов спектакль был снят, несмотря на то что билеты были проданы на три месяца вперед.

— Кто входит в группу писателей протеста?

— Большинство израильских поэтов и писателей протеста — это люди, которые родились и выросли в Израиле, они трезво оценивают существующее политическое положение, они постепенно освобождаются от влияния сионистской пропаганды. Они видят глубокую социальную несправедливость израильского общества.

— Какие еще формы борьбы используются прогрессивными силами Израиля?

— Митинги и демонстрации, письма и петиции протеста правительству. Органически связаны с этим движением писатели-коммунисты. М. Ави-Шаул пишет стихи и статьи; член Политбюро компартии Э. Хабиби опубликовал книжку «Секстет войны» — это шесть отличных рассказов о судьбе арабов-палестинцев; А. Декер публикует лирические стихи, полные веры в победу человечности в Израиле; М. Барзилай выступает в своих стихах против преследования арабского населения; М. Дига пишет рассказы, проникнутые глубоким знанием жизни современного израильского общества.

Честные израильские писатели в эти дни не думают о бессмертии своих произведений, они думают о судьбе страны и народа, о долге своей совести. Но многие из сегодняшних произведений будут читаться и в будущем с волнением и благодарностью за то, что их авторы не молчали, не уходили в сторону, а отдали свой талант и перо на службу миру и справедливости.

Запись Н. СОКОЛОВСКОЙ

Среди книг

Издано в СССР

ДИНАМИКА ЖИЗНИ И СЛОВО ПИСАТЕЛЯ

«Вопросы литературы» № 12, 1971.

Этот номер журнала «Вопросы литературы» посвящен литературе социалистической Болгарии и неуклонно углубляющимся болгаро-советским литературным связям.

В практике журнала это уже не первый номер такого рода: около года назад подобным образом была показана литературная жизнь ГДР, еще раньше одна из книжек журнала была отдана современной проблематике литератур социалистических стран.

«На наших глазах возникает хорошая традиция»,— говорится по этому поводу в статье первого секретаря Правления Союза писателей СССР Г. Маркова, открывающей номер. «Еще одной формой братского общения, сотрудничества и взаимодействия» называет это начинание руководитель Союза болгарских писателей Г. Джагаров.

И действительно, этот номер журнала убедительно подтверждает, насколько интересным и полезным может быть такое «фронтальное» освещение опыта одной из братских литератур, проблемы и заботы которой, при всем их своеобразии, так близки и понятны советским читателям.

Тот, кто размышляет о больших и сложных задачах, встающих сегодня перед всей литературой социалистического реализма, о позиции писателя, верного чаяниям и стремлениям своего народа, тот, несомненно, с живейшим вниманием прочтет многие ответы болгарских писателей на анкету журнала, озаглавленную «Социализм — жизнь — литература». В ней приняли участие литераторы разных поколений и разных творческих наклонностей: Г. Караславов и А. Наковский, Ст. Ц. Даскалов и В. Попов, М. Исаев и С. Северняк, Н. Хайтов и И. Давидков и еще многие другие... Воздействие социалистической действительности на литературу, влияние литературы на жизнь, новые явления и тенденции в творчестве — эта общая тема анкеты вызвала очень живой, содержательный и, хочется сказать, полифоничный по многообразию индивидуальных звучаний разговор.

Под руководством коммунистической партии, в братском содружестве с Советским Союзом и другими социалистическими государствами страна в корне изменила свой облик и совершила огромный скачок вперед — это исходная точка писательских размышлений о жизни и литературе. «Георгий Димитров говорил,— пишет Камен Калчев,— что за десять — пятнадцать лет Болгария должна сделать то, что другие народы сделали за сто. Эта большая задача — трудная, казавшаяся в то время почти невероятной,— уже давно решена, мы пошли теперь дальше». Отмечая могучую динамичность современного социально-экономического и духовного развития страны, болгарские писатели справедливо говорят об исключительных возможностях, создаваемых социалистической действительностью для расцвета их родной литературы. «По-моему,— говорит Николай Хайтов,— этот период бурных перемен, продолжающихся и сегодня, создал самый лучший климат для развития литературы, которая по праву участвует и в переделке жизни, и в создании новых этических и духовных ценностей».

И когда Георгий Джагаров характеризует современную болгарскую литературу как беспокойную, ищущую, вдохновленную жаждой открытий, а Серафим Северняк, радуясь многообразию ее жанров и стилей, утверждает: «Никогда еще у нас не было столько хороших и столько разных писателей»,— то это говорит и о динамике роста данной литературы (подтверждаемой, в конце концов, множеством объективных свидетельств), и главное — о настроении, об отличной творческой форме самих писателей.

Участники анкеты, четко заявляя свою позицию в принципиальных вопросах искусства и общественной жизни, позицию, определяемую марксистско-ленинским мировоззрением, партийностью и народно-

стью, совсем не склонны ограничиваться общими словами. Разговор идет подлинно творческий, связывающий общее с профессиональным и даже интимным, обращенный к реальным задачам и проблемам, встающим перед литераторами Болгарии.

Здесь — и определение ведущих, главнейших национальных традиций, помогающих современным художникам слова быть активными участниками всенародной борьбы за коммунистические идеалы. («Наша литература с первых своих шагов была литературой демократической. И революционной»,— говорит, например, в этой связи Климент Цачев.) Здесь и попытки выделить, проанализировать наиболее существенные тенденции современной болгарской литературы — в том, разумеется, «контурном» виде, в каком это возможно сделать, кратко отвечая на вопросы анкеты.

Современная тематика, проблема изображения человека труда и в первую очередь современного болгарского рабочего занимает виднейшее место в размышлениях едва ли не всех участников разговора. «Мы теперь говорим о болгарах как о нации технической, нации социалистической,— пишет поэт Любомир Левчев.— Но какова судьба романтика в наши дни, когда предпочтение отдается математикам? Оказывается, что техника и романтика не исключают друг друга». Отсюда — идея «строительной романтики», которую автор увлеченно отстаивает, напоминая, в частности, о том, что в старинном болгарском фольклоре тоже ведь было много оригинальных «строительных» баллад. Поддерживая, по существу, сходные мысли, Константин Колев считает одним из самых знаменательных явлений «многочисленные — и в последние годы удачные — попытки отразить в литературе жизнь рабочего класса».

Вдумываясь в художественные процессы, характерные в наши дни для болгарской литературы, К. Колев, Н. Хайтов и другие авторы отмечают быстрое развитие больших, эпических форм — романа и повести, усилившееся тяготение к добротной реалистической (в частности, сюжетной) прозе, преодоление отдельных формалистических увлечений, которыми недавно грешили некоторые писатели, отмечают глубину современного мышления в поэзии, интенсивное стилевое обновление разных литературных родов и жанров.

Но, разумеется, каждый участник разговора помнит о том, что «главная книга» о современности (в том числе и его собственная) — еще впереди. Отсюда — высота критериев, масштабность задач, ответственность и страстность суждений о творчестве сегодняшнего и завтрашнего дня.

«Мне кажется, мы сейчас подошли к периоду больших обобщений, философского осмысления нашего времени» (Владимир Голев). Здесь, очевидно, главное, самое существенное с точки зрения художественных задач. Так же, как и в глубоком историзме, которым должно быть пронизано писательское ощущение современности и который подсказывает, скажем, Димитру Вылеву сложнейшие и актуальнейшие для художника вопросы: «Идет головокружительное перемещение народных пластов, перемешиваются сословия и классы, которые уже не антагонистичны друг другу. Происходит слияние различных времен, просеивание: что мы возьмем в будущее? Социализму в Болгарии только двадцать семь лет, а прошлое существовало века. Что уходит в историю? Что должно быть забыто? Чего никогда не надо забывать?»

Слова «динамика», «динамизм» часто возникают у болгарских писателей, когда они говорят о стремительных темпах социалистического преобразования действительности, изменениях в жизни города и села. Постигнуть и выразить смысл этой бурной жизненной динамики, ничего не упрощая, не смягчая неминуемой конфликтности исторических и особенно психологических процессов и в то же время ясно освещая их светом великой цели,— коренная задача писателя, вооруженного методом социалистического реализма. И вот как ярко и зримо, на примере современной болгарской действительности, встает она в размышлениях Васила Попова:

«Сейчас, когда полным ходом идет строительство социализма, болгарин, привыкший выносить любые лишения, учится жить как человек, радоваться жизни. Он покидает места, где предки его жили тысячи лет, с болью вырывает свои корни, бросает свой домишко в каком-нибудь овраге и переселяется на семнадцатый этаж, не пасет больше овец, а начинает производить электронную аппаратуру... Сейчас он начинает изучать, сравнивать, осознавать. Глубокие психологические конфликты терзают его беспокойную душу, исторические парадоксы взимают запоздалую дань, его бытие претерпевает бесконечные перевоплощения. Существовала ли когда-либо более величественная эпоха для литературы?»

Интересны, плодотворны в этой связи и напоминания о том, что пафос жизнеутверждения предполагает вместе с тем глубокий анализ реальной жизни и ее противоречий, конфликтов (Эмил Манов); что положительный герой современных книг должен подсказывать читателю, «что глина, из которой он сделан, великолепна и что он может сделать ее еще лучше, только надо ее как следует вымесить и отсеять песок» (Генчо Стоев); или тонкое замечание того же В. Попова о том, что литература, осуществляя свою познавательную и воспитательную миссию, призвана, кроме всего прочего, «постигать и отображать невидимые и необъяснимые стороны как индивидуального, так и общественного и национального бытия». (Спорным — в определенном смысле — здесь может быть лишь одно слово — «необъяснимые»; ведь постигать и отображать — это и значит в той или иной мере объяс-

нять; «он был не прочь поработать над портретом этого неуловимого и опасного... человека хотя бы для того, чтобы разобраться в нем»,— как сказано об одном эпизоде из жизни Гойи в романе Л. Фейхтвангера).

Еще один «круглый стол» в журнале — перекликающиеся друг с другом высказывания советских и болгарских писателей, помещенные под рубриками «Сестра моя Болгария» и «Сестра моя Россия». Впрочем, «высказываниями» их можно назвать лишь условно: у некоторых авторов они стали настоящими исповедями, потому что болгаро-советская дружба — это отнюдь не отвлеченное понятие и далеко не одно только личное общение тех или иных писателей.

О близости исторических судеб двух славянских народов, об их многовековом культурном взаимообщении здесь говорится достаточно хорошо и много с обеих сторон. (За русских, за советских писателей об этом, быть может, наиболее выразительно и лаконично сказал Владимир Лидин: «Пожалуй, ни с одной литературой не ощущаешь такого родства, как с болгарской».) Но совершенно новым и неисчерпаемо глубоким смыслом это братство двух народов наполнилось после Великой Октябрьской социалистической революции, когда само имя Советской страны стало для трудящихся Болгарии символом святого и решительного боя за будущее:

...Москва — моя повестка и присяга
на бой святой, на — до победы — бой!

(Христо Смирненский, 1921 г.)

С Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова начиналось духовное сопутствие с Россией для ветерана социалистической болгарской литературы Людмила Стоянова. Дальше — озарившее сознание знакомство с идеями Ленина, участие в борьбе с фашизмом, поездка в Москву, затем в республиканскую Испанию, непосредственное ощущение дружеского плеча советских писателей, ставших боевыми товарищами... «Говорю об этих трудных годах в моей жизни,— замечает Л. Стоянов,— и думаю о том, как может литература, подобная великой русской литературе, помочь воспитанию и прогрессивному гуманистическому развитию писателя, который ищет познание истины в непосредственной действительности».

Не менее ярки и насыщенны «биографии дружбы» у старых болгарских писателей-коммунистов — литературоведа и критика Георгия Цанева и поэта Христо Радевского. Воспоминания первого из них по обилию фактов, говорящих о влиянии советской культуры, советской художественной мысли на духовный мир современников, таковы, что без них вряд ли обойдутся теперь историки не только болгарской, но и советской литературы. Христо Радевский хорошо известен у нас в Советском Союзе как поэт и как переводчик, больше того — как главный энтузиаст и организатор переводов из многонациональной советской поэзии; в выходящей под его неизменным редакторским руководством серии «Советские поэты» уже издано восемьдесят (!) авторских сборников. Общий политический смысл этой неутомимой работы видного болгарского поэта хорошо выражен им в следующих словах: «Как болгарский писатель, я не могу представить себе свое существование без Болгарии. И я не могу представить себе существование мира без Советского Союза. Куда были бы обращены взгляды человечества и какой надеждой жило бы человечество, если бы не было Советского Союза?»

Панорама современной болгарской литературы предстает из статей Пантелея Зарева «Болгарская проза после освобождения», Любена Георгиева «Пути болгарской поэзии», Владимира Каракашева «Революция и драма», Ефрема Каранфилова «Живое наследие», Богомила Нонева «Высокая цель критики» и советского исследователя Дмитрия Маркова «Долг ученого, долг гражданина». Нет надобности говорить о том, насколько нелегко было сочетать в небольших статьях обзорность и проблемность, конкретику и обобщения,— но как раз этими качествами и отличается большинство из названных публикаций. Если, например, в статье П. Зарева крупно выделены такие «хребты» новейшего болгарского социально-исторического эпоса, как романы Д. Димова, Э. Станева, Г. Караславова, Д. Талева, и затем дана суммарная характеристика иных тематически-жанровых направлений, то Л. Георгиев свой обзор современной поэзии, очень разнообразной в стилевом отношении, сопровождает «попутными» размышлениями на актуальные эстетические темы, а В. Каракашев дает вдумчивый «поэтапный» анализ развития болгарской драматургии за последнюю четверть столетия, четко очертив главные явления, среди которых особый интерес представляют остропроблемные, философски конфликтные, партийно страстные пьесы Г. Джагарова. Разбирая, например, известную его драму «Прокурор», критик отмечает, что она и сегодня «звучит в высокой степени современно — именно потому, что в ней с большой поэтической силой воплощен сложный образ коммуниста, показан трудный путь к истине и самопознанию».

Достойна уважения добросовестная прямота, с которой болгарские писатели и критики говорят не только о достижениях своей литературы, но и о трудностях, которые приходилось ей преодолевать, о некоторых слабостях вроде схематизма и «антисхематизма», подчас проявляющихся и поныне. В этом смысле особенно ответственные задачи встают перед критикой, и хотя мы знаем, что болгарская марксистско-ленинская критика располагает крупными силами, что она имеет замечательные традиции, все же оправданным кажется пожелание Б. Нонева, «чтобы гражданская, идейная ее смелость повысилась, чтобы шире она ставила вопросы развития болгарской литературы». И не

общая ли это сегодня забота всех социалистических литератур, включая советскую?

В целом же картина современной болгарской литературы, с должной объективностью представленная в статьях исследователей, выглядит впечатляюще. Ясно видишь главное, что определяет ее высокий идейный и творческий тонус: прочную, неразрывную связь с народной жизнью, с процессами социалистического строительства. Стремясь глубоко, по-исследовательски осмыслить животворные революционные изменения в материальном и духовном бытии народа, болгарские писатели ищут и находят пути к новаторским художественным открытиям, утверждающим гуманистические законы социализма, величие и красоту рожденного им человека-созидателя, человека-коллективиста. При всей естественной сложности и неоднозначности процессов, отмечающих развитие болгарской литературы, писатели и критики Народной Болгарии имеют достаточные основания говорить о неуклонном творческом росте своей литературы. Все это не только дает право, но и обязывает, как справедливо напоминает Д. Марков в статье «Долг ученого, долг гражданина», рассматривать ее достижения в общем потоке социалистической — и шире — мировой литературы, поставить ее опыт «в контекст мирового художественного развития».

О важнейшем условии, обеспечивающем этот знаменательный подъем болгарской литературы, кратко, но исчерпывающе сказано в выступлении хорошо известного в Болгарии и у нас поэта Младена Исаева: «Партия болгарских коммунистов, которая в этом году отметила свой 80-летний юбилей, всесторонне помогает писателям создавать произведения, проникнутые высоким гуманистическим и революционным пафосом... Этот ленинский подход к вопросам руководства литературой и искусством приносит благотворные результаты».

«Болгарская» книжка «Вопросов литературы» получилась удачной, содержательной, а главное — представляющей непосредственный творческий интерес для всех, кого волнуют большие проблемы и задачи, стоящие сегодня перед художниками слова братских социалистических стран.

Л. НОВИЧЕНКО

АПОЛЛОН ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

Леопольд Стафф. Избранная лирика. Составление и перевод Асара Эппеля. Москва, «Молодая гвардия», 1971. 79 стр.

Леопольд Стафф родился в 1878 году во Львове. Первая книга его стихов «Сны о могуществе» была издана поэтом за собственный счет и вышла в свет в начале XX века. Сильное дарование Стаффа с первых его шагов в литературе было с восторгом признано читателями и критикой. Сконцентрировался поэт в 1957 году. Все без исключения польские поэты этого времени — в большей или меньшей мере ученики и последователи Стаффа. «...короткое слово «Стафф» мы связываем с долгой эпохой, которую ты создал в истории нашей поэзии»,— писал своему другу и учителю Юлиан Тувим. Действительно, в стихах Стаффа — этого «Аполлона поэзии польской» (Галчинский) — намечены основные пути и разветвления польского стихотворческого искусства первой половины XX столетия.

Стафф — автор семнадцати книг. Понятно, что в небольшой книжке «Избранной лирики» (в ней около шестидесяти стихотворений) ее составитель и переводчик не мог представить поэтическую деятельность Стаффа с исчерпывающей полнотой. Но тем не менее сложный путь поэта — от модернистских туманов начала века к трезвости деятельного участника послевоенного восстановления Польши — прослежен здесь убедительно и наглядно.

Вот начало:

...И поглядим, как звезды посеет ночь
над нами...
Взойдет посев небесный и станет людям
снами.

Вот строфа из последнего стихотворения книги:

Я пел и вольность, и свободу,
И ветру был я побратимом.

Между этими стихами — огромный пятидесятилетний путь польской лирической поэзии, искавшей нехоженых дорог, подвижницы рыцарственной польской культуры, не затихавшей в подполье, сражавшейся на варшавских баррикадах, строившей новую жизнь на развалинах старой.

Леопольд Стафф — классик новой польской поэзии; близкое знакомство с ним необходимо для нашей культуры, и работа Асара Эппеля пришлась как нельзя более кстати. Нужно отметить что «Молодая гвардия» делает нужное дело, издавая (пусть небольшие пока!) сборники избранной зарубежной лирики, занимающие почетное место в библиотеках любителей стихотворного искусства. Эти сборники выходят большей частью в хороших переводах, снабжены вполне достаточными для первого знакомства статьями знатоков той или другой литературы, внешне приятны для глаз и общедоступны по цене.

Переводчик стихов Стаффа Асар Эппель одинаково хорошо владеет и строгим традиционным стихом, и стихом свободным (а в последних своих сборниках Стафф не чурался верлибра). Женственное звучание польской силлабики переводчик интерпретирует, пользуясь средствами русской метрики, причем в переводах стихи не теряют своеобразного очарования мелодики подлинника.

Теперь я погонюсь «за двумя зайцами», процитирую несколько четверостиший из позднего стихотворения Стаффа «Первая

прогулка» (по разоренной войной Варшаве), чтобы продемонстрировать его как бы застенчивый, наискромнейший, абсолютно правдивый реализм — и в то же время переводческое искусство Асара Эппеля:

...Трамваев нет. Стоят домов останки.
Старуха продает в дверном проеме
Сырые несъедобные баранки...
Ступеньки снова скрипнут в нашем доме.

Пусты витрины. Заперты киоски.
Покинут и печален мир смятенный.
Слепец убогий разложил расчески...
Мы снова обретем родные стены.

* * * * * * * * * * * * *

Зевает кот лениво под стеною.
Знакомые сошлись у перекрестка...
Опять в ларьке появится съестное,
Вновь забренчит молочника повозка.

Пройдут года. Забудем о разгроме.
Потерянному сыщутся замены...
Ступеньки снова скрипнут в нашем доме,
Мы снова обретем родные стены.

От первых опытов Стаффа до этого стихотворения прошло больше сорока лет, по землям родины поэта прокатились две чудовищные войны, причем глаз одного из ураганов — варшавского восстания — был здесь, в центре мира поэта. Так вот какой страшной ценой приобретен его поэтический опыт! Вот откуда эта почти фотографическая правдивость, вот откуда эта непререкаемая уверенность надежды! И как повезло читателю, узнающему стихотворение польского поэта в прекрасном русском переводе!

Как пример искусства Стаффа — Эппеля я процитирую пятистрочное (верлибр!) стихотворение «Вечер», приводящее на память и лирику Гёте, и японские танки:

В лодке лежу я.
В тиши вечерней.
Звезды надо мной.
Звезды подо мной.
Звезды во мне.

То, что книга объединяет работу только одного переводчика — я уверен,— ее несомненное достоинство: здесь соблюдено единство стиля русской интерпретации подлинника.

В послевоенные годы в русских переводах издано немало книг польских поэтов — вкупе и порознь. Своеобразная и пленительная поэзия нашей западной сестры для нас теперь — не сокровище под семью замками: мы успели узнать и полюбить ее. Будем же благодарны за это и переводчикам, чье имя порой (как в этой книге) стыдливо прячется на обороте титульной страницы.

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ

ЖИЗНЬ НАПОКАЗ

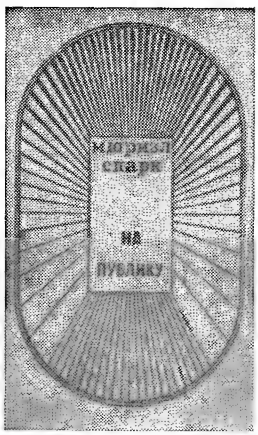
Мюриэл Спарк. На публику. Перевод с английского. Составление и предисловие В. Скороденко. Москва, «Молодая гвардия», 1971. 318 стр.

Дарованию маститой английской писательницы Мюриэл Спарк присуще нечастое сочетание язвительной сатиры и тонкого психологизма. Однотомник «На публику» в полной мере демонстрирует обе грани ее творческой индивидуальности: в повести «Баллада о предместье» доминирует сатира; в повести, давшей название сборнику, Спарк выступает зрелым мастером-психологом; рассказы являют собой любопытный синтез — психологическую сатиру.

Скептичный, насмешливый глаз писательницы зорок. Ему доступно многое. Что, казалось бы, может быть общего в судьбе преуспевающей кинозвезды Аннабел Кристофер («На публику») с жизнью ограниченных мещан одного из лондонских предместий («Баллада о предместье»)? Но Спарк без труда обнаруживает и безжалостно обнародует эту общность: большинство ее героев живет не для себя, а «на публику», причем самой строгой «публикой», естественно, оказываются ближайшие соседи.

Сквозная тема Спарк — осмеяние обывателя, его ожесточенного стремления быть «как все», не нарушать от века установленных норм «правильного» поведения. Пожалуй, наиболее оригинально и неожиданно вершит писательница суд над обывательским образом мышления в повести «Баллада о предместье». Жизнь в предместье Пекхэм течет размеренно и ровно. Мотивы поведения людей диктуются преимущественно страстью к накопительству и желанием подняться вверх по социальной лестнице.

Дугал Дуглас, изучающий «настроение персонала» на одной из фабрик Пекхэма, фигура несколько условная и фантастическая, а в глазах почтенных обывателей предместья даже немного устрашающая. Спарк наделяет его внешними приметами, дающими ему возможность при случае намекать на связь с нечистой силой — двумя бугорками на голове и великолепным даром подражания и перевоплощения. Но даже самый неискушенный читатель поймет, что в этом образе нет ничего мистического. Это всего лишь особый сатирический прием — введение, так сказать, беса-



искусителя, беса-комментатора. Он выражает авторское отношение к остальным персонажам и ставит этих персонажей в такие неожиданные ситуации, в которых неминуемо раскрывается сущность их натур. Подобный прием достаточно часто встречается в английской сатире. Он характерен, например, для некоторых романов Ивлина Во.

В самой принципиальной условности, экстравагантности образа Дугала Дугласа скрыта возможность взгляда на Пекхэм другими глазами, способность оценки устоев, распорядков и взаимоотношений в предместье со стороны. Что прежде всего начинает советовать Дугал работникам фабрики? Прогуливать почаще работу, в то время как главная цель, поставленная перед ним управляющим,— добиться сокращения прогулов.

Этот призыв Дугала — вовсе не проявление коварства посланца темных сил, а лишь выражение жалости, которую ощущает он, понимающий, сколь бесчеловечна царящая на фабрике потогонная система, сколь ложна погоня «среднего англичанина» за «идеалами» — собственным домиком с телевизором, холодильником и электросушилкой. Именно Дугал и «устанавливает» настоящего «дьявола». Это — аспирант из Кембриджа, консультант по динамике труда, «научно» обосновавший необходимость превращения рабочего в бессловесный придаток машины.

Искусителю Дугалу удается немного. Вскоре после его отъезда жизнь в Пекхэме входит в привычную колею. Даже его приятель Хамфри Плейс, сначала внявший было совету и отвергший уже перед алтарем свою невесту, юную мещанку и хищницу Дикси, в конце концов возвращается к ней. И это естественно. «Забрасывая» Дугала в затхлый мирок предместья, писательница не верит, что «искушающие» речи и алогичные, с точки зрения обывателя, поступки этого чудака смогут коренным образом исправить годами складывавшиеся нравы и принципы. Но в отношении к Дугалу Дугласу проявляется истинная сущность жителей Пекхэма. Так, лучше всего к нему относятся простые девушки с фабрики и добродушный Хамфри, хуже всех — Дикси, чье ханжество и патологическая скупость являются своего рода эталоном «нравственности» предместья.

Как это на первый взгляд ни парадоксально, бездуховная атмосфера и обывательская психология предместья — стяжательство, мелкая зависть, эгоизм и т. д.— господствуют и в мире, где как будто бы создаются духовные ценности,— в мире кино. Аннабел Кристофер очень близка к жуткой в своем откровенном и простодушном хищничестве Дикси. Взлетев в достаточной мере случайно на гребень славы и благополучия, Аннабел судорожно старается на нем удержаться.

Спарк со знанием дела обнажает механизм «создания звезд» западного кинематографа. Уставшей от скандальных похождений кинодив публике пресса преподносит легенду об Аннабел: в семейной жизни она — примерная, преданная и заботливая жена. На самом деле супруги Кристофер уже давно охладели друг к другу и их сегодняшняя связь обусловлена «работой на публику» и столь же корыстна, сколь и аморальна для писательницы. Но для героини безнравственность такого существования становится понятной далеко не сразу.

Ее муж Фредерик, пустоцвет, в прошлом неудавшийся актер, а теперь сценарист-ремесленник, кончает самоубийством. Завистливый и ничтожный, но по-своему самолюбивый, Фредерик разрушает одну ложь, чтобы тут же нагромоздить другую, более чудовищную,— чтобы испортить репутацию и карьеру Аннабел, он оставляет письма, обвиняющие ее во всевозможных пороках.

Разрыв героини повести с привычной ложью обусловлен не разумом, а чувством. Разум, в данном случае трезвый, холодный практицизм предместья, подсказывает, как сохранить все, что было достигнуто ценой унижения, лжи, потери себя. Но побеждает чувство, спонтанный эмоциональный взрыв. И М. Спарк показывает это в высшей степени достоверно. Аннабел вдруг увидела глубину той пропасти, на краю которой бездумно балансировала раньше, и теперь, ужаснувшись, она бежит прочь, не зная, что ждет ее впереди. Ясно одно — с жизнью «на публику», напоказ покончено навсегда.

Удачно подобранные рассказы продолжают эмоционально и идейно сатирическую и критическую направленность более крупных вещей. Они позволяют увидеть разные стадии формирования британского обывателя: ханжи, лицемера и сноба. Зачатки «правильного» поведения, основы которого — полнейшее равнодушие к ближнему и постоянная, часто абсурдная ложь, закладываются в раннем детстве («Близнецы»). Уже в юности ханжество, едва прикрывающее удивительную для возраста практическую сметку, становится агрессивным и переходит в наступление. («Видели бы вы, что там творится».) Разоблачению безудержной страсти к накопительству, которая лишает человека права называться человеком, посвящены рассказы «Позолоченные часы» и «Темные очки». И, наконец, психологически тонкая и на редкость язвительная «Черная мадонна» неумолимо свидетельствует о том, сколь живучи и викторианский нравственный кодекс, и расовые предрассудки даже в тех представителях среднего класса, которые на словах кичатся своей «современностью» и «прогрессивностью», а прилагательное «викторианский» употребляют как бранное слово.

Мюриэл Спарк — по вероисповеданию католичка. Однако в большинстве ее произведений нет видимых следов религиозного мировосприятия. К ней в полной мере

применимо полемическое замечание Грэхема Грина о том, что он не «католический писатель», а «пишущий католик». Ее сатиры остроумны, изящны и многозначительны. Они рождены не холодным сердцем мизантропа, а возникли из сострадания к людям, унижаемым и попираемым властью чистогана. М. Спарк ненавистны накопители и приобретатели, хищники крупные и мелкие. Милее всего ей чудаковатые люди, презирающие «золотого тельца» и сопровождающую его призрачную власть, такие, как веселый и щедрый музыкант Селвин Макгрегор («Для зимы печальные подходят сказки»). И мы, делившие ее антипатию и презрение к «показательным» буржуа, на этот раз охотно присоединяемся к чувству симпатии.

Г. АНДЖАПАРИДЗЕ

Издано за рубежом

БЕССМЕРТНЫЙ ПУТЬ БРИГАДЫ

Радоња Вешович. Колона и видици. Запис о Првој Пролетерској бригади. Београд, «Народна армија», 1971.

За три, без малого, десятилетия, прошедших после 9 мая 1945 года, в мире вышло огромное количество книг, посвященных борьбе народов с фашизмом. Воссоздана картина действий на театрах войны, изучено партизанское движение на временно оккупированных врагом территориях, постепенно раскрываются неизвестные страницы операций подпольщиков.

Но независимо от этого каждое новое произведение о событиях военных лет продолжает волновать снова и снова, оставаясь источником более глубокого их познания. В этом плане для многих специалистов и просто читателей драгоценной окажется книга воспоминаний одного из легендарных югославских «пролетеров», поэта и публициста Радони Вешовича «Колонна и горизонты. Запись о Первой Пролетарской бригаде».

Эта бригада (затем — дивизия, потом — корпус) родилась 22 декабря 1941 года в глухом боснийском местечке Рудо. Очень скоро вместе со своим детищем Рудо навсегда войдет в историю — подобно Каховке или Волочаевке,— но как бесконечно далеко было тогда до истории! «Рабочие, подмастерья, крестьяне, гимназисты, студенты. Пестрота оружия и народной одежды из Сербии и Черногории. Рядом со взводом словенцев в строю находились десятки хорватов, македонцев, боснийцев, герцеговинцев, евреев, далматинцев, жителей Косова, Воеводины, Лики, Санджака; изредка встречались немец, русский или венгр... несколько сот сел и городов Югославии прислали сюда своих сыновей и дочерей...»

В этом строю был и будущий автор книги Радоня Вешович, пришедший в числе «трехсот добровольцев из черногорских отрядов... чтобы в Рудо соединиться со своими товарищами из Сербии и здесь вступить в Первую Пролетарскую бригаду». Ведь «наступило время проверки готовности собственной жизнью рисковать за свои убеждения... Все тогдашнее поколение включилось в борьбу... призыв к восстанию мы вместе со всем народом восприняли как призыв к жизни, к новой жизни без оккупантов и капиталистов...»

Первой Пролетарской бригаде принадлежит почетная роль в истории не только потому, что она возникла в результате довоенной работы партии, возникла как первое регулярное воинское формирование югославской революции. Первая Пролетарская была призвана стать боевым органом новой, революционной власти, образцом новых политических и общественных отношений, тем примером, на который надлежало равняться в дальнейшем. Это была воинская часть, но и политическая школа, но и институт интернационализма, академия государственности, основы которой закладывались с оружием в руках. Вполне закономерно, что впоследствии именно Первая Пролетарская явилась постоянным источником кадров для политических, государственных, военных, общественных органов новой Югославии.

Вокруг Первой Пролетарской рождались легенды, «нам приписывали прекраснейшие качества даже тогда, когда мы находились еще далеко: мы-де ночуем по хлевам, чтоб не стеснять местных жителей, мы неприхотливы в еде... мы общительны, мы поем, читаем стихи, несем с собой книги, устраиваем спектакли, подобно настоящему театру,— словом, такой армии еще не бывало и такие, если, как говорится, есть на небе господь бог, победят».

Первая Пролетарская вела бой одновременно на двух фронтах, причем борьба за души людей была не менее важной, чем столкновения на поле брани. В беседах с населением «постепенно зарождались естественные отношения, где наш личный опыт служил одной из иллюстраций общего положения в условиях оккупации. В этих разговорах сила отдельного человека опиралась на силу всех, и только все вместе мы являли собой единственную реальную возможность нашего дальнейшего индивидуального существования. В глазах людей мы, находясь в состоянии кажущегося бессилия, постепенно обретали невиданную до тех пор силу свободы...» В этих замерзших, голодных и плохо одетых людях партия югославских коммунистов видела «офицеров будущей югославской Красной Армии». Обращаясь к ним со словами приветствия, позже погибший комиссар бригады Крсто Байич «приводил пример русской Октябрь-

ской революции, революции, из которой точно так же выросла новая, советская Красная Армия».

Так шла по Югославии Первая Пролетарская, теряя своих сынов, обретая новых, мужая и закаляясь, нанося сокрушительные удары врагу.

Шестнадцатилетний Радоня Вешович был рядовым бойцом этой бригады и скромным ее героем. 1240 дней, если не считать госпиталей после ранений и тифа, провел он в ее рядах — с 22 декабря 1941 года по 15 мая 1945 года. 1240 дней, каждый из которых мог стать последним и каждый из которых требовал полной отдачи сил, а они, казалось, уже давно были исчерпаны.

Первая военная зима. Батальон «пролетеров» в кольце немецких и усташских лыжников. Впереди единственная возможность спасения — путь через хребет Игман, «крутой настолько, что при подъеме на него хватаемся за кусты. До самого верха — заснеженный лес. В спину нам смотрит Сараево. Каждый миг ждем оттуда снаряда... Лица у нас — словно фотографические негативы: брови, усы, волосы побелели от инея, а щеки потемнели от мороза и голода... На другой день на санях в Трново, а затем в фочанскую больницу перевезли свыше ста шестидесяти обмороженных бойцов».

Это знаменитый Игманский марш, когда ртуть опускалась за тридцать и деревья трескались от мороза.

Весна 1942 года, Черногория. «Кусок полусырой баранины, которую мы получали раз в день, только усиливал голод. Когда резали овец, мы собирали кровь в котелки, варили ее и этим дополняли приварок. Странное бессилие стало охватывать нас из-за долгого отсутствия хлеба... Начались многодневные бои на голых вершинах».

Май—июнь 1943 года, Сутеска — так называемое пятое наступление оккупантов. Около десяти тысяч (да считали ли их тогда?) человек: партизан, коммунистов и комсомольцев, мужчин и женщин, молодых и старых,— осталось в каньоне этой реки, в зарослях и ущельях Зеленгоры. «Лишь спустя двадцать с лишним лет.... когда один из моих друзей привез меня на Драгош-седло, смог я восстановить в памяти эту часть пути нашей бригады. Последнее, что я запомнил тогда, была круча над Драгош-седлом, где после полудня нас поймала эскадрилья немецких бомбардировщиков, расшвыряла по камням и лесам вдоль троп и до самой тьмы добивала бомбами и пулеметными очередями». А чуть подальше «под буками лежали на носилках тяжелораненые и возле них, на грани полного изнеможения, те, кто их нес... Дуновение ветра стряхнуло росу с веток и разбудило задремавшего раненого. Где-то здесь и носилки со старым обессилевшим поэтом Назором, и труппа нашего театра, и одна из актрис с недавно родившейся дочкой на руках».

До последнего дня войны участвовал в боях Радоня Вешович, и нет смысла здесь перечислять их все, ибо это был один сплошной непрекращающийся бой, непрекращающийся подвиг.

В октябре 1944 года Первая Пролетарская участвовала в боях за освобождение Белграда вместе с долгожданными частями Красной Армии. «Мы вскоре их увидели: по дороге от Рали двигалась длинная колонна советской техники, а по полям, по холмам, по раскисшей пашне тяжело ступала пехотная часть... Мы остановились, обняли их взглядами, всех — и людей, и эту могучую технику и несколько минут молча следили за их дисциплинированным, безостановочным движением. После четырех лет мечтаний об этом кое-кто рядом со мною вытирал слезы, другие позволяли им свободно течь. Потом кто-то от радости пальнул, затрещали винтовочные выстрелы вдоль всей колонны, как это случилось тогда... когда пронесся слух, будто по радио передали сообщение об освобождении Харькова... Гудит земля под металлическими гусеницами. На дороге и на обочинах перемешались советские части и наши бригады, а вокруг в виноградниках солнечная осень... вдоль оград и заборов — старые и молодые, угощают и нас и красноармейцев ракией, фруктами, звучат радостные слова приветствий...»

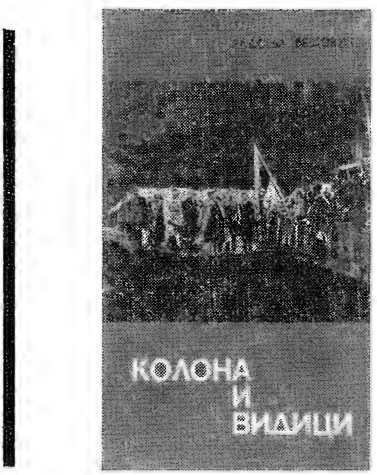
История не повторяется, но, к счастью, она ни о чем и не забывает.

Ежегодно в городке Рудо в Боснии 22 декабря собираются ветераны Первой Пролетарской. Выносится знамя, Верховный главнокомандующий обходит строй, на могилы товарищей и друзей возлагаются венки.

В декабре 1971 года в шеренгах «пролетеров» было 327 человек.

Но в сердцах людей Первая Пролетарская в полном составе продолжает свой путь.

Смысл и значение книги писателя-коммуниста Радони Вешовича, книги, которой он отдал восемь лет жизни, переоценить труд-



но. Величие и слава югославских «пролетеров» бессмертны и принадлежат настоящему и будущему всех людей.

АЛЕКСАНДР РОМАНЕНКО

ЛЮБИМЫЙ ПОЭТ ВЬЕТНАМСКОГО ЮГА

Nguyên Dình Chiêu. Tho' văn. Hà-nôi, Nsb. Văn hoc, 1971.

В 1965 году Национальный Фронт Освобождения Южного Вьетнама за выдающиеся достижения в области литературы и искусства учредил премии имени Нгуен Динь Тьеу, замечательного поэта-патриота, уроженца Юга, стопятидесятилетие со дня рождения которого исполняется в июле этого года. «Звезда поэзии Нгуен Динь Тьеу, нашего великого поэта,— пишет премьер-министр Фам Ван Донг, который также является известным литературным критиком,— должна сиять ныне ярче, чем когда бы то ни было, на небосклоне нашей национальной литературы».

Это было около века назад. По тропической жаре, наверняка чертыхаясь про себя, к скромному дому в южновьетнамской деревушке уже в который раз направлялся важный чиновник колониальной администрации — губернатор Поншон. Но он знал, что цель стоит трудов: Нгуен Динь Тьеу, к которому он соизволил пожаловать вновь, был не просто слепой и глуховатый старик с величественной внешностью патриарха (таких ученых старцев, умевших слагать стихи, немало встречалось в этой новой колонии, народ которой был воспитан на тонком изяществе своей многовековой культуры, был издавна привержен к поэзии). Высокий моральный авторитет Наставника Тьеу (а он и в самом прямом смысле был учителем, окруженным многочисленными учениками), его непримиримость к колонизаторам делали поэта огромной силой, хотя он не имел под рукой ни армии, ни полководцев. Нгуен Динь Тьеу был, по существу, духовным отцом освободительного движения, его вдохновителем. И его стихи, поэмы, ритмическая проза находили путь прямо к сердцу народа.

Слепой старец, как это случалось в старом Вьетнаме, сочетал в себе талант поэта, наставника и ученого врачевателя: свой рис он добывал нелегким каждодневным трудом. Стремясь склонить Нгуен Динь Тьеу на свою сторону, Поншон пообещал вернуть конфискованные земли, которые могли бы обеспечить старость поэту и благополучие потомкам. Но услышал гордый отказ, который запомнили и потом повторяли люди, передавая из уст в уста: «Всей страны моей больше нет, что говорить о каком-то клочке земли...»

Поншон, конечно, знал, что поэма Нгуен Динь Тьеу «Люк Ван Тиен» была еще в 1864 году переведена на французский,— это был первый перевод большого произведения вьетнамской литературы в Европе. Некий парадокс заключался в том, что выбор пал на произведение поэта, ставшего основоположником литературы антиколониального освободительного движения. Переводчика «извиняет» лишь то, что он не знал ни самого автора, ни его имени. Парадоксы истории, однако, достойны не только удивления, а и объяснения: поощряя переводы, колонизаторы наводили лоск «культуртрегерства» на мрачный фасад колониальной империи. Впрочем, одновременно с переизданием в разных переводах поэмы «Люк Ван Тиен», написанной еще до колониального вторжения (1858), произведения патриотического содержания того же автора подвергались преследованиям. Так, в 1938 году, полвека спустя после кончины Нгуен Динь Тьеу, был конфискован тираж одной брошюры, ибо в ней приводились некоторые из этих стихов.

Однотомник «Сочинений» Нгуен Динь Тьеу смог появиться только в наши дни. Надо ли говорить, сколь пагубное влияние оказала на сохранность литературного наследия поэта атмосфера запретов и преследований. «В книге этой напечатаны все произведения Нгуен Динь Тьеу, которые нам удалось собрать»,— сдержанно сказано в предисловии.

Поэма «Люк Ван Тиен», названная по имени главного героя, была создана в русле традиций классической поэмы, которые здесь отчасти уже нарушаются, хотя бы введением черт автобиографичности. Поэму характеризует возвышенная сила нравственной чистоты: как и Нгуен Динь Тьеу, Люк Ван Тиен слепнет во время траура по матери — столь велики сыновняя любовь и горечь утраты; как и поэту, герою поэмы отказывают родители невесты, узнав о постигшем его несчастье. На том сходство не кончается — именно на образе Люк Ван Тиена сосредоточены субъективные устремления поэта, он выражает взгляды и убеждения автора, верность которым доказана всей жизнью Наставника Тьеу. Поэт говорит как бы вместе со своим героем:

Мечтою живу о том, чтобы долг возвратить
родным горам и рекам.

Но Люк Ван Тиен — не тень автора, а образ, художественно претворенный его воображением. Это — ученый-книжник, поэт и воин, спасающий от разбойников прекрасную Кьеу Нгует Нга. Нгуен Динь Тьеу явно склонен здесь к этическому максимализму. Теперь воспринимается несколько комично такой, к примеру, эпизод, в котором нашли отражение идеальные нормы поведения тех времен: когда Нгует Нга собралась было выйти из повозки, чтобы поблагодарить избавителя, то услышала слова, в которых так чувствуется неловкая поспешность:

Не надо, останься там, не выходи,
Ты женщина, а я мужчина!

Как важный элемент в композиции поэмы выступает неожиданная слепота

героя — это нравственное испытание не только для него, но и для окружающих. Иные от него отворачиваются, низкие души не упускают случая отомстить теперь беспомощному слепцу. Палитра художника неоднообразна: в поэму включены сценки бытового характера, окрашенные сатирически,— лекарь, за которым был послан слуга, приказывает посланцу лечь и принять лечение вместо хозяина, а на удивленный вопрос отвечает, что сила его лекарского искусства такова, что исцеляет на расстоянии.

Апофеоз поэмы — ее финал. Он героичен и оптимистичен: вновь обретший зрение Люк Ван Тиен (это можно понимать и в переносном смысле — ведь он познал теперь то, что ранее было скрыто в душах людей) совершает подвиг, изгоняя врагов («В руке серебряное копье, сам на вороном коне, один в битву бросается»), и находит счастье с Кьеу Нгует Нга, той самой, которой он когда-то спас честь и жизнь.

Поэма, устремленная к идеалу, близка к народному сказанию (не случайно первый переводчик поэмы Ж. Обарэ принял ее за фольклорное произведение). Она снискала себе, особенно на юге Вьетнама, необычайную популярность — в не столь отдаленные времена еще существовали сказители, которые специализировались на том, что рассказывали поэму; музыкальные драмы на ее сюжет до сих пор с неизменным успехом идут в театрах по всей стране.

После начала затянувшейся на десятилетия захватнической войны колонизаторов (тэев) стихи и ритмическая проза Нгуен Динь Тьеу чутко отзывались на страдания народа, звали его на борьбу с поработителями:

Услышали выстрелы тэев —
и тотчас рассеялся рынок,
Взмахом руки словно кто-то
фигуры смешал на доске.

Восьмистишие это заключают слова, к которым логически подводят все предшествующие его строки: «Где же оно, отчего же не видно войска, что мир принесет?»

Сложным сочетанием того, что идет от жизни, с традиционными приемами, характеризуются многие произведения Нгуен Динь Тьеу, написанные ритмической прозой. Это, к примеру,— «Памяти воинов, павших при Кан-зуоке» (1861), где впервые во вьетнамской литературе воссоздан собирательный образ повстанца — народного воина, лишь недавно оставившего соху и взявшегося за оружие: «Мотыгой работать привык, ходить за сохой, за бороной ходить умеет, рассаду на поле сажает искусно». Драматическое звучание этого произведения усиливается потому, что в нем говорится о погибших героях. Крестьянин «даже и не видал никогда, не знает, как надо дротик метать, стрелять из ружья, как пикой владеть, под флагом ходить». Но он не страшится колонизаторов и их «кораблей оловянных и кораблей из бронзы, грохочущих пушками...»

В книгу сочинений Нгуен Динь Тьеу, поэта и врача, по праву включены своеобразные «Беседы рыбаря и дровосека о врачевании», уникальный медицинский трактат в стихах, скрепленный сюжетным повествованием: эта книга приносила реальную, практическую пользу неграмотным вьетнамским крестьянам, заучивавшим ее наизусть,— ведь получить медицинскую помощь им тогда было неоткуда. «Беседы рыбаря и дровосека» учили крестьян не только начаткам лекарского искусства, но и любви к родине.

В патриотических стихах Нгуен Динь Тьеу обычна аллегоричность. Сколь хороши они оригинальной рационалистической поэтичностью, покажем, приведя хотя бы строки, без которых не обходится ни одна статья о Нгуен Динь Тьеу:

Сколь ни велик груз добродетели,
лодка скользит легко.
Кисть не истреплешь, предателей
пронзая в самое горло.

Строки эти воспринимаются как программные для всего творчества поэта. Суан Зьеу, современный поэт и критик, писал, что парус поэзии Наставника Тьеу, наполненный ветрами и ураганами его бурной эпохи, доносит до нас ее атмосферу, ее воздух. Этот парус уже миновал столетие и, легко скользя по волнам времени, смело устремился вдаль.

Н. НИКУЛИН

Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

«ЛЕТО КРАСНОГО ВОЛКА» МОРИСА УЭСТА

Недавно вышел новый роман Мориса Уэста, известного австралийского писателя, живущего сейчас в Англии,— «Лето Красного Волка». Имя Уэста знакомо советским читателям по опубликованному в № 6 журнала «Иностранная литература» за 1966 год роману «Посол». В своем последнем произведении писатель обратился к необычной для него, но весьма характерной для современной западной литературы теме возвращения к природе, корням, к теме неприятия гнета современной цивилизации и рассказал о попытке современного интеллигента вновь обрести естественную гармонию бытия. Объясняя столь неожиданный поворот в своем творчестве, писатель в беседе с издателем сказал, что он сам совершил недавно путешествие «в свое кельтское прошлое и испытал чувство неуверенности в себе в этой ставшей чуждой ему реальности».

Герой романа «Лето Красного Волка» — бывалый журналист средних лет — по приглашению своего давнего друга уезжает на лето на далекие от Англии Гебридские острова, где он надеется восстановить душевное равновесие, подорванное переутомлением и личными неурядицами. Уже в начале поездки он знакомится с молодым врачом Кэтин Макнейл, и обстоятельства способствуют быстрому их сближению. Однако под налетом романтической старины герой обнаруживает клубок напряженных отношений вполне современных острых ситуаций.

Уэст сталкивает своего героя с Руарри Мэтьюсоном по прозвищу Красный Волк. На психологическом, личном и идейном конфликтах этих фигур построен роман. Руарри олицетворяет в романе современный прагматизм, он цинично извлекает материальную выгоду из любых источников: будь то браконьерская ловля рыбы или контрабанда оружием. За спиной Руарри — тяжелое детство, скитания по свету, торговля опиумом и Иностранный легион. Читатель застает его богатым, независимым человеком в расцвете сил, занятым театрализацией своей жизни,— ему хочется играть на родине роль современного викинга. И внешне это ему вполне удается, однако моральные потери дают себя знать — Руарри рано пресытился жизнью, он не способен на серьезную привязанность ни к кому. При внешнем благополучии — он одинокий и несчастный человек. В конце романа писатель приводит его к самоубийству. Главный герой уезжает в Англию, не обретя желанного покоя, но он увозит с собой Кэтлин. Оба они после пережитых в прошлом личных неудач боятся заглядывать в будущее.

По мнению критики, новый роман Уэста слабее так хорошо удававшихся ему книг на острополитические темы. Очевидно, что именно напряженная и нелегкая жизнь журналиста, от которой захотел уйти Уэст в своей книге, составляла тем не менее основу его творчества. И его опасения «потерять себя в чуждой реальности», к сожалению, оправдались.

АНГЛИЯ

«ГНЕТУЩАЯ, НО УБЕДИТЕЛЬНАЯ КАРТИНА»

Недавно вышедший третий роман английского писателя Джека Тревора Стори «День маленькой собачки» получил высокую оценку английской критики. Журнал «Букс энд букмен», называя Дж. Т. Стори «выдающимся английским писате-

лем», пишет, что до выхода его последней книги к нему, как и вообще к юмористам, критика не относилась с должной серьезностью. Тем не менее уже первые две книги писателя заставили критиков вспомнить таких выдающихся английских сатириков, как Филдинг, Стерн, Во и Оруэлл.

В своем последнем романе писатель обратился к жанру политической сатиры, обрисовав в манере «черного юмора» картину ближайшего будущего Англии. В книге переплетаются элементы жанров фантастики и детектива, что не мешает, по мнению критики, безошибочно узнать черты «технократического государства Эдварда Хита». Писатель не только высмеивает злоупотребления политической властью в современной Англии, но он прямо говорит, что 1972 год явился годом установления в стране политической диктатуры. Как утверждает критика, Дж. Т. Стори нарисовал картину еще более циничную и пугающую в своей изощренности, чем Оруэлл в своем знаменитом романе «1984».

Англией будущего, входящей в единую систему «Объединенной Европы», фактически управляют машины, за которыми стоит неведомое правительство, анонимное не только для рядовых граждан, но и для государственных чиновников, которые думают, что согласовывают свои решения с управляющим делами, а на самом деле общаются с обслуживающим ЭВМ техником, выведенным искусственным путем специально для этой работы, и беспрекословно выполняют приказы машины. Собственно, все решения принимаются на основе односторонней связи — от машины к людям, и лишь в конце романа один из персонажей понимает, почему мнимый управляющий, носящий имя Элмс (электронно-трудовая обеспечивающая система), никогда не слушал его вопросов и возражений.

В мире «системы» судьба любого гражданина зависит от показателей его перфокарты, на которой учитываются состояние здоровья, возраст, «компетентность», лояльность, семейное положение и многие другие показатели, определяющие его положение в настоящем и перспективы на будущее. Самое страшное для любого члена «системы» — быть «снятым с учета», то есть быть переведенным за какие-то отклонения от нормативных показателей в разряд «вольников» — свободомыслящих, которым отведены подземные кварталы, где им запрещено заниматься какой-либо производительной деятельностью. Государство «обеспечивает» их всем необходимым для того, чтобы они не умирали с голоду, и постоянно заботится о том, чтобы низвести их до уровня животных.

Героя романа «снимают с учета» по состоянию здоровья. Однако, к неудовольствию врачей и семьи, он не только выживает, но ему удается избежать запланированного уничтожения. Он попадает в мир «вольников», где вместе с единственным близким и преданным ему существом — своим карликовым пуделем — находит человеческое тепло и понимание.

В романе «День маленькой собачки», по свидетельству рецензента журнала «Букс энд букмен», Дж. Т. Стори нарисовал картину будущего, «соединив свой большой талант тонкого наблюдателя с острой политической сатирой, и эта картина получилась гнетущей, но убедительной».

ФИЛЬМ «СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»

Известный обозреватель Майкл Биллингтон назвал фильм Кена Лоча «Семейная жизнь» событием в английском кино. В отличие от обычных фильмов на тему о широко распространенных среди английской молодежи душевных заболеваниях Кен

По мнению критики, Сэнди Рэтклиф прекрасно справилась с ролью героини фильма «Семейная жизнь».

(Журнал «Иллюстрейтед Лондон ньюс»)

Лоч совместно с английским драматургом Дэвидом Мерсером сумели придать своей работе серьезное социальное звучание, распространив сделанные ими выводы на английское общество в целом.

Фильм «Семейная жизнь» рассказывает о трагической судьбе молодой девушки из «добропорядочной» английской семьи, в которой под маской внешней благопристойности скрываются ненависть друг к другу и безысходность взаимного непонимания, что приводит девушку к серьезному душевному заболеванию.

БОЛГАРИЯ

ПЕРВЫЙ НОМЕР АЛЬМАНАХА «ДРУЖБА»

«Первый номер болгаро-советского литературно-художественного и общественно-политического альманаха «Дружба» уже в руках читателей, — пишет еженедельник «Литературен фронт».— Давняя мечта болгарской молодежи многих поколений превратилась в действительность.

Появление альманаха «Дружба» — большое культурное событие, имеющее глубокое общественно-политическое значение. Подобного рода издание выходит впервые не только у нас, но и вообще в социалистических странах, оно свидетельствует о все большем единении нашей страны с великим Советским Союзом».

Альманах «Дружба»— орган ЦК ДКСМ (издательство «Народная култура») и ЦК ВЛКСМ (издательство «Молодая гвардия»), выходящий на русском и болгарском языках,—будет публиковать новые произведения советских и болгарских авторов, особое внимание будет уделяться произведениям молодых писателей.

В первом номере помещены главы из нового романа украинского писателя М. Стельмаха, новая повесть И. Кычакова «Слепая птица», отрывки из книги воспоминаний секретаря Георгия Димитрова П. Игнатова «Сердце для всех», стихи и рассказы болгарских и советских поэтов и прозаиков.

Большое место отведено публицистике и художественному очерку, материалам о литературной и культурной жизни обеих стран.

БРАЗИЛИЯ

РОША ГОВОРИТ «НЕТ»

Известный бразильский кинорежиссер Глаубер Роша запретил показ своих фильмов на фестивале в Соединенных Штатах. «Новое бразильское кино не нуждается ни в официальном признании, ни в покровительстве со стороны североамериканских организаций»,— заявил он в письме Майклу Уэббу, директору Американского института кино.

Глаубер Роша, тридцатилетний постановщик и критик, является самым ярким представителем иового бразильского кино. В одной из своих теоретических работ он так определил истоки этого направления: «Наша культура — это культура голода. Именно этим объясняется трагическое своеобразие нового кино».

В первых же своих фильмах Роша порывает с коммерческой кинопромышленностью. Он отказывается от пассивного отображения действительности и использует кинематограф как орудие борьбы с отсталостью латиноамериканских стран. «Отличительной особенностью фильмов Глаубера Роши является то, что они требуют от зрителя почти столько же участия, как от автора»,— пишет рецензент кубинской газеты «Хувентуд ребельде».

Фильм молодого режиссера «Земля в опасности» был удостоен премии на Международном фестивале в Канне. Несмотря на это бразильская буржуазная пресса встретила его откровенными нападками. Та же судьба постигла следующую кинокартину Роши «Антонио дас Мортес», законченную в 1969 году. В этом полемическом произведении затрагиваются социальные и политические проблемы самого бедного района страны — северо-востока. Вскоре после окончания работы над этим фильмом Глобер Роша вынужден был покинуть Бразилию. Но и за границей он продолжает снимать. Его последние фильмы — «Семиглавый лев» и «Отрубленные головы» — вызвали оживленные отклики не только латиноамериканской, но и европейской прессы.

ВЕНГРИЯ

НОВЫЙ ФИЛЬМ РЕЖИССЕРА МИКЛОША ЯНЧО

Имя венгерского кинорежиссера Миклоша Янчо хорошо известно не только венгерским, но и зарубежным кинозрителям. Ему принадлежат фильмы: «Тишина и крик», «Краснозвездные солдаты» (совместное венгеро-советское производство), «Сирокко», «Блестящие встречи» и «Без надежды». Его новый фильм «Народ пока что просит», созданный по сценарию Дюлы Гернади, посвящен движению сельскохозяйственных рабочих в хортистской Венгрии за свои права.

В тяжелые годы хортистского режима во время острого аграрного кризиса группа сельскохозяйственных рабочих во главе с Яношем Санто Ковачем поднимает восстание... Борьба была неравной, и выступление оказалось жестоко подавленным.

«Но режиссер Миклош Янчо,— отмечает критик журнала «Филм-синхаз-мюжика»,— рассказывая в своем фильме о прошлом, посвящает его будущему. Герой фильма Янош Санто Ковач говорит: «...если старый человек по дороге к винограднику находит зерно, он его поднимает и сажает в землю. При этом он хорошо знает, что насладиться плодами своего труда он не

Кадр из фильма «Народ пока что просит».
(Журнал «Филм-синхаз-мюжика»)

сможет, плоды будут принадлежать другим поколениям. Так и я. Я понимаю, что уже не увижу того, за что борюсь, но я хочу посадить дерево, плоды которого будут принадлежать будущему».

ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА

ФЕСТИВАЛЬ АФРИКАНСКОГО КИНО

В начале марта в столице Верхней Вольты Уагадугу состоялся III Всеафриканский кинофестиваль, организованный министерством информации Верхней Вольты при содействии Африканской федерации кинематографистов. В фестивале участвовали Мали, Нигер, Берег Слоновой Кости, Гана, Того, Дагомея, Сенегал, Алжир, Габон, Тунис, Египет, Заир, Нигерия, Чад, Мавритания и др. Было показано около 30 фильмов. Как заявил известный сенегальский писатель и кинорежиссер Сембен Усман, фильм которого «Эмитай» показывался вне конкурса, «прошло время, когда мы думали только о том, чтобы любой ценой делать фильмы».

Большой приз фестиваля завоевал фильм «Ваззу-многоженец» режиссера Умару Ганды из республики Нигер. Это поэтическая народная легенда, переложенная на язык кино. Высоко оценило жюри и комедийный фильм соотечественника Ганды — Мустафы Алассана «Жена, вилла, машина, деньги». Он получил большой приз ОКАМ (Общая африканомальгашская организация).

Фильм сенегальца Абабакара Самбы «Коду», о котором уже писала «Иностранная литература» (см. № 5 за 1972 г.), и фильм мавританского режиссера Мод Онде «Солнце О» — об африканских эмигрантах в Европе — были удостоены специальных призов кинокритики.

Первое место среди короткометражных фильмов заняла лента «Мезека» Манбу Зинга Квами из республики Заир. Жюри присудило приз и еще одному короткометражному фильму — «На тропе Реквиема» габонца Пьера-Мари Н'Донга — он играл главную роль в картине «Куда ты идешь, Кумба?» («ИЛ» № 6 за 1972 г.).

Из других работ, представленных на конкурсе, наиболее интересными были «Для тех, кто знает» сенегальца Тидиана Ава, «Феллага» туниса Омара Кхлифи, «Опиум и дубинка» алжирца Ахмада Рашеди (экранизация одноименного романа Мулуда Маммери) и документальные ленты о борьбе партизан Анголы и Гвинеи-Бисау.

Помимо творческих проблем деятели киноискусства Африки, собравшись в столице Верхней Вольты, обсудили такие важные для всего континента вопросы, как техническое усовершенствование производства фильмов и организация проката национальной кинопродукции (экраны абсолютного большинства африканских стран находятся в руках частных владельцев и заполонены коммерческими киноподелками). Федерация кинематографистов Африки (ее президент — тунисец Хатем Бен Милад, а генеральный секретарь — сенегалец Абабакар Самба) решила регулярно проводить три фестиваля: в Карфагене, Уагадугу и в одной из англоязычных стран Африки.

ГДР

ПАМЯТИ КАРЛА ГРЮНБЕРГА

Пресса Германской Демократической Республики продолжает публиковать материалы, посвященные памяти недавно скончавшегося писателя Карла Грюнберга. Один из старейших немецких писателей, первый секретарь Союза пролетарских революционных писателей, автор нашумевшего романа «Пылающий Рур», боец антифашистского Сопротивления, Грюнберг до последних своих дней активно участвовал в общественной жизни своей страны. Незадолго до кончины писатель отметил свое 80-летие. «Вся жизнь и все творчество Грюнберга были тесно связаны с борьбой рабочего класса и строительством нашей социалистической республики,— говорится в некрологе Союза немецких писателей.— Одним из первых в 1945 году отдал писатель свой талант на службу новому обществу. Такими произведениями, как романы «Квартет теней», «Это начиналось в Эдеме», пьесами «Золотом льется сталь» и «Электроды», Грюнберг внес

значительный вклад в историю немецкой современной литературы».

В некрологе Центрального Комитета СЕПГ отмечаются заслуги Карла Грюнберга в развитии пролетарской, революционной литературы. «Писатель был тесно связан с Советским Союзом,— говорится в некрологе.— В многочисленных репортажах и очерках о советских людях Грюнберг нарисовал правдивую и интересную картину жизни первого социалистического государства».

Творчество Грюнберга высоко оценено в Германской Демократической Республике. Ему была присуждена Национальная премия, он был удостоен многих правительственных наград.

«БЕСПОКОЙНЫЙ КАП»

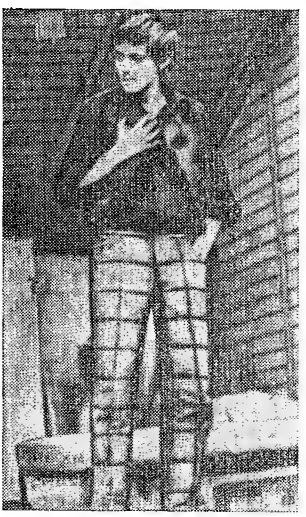
Так называется пьеса Альфреда Матуше, поставленная режиссером Кристофом Шротом в берлинском «Театер им дриттен шток». В центре пьесы — конфликт молодого крановщика Капа с людьми, которые с трудом освобождаются от привычек прошлого, от карьеризма, корыстолюбия, недоверия друг к другу, индивидуализма.

Действие происходит на стройке. В котлован падает человек, все думают, что он погиб, и в гибели его обвиняют Капа. События этой страшной ночи заставляют Капа о многом задуматься. И хотя выясняется, что Кап ни в чем не виноват, да и человек не погибает, молодой крановщик не хочет оставаться на прежнем месте. Утром Кап решает уйти туда, где новая, трудная жизнь, где нужны его молодые силы, его горячий, самоотверженный характер.

Газета «Берлинер цайтунг» отметила, что «в удачной постановке пьесы Матуше столкнулись старые и новые тенденции актерского искусства». «Пьеса эта — важная ступень в развитии нашего нового театра»,— пишет рецензент в заключение.

Арно Вицниевский в главной роли в спектакле «Беспокойный Кап».

(Газета «Нойес Дойчланд»)



ФРГ

ТЕНИ НАД ЮБИЛЕЙНЫМ ГОДОМ

1972 год объявлен в ФРГ годом Генриха Гейне. В декабре исполняется 175 лет со дня его рождения. «В других обстоятельствах, — пишет западногерманская газета «Франкфуртер альгемайне»,— такая некруглая дата послужила бы поводом для скромных торжеств... Но Гейне слишком долго подвергался у нас нападкам. Нам надо не только хоть немного загладить вину перед поэтом: многим предстоит вообще открыть его впервые. В этом смысле 1972 год — год «наверстывания упущенного».

Родина Гейне, город Дюссельдорф, прилагает немало усилий, чтобы «заключить наконец мир» со своим величайшим сыном. Здесь готовится к изданию первая часть нового полного собрания сочинений поэта. Учреждена городская премия имени Гейне — «за вклад в дело взаимопонимания между народами, в дело мира и социального прогресса».

С 13 по 19 октября в Дюссельдорфе будет проходить международный конгресс памяти Гейне, в котором примут участие ученые многих стран, в том числе и из Советского Союза.

Однако над юбилеем уже сейчас, по словам гамбургского еженедельника «Ди цайт», собираются тучи. Обсуждавшееся уже много лет предложение присвоить имя Гейне Дюссельдорфскому университету было и в этом году отклонено университетским конвентом.

«Мы не хотим оглядываться на историю, мы хотим жить современностью»,— заявил один из руководителей университета, объявляя решение конвента, которое на самом деле расценивается многими деятелями культуры как проявление активной «антигейневской» политики. «Ирония и сарказм Гейне чужеродны рейнской идиллии и оппортунистическому уюту»,— пишет «Ди цайт».

До сих пор не может найти себе помещения «фонд Гейне»: 1908 страниц рукописей поэта, 350 томов его личной библиотеки и 5000 томов литературы о Гейне. Попытка городских властей купить под музей дом по Болькерштрассе, 53, где родился поэт, окончилась неудачей: нынешние хозяева дома заломили за него непомерную цену. Две небольшие комнаты в городской библиотеке, отведенные для экспозиции, посвященной Гейне, «из-за недостатка места» были отобраны.

Не так давно в газетах появилось объявление «Общества Гейне», которое ищет «для самого знаменитого дюссельдорфца Генриха Гейне скромные, недорогие, пустующие помещения, желательно в центре».

ГРЕЦИЯ

«ПУТЬ» НИКИФОРОСА ВРЕТТАКОСА

Одним из наиболее значительных явлений в культурной жизни Греции послед-

них лет явилось трехтомное издание стихотворений известного греческого поэта Никифороса Вреттакоса «Путь. Стихи (1929—1970)». В первый и второй тома вошли ранее опубликованные произведения Вреттакоса, написанные им до переворота 1967 года. Третий том составляют его стихи, созданные после переворота. Ожидается, что вскоре выйдет в свет четвертый том сочинений Вреттакоса, в который войдут девять неизданных прозаических произведений под общим названием «Тысячи рождений без звезды».

«РОЖДЕНИЕ НЕОФАШИЗМА»

«Рожденне неофашизма. Греция 1960—1970» — так называется книга греческого журналиста Янниса Катриса, вышедшая в свет в Женеве. Она рассказывает о наступлении неофашизма и о борьбе греческого народа за то, чтобы «стать хозяином в своем доме». В основу книги легли заметки Катриса о встречах и беседах с Георгиосом Папандреу, возглавлявшим правительство партии Центра, свергнутого в результате переворота в 1967 году.

В предисловии к книге Катриса писатель Василис Василикос подчеркивает, что такие книги учат, «как избежать диктатуры».

ДАНИЯ

ДАТСКИЕ КОММУНИСТЫ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Издательство «Гюльдендаль» выпустило новую пьесу Эрика Кнудсена «Добровольная жертва».

Имя Эрика Кнудсена, автора нашумевшего в Дании телеспектакля «Вернер Хольгерсен», уже упоминалось на страницах предыдущего номера в разделе «Из месяца в месяц». В основу пьесы «Добровольная жертва» легли книги писателя-коммуниста Мартина Нильсена. Он же — главный герой пьесы.

Мартин Нильсен — член датского парламента от коммунистической партии и главный редактор «Арбейдербладет» (ныне «Ланд ог фольк») — был арестован датской полицией в числе 150 датских коммунистов 22 июня 1941 года и заключен в гитлеровский концлагерь. Об этом и рассказывают книги Нильсена: «Рапорт из Штутгофа» (эта книга переведена на русский язык и хорошо известна советским читателям), «Дни в темнице и ночи узников», «На пути к свободе», легшие в основу пьесы Эрика Кнудсена. Почти все действующие лица спектакля — реальные люди. Среди них — жена и товарищ Мартина Нильсена Агнес Нильсен и датчанин Арне Соде, в свое время сражавшиеся в Испании против франкистов, Т. Хольст, нынешний главный редактор «Ланд ог фольк». В пьесу включена документальная запись выступления Мартина Нильсена в парламенте осенью 1945 года.

Готовя спектакль, Эрик Кнудсен посетил дом, в котором был арестован Мартин Нильсен, изучил множество документов, а также книгу «Процесс против Скавениуса» известного писателя Ханса Кирка, одного из непосредственных участников описываемых событий. В книге рассказывается о датском политике, занимавшем пост министра иностранных дел Дании с 1940 по 1943 год и сотрудничавшем с оккупантами.

По мнению рецензента «Ланд ог фольк», наибольшее впечатление производит драматичный финал пьесы: диктор зачитывает параграфы отчета парламентской комиссии об аресте коммунистов.

Арест был произведен с ведома и по распоряжению датских властей, сотрудничавших с немцами. Коммунистов взяли в качестве заложников, чтобы «в случае чего» выдать их немцам, как впоследствии и произошло.

Война кончилась. Одни, как Мартин Нильсен и некоторые из его товарищей, обрели желанную свободу, другие так и погибли за колючей проволокой Штутгофа.

ЕГИПЕТ

ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «ЛОТОС»

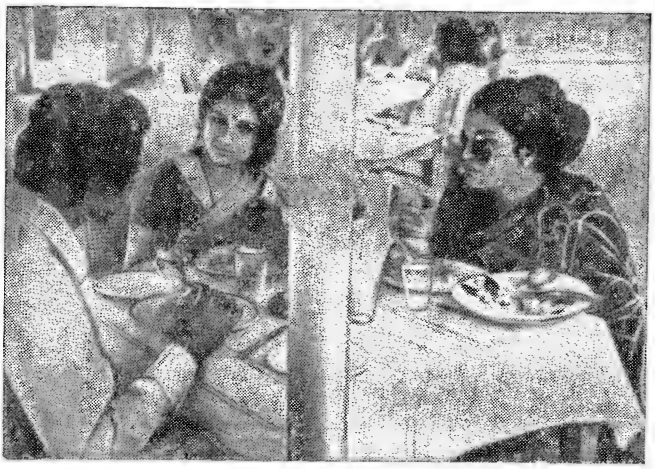
Вышла десятая книжка издающегося в Каире на английском, французском и арабском языках журнала «Лотос» — органа Ассоциации писателей стран Азии и Африки. Как и прежде, большое место в журнале занимает художественный отдел. Среди авторов данного номера — прозаики и поэты Вьетнама, Лаоса, Египта, Палестины, Сирии, Ливана, Ирака, Туниса, Южной Африки, Берега Слоновой Кости, Гвинеи, Конго, Кении, Индии, Монголии, Советского Союза, Японии, Бирмы, Индонезии. Многих из них (например, Бернара Дадье, Эмиля Хабиби, Махмуда Дервиша, То Хоая, Эзекайла Мпахлеле, Амриту Притам, Тауфика Файяда) советские читатели хорошо знают по переводам их произведений на русский язык. Напечатаны в номере и стихи советских поэтов Мирзо Турсунзаде, Николая Тихонова, Анатолия Софронова и Семена Данилова.

В разделе искусства помещена красочно иллюстрированная статья египтянина Абдель Азиза Садека о древней африканской скульптуре.

Критика и литературоведение представлены в номере статьями о проблемах современного театра (автор — президент Гвинейской Республики Ахмед Секу Туре), об основных явлениях африканской поэзии (египтянин Адвар аль-Харрат), о состоянии арабской культуры в Палестине (Махер Шафик Фарид), а также рецензиями на вышедшие в Англии сборники рассказов южноафриканских и арабских писателей, на пьесу Джеймса Нгуги «Черный отшельник»

и на книгу английского социолога Бэзила Дэвидсона «Каким путем идти Африке?». В этом же отделе читатель найдет статью советского ученого Розы Исмаиловой «Культурное развитие Африки и проблема языка».

В журнале стало традицией печатать специальные подборки материалов, посвященные литературам отдельных стран или групп стран. В предыдущих номерах редакция знакомила читателей с творчеством писателей борющегося Вьетнама, португальских колоний, теперь же особо выделена литература палестинских арабов.



Кадр из фильма «Узкий круг». *(Журнал «Линк»).*

«ДОЧЕРИ НОЧИ»

Амаль Рамзи — молодая, но уже завоевавшая известность египетская киноактриса. Сейчас она снимается в главной роли в фильме режиссера Кемаля Салах ад-Дина «Дочери ночи». Фильм повествует о трагической судьбе девушки в старом королевском Египте, которая, чтобы добыть пропитание для своей больной матери и младших сестер, вынуждена служить утехой богатых бездельников.

Амаль Рамзи в фильме «Дочери ночи». *(Журнал «Альф Лейла ва Лейла»).*

ИНДИЯ

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ НА БХОДЖПУРИ

Журнал «Брадж бхарети» (Матхура, штат Уттар-Прадеш) сообщает, что вышли в свет два новых сборника стихов на бходжпури: «Минул рассвет» Пандэя Капиля и «Лотос» Шарданадана Просада.

Бходжпури распространен в восточной части штата Уттар-Прадеш и в западных дистриктах Бихара. По некоторым оценкам, численность говорящих на бходжпури достигает 35 млн. человек. В качестве языка школы, администрации, основных средств массовой коммуникации в этом ареале используется хинди.

В настоящее время вопрос о признании бходжпури как самостоятельного литературного языка находится на рассмотрении Литературной академии Индии.

«ПРИСЛУШИВАЯСЬ К ДЫХАНИЮ РОДИНЫ»

Недавно Национальной государственной премии за лучшую режиссуру и сценарий был удостоен фильм «Соперники» крупнейшего бенгальского мастера Сатьяджита Рая (см. «ИЛ» № 7, 1971 г.). А сегодня зритель уже знакомится с его новой лентой «Узкий круг», где режиссер снова выступает автором сценария и музыкальной партитуры.

И в новой работе, пишет рецензент еженедельника «Линк», Сатьяджит Рай остался верен своей теме — современная молодежь Индии. Вопрос подготовки и воспитания национальных кадров, в частности национального управленческого аппарата для огромного и сложного хозяйства страны, стоит в сегодняшней Индии чрезвычайно остро.

Чутко прислушиваясь к дыханию родины, бенгальский художник, как подчеркивает критик, неизменно выдвигает в своих произведениях проблемы, наиболее волнующие сегодня его соотечественников.

На этот раз в фокусе — талантливая и энергичная национальная техническая интеллигенция, достигшая высокого административного положения. Сатьяджит Рай прослеживает пути ее развития, показывая ее важную роль в современном индийском обществе, где еще живуче старое, но с каждым днем обретает все большую силу и права новое.

Художнику далеко не безразличен общественный и моральный облик представителей этой части национальной молодежи. Он проникает во внутренний мир своих героев, показывает их образ жизни и ценностные понятия, их отношение к окружающим. Он подвергает резкой критике двойственную природу представителей этого слоя индийского общества, осуждает их метания между привязанностью к национальным традициям, на которых поколениями воспитывались индийцы, и стремлением любыми средствами попасть «наверх» и всячески походить на «боссов», не допускать нижестоящих на иерархической лестнице в свой «узкий круг».

Убедительно, по свидетельству критика, звучит вывод, к которому художник подводит зрителя: несмотря на все материальные блага и высокие посты, людей этих не покидает постоянное чувство неудовлетворенности своей жизнью в «узком кругу», ощущение фальши в своем образе жизни. В заключение рецензент говорит: тонкий вкус и безупречное чувство кинематографической формы, выразительная музыка, точность декораций и бесспорно талантливая работа оператора Суменду Роя — все это отличает новую картину Сатьяджита Рая.

ИРАК

НОВЫЙ РОМАН ЗУ-Н-НУНА АЙЮБА

В Бейруте, по сообщению журнала «Аль-Адиб», вышел в свет новый роман старейшего иракского писателя Зу-н-Нуна Айюба «И миру мир», в котором затрагиваются важные проблемы современности.

Зу-н-Нун Айюб является одним из основоположников современной иракской прозы. Ему принадлежит ряд сборников новелл, несколько повестей и романов. (Его повесть «Рука, земля и вода» вышла не так давно в русском переводе.)

Роман «И миру мир» — двадцатая по счету книга писателя.

ПАМЯТНИК ДРЕВНЕЙШЕМУ СОБИРАТЕЛЮ КНИГ

Ирак вместе с другими странами принимает активное участие в мероприятиях, связанных с «Международным годом книги».

Как сообщает журнал «Аль-Мактаба», по этому случаю в Багдаде будет воздвигнут памятник основателю первой на Ближнем Востоке, а возможно и во всем мире, библиотеки ассирийскому царю Ассурбанипалу. Будут выпущены также марки с изображением древнейших клинописных текстов.

ИРЛАНДИЯ

«НЕДЕЛЯ ИРЛАНДСКОЙ ДРАМАТУРГИИ»

Так назвал свою заметку о Дублинском театральном фестивале 1972 года обозреватель американской газеты «Интернэшнл геральд трибюн» Томас Куртис. Начавшись широким показом зарубежных пьес, фестиваль завершился интересными постановками ирландских драматургов. Ирландский «крен» обозначился в начале заключительной недели фестиваля в постановке «Гамлета», где действие было перенесено из Дании на остров Эмеральд. Реплика Марцелла: «Какая-то в стране Ирландской гниль» вызвала в публике громкий смех.

Состоялась премьера пьесы «Белый дом» молодого ирландского драматурга Томаса Мерфи. Куртис характеризует пьесу как мрачное исследование злокачественной духовной анемии провинциальной жизни. Первое действие ее происходит в провинциальном баре, где ночью собираются местные неудачники, яростно спорящие о причинах своих жизненных поражений. Они часто упоминают имя некоего Дж. Дж., некогда пытавшегося заставить своих земляков выбросить из головы иллюзии, показать им на собственном примере, как надо жить.

Критика считает, что автору удалось создать яркий образ провалившегося провинциального мессии.

Примечательным событием стала на фестивале постановка, осуществленная Аланом Симпсоном по мотивам неоконченной пьесы Брендана Биэна «Ричард Пробковая Нога». Действие спектакля происходит в 1930 году. В постановку включены стихи Биэна, актеры поют его баллады. По мнению рецензента, лучшую часть постановки составляют именно эти подлинно биэновские острые стихи и принадлежащие его перу строки пьесы, однако чувствуется, что текст в большей своей части дописан за знаменитого поэта.

С личностью Биэна была связана и еще одна премьера, состоявшаяся в рамках фестиваля,— Алик О'Коннор, автор биографии Биэна, составил монтаж из его автобиографических заметок и остроумных ответов Биэна на вопросы американских корреспондентов, данных в интервью по возвращении на родину. Этот спектакль одного актера получил высокую оценку критики.

Аналогичной постановкой стало ревю, составленное из отрывков газетных статей известного ирландского журналиста Флэнна О'Брайна, писавшего под псевдонимом — Майлз на Гопалин.

ИСПАНИЯ

АЛЬФОНСО САСТРЕ О КРИЗИСЕ ТЕАТРА В ИСПАНИИ

«В Испании нет никаких условий для творческого роста молодых авторов, пишущих для театра», — так оценил положение дел в испанском театре известный драматург и очеркист Альфонсо Састре, выступив на

страницах газеты «Хувентуд ребельде».

Франкистская цензура не обеспечивает и минимума свободы, необходимой во всяком творческом процессе. А это ведет к тому, что все большее число талантливых молодых литераторов перестает писать пьесы. В результате многие театральные труппы, особенно в университетских клубах, «осваивают» новый метод, заключающийся в том, что актеры ставят спектакли-импровизации. Они берут какой-нибудь классический текст, разрезают его на части и, сообразно своему замыслу, создают новые произведения.

Все эти группы громко декларируют свой «нонконформизм», однако идеологически они очень незрелы и в творческом плане повторяют зады того, в чем уже экспериментировали театры Парижа или Лондона.

Что касается театральных режиссеров, то их количество в Испании ничтожно мало — все из-за той же системы «коллективной» работы. Интерес к театру неуклонно падает, и перспектив для молодых актеров и драматургов остается все меньше и меньше.

ИТАЛИЯ

ПЬЕСЫ О ГРАМШИ И ДИ ВИТТОРИО

Итальянский политический театр пополнился двумя новыми спектаклями, один из них посвящен основателю Итальянской компартии Антонио Грамши, другой — выдающемуся профсоюзному деятелю коммунисту Джузеппе Ди Витторио. Спектакль о жизни и борьбе Антонио Грамши орган ИКП газета «Унита» называет честным, но неполным портретом Грамши — человека и революционера. Спектакль поставлен в Болонье в театре «Рибальта» генуэзской драматической труппой «Театро инсьеме» по тексту, написанному двумя авторами — Марикла Боджо и Франко Куомо, и называется «Товарищ».

Текст пьесы состоит из подлинных документов и отрывков из произведений Антонио Грамши, лишь немного «обработанных» для сцены; в этот монтаж вставлены также отрывки из различных политических трудов, стихи, отдельные высказывания и воспоминания писателей и деятелей той поры.

Число действующих лиц в спектакле чрезвычайно велико — здесь В. И. Ленин, Пальмиро Тольятти, ряд сподвижников Грамши по революционной борьбе и его политических противников, прозаики, поэты, драматурги — от Луиджи Пиранделло до Маяковского. Попытка в одном спектакле показать не только жизнь, философскую, литературную, политическую, деятельность Грамши, но и эпоху в целом, обрисовать множество подлинных исторических лиц, оказалась непосильной: многое очень важное неминуемо осталось за пределами пьесы, многое звучит поверхностно и неубедительно, только названо.

Авторы хотели почтить память выдающегося коммунистического руководителя, но не сумели полностью избежать опасности и упрощенчества, пишет автор рецензии в «Унита», ее театральный критик Артуро Ладзари.

Другую столь же благородную попытку создания спектакля о вождях трудящихся предпринял драматический театр города Больцано, подготовивший спектакль о Джузеппе Ди Витторио, долгие годы возглавлявшем Всеобщую итальянскую конференцию труда, а затем Всемирную федерацию профсоюзов. Пьеса называется «Дни борьбы вместе с Ди Витторио» и написана Николой Сапонаро. Образ несгибаемого борца за права итальянских трудящихся Ди Витторио показан в спектакле как символ стремления трудящихся масс Италии к единству — чему посвятил всю свою жизнь этот профсоюзный деятель, коммунист.

При подготовке к постановке обоих спектаклей не существовало окончательного текста пьес — многое вносилось в процессе репетиций и обсуждений, возникало в спорах между авторами, режиссерами, актерами. Поэтому в обоих спектаклях, особенно во втором, силен элемент импровизации, обе театральные работы являются плодом коллективных усилий поставивших их театральных трупп, состоящих из прогрессивно настроенной артистической молодежи.

КАНАДА

«САГА О ФЕРМЕРЕ ИЗ САСКАЧЕВАНА»

Под таким заголовком газета «Кенэдиен трибюн» опубликовала рецензию Майбел Ричардс на документальную книгу Айвора Миллса «Отважно бьются благородные сердца». Писатель рассказывает в ней историю своего отца, Хопкина Эвана Миллса, который в начале нынешнего столетия участвовал в борьбе против эксплуатации фермеров в Канаде. Эта борьба, по свидетельству М. Ричардс, носила порой революционный характер.

Айвор Миллс рассказывает о жизни своей семьи и ее окружении. «Для меня лично наиболее интересны страницы книги, повествующие о людях того времени, о радостях и печалях фермерской семьи, — пишет М. Ричардс.— В этом — подлинная сила книги. В ней прослеживаются не только события, связанные с созданием многих прогрессивных организаций на протяжении первых пятидесяти лет нынешнего столетия, у колыбели которых стояли убежденные борцы. Но это и очень личная история одной фермерской семьи, которая жила, гнула спину на полях, иногда голодала, иногда жила лучше — и была порождением своей эпохи».

КУБА

РОМАНЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИИ

Многие кубинские писатели, в том числе Ноэль Навarро, Мануэль Кофиньо, Хулио Траньесо, Антонио Бенитес, приняли участие в «круглом столе» на тему: «Развитие кубинского романа о революции», организованном Национальной комиссией университетской пропаганды.

За последние двенадцать лет, отметили участники дискуссии, на Кубе было опубликовано 30 романов, в которых революция служит не только фоном повествования, но и является их «главным действующим лицом». Это романы, рассказывающие о борьбе с диктатурой Батисты, о партизанском движении, о строительстве новой жизни после победы революции. Ноэль Навarро разделил авторов этих романов на три группы: те, кто начал публиковаться до революции, те, кто приобрел известность в результате победы народной власти, и те, кто сформировался как писатель в условиях строительства социализма.

Кубинская пресса отметила плодотворный характер проходившей дискуссии, актуальность ее темы не только для кубинцев, но и для романистов всей Латинской Америки.

Кубинские романисты, резюмировала газета «Хувентуд ребельде», разрабатывают жизненно важные проблемы, и их творчество отражает и анализирует факты и события исторического периода, имеющего всемирное значение.

ЛИВАН

«АЛЬ-АДАБ» О ВОСЬМОМ СЪЕЗДЕ АРАБСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ФЕСТИВАЛЕ АБУ ТАММАМА

Издающийся в Бейруте крупнейший арабский литературный журнал «Аль-Адаб» уже почти двадцать лет стоит в самом центре литературной жизни арабского мира, пропагандируя на своих страницах передовые, новаторские течения в литературе и искусстве.

Периодически редакция журнала выпускает специальные номера, затрагивающие наиболее актуальные вопросы литературной жизни арабских стран.

Недавно вышел специальный номер «Аль-Адаба», посвященный двум важным культурным событиям в жизни Арабского Востока: Восьмому съезду арабских писателей, состоявшемуся в Дамаске, и фестивалю памяти классика арабской поэзии Абу Таммама, проходившему в иракском городе Мосуле.

В номере публикуются подробные отчеты об этих всеарабских форумах писателей и поэтов, а также выступления их участников. В специальных статьях анализируется значение дамасского съезда (он был посвящен теме «Арабский писатель в решающей битве») и мосульского фестиваля для дальнейшего развития арабской литературы. Много места в номере уделено поэзии.

ПАНАМА

ПРОБУЖДАТЬ НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ

«Нам, писателям и поэтам слаборазвитых стран, — заявил корреспонденту кубинской газеты «Хувентуд ребельде» молодой панамский поэт Педро Ривера, — приходится быть постоянно начеку перед угрозой культурного порабощения со стороны американского империализма. Радио, телевидение, печать, издательства в значительной мере находятся под контролем разного рода американских культурных миссий, и нам, молодым литераторам, приходится драться буквально за каждое опубликованное произведение».

Активную работу по распространению произведений молодых панамских авторов ведет возникшая в 1962 году в Панамском университете «Культурная колонна». «Колонна» издает свой журнал, проводит массовые вечера поэзии, осуществляет театральные постановки.

В условиях резко обострившихся отношений между США и Панамой по вопросу о канале ведущие поэты объединения — Альваро Менендес Франко, Диано Моран, Хосе Франко, Лихия Алькасар — ставят своей задачей пробудить национальное самосознание панамцев с целью не допустить размещения американских военных баз в стране. В центре их поэзии — человек, его заботы и радости, его борьба за свое достоинство. Это терпкая поэзия, поэзия, зачастую риторичная, памфлетарная, но всегда исполненная глубокого гражданского звучания.

ПОЛЬША

ПО СЛЕДАМ «ПЕРВОГО ДНЯ СВОБОДЫ» ЛЕОНА КРУЧКОВСКОГО

В августе этого года исполняется десять лет со дня смерти Леона Кручковского. В городе Пила на западе Польши, в доме культуры, которому присвоено имя писателя, состоялся симпозиум, посвященный творчеству Кручковского. Но почему же именно в Пиле? Дело в том, что с этим городом, точнее с его окрестностями, связан важный период в жизни писателя: здесь разыгрались события, вдохновившие Кручковского на создание одной из лучших его пьес — «Первый день свободы». Недалеко от Пилы писатель провел долгие годы в гитлеровском лагере для военнопленных, здесь он очутился вместе с группой друзей после освобождения и пережил события, ставшие канвой для действия пьесы.

На симпозиуме в Пиле выступил друг Кручковского, писатель Станислав Рышард Добровольский. Он вместе с Кручковским 27 лет назад, в феврале 1945 года, стал свидетелем всего того, что

Мая Коморовская-Тышкевич в фильмах «За стеной», «Спасение», «Как далеко отсюда, как близко».

(Журнал «Кино»)

Кручковский описал в своей пьесе. По словам Добровольского, действительно группа польских офицеров, освобожденных из лагеря Советской Армией и Войском Польским, остановилась в городке Ястровие в нескольких десятках километров от Пилы. Здесь они поселились в существующем по сей день доме модистки Кете Вейденталь, муж которой был офицером СС. Немецкий врач, игравший столь значительную роль в «Первом дне свободы»,— подлинное лицо. Польские офицеры предложили ему привести детей на занятую ими квартиру, где они были бы в большей безопасности. Врач с благодарностью принял это предложение. Польские офицеры были затем действительно внезапно окружены эсэсовской частью, пробиравшейся на Запад. Их вновь спасли советские и польские воины.

Как пишет в «Трибуна люду» известный польский театровед Роман Шидловский, на основе фактов, рассказанных Добровольским, легко установить тесную связь между действительностью и ее литературным воплощением, между правдой и вымыслом. «Это одна из характерных особенностей творчества Кручковского, всегда сильно опиравшегося на реалии»,— пишет Шидловский.

Участники симпозиума в Пиле посетили городок Ястровие. Здесь тоже открыт Дом культуры имени Кручковского и музей, интересно рассказывающий о давнишнем и недавнем прошлом города. Посетители познакомились с «топографией» пьесы Кручковского — с домом Кете Вейденталь, на котором помещена мемориальная доска, с башней костела, откуда Ян стрелял в Ингу, с домиком стрелочника, где Кручковский и Добровольский прятались от атакующих гитлеровцев.

МАЯ КОМОРОВСКАЯ-ТЫШКЕВИЧ

Появление Маи Коморовской в польском кино поистине было необычным: в удивительно короткий срок она стала «звездой первой величины», оставив далеко за собой других актрис польского кино.

Она поразила зрителей и критиков своим исполнительским мастерством, огромным диапазоном изобразительных средств и техникой игры, что несомненно явилось результатом ее работы в экспериментальном театре Ежи Гротовского (см. «ИЛ» № 2, 1972 г.), где она получила отличную физическую подготовку, научилась управлять каждым своим движением, каждым жестом. (Сейчас она играет во вроцлавском театре «Польски».)

Широкая известность пришла к Мае Коморовской после того, как она стала сниматься в кино. Два фильма Кшиштофа Занусси — «Семейная жизнь» и «За стеной» — выявили творческую индивидуальность актрисы. В фильме «Семейная жизнь» она сыграла роль полубезумной пылкой красивой девушки. В фильме «За стеной» — замкнутую, невзрачную ученую-неудачницу. Уже эти две роли свидетельствовали о широком творческом диапазоне актрисы.

В двух последующих фильмах — «Как далеко отсюда, как близко» Тадеуша Конвицкого и «Спасение» Эдварда Жебровского — Мая Коморовская вновь создает два совершенно разных характера, что, по свидетельству польской критики, делает актрису «явлением польского кино».

РУМЫНИЯ

ИЗДАТЕЛИ И АВТОРЫ

Планами на 1972 год делятся в румынской печати и издатели и авторы. Поэт Иоаникие Олтяну — директор издательства им. Эминеску—представляет читателям еженедельника «Контемпоранул» новинки года: это сборники стихов Иляны Маланчаю «Сердце королевы» и Дарие Новэчану «Движущийся пейзаж». Авторы, отмечает Олтяну, развивают темы своих предыду-

щих книг; первую книгу отличает искренний, взволнованный лиризм, вторая развивает линию боевой полемической поэзии. Новый роман Думитру Альмаша «Братья Бузешть» — историческое полотно, посвященное жизни «трех мушкетеров румынского края»; сборник Сидонии Дрэгушану содержит ряд пьес, идущих на румынских сценах в последние годы: «Вечер ответов», «Дочки», «Вальс» и др.

У крупнейшего румынского прозаика Марина Преды в издательстве «Картя ромыняскэ» вышла книга «Великий отшельник» — продолжение его знаменитого и очень популярного романа «Семья Морометов». Здесь печатается также роман А. Ивана Гиля «Реквием по живым», новое издание сборника стихов М. Р. Параскивеску «Цыганские напевы» (по случаю шестидесятилетия со дня его рождения).

В новой книге Михая Бенюка «Дорога поэзии», выходящей в издательстве «Минерва», — воспоминания, мысли и афоризмы писателя.

Поэзия представлена в этом издательстве сборниками Камила Балтазара, стихами классика румынской литературы Кошбука.

О своих новых работах рассказывают на страницах еженедельника «Ромыния литерарэ» поэты Вирджил Тоодореску (переводы чешского поэта Витезслава Незвала и польского поэта Юлиана Тувима); Тиберию Утан (сборник детских стихов «Погоня за ветром») и Вероника Порумбаку (сборник стихов «Круг»).

С новыми книгами познакомят в этом году прозаики К. Апостол (роман «Война с колокольчиками»), В. Монда (роман «Сухопутный корабль»), критик З. Орня (исследования о творчестве классиков румынской критики Ксенопола, Ловинеску, Ибрэиляну) и др.

США

«УБИЙЦЫ»

Известный деятель театра, теоретик искусства Элиа Казан пять лет назад дебютировал в жанре романа. «Приспособление» — так называлась его книга о человеке, который, достигнув зрелости, начинает переоценивать устоявшиеся духовные и моральные ценности. Как отмечали критики, Казан тяготел в своем романе к привычной для него форме киносценария.

В недавно вышедшем в издательстве «Стейн энд Дей» романе «Убийцы» Элиа Казан затрагивает более глубокие и всеобъемлющие проблемы жизни современного американского общества. Огромные средства, которые тратятся на вооружение, ржавеющее где-нибудь в пустыне, в то время как значительная часть населения США, особенно черные и цветные, живут в условиях, недостойных современного человека; юридические нормы, которые становятся то жесткими, то мягкими в зависимости от того, как их считают нужным применить власть имущие; насилие, все чаще и многообразнее проявляющееся в жизни общества; судьбы молодежи, которая в своем протесте против условий существования, сложившихся в нынешнем американском обществе, все чаще прибегает к такому средству ухода от действительности, как наркотики,— вот тот круг проблем, который находится в сфере внимания автора «Убийц».

...Обесчещена девушка — дочь сержанта американских военно-воздушных сил. Разъяренный отец пристреливает длинноволосого повесу, торгующего наркотиками на военной базе, расположенной где-то на юго-западе США. Предстоит суд военного трибунала.

Сержант, убивший человека, ждет наказания, но судьи в растерянности, их волнует не столько правосудие, сколько «моральные» последствия приговора.

«Но в наши дни ничто не просто,— пишет рецензент еженедельника «Тайм».— Юстиция запуталась в водовороте амбициозных устремлений и личных проблем судей, в фатальных ошибках, официальном обмане и бессмысленной жестокости. Все, что напоминает юношеский идеализм, сострадание или надежду,— улетучивается или рассыпается в прах».

ФРАНЦИЯ

РОМАН ПЬЕРА БУЛЯ О ВОЙНЕ ВО ВЬЕТНАМЕ

Парижское издательство «Фламмарион» выпустило новое произведение французского писателя Пьера Буля «Уши джунглей». Это его восемнадцатая книга. Наибольшую известность писателю принесли два романа, которые были экранизированы: «Мост через реку Квай» и переведенный у нас «Планета обезьян» — горькая сатира, облеченная в форму научной фантастики.

Буль считается признанным мастером романа приключений. Писатель не изменил себе и на этот раз: «Уши джунглей» — произведение приключенческое, с элементами научной фантастики и на самую злободневную тему.

Иоана Булкэ в роли попадьи в фильме «И тогда я приговорил их всех к смерти», поставленном по новелле Гиту Поповича «Смерть Ипу».

(Газета «Ромыния литерарэ»)

Действие романа происходит в наши дни в охваченном пламенем войны Вьетнаме. Военная машина Соединенных Штатов пускает в ход свое новое изобретение, электронно-счетную машину ИБМ-360 656, которая способна улавливать малейшие шумы в непроходимых джунглях и должна помочь американцам безошибочно находить цели для бомбардировок. Эти замаскированные шпионские ЭВМ усеивают всю территорию Вьетнама.

Но вьетнамские патриоты благодаря хорошо поставленной разведывательной сети заблаговременно узнают о введении технического новшества и успевают изобрести достойное противоядие — прибор, который обращает средства уничтожения противника против его же собственных баз, самые фантастические средства современной техники оказываются неспособными победить народ, который ведет справедливую войну.

Замысел произведения возник у Пьера Буля после того, как он прочитал в одном из журналов, что ученые, работающие на потребу американского империализма, действительно ведут поиски в этом направлении.

Французская пресса отнеслась к роману Пьера Буля по-разному. Буржуазные газеты и журналы увидели в ней лишь острый, захватывающий сюжет и восточную экзотику (писатель в свое время провел несколько лет в Юго-Восточной Азии). Еженедельник «Экспресс» пишет, например, что у Пьера Буля «вьетнамская война превращается в изящную и совершенно лишенную гуманизма партию в шахматы». Андре Стиль в «Юманите», напротив, подчеркивает прогрессивный общественный смысл романа. Критик пишет, что готов взять на себя смелость назвать новый роман Пьера Буля его лучшим романом. Такая разноречивость позволяет предположить, что писатель создал действительно интересное и по-настоящему злободневное произведение, которое найдет путь к читателю.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (первый зам. главного редактора), **С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН** (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**
Адрес редакции: Москва 109017, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Сдано в набор 10/V 1972 г. А 02994. Подписано к печати 6/VI 1972 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2).+1 вкл. Уч.-изд. л. 27,76. Зак. 1560.
Журнал выходит один раз в месяц.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394